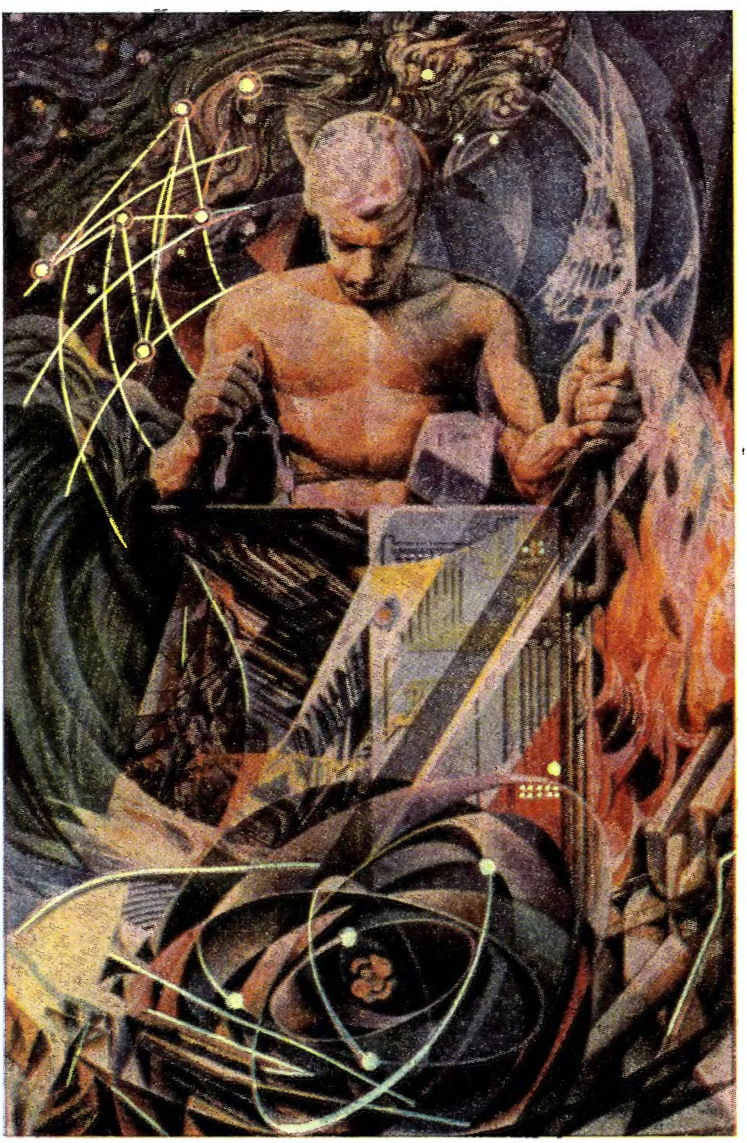
11.1971

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Издательство «Известия» Москва

11 НОЯБРЬ 1971

СОДЕРЖАНИЕ

ГЕОРГИЙ ДЖАГАРОВ — *Стихи* 3

РЕНАТО ПРАДА ОРОПЕСА — Зажигающие зарю *(Роман. Послесловие Юрия Дашкевича)* 9

Из книги «Восемнадцать текстов» (1970 г.) ГЕОРГОС СЕФЕРИС. МАНОЛИС АНАГНОСТАКИС. ТАКИС СИНОПУЛОС *(Стихи. Вступление С. С. Смирнова)* 64

ВИНЦЕНТ ШИКУЛА — Рассказы *(Предисловие Н. Шульгиной)* 70

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК — Тени в раю *(Роман. Продолжение)* 91

КУЛВАНТ СИНГХ ВИРК — Рассказы 178

Критика

В. ДНЕПРОВ — Достоевский как писатель двадцатого века *(К 150-летию со дня рождения)* 190

ПРАБХАКАР МАЧВЕ — Современность и поэзия хинди 201

Писатель и время

Точка опоры (Болгарские писатели о рабочей теме в литературе) 205

Культура и современность

Заметки на полях зарубежных газет и журналов «Меркнет сознание собственной человечности...» 1. Н. Мойкин — Перевал грязных ветров. 2. С. Майзельс — Что такое «общество вседозволенности»? 212

Письма из-за рубежа

НГУЕН ВАН БОНГ — Голос борьбы и победы 219

Публицистика

ЭДУАРДО ЛАБАРКА ГОДДАРД — Чили в огне событий (Репортаж о рождающейся революции) 222

Ю. ЛЕВАДА — Странный мир массовой культуры 241

МАЙЯ ЭКЕЛЁФ — Записки уборщицы *(Отрывки из книги)* 249

Среди книг

Издано в СССР

В. Левик — Новый Рильке ◇ Николай Пальцев — Хрупкое маленькое счастье 264

Издано за рубежом

С. Шерлаимова — Первый пролетарский поэт Словакии ◇ С. Лайне — Мыслить и действовать ◇ Л. Зонина — Этюд в кровавых тонах. Тема и вариации 268

Из месяца в месяц (Хроника) 275

Авторы этого номера 287

На обложке: «Человек — хозяин нового мира» (Панно испанского художника ХОСЕ РЕНАУ)

ГЕОРГИЙ ДЖАГАРОВ

С БОЛГАРСКОГО

Тырновград

Для нас ты стал святыней, Тырновград!
Шумят ветра над древними камнями,
и в шуме их торжественно звучат
преданья, освященные веками.

Порою Янтра всхлипнет под горой,
вокруг тебя по-девичьи обвита...
Опять в твоей твердыне бранный строй,
по звонким плитам цокают копыта.

Опять к Царевцу[1] всадники летят,
зовут победы меч, копье и стремя,
и снова возвращает Тырновград
тебе знамена, праведное время.

Знамена крепко держатся в руках,
и весь народ идет за стягом светлым...
Горит в моих ладонях жарких прах,
и плачу я над этим древним пеплом.

Перевод СЕРГЕЯ НАРОВЧАТОВА

Вода

Она идет из далей дальних,
с вершин могучих, изначальных,
через озера, водопады,
под ярко-синим небосводом,
по руслам каменной громады,

[1] Один из холмов в Тырново, на котором стоял царский дворец.

по штольням и водопроводам —
идет сюда.
Зачем?
Ответьте!
Она могла бы там остаться,
среди вершин,
в тени столетий,
на плоскогорьях, где родятся
бураны снежные и ветер.
Но нет, не хочет
в горном крае
шуметь,
плескаясь и играя,
жить с небом и камнями дружно,
остаться чистой,
но ненужной.
Ей разливаться бы потоком
по паркам, улицам широким —
здесь, где так жарко и так пыльно,
где солнце так огнеобильно,
где птицы
в жаркую погоду,
томясь от жажды,
ищут воду,
где человек о капле влаги
мечтает
как о высшем
благе!

Перевод МУЗЫ ПАВЛОВОЙ

Тревога

Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек...
А. С. Пушкин

Как мне петь и возможно ли это?..
Человек — черной ночи чернее —
над душою моею, над нею.
Я засну — он во сне до рассвета.
Десять раз я его убиваю,
с ним сражаюсь упорно, бессменно.
Но когда я глаза открываю,
исчезает мой враг неизменно.
Где он?
В пламени вечного ада?
Где он?
Кто он?
Чего ему надо?
Может, сгинул? А может, не сгинул?
Невидимкой прикинулся грубо,
не оставил меня, не покинул,
стал рукою ближайшего друга.
Может быть, за моею спиною
он идет, ожидая мгновенья

заползти в мою душу змеею,
отравить ее ядом безверья?
Я не знаю о том.
Я не знаю.
Но дыханье его ощущаю.

Революция! Ты моя доля.
Ты — волненье мое молодое.
Как во время войны, как в сраженье,
помоги
не попасть в окруженье!
Научи меня зоркости боя!
Видишь — снова стою пред тобою.
Научи, как когда-то учила,
видеть черную злую личину!

Где он?
Кто он?
С глазами какими?
Чей он адрес присвоил?
Чье имя?
Может, этот — излишне усердный
и всегда доверительно липкий?
Или тот — с неподдельной улыбкой
и кусочками льда вместо сердца?
Или тот — подшивающий чинно
все застолья мои и сомненья?
Или этот — распухший от чина,
позабывший твои повеленья?
Он?
Не медли! Скорее скажи мне!
Помоги в постижении жизни!

Человек — черной ночи чернее —
над душою моею, над нею.
Я засну — он во сне до рассвета...
Кто он?
Я ожидаю ответа.
Пусть для песен душа распахнется!
Сердце
пусть опять улыбнется!

Перевод РОБЕРТА РОЖДЕСТВЕНСКОГО

Ответ

Безверия, сомненья, отрицанья
вам не найти среди моих страстей.
Я верю в мир и чистоту страданья,
я верю в солнце, дружбу и людей.

Я верю в наше огненное знамя,
в родную землю, в дни весенних гроз,
в далекий путь, плечо к плечу с друзьями,
в простую речь о правде трав и звезд.

Чьи годы словно пыльные темницы,
чьи дни полны убогой болтовней,
чьи мысли, как подстреленные птицы,
ни в чем не схожи, слабые, со мной.

Я вырос меж скалистыми камнями,
пил свежесть неисхоженных лесов...
Нет, не ищите правду под ногами,
она вверху, у края облаков.

Нет, все со мной! И боль утихнет скоро.
Пшеницей наливаются поля,
прекрасны люди, птицы, реки, горы,
всегда прекрасны небо и земля.

На свете горе было, есть и будет,
но стоит жить, коль знаешь наперед,
что праздники встают на смену буден
и лишь одна зима бывает в год.

Идти весной по солнечному следу
и верить в мир, где зло прогонят прочь,
где жизнь привычно празднует победу
и день привычно оттесняет ночь.

Безверия, сомненья, отрицанья
вам не найти среди моих страстей.
Я верю в мир и чистоту страданья,
я верю в солнце, дружбу и людей.

Перевод СЕРГЕЯ НАРОВЧАТОВА

Осень

Прощай, я сказал.
Раз ты решила —
пусть будет так...
И Черное море ревет во всю силу,
бушует мрак.

Милая,
как перелетные чайки,
мы встретились здесь
случайно.
И звезд,
сколько звезд
нас осыпало в тот вечер...
Но мир изменчив,
вот — на песке два следа
затеряны навсегда,
навечно...

Заглохли два слова сердечных,
недосказаны,
как тогда.

Осень,
та осень
здесь проходила,
бросив донос из желтой листвы.
Я схвачен.
Осужден.
Знаю — мне предназначен
костер любви.

Дует ветер
и бросает мне под ноги ветви.
Горизонт откинул свой капюшон,
как палач.
Кто-то плачет.
Зачем этот плач?
Нет смысла в плаче.
Вечерним сумраком я охвачен.

Я горю.
Исчезаю средь дыма, как исчезает
еретик, осужденный на казнь,
как лодка исчезнет
в бурной бездне,
как берег во тьме исчез.

Прощай, я сказал.
Раз ты решила —
пусть будет так...
Прощай! Прощай!
А Черное море ревет во всю силу,
бушует мрак.

Перевод МИХ. ЗЕНКЕВИЧА

Истина

Ты вытоптал траву, считая,
что одержал победу, брат?..
Трава ж и под землей живая —
еще живее во сто крат.

Теплом дыша, питаясь влагой,
тебя — хоть и не велики —
с неистребимою отвагой
стремятся уколоть ростки.

Перевод ЕВГЕНИЯ ВИНОКУРОВА

Осенний оптимизм

И этот ветер без пощады,
и этот дождь, и эта грязь,
и этот шелест листопада,
и эта давняя боязнь
перед осенним мокрым тленьем,
перед приходом холодов,
перед умолкшим птичьим пеньем —
не потрясение основ,
а лишь трехмесячная встряска
и — не оправдана опаска.
А мы свой добрый опыт спросим,
и он нам даст ответ прямой,
что, мол, зима прогонит осень,
весна расправится с зимой.
И снова буйное кипенье
начнется всюду по земле,
в крови, в речах, в воображенье
броженье соков в пряной мгле.
В ветрах надежных устремлений
падут кипучею весной
обломки старых представлений
перед зеленой новизной.
Бесценной влагой жизнь струится,
людской кипит водоворот,
и ветка каждая стремится
нам подарить желанный плод.

Ничего больше

Рад повторить упрямыми словами,
что этот мир в доподлинности мой,
и спорить отучаюсь я с глупцами,
и трусам не навязываю бой.

Равно знакома людям и светилам
греха и муки горестная стать,
и суждено равновеликим силам
в просторе бесконечном умирать.

Звезде подобно пронестись, сгорая,
и превратиться в огненосный след...
Мне не нужна из всех судеб иная,
другого счастья не было и нет!

Перевод СЕРГЕЯ НАРОВЧАТОВА

РЕНАТО ПРАДА ОРОПЕСА

Зажигающие зарю

РОМАН

Перевод с испанского Г. ПОЛОНСКОЙ

Пролог

— Лаура,— окликает мужской голос.

— Что, отец?

— Слышишь шум во дворе?

— Нет, отец, ничего не слыхать.

Два тела жмутся друг к другу в непроглядной тьме хижины. Старик дрожит, будто враждующие силы тянут его в разные стороны. Девушка рукой зажимает себе рот, сдерживая рвущийся наружу крик. В курятнике всполошились куры. Остервенело лает собака. Секунды ползут с медлительностью черепахи. По телу старика ручьями струится пот. Лаура обнимает отца свободной рукой, пытаясь унять его дрожь. Исполненные отчаяния взгляды то скрещиваются, то разбегаются в глубокой, колодезной тьме.

Вчера выдался славный денек. Но что-то уже носилось в воздухе, сказал старик. Был воздух густой и тяжелый, словно начиненный чем-то; легкими старик это чувствовал, однако разумом постичь не мог.

— В легких вся мудрость, они ведь дышат воздухом, а в воздухе чего только нет. Я это узнал как раз перед смертью твоей матери. Было мне от них точное предвестие, но головой я никак не мог этого понять, не хотела она ничего принимать — и все. Так и не поверил, пока сосед не прибежал. Как он это сказал, заныло у меня вот тут — не в голове, не в легких, а где-то глубже, должно быть, в душе.

Так говорил старик вчера.

Теперь оба вспоминают его рассказ, и глаза их передают друг другу воспоминание. Кто-то забрался в курятник. Звук шагов не спутаешь ни с чем. Собака визжит от страха и скребется в дверь хижины. Лаура вдруг вскакивает и, схватив нож, бросается во двор. «Вот и уши мои не желали слышать, а ведь легкие все знали еще со вчерашнего дня». Собака кидается под ноги Лауре, девушка спотыкается на бегу, делает несколько немыслимых прыжков, словно в каком-то безумном, безудержном танце. Поднятый над головой нож тоже пляшет в воздухе, рассекая его на огромные причудливые глыбы. Еще мгновение — и она упадет, но из темноты внезапно протягивается рука и удерживает девушку за кисть, сжимающую нож. Лаура хочет крикнуть, но язык не повинуется ей.

— Тихо, девушка, молчи,— властно произносит мужчина.

Испуганная Лаура выходит из воды. Ей померещился человеческий голос. Руки ее хватают брошенное на песке платьице, поспешно натягивают его на обнаженное тело. На берегу все замерло, не шелохнется ни один листок.

Голос, принадлежащий тому же человеку, что и рука, которая стискивает ей запястье, велит молчать.

— Лаура, вернись, вернись, пока не поздно. Не дай бог что случится. Кто-то забрался в курятник, ну и ладно. Лаурита, воришка залез, и все. Не стой там, бог с ним. Лучше иди скорее в дом,— зовет из глубины хижины старик. Но Лаура не может сдвинуться с места.

Девушка оглядывается по сторонам: никого нет. Никто не мог ее видеть. Домой, скорее домой.

— Мы берем только самое необходимое,— говорит голос.— Деньги оставим здесь, на притолоке, под кирпичом. Возьмешь, когда мы уйдем.

Голос звучит успокаивающе. Рука не причиняет боли. «Этот голос я слышала на реке»,— с уверенностью говорит себе Лаура. Пальцы на ее руке разжимаются, вот уже и нет их, кожа не ощущает больше их прикосновения; человек тоже исчез, неслышно растворился во тьме. В глубине хижины что-то бормочет старик.

— Иду, отец,— говорит Лаура.

«Не бойся»,— сказал ей человек с реки. Он стискивает ее руку и говорит в самое ухо. Лаура хочет сказать ему, что ей совсем-совсем не страшно, и на реке — ведь она знала, что он следит за ней,— тоже не было страшно. Но как только Лаура решилась и приоткрыла рот, человека уже не было.

— Нет, никого не видела,— говорит Лаура.

— Врешь,— сердится сержант.— Ночью здесь кто-то был. Вон следы. Нас не обманешь, красавица. Вы укрываете самых настоящих бандитов. Они вас обокрали. Ну, говорите, не бойтесь.

«Не бойся»,— слышится ей голос; откуда он — с реки, из темноты ночи?

— Так и знал, что случится беда;— сокрушается старик.

Сержант его не слушает, приказывает солдатам перетряхнуть весь дом. Лаура машинально твердит, что никого не видела.

— Когда я вышла, кур уже покрали,— говорит Лаура.

Сержант пристально смотрит на нее. Воображение рисует ему то, что скрывается под узким платьицем: кроме платья, на девушке ничего нет.

— У тебя дочка красавица, старик,— говорит он.— Береги ее от этих разбойников. Захочется им мясца, они стянут у тебя и эту курочку.

Старик не отвечает. «Увидал я тогда, как от реки вверх по тропке бежит сосед,— ну, думаю, нагрянуло — молчи, я уже все знаю. А потом и Лаурита вот так же приходит с реки, и глаза у нее странно блестят. Этого еще не хватало, сказал я себе. И спросил, что с ней, а она хоть бы словечко проронила и пошла себе прямехонько в свой угол досматривать сны»,— думает старик, оставляя без внимания ухмылку сержанта.

А капитан все-таки мужчина что надо, ничего не скажешь Он хоть сейчас готов один перестрелять в лесу всех партизан, те и пикнуть не успеют. Капитан — грудь колесом — выхаживает взад-вперед по площади поселка. Пусть все знают, что мы пришли сюда навести порядок. Кто из солдат не мечтает быть на него похожим — мы даже согласны отрастить себе такие усищи и такое же, скажем прямо, не слишком моло-

децкое, брюхо — все же оно придает человеку солидности и шику. Даже местные девицы млеют от одного его вида. Напрасно думают, что эти партизаны какие-нибудь борцы за идею, ха, просто-напросто бандиты, они покушаются на чужую собственность, убивают беззащитных и— извините за грубое выражение, но так оно и есть — портят бедных женщин. А солнце, чтоб ему пусто было, печет зверски, пока капитан держит речь. В центре площади народ сбился в кучу от страха и согласно кивает головой каждому выкрику капитана. Все мы исходим потом, словно нас плавят в дьявольском горне. Здешний алькальд, тощий, бледный и дрожащий, точно душа кающегося грешника, подходит к капитану и что-то ему говорит. Капитан еще, кажется, не кончил, так что уж извините, почтеннейший, так вас и растак. Ходячий скелет умолкает, останавливается возле капитана и скребет у себя в затылке. Жалость берет, когда видишь ближнего в таком несчастном состоянии, что называется, богом забытого. И чтоб ни у кого, уважаемые граждане, и в мыслях не было укрывать это дерьмо, этих каторжников, в противном случае Верховное командование будет рассматривать ваши действия как измену родине. У меня по спине скатывается капля пота, толстая, как сигара, и беспрепятственно сползает на пояс. Ни один боливиец не должен терпеть, чтобы какой-нибудь выб... сукин сын — прошу прощения, приходится называть вещи своими именами — показывал задницу матери-родине. Какаду начинает часто дышать, как собака во время жары; тише, говорю, Какаду, услышит капитан, тогда держись, полтора болвана. Боливийцы умеют защищать свою землю, нам, мол, пальца в рот не клади. Алькальд — и откуда только взялось — выдавливает из себя несколько капель пота, я мог бы поклясться, что он совершенно сух, сух, как мумия, которыми в фильмах стращают зрителей. За примером недалеко ходить: все знают Игнасио Вагнера и прочее в этом роде, мать твою так. Капитан умолкает, только брюхо еще колышется как студень. Скелетик — алькальд — спрашивает, кончил ли господин капитан; да, господин капитан кончил, пусть теперь говорит, если желает. Нам уже нечем потеть, не осталось у нас ни единой капельки пота, мы выжаты до дна этим чертовым солнцем, так что, если ему охота трепаться, пусть треплется, никто и бровью не поведет.

Часть первая

Отец ректор велел ему сесть и подождать минутку, пока он закончит письмо. «Радости и надежды, скорбь и муки людей нашего времени, особенно бедняков и бесчисленных страдальцев, это вместе с тем радости и надежды, скорбь и муки учеников Христа»,— прочел нараспев наставник, подняв указательный палец и выговаривая каждый слог с каким-то мистическим упоением. «Правильно, но это не значит, что все плохо в нашей церкви»,— говорит Карлос, с нежностью глядя на него. «Ты слишком хорош сам, чтобы хорошо поступать... чтобы действовать, хочу я сказать»,— замечает Хавьер. Отец ректор, по-видимому, не может подыскать нужного слова, он перестает писать и смотрит на юношу, не

снимая пальцев с клавиш пишущей машинки. Юноши вдвоем входят в дортуар. Усаживаются друг против друга. Хавьер замечает, что Карлос бледен. «Это ужасно, как ты мог принять такое решение»,— бормочет Карлос. Хавьер шагает по комнате, нервничает. «Все подлинно гуманное найдет отклик в его сердце». Хавьер поднимается и говорит наставнику, что хотел бы задать ему один вопрос. Священник откладывает книгу в сторону и всем своим видом изображает нетерпение, благостная мина исчезла с его лица. Карлос говорит, что он должен молиться еще ревностнее, просить бога о даровании более горячей веры. «Веру дарует бог, мы должны просить о ней. Нам редко приходит в голову молиться о вере». Отец ректор сказал: «Войдите». Хавьер медлит, мнется в нерешительности на пороге. «Войдите»,— повторяет ректор. «Но позволь, сын мой, о чем ты говоришь? — недоумевает наставник.— Следует разобраться получше: церковь не есть воплощение несправедливости, еще менее — отсутствия человеколюбия. Те граждане, которые не исполняют свой долг человеколюбия и справедливости, не представляют церкви».— «Но, отец, они ходят к мессе, причащаются, от них зависит жизнь католических учреждений». Хавьеру не спится, он встает с кровати. «Мне нужно осуществить свое решение, раз и навсегда»,— думает он. Наставник смотрит на него с удивлением, рука его покоится на странице раскрытой книги. Друзья в комнате одни. «Читай. Или хочешь, чтобы прочел я?» — «Все равно». Хавьер садится на край кровати, свешивает ноги на пол. Холодные мозаичные плиты обжигают ступни. Карлос безмятежно спит. «Сном праведника»,— думает Хавьер. В каждой косточке отдаются шаги. Воспитанники, толпящиеся в коридоре, замолкают при его приближении и вновь принимаются болтать, как только он проходит мимо. Хавьер делает несколько шагов по комнате босиком. Стук в дверь канцелярии ректора звучит отрывисто. Карлос в испуге просыпается. «Извини»,— говорит Хавьер. Два энергичных удара в дверь. Ректор вытаскивает бумагу из машинки и принимается перечитывать написанное; он откинулся всем телом назад и слегка раскачивается. Хавьер останавливается перед дверью ректората, оглядывается; позади длинный коридор словно протянулся в бесконечность, в бездонное ничто. Юноши смотрят на него ледяными глазами, на лицах — холодные, застывшие маски. Хавьер присаживается на край кровати к Карлосу. «Карлос, Карлос». «Потому-то церковь и ощущает себя как нечто близкое и подлинно солидарное роду человеческому и его истории». «Я не хотел огорчать тебя». В комнате прохладно и почти темно, однако можно разглядеть круглое мальчишеское лицо Карлоса. «Пожалуйста, повтори это еще раз»,— просит Карлос. Наставник побледнел. «Неужели у тебя нет ни капли здравого смысла?» «Ну хорошо, что же все-таки привлекает этого юношу?» — говорит ректор, не отрывая глаз от исписанного листа. «Перед церковью, таким образом, весь мир, иными словами, вся человеческая семья, объединенная общностью конкретных элементов действительности, среди которых она живет». Карлос перестает читать и поднимает глаза на Хавьера, тот вздыхает и говорит, что не знает уже, что и думать, все так перепуталось. «Речь идет о любви, а не о понимании, Хавьер»,— замечает Карлос. Из своего окна Хавьер смотрит на безмолвное звездное небо. В комнате слышно лишь спокойное, ровное дыхание Карлоса. «А различные учения — социализм, психоанализ, экзистенциализм,— разве они не часть этих элементов действительности, этой общности, в которой живет человечество?» — спрашивает Хавьер. Отец наставник делается красный как рак. «У нас есть энциклики»,— говорит он. Карлос просыпается и глядит на него с изумлением. «Друг, друг». Отец ректор обращает свой взор на уставленную книгами полку и проводит рукой по лбу с выражением усталости и отчаяния. «Целых шесть лет вы считались лучшим учеником»,— замечает отец ректор. В коридо-

ре горят небольшие светильники, отбрасывающие пятна утомительного желтого света. Свет падает сверху на лица воспитанников, искажая черты, делая их похожими на причудливые резные узоры. «Да, Карлос. Речь именно о любви, но любовь — это то, что побуждает к действию, это не любовь философов, это любовь тех, кто переживает ежедневную усталость,— только такая любовь способна облегчить человеческие страдания». Карлос опускает голову. Наставник входит, улыбаясь, в его руках толстая книга. «Друг, ты, кажется, уже молишься?» — думает Хавьер, глядя на склоненную голову Карлоса. «Мир — подмостки человеческой истории, с ее порывами, поражениями и победами; мир, который, по убеждению христиан, зиждется на любви Создателя».— «Но разве вы не видите, отец наставник, что церкви больше нет среди людей? Церковь осудила их, продолжает осуждать ежечасно. Ведь это же первое, чему нас учат: что плохо у других, где они сплоховали. Не осталось никаких следов человечности даже здесь, в этих стенах, где мы переживаем грядущую горечь мира».— «Ну, конечно, Хавьер, я уже знаю, что тебя беспокоит, но...» — ректор замолкает, так и не подобрав нужного слова. Карлос смотрит на него глазами, полными слез. «Из-за тебя у меня сжимается сердце, брат»,— говорит Хавьер и утыкается головой ему в грудь. «С незапамятных времен мы знаем только одно: в чем ошиблись другие. И, не колеблясь ни минуты, отмечаем их идейные и практические ошибки. Сами же никогда ни в чем не ошибаемся». День занимается в небе, простирает свои крылья над крышами. Наставник с размаху ударяет кулаком по столу: «Это невыносимо! Я больше не могу позволять тебе нести этот вздор!» Ректор смотрит на него с заученным сочувствием: «Наверно, ты немного утомлен». Наставник входит в класс, тщетно ищет взглядом Хавьера. «Хавьеру сегодня нездоровится»,— поясняет Карлос. Наставник окидывает воспитанников горящим взглядом, в котором можно прочесть: «Ну, не говорил я вам, что с ним что-то не так?» Карлос опускает глаза. «Давай-ка почитаем, Хавьер: это всегда успокаивает, умиротворяет, создает чувство гармонии». «Есть вещи, которым не следует искать никакого объяснения по той причине, что его не существует»,— говорит ректор. Хавьер стучится в дверь канцелярии и ждет. «Ладно, Карлос. Оставь меня одного». «В наши дни род человеческий, ошеломленный своими собственными открытиями и собственным могуществом, часто с тоской задает себе вопросы о происходящих в мире процессах, о месте и назначении человека во вселенной, о смысле его индивидуальных и коллективных усилий»,— читает наставник. Хавьер один у себя в комнате. Ложится на постель и лежит с открытыми глазами. Кто-то остановился у дверей. Хавьер услышал несколько неуверенных шагов, может, это Карлос, думает он, но тут же отвергает предположение — ведь Карлос вошел бы без колебаний. «Послушай, если ты уже сейчас постоянно за все в тревоге, ты никогда не почувствуешь удовлетворения... Сейчас перед тобой стоит непосредственная и в высшей степени практическая жизненная задача: ты должен окончательно созреть, возмужать умственно и духовно; и тогда, только тогда ты полностью поймешь все то, что сейчас тебя возмущает». Наставник садится и начинает говорить о прочитанном. Карлос думает о Хавьере. Карлос обнимает Хавьера и просит его подумать еще раз, говорит, что его решение ужасно. «Дух наш христианский и евангельский»,— звучат слова ректора. Хавьер берет книгу и следит за чтением. «Повтори этот стих»,— просит Карлос. Наставник остановился перед комнатой Хавьера; поднимает руку, чтобы постучать, но нечто более сильное, чем это намерение, отводит ее в сторону. «Сегодня останусь у себя. Не пойду на занятия»,— говорит Хавьер. Рука наставника опускается. «Поговорю с отцом ректором»,— решает он и тут же поворачивает назад. «Карлос, я думаю об этом уже не первый месяц. Ты ведь

знаешь».— «Это так, но подумай, ты перевернешь всю свою жизнь»,— говорит Карлос. «Церковью не движут никакие земные устремления. У нее один-единственный помысел: под эгидой святого духа продолжать дело господа нашего Иисуса Христа, который явился в мир, чтобы оставить ему истинный завет, чтобы спасать, а не судить, чтобы служить, а не принимать услуги». «А не принимать услуги, а не принимать услуги, а не принимать услуги»,— твердит про себя Хавьер. «С другой стороны, ты еще недостаточно подготовлен для того, чтобы иметь возможность понять и оценить по-настоящему серьезность собственных заявлений, которыми ты бросаешься походя»,— говорит наставник уже несколько спокойнее. «Но когда я буду способен это понять, отец? Почему мы все так усложняем? Ведь мы превратили религию малограмотных пастухов и рыбаков в целое греко-романское сооружение, в котором богословские тонкости и нагромождения правил стали выдаваться за ее суть!» Брови отца ректора поднимаются от удивления. «Однако, сын мой, сын мой»,— начинает ректор. Карлос встает с кровати и делает по комнате несколько шагов, низко наклонив голову, разрывающуюся от боли. «Может быть, тебе отдохнуть, сын мой?» Наставник снова берется за книгу и возобновляет чтение, на этот раз воздерживаясь от каких-либо комментариев. В классе тяжелая напряженная атмосфера. «Отдых всегда действует ободряюще, укрепляет, вливает новые силы, помогает бороться с душевной усталостью»,— убеждает ректор. Юноши обнимаются: они глядят на расплывчатые тени за окном, предвещающие наступление нового дня. «Это слово любви, Хавьер»,— говорит Карлос. «Скажу об этом ректору сейчас же, сегодня же, днем или ночью»,— говорит Хавьер. Хавьер садится рядом с Карлосом. На занятиях никто не разговаривает. «Отец, я вынашиваю это в себе много месяцев». В полдень приходит Карлос и сообщает, что с ним беседовал преподаватель теологии и рассказал, как он подходил к дверям, но не решился войти. «Человека, самого человека надо спасать. Самое общество человеческое надо обновлять». Карлос начинает молча плакать и берет его за руку. В коридоре слышатся шаги. Хавьер все так же лежит с открытыми глазами на кровати, уставившись взглядом в пятно на потолке, которое колеблется, то разрастаясь, то вновь делаясь едва заметным. «Перемена такого рода означает, что жизнь твоя потечет по новому руслу»,— говорит ректор. Наставник продолжает читать текст, Карлос опускает голову. Друзья обнимаются, откладывая книгу в сторону. «Я буду с грустью вспоминать об этом всю жизнь, потому что мы уже никогда не станем такими, как сегодня, какими были прежде»,— произносит Хавьер. «Нет, нет, не говори так»,— умоляет Карлос. Комната залита ярким светом, и с просторного двора Главной семинарии доносится нежный и проникновенный призыв колоколов. «Да, он человек, но человек очень цельный, человек душой и телом, сердцем и совестью, разумом и волей...» Карлос протягивает руку и дотрагивается до руки друга. Карлос. За цельного человека. Карлос.

Шаги удаляются по коридору. Хавьер откладывает журнал в сторону. «Это было бы величайшей глупостью»,— думает он. На мгновение наступает полная тишина. «Хуана, не делай этого»,— мысленно говорит Хавьер. Девушка стоит в конце коридора, рука ее замерла на выключателе. Слышно учащенное дыхание. Под ногами скрипнула доска. Хуана вздрагивает и отдергивает руку. В коридоре темно. «Зачем я это делаю?» — ужасается она и идет на цыпочках к комнате Хавьера. Нервы напряжены, все тело сотрясает дрожь. «Зачем я это делаю? Ни за что, ни за что...» — твердит она.

Хавьер снова берется за журнал. «Приговорен к смерти»,— читает он. Фраза не слишком задерживает его внимание. Он думает о Хуане,

которая, наверно, стоит там, в коридоре. «Это поистине великий ирландский актер»,— читает Хавьер. Откладывает журнал и встает. Вглядывается в лицо обреченного актера. Красивое мужское лицо, маской равнодушия прикрывшееся от вспышек репортерских ламп. В коридоре какой-то шорох. «Там Хуана, она придет»,— говорит он себе, одновременно радуясь и досадуя. Девушка снова остановилась. «Зачем, зачем я это делаю?» — твердит она про себя. Совсем рядом спальня родителей Хавьера. Воображение рисует ей, как отворяется дверь и высовывается рассвирепевшее лицо хозяина. Что бы она сказала старику? Она бы не знала, куда деваться. Лучше думать о том, что ей предстоит завтра, о сделанном за день, о словах Хавьера: «Этой ночью я жду тебя в моей комнате. Ты должна прийти». Кажется, что вот-вот лопнут вены на висках. Хоть бы Хавьер пришел на помощь. «Выйди,— заклинает она.— Я здесь, Хавьер, ты же знаешь»,— думает она исступленно. В хозяйской спальне кто-то заговорил. Ноги у Хуаны задрожали и стали подгибаться. Никогда еще коридор не казался ей таким длинным и мрачным.

Хавьер смотрит на лицо печального и веселого актера, «кумира публики везде, где бы он ни находился, публики, которая разделяет горечь его обреченности». Актер учтиво взирает на него с журнального листа. «Хуана, ты не должна приходить сегодня,— думает он.— Хуана, бедняжка, не надо, не приходи больше».

Стоя в коридоре, Хуана молит бога, чтобы Хавьер открыл дверь, избавил ее от стыда открывать самой. Она делает три решительных шага. В родительской спальне, которая наконец осталась позади, старики возобновили разговор. Хуане кажется, что она слышит, как хозяин говорит что-то вроде «как ты сказала?» или «какое наказание»; потом женский голос произносит фразу, которую можно понять как «и он, должно быть, страдает» или — с не меньшей вероятностью — как «он тоже не понимает». Хуана добралась до комнаты Хавьера. Прислоняется щекой к прохладным доскам двери. Гладит их ладонью. Слезинка — от утомления, стыда и радости — стекает по щеке, она не утирает ее, на шее слеза иссякает. «Боже мой, боже мой, а если он рассердится, что я пришла? — спрашивает она себя.— Что, если он переменился с сегодняшнего утра?» В комнате стариков заговорили повышенным тоном, заспорили, и тут же спор оборвался, наступила тишина.

Хавьер вновь вытянулся на кровати, взял журнал и опять принялся за чтение. «Когда врач уведомил знаменитого трагика о состоянии его здоровья и посоветовал...» Ладонь Хуаны легла на ручку запора, металл обжег ее холодом, Хуана на мгновение отдернула руку. «Он сказал, слабо улыбаясь: я уже придумал себе эпитафию». Ручка сдвигается с места, издавая едва слышный скрип. Хавьеру должно быть видно, как она поворачивается. Он продолжает еще читать, что сказал актер дальше: «Как жаль! Боже мой!» Хавьер встает и подходит к Хуане: она застыла, словно пригвожденная к порогу, бледная, не решаясь сделать ни шагу больше. Ее неподвижный взгляд направлен в какую-то точку позади Хавьера, в неопределенную даль. Рука не отрывается от двери. Свет, падающий из комнаты, обрисовывает в коридоре бесформенную, уродливую тень. «Как хорошо, что ты пришла!» — шепчет Хавьер и берет ее руку, все еще держащуюся за дверь. «Ты не ждал меня»,— говорит девушка, не выпуская дверной ручки. Хавьер один за другим медленно и ласково отцепляет ее пальцы.

Он запирает дверь. Хуане немного легче на душе, она смотрит на брошенный на пол журнал. «Я читал»,— поясняет Хавьер, чтобы что-нибудь сказать.

Хуана больше не раскрывает рта, садится молча на край кровати. Руки и голова кажутся ей тяжелыми и лишними, мешают. Хавьер присаживается рядом и берет ее руки в свои. «Хуана,— шепчет он в самое

ухо девушки.— Наконец-то ты пришла». Хуана опускает голову. Хавьер обвивает ее тело руками. «Ты велел мне прийти»,— говорит Хуана. Хавьер думает о бедном актере, которому суждено покинуть ту единственную жизнь, что у нас есть. Он целует девушку. Хуана смотрит на него и мягко отстраняет. «Хавьер, нехорошо все как-то». Юноша выпрямляется, пристально глядит на нее. Глаза его на мгновение застилает тень нерешительности, мимолетное облачко. Девушка поднимается и вздыхает. «Погаси свет»,— велит ей Хавьер. «Нет, не знаю, нехорошо это». Голос Хуаны звучит жалобно и словно издалека. Хавьер подходит, обнимает девушку за талию и тянет за собой к выключателю. «Я сам погашу, Хуанита»,— говорит Хавьер, целуя ее. Девушка берет его руку и привлекает к себе. Два лица сливаются, смешиваются в темную массу. Два тела, покачиваясь, движутся к ложу.

Отец стоит в дверях. Хавьер глядит на него — все еще трясущегося, с широко открытым ртом. Мать кидается к сыну. «Постой! — кричит она. — По!..» Он на улице, один, без гроша в кармане. Зимнее холодное утро. «Ты мой сын, а не выродок!» — кричит отец, вскакивая из-за стола и швыряя салфетку к себе в тарелку. Хавьер видит, как салфетка постепенно напитывается влагой и наконец тонет в супе. «Тише, сынок, успокойся»,— молит мать. Прохожие пристально и удивленно смотрят на него, потом — Хавьер это чувствует — не удерживаются и оборачиваются, смеясь и отпуская шутки. «Отец, я больше не могу так жить».— «Я тебя не понимаю». «Давайте лучше есть суп, он стынет»,— вмешивается мать. «Но, мама, я должен сказать, что думаю. Я больше не могу. Это несправедливо». Мать обнимает его, отрицательно качает головой. «Сделай это ради меня, ладно?» Какие-то ребята бесцеремонно показывают на него пальцем и перешептываются. Мать вошла к нему в комнату. Смотрит и не может вымолвить ни слова. «Наверно, у меня не в порядке костюм или лицо испачкано»,— думает Хавьер, переходя Прадо. Мать берет его за руку. Хавьер останавливается и, подумав, решает перейти Прадо и свернуть на улицу Испании. Салфетка постепенно становится темно-кремовой. «Пожалуй, так она красивей, чем сухая»,— думает Хавьер. Мать смотрит ему в глаза, не в силах сказать ни слова. Он гладит ей волосы. Отец вошел в столовую, он что-то чувствует — лицо его приобрело напряженное выражение, и привычная лучезарная улыбка превратилась в ненужную, нелепую гримасу. «Погоди, не сейчас, погоди»,— шепчет мать, хватая Хавьера за руки. Хавьер запирается у себя в комнате. Начинает переодеваться. «Откровенно говоря, не могу тебя понять». Хавьер подходит к решетке и протягивает руку. Входит Хуана, держа в руках супницу; здоровается с хозяином. Старик едва кивает в ответ. «Сначала ты твердил: хочу поступить в семинарию. Мы с мамой пытались тебя отговорить, но в конце концов после длительных споров вынуждены были уступить, ничего не поделаешь. Я знал, что на этом поприще тебя ждет поражение. Священников пекут из другого теста. Но я уступил. Еще бы — это же было твое «призвание», «зов божий»...» Хавьер присаживается на скамейку в сквере на площади Барба-де-Падилья. Площадь крохотная, но много значит для Хавьера, она навевает ему воспоминания детства; он так явственно видит себя резвящимся здесь среди разных горок, бумов и других сооружений для детских игр, которых тут уже давно нет. Мимо проходят двое мальчиков — при виде Хавьера они начинают смеяться. Хавьер нехотя поднимается со скамьи. Подавая суп, Хуана украдкой поглядывает на него. Хавьер ни словом не обмолвился ей о своих намерениях. Видя отчаяние девушки, он чувствует угрызения совести. Хавьер подходит к киоску. «Последний раз куплю у старика»,— говорит он себе. «Потом ты вдруг являешься, когда

тебя никто не ждет. С призванием покончено. Я готов все забыть. Ни словом тебя не упрекаю. Мы с мамой радуемся, что ты с нами. Тебе приходится начинать сначала». Хавьер слышит, как кто-то подходит к его комнате. Дверь отворяется. Прислонясь к решетке, Хавьер чувствует холод металла. «Ты кончишь в тюрьме, сынок»,— говорит ему мать. Хавьер с презрением оглядывает свою комнату, прежде такую уютную. «Дай ему хотя бы спокойно пообедать. Ты знаешь, как он устает за день».— «От чего устает?» — «На нем лежит огромная ответственность, он отвечает за предприятие».— «Я хотел бы, чтобы он хоть раз, один только раз испытал другую ответственность, чтобы он пережил то, что переживает человек, который не может принести домой кусок хлеба».— «Ты опять свое...» «Как поживает папа, Хавьерито? — спрашивает киоскер.— Пожалуйста, вот пачка сигарет».— «Спасибо... и... пока».— «Не беспокойтесь, дон Хавьерито». «Никто не виноват, что родился богатым, что живет в достатке благодаря своей энергии; наоборот...» «Не беспокойтесь, дон Хавьерито, я запишу на счет вашего отца». «Но я решил жить по-другому. Я не собираюсь стать директором по наследству». Мать смотрит на него, прижавшись лицом к его лицу; в глазах ее сквозит усталость, в них дрожат слезы. «Я не хочу потерять тебя»,— говорят эти печальные глаза, терзая ему душу сильнее, чем слова. Уже на улице Хавьер вспоминает взгляд матери. «Это моя горестная дань, моя жертва»,— говорит он себе. «Все выдумки твоих дружков да бредовые идеи из твоих книжек»,— бросил ему отец, побледнев от гнева. Он отворяет шкаф и выбирает одежду, которая кажется ему поизношенней и попроще. «Дон Хавьерито, я не хочу совать нос в ваши дела, но, по-моему, этот костюм...» Спустившись, он видит, что отец, уперев руки в бока, стоит посреди коридора. «И наконец тебе вздумалось заняться общественными науками. Хорошо, никто не против. Тогда ты берешься за книги этих ненормальных, пораженных недугом ненависти. Время от времени ты изрекаешь протокольные фразы. Я терплю. Уповаю на то, что это у тебя вроде горячки и со временем пройдет». Хавьер оглядывает свой костюм: потертые, старые брюки цвета хаки, красная рубашка и оставшаяся с семинарских лет толстая синяя куртка с чересчур короткими рукавами. «А, вот отчего люди смеются»,— говорит он с улыбкой самому себе. Из-за отцовского плеча высовывается голова матери. Все молчат. Хавьер проходит, почти касаясь их. Мать принимается плакать. «Оставь, пусть уходит. Он еще вернется: работать-то этот вшивый интеллектуал не умеет»,— говорит отец, удерживая жену, готовую кинуться вслед за Хавьером. Хавьер подходит к двери и протягивает руку. До ушей его доносится сдавленное рыдание. Поворачивает голову — позади отца, закусив зубами уголок фартука, застыла в темном коридоре Хуана. Хавьер с силой нажимает на дверную ручку. «Это вы, верно, на пари, а, дон Хавьерито?» — интересуется киоскер. На улице Испании стоит та же тишина, что и на других. Сейчас лучше пройти улицу Двадцать пятого мая до самого конца, зайти за Хосе, а потом вместе добраться на грузовике до Ла-Паса. «Нет, это совсем не увлечение и не жажда необычайного,— говорит он матери.— Все гораздо серьезней: это то, что я должен сделать, то, к чему от рождения чувствую себя призванным». «То же самое ты говорил, когда...» — мать умолкает, ни словом не желая причинить боль сыну. Свежий утренний ветер бьет ему в лицо, когда он распахивает дверь. «Бедная Хуана»,— успевает подумать он. Потом оглядывает свою комнату и выходит в коридор.

«Вот и ты, наконец»,— говорит Хосе. «Ну что ж, старик, не будем терять времени». «Разрешите угостить вас сигарой, дон Хавьерито?» — «Нет, спасибо, я спешу». Старик настаивает. Чтобы не обидеть его, Хавьер соглашается. «В молодости я тоже был сорвиголова, дон Хавьерито. Однажды я побился об заклад, что появлюсь на городской площа-

ди в женском наряде. Конечно, в ту пору Кочабамба была раз в пять, если не в шесть, меньше нынешней, а улица Прадо еще только намечалась». «Я попрощаюсь с Нэгрой. Войдешь со мною или обождешь?» — спрашивает Хосе. «Подожду». «Делать нечего, пришлось выполнять задуманное. Ладно, дон Хавьерито. Натянул я материнскую юбку — и на улицу. А там, представляете себе...» Хосе делает несколько шагов и возвращается, на глазах у него блестят слезы. «Бедная, снова будет плакать. И так проплакала всю ночь»,— говорит он. Хуана закусывает край розового фартука. «Да провались оно к чертовой матери, это право собственности, так его...» «Ради бога, не употребляй ты этих ужасных выражений»,— умоляет мать. Отец в бешенстве вскакивает из-за стола, кричит: «В доме стало невозможно разговаривать!» «А приятели бегут следом, дон Хавьерито, и, извините за выражение, выламываются: «Ну что за красотка! Вот с такой бы...» и уж не помню, что еще, дон Хавьерито». Хосе подносит руку ко лбу. «Но она все поймет. Я ей сказал, что мы это делаем ради будущего нашей родины, ради наших детей и нас самих... Да, это очень не просто, старик»,— говорит Хосе. Хавьер обнимает его за плечи и старается утешить. Молодые люди идут к проспекту Арома. Хуана опускает голову, а отец Хавьера отстраняет жену и идет к парадному, которое осталось открытым. «Тут откуда ни возьмись появляется какой-то забулдыга, порядком, простите за выражение, дон Хавьерито, косой, и все сразу начинают оглядываться на нас, особенно на меня. Приятелей моих в один миг как ветром сдуло, и я остаюсь одна, то есть один, с глазу на глаз с этим пьянчугой. А тот с ходу начинает приставать, приглашает переспать и обещает подарить прехорошенькую штучку». Хавьер поджидает Хосе возле его дома. В этом квартале наряд Хавьера никого не удивляет. Отец добегает до дверей, останавливается и с презрительной улыбкой смотрит на сына. Хавьер отворяет калитку. На улице мало прохожих, холодно. Отойдя немного от дома, он останавливается и думает, как лучше добраться до района Канчи. «Потом этот тип, дон Хавьерито, начинает давать волю рукам. А я даже пожаловаться не могу карабинеру, который стоит на посту у префектуры. В конце концов я не выдерживаю, даю пьянице увесистую пощечину и говорю своим натуральным басом: «Пошел ты к такой-то матери!» Пьяница зашатался от удара и от изумления прикрыл глаза, на отвислой губе у него показалась кровь». Киоскер заливается смехом. «Как это тяжело, старик»,— говорит Хосе. Хавьер ласково смотрит ему в лицо. Нэгра провожает Хосе до дверей, двое ребятишек вцепились ей в юбку, не понимая, почему мать плачет. А та поднесла край передника ко рту и в бессильном отчаянии теребит его зубами. Лица Хуаны уже не различить: отец стоит в дверях, заслоняя внутренность коридора; Нэгра и Хуана ничего не понимают, они только кусают свои фартуки и плачут. Стоя в раме двери, отец поднимает над головой кулак, но тут же опускает, так ничего и не сказав. Вслед за ним из коридора появляется мать и кричит: «Постой!» Теперь Хавьеру надо решить, каким путем лучше добраться до Канчи.

Наконец спуск кончился у последнего помещения Царства (до этого им пришлось миновать круг четвертый и пятый. Он, Хавьер, превращался в Вергилия, а потом в определенный момент необычайного путешествия утрачивал ипостась учителя и проводника, тогда как верный ученик начинал свою метаморфозу, превращаясь в Вергилия — даже оливковая ветвь опоясывала его чело,— и приобретал повадки учителя, ибо на пути к городу Хавьер был еще тем, кто отвечает, а Хосе — тем, кто спрашивает). «Присядьте, товарищ»,— сказал Он и протянул руку (до этого руку протягивал Хосе, указывая на белую громаду горы, вы-

росшую перед ними. Хавьер взглянул на Ильимани[1] и поделился со своим другом всем, что знал, попросив его сидеть с закрытыми глазами, пока он будет рассказывать. Поезд уже пробегал последние километры долгого однообразного пути через Альтиплано[2]). Хавьер ответил — да, они с товарищем прибыли вчера в ночь. Он посмотрел на людей, рассаживающихся возле него, и улыбнулся такой располагающей, открытой улыбкой, что Хавьер даже усомнился — может ли человек, столь расположенный к откровенности и такой непосредственный, осуществлять те задачи и нести ту ответственность, которые осуществляет и несет Он. Хосе, человек, знавший больше всех других, больше Хавьера, что лишь доказывало величие дела, которому он себя посвятил (то было дело всей его жизни, единственное, которое позволило ему найти себя, потому что — Хавьер это знал — нельзя сказать, что ему легко было оставить свою жену, бедную простодушную женщину, для которой все это было почти полной неожиданностью; Хосе любил называть жену Нэгрой. Хавьер был едва с ней знаком, действительно, он вспоминал, что видел ее дважды: в первый раз Хосе, в восторге от нового товарища по партии, пригласил его к себе и познакомил с женой, испытывая чувство, сходное с тем, которое несомненно испытывает ребенок, тайком показывая своему товарищу игрушку, принадлежащую ему одному. Хавьер подал ей руку и ощутил в своей ладони маленькую ладонь — такую хрупкую и бесплотную, что она никак не соединялась в его представлении с этой женщиной, которая не только безропотно везла на себе весь дом, но и работала в ткацкой мастерской вместе с мужем...), итак, Хосе задал какой-то вопрос — какой, Хавьер не понял, ибо был слишком взволнован и возбужден. Прежде чем ответить, Он шепотом переспросил товарища, сидевшего рядом, потом коротко ответил и замолчал, а на лице его опять засветилась милая улыбка. Все подняли глаза на Хавьера. Он не сразу сообразил, что его о чем-то спрашивают. Не зная, что сказать, он посмотрел на Хосе. Приятель одобрительно кивнул, как бы подбадривая его и побуждая говорить, хотя Хавьер даже приблизительно не уловил смысла услышанного. Тогда Он обернулся к кому-то назад, словно давая Хавьеру время собраться с мыслями. Хавьер чувствовал, что последнее слово фразы, которую Он произнес, застряло у него в ушах, словно легкое птичье перышко в тихом закутке: «Решение». Кто-то вышел из темноты, прорвав плотный круг желтого света. Потом Хавьер услышал позвякиванье стекла. «Кофе»,— сказал Он. Рука (она чем-то напомнила Хавьеру руку Нэгры, тоже предложившей ему в тот вечер «глоточек» кофе; он поспешил тогда согласиться, желая поближе сойтись с этой семьей, которая не знала, чем еще попотчевать молодого гостя из буржуазной семьи) поставила перед Командиром чашечку дымящегося кофе. Хавьер ответил: да. Голос его, казалось, прорвался с трудом, ободрав ему горло, потому что (он это знал) короткое односложное словечко, которое можно заменить легким кивком головы, решало всю его дальнейшую жизнь. «Чудесно»,— сказал Он и указал товарища, который введет его в курс дела. Та же рука вновь прорвала световой круг и поставила чашку кофе перед Хавьером. Хосе с улыбкой поглядел на него сквозь струйку пара, змеившуюся из чашки (... а во второй раз его уже не смогли угостить даже «глоточком» кофе, потому что бедная Нэгра с трудом сдерживала слезы, застилавшие ей глаза: она видела, как отец ее детей покидает дом и все, что им удалось нажить, ради чего-то непонятного ей). Человек объяснил все, что от него требовалось, и, улыбнувшись удовлетворенно, умолк. Хосе поднялся и отошел в угол комнаты покурить. Хавьер задал еще несколько вопросов и подошел к Хосе. «Хочешь

[1] Горный массив высотой до 7000 метров неподалеку от боливийской столицы Ла-Пас.

[2] Высокогорная область Боливии.

курить?» — спросил Хосе. Хавьер не ответил, только глянул на него глазами, горевшими как угли в темноте. «Нас назначили в разные группы»,— сказал он. «Да»,— подтвердил Хосе и затянулся сигаретой. Хавьер попросил у него окурок. Хосе машинально протянул ему руку. Харьер вдохнул теплый аромат. «Мы должны были быть готовы к этому»,— сказал Хосе, кладя руку другу на плечо. Хосе прикрыл глаза, но не с показавшимся Хавьеру таким милым детским чувством ожидания чуда, с каким он закрывал их в поезде,— он зажмуривался, словно боясь, что не контролируемые сознанием веки разожмутся и тогда исчезнет очарование неожиданности, которое он бы ощутил, открывая глаза время от времени по указанию Хавьера; Хосе закрыл глаза так, как закрывал рот (Хавьер снова улыбнулся при воспоминании об этом),— он втягивал губы и становился похожим на беззубого слепого гнома и тут же снова открывал с какой-то покорностью, хотя эта покорность, это смирение (в значительной степени основанные на яростной убежденности в том, что он служит своему идеалу, делу, которое было много значительнее его самого, его семьи и Хавьера, вместе взятых) теперь не имели ничего общего с охватившим его мальчишеским изумлением и восторгом при виде (когда Хавьер велел ему открыть глаза) самой удивительной впадины Альтиплано, освещенной веселым мерцанием искр у самых его ног; и услышанные им слова здесь, в этом Круге кругов, звучали естественно и просто: «Социальная справедливость».

Хавьер же сейчас думал о том, что было бы прекрасно, если бы они, как новые Вергилий и Данте, взявшись за руки, повели друг друга по крутым извилинам зловещих путей этого мира (мира, не лишенного ни одной из привилегий того, другого мира: в нем есть церберы, святые лики, горгоны, но есть и печальные сирены). «Справедливость, справедливость»,— машинально повторял Хавьер.

Мы не трусы, это ерунда, но стоять в строю в чем мать родила и ждать, когда нас осмотрит врач,— в этом, говорю я себе, есть, по-моему, что-то унизительное. Отставить разговоры, сердится доктор, времени на всех хватит; а ну, говорит мне, откройте рот, покажите язык. Тут он отворачивается к своему помощнику, не пришел ли, спрашивает, полковник Кадима. Помощник что-то ответил, а я все стою с разинутым ртом, и язык у меня сохнет на холодном ветру. Все в порядке, говорит доктор, можете убрать язык и закрыть рот. Ну, думаю, надо же было заставлять человека вывалить язык аж до самого пупа, чтобы взглянуть на него одним глазком, точно он мясо, которое не стоит покупать. Ясно, это я только про себя подумал. А доктор не отстает, дышите, говорит, глубоко, задержите дыхание, пока не скажу. Тут он видит полковника Кадиму, улыбается, бормочет что-то вроде «извините, не могу подать руки»; а я — везет же мне, как утопленнику,— совсем дохожу, вот-вот лопну, хочу я сказать. Полковник видит мои выпученные глаза, подернутые смертной тоской,— что здесь делает этот новобранец, спрашивает, по-моему, его сейчас удар хватит, он уже посинел. Просто новобранец набрал воздуха в легкие, но поскольку, видите ли, ему не приказали выдохнуть...— объясняет врач, а сам помирает со смеху. Ах, так, говорит полковник, из него, однако, выйдет хороший солдат; влажные пальцы полковника прикасаются к моей спине, где-то в задних рядах раздается смешок. Готово, все в порядке, теперь я как есть нагишом должен перейти в тот угол, где принимает зубной врач.

Зубной курит и болтает с сержантом насчет партизан. Слухи о партизанах, сержант, распускают враги демократии, чтобы посеять панику в народе. Так точно, господин доктор. На этой земле, где коммунисты поднимают смуту, все друг другом недовольны. Так точно, господин док-

тор. Что родине нужно прежде всего? Как раз спокойствие и работа. А тот доктору в ответ те же четыре слова, наверно, единственные, которые знает. Ледяной холод земли пронизал меня до самых коленок, чувствую, как все тело покрывается пупырышками. Ну и скотство же, думаю, господин сержант и господин зубной доктор, ну и скотство же считать, что я железный или еще какой неживой. А сержант знай бубнит свое так-точно-господин-доктор. У меня, оказывается, все в порядке, выгляжу молодцом, кто следующий; я даже рта не успел раскрыть — ведь все в порядке и выгляжу молодцом.

И вот я уже одеваюсь; так и перетак, закатали меня, говорю, придется теперь забыть про вольную жизнь. Парень рядом смотрит на меня и улыбается. Туда их и растуда, говорит и улыбается. Хороший парень, сразу видно; есть надежда подружиться, а что может быть важнее в нашей поганой жизни. Я — с удовольствием, говорю, а зовут меня так-то и так-то и протягиваю руку. А он — зови, говорит, меня Какаду, так меня все приятели зовут. Жизнь в казарме — дрянь, паскудная, прямо скажем, жизнь. Твоя правда, говорю, готов подтвердить, хоть не скажу ни о ком плохо, что там зря болтать. Какаду трещит и трещит без умолку; за это его и прозвали Какаду, поясняет он, да еще за нос — и тычет в горбинку пальцем. Но дружить он умеет. Вижу, говорит, ты парень простой, откровенный, не то что другие, говорит, со всяческими штучками. Я уже оделся и больше не трясусь от холода, как раньше, голышом. Какаду натягивает на себя суконную куртку с эмблемой американского университета, красивую желтую куртку, а эмблема — ярко-синяя, и написано на чистейшем английском языке. Догадавшись, о чем я хочу спросить,— всякий может купить, говорит, только сейчас уже какой смысл, нам выдадут форму. Форма девушкам еще больше нравится, подмигивает он мне и прищелкивает языком. А я насчет того разговора сержанта с зубным врачом о партизанах — интересуюсь, не пошлют ли нас защищать родину. Какаду мне: если, говорит, уже залез в дерьмо по шею, так окунайся с головой. И мы давай смеяться и снова пожимать друг другу руки; и тут же стали уславливаться насчет воскресенья, потому что у Какаду обнаружились две подружки — приятные собою и знающие толк в любви. Ну, Какаду, говорю, поковыляли на великие дела.

Одну зовут Альбертина, но обычно ее называют короче — Тиной; другую уменьшительно зовут Тере, Тереса то есть. Обе, можно сказать, пышненькие, особенно в бедрах. Одна, Тере, желает идти в кино — ни больше ни меньше. Другая — посидим, говорит, в кафе, поболтаем, потанцуем, повеселимся, вот будет здорово. Какаду поддерживает предложение, которое ему больше по сердцу, и, лукаво подмигнув мне, говорит, что, ей-богу, ничего лучше сеньорита Тина не могла придумать, ведь так, друг? Тогда и я принимаю предложение Тины и Какаду. Тере остается в меньшинстве и вынуждена подчиниться распоряжениям верховного командования, тараторит Какаду. Все смеются, мы обнимаем за талии девушек — каждый свою — и уходим.

В баре шумно, весело. На дверях — грифельная доска, на ней перечислены всякие кушанья — начни кто-нибудь это читать из чистого любопытства, и то у него волчий аппетит разыграется, и вдобавок — чича [1], напиток для питья, острит Какаду и, выпустив Тинину талию, кидается со всех ног в тот угол, который влечет его, как глубина рыбу. Я беру Тере за руку — знает ли она, говорю, как ей к лицу это прямо-таки королевское платье, цветочек румяный в платье багряном, как сказал бы поэт. Она не верит, мол, это я так, льщу ей.

[1] Алкогольный напиток, вырабатываемый из маиса.

Играет приятная музыка, пары танцуют, смеются. Ну, еще стопочку, Тина, любовь моя. Да что ты, Какаду, хватит, уж и так все перед глазами плывет. Плывет — расплывается. Тина, Тинита, лучше выйдем потанцуем, вино вывегрим; здорово помогает, старается Какаду. А я своей Тере — извините, говорю, на минутку; она, ясное дело, догадывается, куда я дену эту минутку вместе с ее извинением. Иду, а как до пола ногами достаю, сам не знаю, только ступить соберусь — глядь, пол, оказывается, ниже, чем я ожидал. И шаги сделались какие-то короткие, и все меня заносит куда-то вбок; а тут еще открытая дверь мужского туалета перекосилась, будто ей во что бы то ни стало надо боднуть цинковую крышу, которая вроде как свисает с неба, усыпанного красивыми звездами. Вхожу в туалет, словно в яму спускаюсь — глубокую-глубокую; ставлю ноги на пол, а он будто не желает, чтобы на него становились, и расступается, убегает из-под ног. Налетаю на какого-то типа, который на ходу застегивает брюки; тип, рыгая, извиняется. Да нет же, это я, извиняюсь, конечно, должен просить у вас прощения, виноват; ну, мол, еще чего. Тут он застегивается и выходит.

Наконец и я добрел до места, а то совсем извелся, так хочется,— выпито ведь немало... А теперь немножко легче. Небось, Тере, догадываешься, каково мне. Все, наверно, понимаешь. Ну, прошло — и ладно. Теперь в обратный путь, к тебе, моя Тере. Снова надо щупать ногою пол, хочешь не хочешь, иначе не выберешься; но все же чувствуешь себя уверенней и ступаешь потверже. А вот он и зал, залитый светом и музыкой.

Голос певца уверяет, что будет ждать всю жизнь, чего бы это ни стоило, ждать ту, которая ждет; очень чувствительно поет голос. Тере сидит за столом, покачивает головой и говорит что-то типу, который норовит ухватить ее за руку; у меня сердце как запрыгает, и я — скорей к Тере. Какаду бросает Тину и как двинет в плечо нахала. Ах ты сволочь, солдат, забыл уж меня, орет, и музыка гремит вовсю. Ну, держись, гад. Наконец мне удается как следует съездить по морде этому кобелю, что отбивает у меня Тере. Поднимается шум, женщины визжат, музыка грохочет, и Какаду трещит без умолку. А я говорю: проваливай, сука, понял, моя девушка, посмей только. Никому не позволю. Вот оно какое наше прощание-расставание. Послезавтра мы уходим, идем выполнять свой долг.

Часть вторая

— Смерть, перво-наперво, опережает наши желания,— говорит парень из Чако[1], по прозвищу Чакеньо.— Способ исполнить задуманное.

Языки пламени весело пляшут и тянутся вверх. Партизаны спят в палатках.

— Ты много думаешь о смерти,— говорит Хавьер.

Чакеньо улыбается. Подбрасывает сухую веточку в огонь. Пламя быстро пожирает ее.

Сверху, со склона холма, доносится стрельба. Солнце словно замерло над холмом. Невозможно ничего разглядеть в той стороне, куда указывает Командир,— солнце сразу ослепляет.

— Очевидно, наши натолкнулись на солдат,— предполагает Командир.

— Придется менять планы? — спрашивает Дарио.

[1] Чако — засушливая область на территории Боливии.

— Я думаю о смерти, когда остаюсь один,— говорит Чакеньо.— Когда чувствую свое одиночество в жизни,— добавляет он.

— Одиночество,— повторяет за ним Хавьер.

Разноголосый хор насекомых наполняет воздух. Темнота сгущается. Деревья леса сливаются в одну плотную тень и обступают лагерь со всех сторон.

— У тебя девушка есть? — спрашивает Чакеньо.

— Нет, у меня вообще никого нет.

Хавьер думает о Хуане. Печальный огонь страсти прогнал на время холод ночи. Осталась ли хоть зола? Наверно — в бедном сердце Хуаны.

— Снимаемся с места, прячем провизию и снаряжение,— приказывает Командир.

— Есть,— отвечает Дарио и идет собираться.

Все расходятся по своим местам, чтобы делать уже знакомое, привычное дело. Ни суматохи, ни паники.

— Свертываемся,— говорит Хавьер.

— Куда теперь? — интересуется Херонимо.

— В горы, в лес,— говорит Чакеньо.

— Беседуете? — Командир подходит к костру.

— Да,— отвечает Чакеньо, приподымаясь.

— Одного солдата взяли в плен, остальных убили,— сообщает кто-то.

— Очень досадно.— Командир огорчен.

Солдат стоит, подняв руки вверх. Стоит и смотрит на Командира с любопытством и страхом. Штаны на нем порваны. Рубаха расстегнута.

— Они были вооружены,— поясняет тот же голос.

— Можешь опустить руки,— говорит пленному Командир.

Солдат недоверчиво покачивает головой, словно сомневается, то ли он услышал. Озирается по сторонам, внимательно вглядываясь в партизан. Кажется, будто он хочет хорошенько увидеть все, прежде чем получит пулю в лоб. Глаза его беспокойно бегают, они полны слез.

— Тебе сказано, опусти руки,— улыбается Чакеньо.

Солдат повинуется. Потом переводит взгляд на свои ботинки и, как упорствующий в чем-то мальчишка, больше не отрывает от них глаз. Волосы у солдата растрепаны.

— Принеси-ка ему горячего кофе,— велит Командир Рубикону, негру-повару, который тоже вышел из кухни поглядеть, что делается.— Устраивайтесь поудобней,— говорит Командир, присаживаясь к огню.— Что-то не спится,— прибавляет он, словно извиняясь.

— Мы тут говорили о всякой всячине,— объясняет Чакеньо.— Чего только не приходит в голову, когда остаешься наедине с самим собой.

— Когда можешь излить душу другу, становится легче,— говорит Командир.

Пламя освещает лица троих мужчин, при каждом повороте неожиданно и по-новому обрисовывая их лица. Борода, обрамляющая бледное лицо Командира, выступает вперед, словно высеченная из камня.

— Ты когда-нибудь задавал себе вопрос, Командир, что такое твоя жизнь сама по себе? — с видимым интересом спрашивает Чакеньо.

— Мы вовсе не собирались ни на кого нападать. Нам и в голову не приходило, что мы окажемся в этой ловушке,— говорит солдат.— Нас послали задержать банду торговцев наркотиками... Перебили весь

отряд,— добавляет он, поборов волнение, от которого то и дело прерывается его голос. Он весь дрожит. Повар протягивает ему чашку горячего, дымящегося кофе.

— Ты должен понять, что у нас не было другого выхода,— говорит Дарио.

Солдат шумно глотает кофе. Машинально отирает лоб, на котором нет ни капли пота.

— Тяжко понять тому, кто остался в живых,— говорит он деревянным голосом. Слова идут откуда-то из самого горла.

Сегодня не вернулся Нико. Подозреваем, что в городке не все ладно. Командир послал группу бойцов понаблюдать за дорогой. Нико отправился в городок переговорить со связным из Ла-Паса и прикупить продовольствия. Он поехал в джипе, как всегда, и в обычный час. В городке его считают чудаковатым богатеем, который делает странные объявления по радио и таскает туда-сюда кучу книг. Мы ждали весь день на бугре, с которого видна дорога в городок. «Боюсь, что плохо дело»,— озабоченно сказал Командир, когда мы вернулись. Ночью часовые не разожгли костра. Благоразумие прежде всего.

— В моей жизни уже более полутора десятка лет есть один смысл: Революция,— отвечает Командир, шевеля хворостиной угли в костре. Он вынимает из кармана пачку сигарет и предлагает обоим своим собеседникам закурить. Потом зажигает сигареты тлеющим концом хворостины. Выпустив первую порцию дыма, Командир заканчивает: — До этого я был строптивым сыном буржуазной семьи.

Хавьер смотрит на него во все глаза.

— Я перепробовал все пути,— говорит Командир.— Практически занимался всем, чем только мог.

У солдата простое, смуглое лицо. Выступающие скулы и глубоко сидящие глаза выдают в нем индейца-аймара.

— Вы же были вооружены, значит, предполагали, что и контрабандисты могут на вас напасть,— наседает Дарио на пленного.

— Но убивать исподтишка нельзя,— убежденно говорит солдат, продолжая отхлебывать горячий кофе.

— Ничто не может заставить нас хоть на миг отречься от нашей миссии.

Пленный делает последний глоток и возвращает чашку повару, который остается стоять с чашкой в руке.

— Можете и убить меня, чтобы выполнить свою миссию,— говорит он и крестится.

— Вся жизнь посвящена одному делу,— говорит Чакеньо восхищенно.

Люди, сидящие кружком, вопросительно переглядываются. На миг наступает неловкая тишина. Пленный стоит в центре, готовый ко всему. Вытаскивает из кармана грязный платок и шумно сморкается.

— Извините,— говорит он, высморкавшись.

— Ты с Альтиплано? — предполагает Херонимо.

— Да, сеньор. Сейчас служу родине.

— Не родине ты служишь, а капиталистическим марионеткам! — взрывается Дарио.

Нико сел в джип, улыбаясь, махнул рукой на прощанье Командиру и нам всем.

— Привет подружкам! — крикнул ему Дарио.

— Передам с удовольствием! — ответил Нико и включил мотор.

До боли в глазах я слежу за горизонтом, надеясь увидеть облачко пыли, возвещающее о возвращении Нико. Солнечные лучи бьют мне прямо в глаза. «Ничего»,— думаю я.

Командир вытягивает ноги. Зевает.

— Вот и сон снова пришел,— говорит он.

— Так что насчет смерти, Командир? — не унимается Чакеньо и, как всегда, с нетерпением ждет ответа на свой вопрос.

Собрались за несколько минут. Пленный сидит под деревом, на глазах повязка. Каждому предстоит нести немалый груз.

— Нико сегодня не вернулся. Боюсь, они до чего-нибудь докопались. Надо быть готовыми в любой момент оставить лагерь и уйти в горы. Освободительная война несколько затянется,— говорит Командир.— Я распорядился, чтобы шесть человек держали под наблюдением дорогу и весь склон. Если они вышлют сюда отряд разведчиков, он пройдет здесь. Им приказано не дать нам уйти,— добавляет он.

— Ты где-нибудь учился? — спрашивает Херонимо.

— Я читать умею и писать. Учился у миссионеров в сельскохозяйственной школе,— отвечает пленный. Он мал ростом, у него широкая грудь, сильная, но короткая шея.

Мы выступаем. После засады, устроенной отряду правительственных войск, наши планы коренным образом изменились. Началась партизанская война, и мы все твердо знаем, что подготовительный период закончился.

— Смерть всегда застает нас врасплох,— говорит Командир.— Надеюсь, к тому времени, когда придет мой черед, я сделаю все, что должен был сделать только я один в мире.

Чакеньо с недоумением мигает, встает и подбрасывает в огонь сучья.

— Думаю, мы никогда не заслуживаем смерти — какой бы то ни было,— говорит Чакеньо и садится.

Командир, позевывая, поднимается.

— Хорошо погреться у огня, с удовольствием поговорил бы с вами подольше, но меня одолевает сон, товарищи. Очень жаль,— говорит он и отходит к своему гамаку. Командир спит под открытым небом.— Спокойной ночи, товарищи,— доносится из гамака его голос.

Люди смущенно смотрят друг на друга. Подходит Командир.

— Мы не собираемся тебя убивать,— говорит он.— Но отпустим, только когда покинем лагерь.

— Спасибо, сеньор,— говорит солдат. Голос его снова обрел звонкость, и в нем не слышится ни удивления, ни благодарности.

— Командир просто невероятен,— говорит Чакеньо.— Он целиком посвятил себя делу, и потому ему не лезут в голову разные глупости, как мне.

«Глупости, Чакеньо?» — думает Хавьер и вытягивается на траве лицом вверх, чтобы видеть небо в звездах: в бесконечных и безмолвных звездах, посылающих свой свет на землю извечно и во веки веков, звездах, застигнутых в атоме времени глазом смертного, который глядит на них и спрашивает себя один, в одиночестве бесконечного пространства: «Глупости, Чакеньо?»

Тут капитан как даст пинка собаке; он, черт вас дери, знает, что делает. Мы глядим, как бедная тварь, прихрамывая и скуля, улепетывает прочь и, забившись в угол двора, начинает подвывать — изливает бездомный пес свою горькую жалобу. В наших глазах можно прочесть: бедная тварь не виновата, что должны прибыть журналисты, которым непременно надо быть в курсе наших дел с партизанами. Капитан плюхается в гамак, вынимает пачку сигарет и остервенело, можно сказать в бешенстве, затягивается, впившись взглядом в тех, которые стоят к нему поближе. Мы беремся кто за что — лишь

бы не встречаться с ним глазами. Слава богу, хоть подвернулась собачка, решаю я, в общем даже радуясь существованию четвероногого. Самая растреклятая вещь в нашем положении не то, что нам предстоит драться с партизанами, а то, что драться-то не с кем — партизаны исчезли, словно по волшебству, и придется нам теперь двигать в сельву в полном боевом снаряжении и встречаться с ними один на один, чтобы покончить с этим делом. После третьей сигареты капитан начинает понемногу успокаиваться. Кажется, дела идут на лад, может быть, и ему станет жалко собаку, он ведь в общем-то не любитель мучить кого попало. Я даже решаюсь приласкать собаку — авось, на меня глядя, и он пожалеет безвинного пса,— и как раз в этот момент в дверях, выходящих на улицу, снова появляется один из этих чертовых журналистов, которые валят сюда из города, как будто им больше делать нечего и будто теперь все только и ждут известий о войне с партизанами. Какого еще рожна, беспокоится капитан, однако бормочет это себе под нос, чтобы не услышал корреспондент — тот уже щелкает фотоаппаратом, а мы второпях одергиваем свои куртки и облизываем губы, чтобы блестели. Стройся, приказывает сержант и велит стать поближе к капитану и корреспонденту, которые пожимают друг другу ручки, улыбаются и говорят, как кого звать; и чтоб придержали язык, мать вашу так, этого, мол, еще не хватало.

Капитан держит перед корреспондентом краткую речь, хотя уже не такую боевую и смачную, как та, первая, которую он произнес, когда мы прибыли в городишко. Знает старая лиса, когда и как говорить. Отдыхайте пока, велит сержант, и обращается к капитану — что, мол, прикажете, капитан, то есть господин капитан. Господин капитан вонзает в сержанта такой взгляд, словно собирается проглотить его вместе с ботинками. Не по душе, стало быть, пришелся этот «господин», думаем мы.

Мы сыновья своей матери-родины и пришли защищать ее от чужеземного нашествия — палец капитана указывает прямо на Какаду. Пусть господин капитан извинит, но вряд ли можно назвать выступления партизан чужеземным нашествием, ведь здесь отсутствуют элементы того...; нет, нет, на самом деле элементы есть, и при всем нашем уважении к Обществу-опеки-интересов-Родины должен заметить, что господин корреспондент не может об этом знать по некоторым политическим соображениям. Мы про себя молим, чтобы это все кончилось поскорее, ведь корреспондент хотел снять нас для городской газеты. Тут корреспондент заявляет, что желал бы задать нам несколько вопросов, а капитан начинает покусывать губу под усами. Потом улыбается и говорит, что мы вольны отвечать, как нам вздумается; господин корреспондент пусть устраивается поудобнее, чтобы лучше слышать: ну-ка, сержант, принесите сюда стул; зачем же, больше не нужно, не стоит себя утруждать; но именно для этого и существует Общество-опеки-интересов-Родины, потому сержант мчится во всю прыть и возвращается со стулом и с любезной улыбкой торговца мелочным товаром. Сержант ставит стул на землю, и господин корреспондент усаживается на него с блокнотом в руке, медленно обводит нас взглядом; мы же все смотрим на капитана, умоляем его о помощи. Брюхо капитана даже втянулось от страха перед угрожающими размерами блокнота в руках у этого человека; лицо корреспондента как бы для полного соответствия с его миссией — бледное и особенно серьезное из-за выпуклых глаз и искривленных губ, которые словно говорят: добра от меня не жди! Тут я замечаю, что пес-то перестал выть — так и есть, вон он, обнюхивает возле кухни немытую посуду. Капитан говорит, что мне сделают любезность и повторят вопрос, чтобы я потрудился ответить. Чувствую, как земля уходит из-под ног, и изо всех

сил таращу глаза, стараясь изобразить внимание. Слова какие-то неуловимые, текучие — так что мне еле-еле удается ухватиться то за одно, то за другое и сообразить, что же я на самом деле должен понять и что должен отвечать. На моих товарищах тоже лица нет, стоят, выкатив круглые, как сковороды, глаза, и даже бесстыдник Какаду умолк, чтобы не привлечь к себе взгляда корреспондентовых глаз, хищно и подозрительно выпучившихся в ожидании ответа. Так точно, говорю, капитан; а капитан — не ко мне, говорит, нужно обращаться, а к господину корреспонденту. Ну что ж, так точно, говорю, господин корреспондент, все в порядке, кормить — кормят, не жалуемся. У ребят тоже шевелятся губы и головы кивают согласно — помогают солдаты попавшему в беду товарищу. Я думаю, какая все-таки замечательная вещь братство и товарищество. А пес небось сейчас пирует на кухне, пользуется случаем, что все тут свои дела побросали и глазеют на наше бедственное положение. Капитан покусывает кончики усов и прикрывает руками брюхо, которое трясется, как огромное блюдо хорошего заливного. Капитан-то опять завелся, отмечаем мы про себя и отходим чуть подальше — береженого бог бережет. Корреспондент и бровью не повел — смотрит на капитана и просит его повторить для меня вопрос, ведь он полагает, что здесь, в армии, надо во всем соблюдать порядок и старшинство. Капитан глотает слюну, чтобы не послать всех по матери, и улыбается мне так, будто перемалывает своими желтыми зубами наши бедные души, которые со страху уже в штаны наделали. Пусть я, значит, скажу, из чего состоят наши харчи. Плевое дело, это я хоть кому объясню: утром нам дают... во, чертов пес — пристроился позади капитана и поднял заднюю лапу над его вещевым мешком. Корреспондент уже слыхал про вареный маис, а еще, еще-то что? Я не должен стесняться и могу назвать еще что-нибудь, говорит капитан, улыбаясь из вежливости и по необходимости искусственной, застывшей улыбкой. Мои товарищи потеют на своих местах, благодарят бога за то, что не они попались на удочку. Какаду вообще будто нет и никогда не было: замер и не дышит. Вот еще нам такие пакетики раздавали, эти, ну, как их...; капитан делает шаг назад — затем вроде, чтобы почесать себе в ухе,— и шепчет мне за спиной корреспондента, чтоб я молчал про гринго, которые на прошлой неделе явились к нам со своими пакетами и улыбками. Студенистый живот капитана, кажется, вот-вот лопнет. Я не могу оторвать глаз от пса, который сунул мордочку в мешок и, похоже, обнаружил что-то стоящее: уперся изо всех сил лапами в землю и тащит. Корреспондент напускает на себя удивленно-простодушный вид, он понимает мои старания и предпочитает, чтобы я не продолжал, так как отлично все понял. Если капитан не возражает, он бы еще желал задать вопрос другому солдату, вон тому, низенькому, который стоит позади всех. Какаду, такой-сякой,— мне, говорит, сеньор? Именно вам, уважаемый-молодой-человек-новобранец. Ну, попался трепач Какаду, прикуси-ка язычок, не то капитан потом вытрясет из тебя душу за разговорчивость. Корреспондент что-то говорит, а я гляжу, как собака вытягивает из капитанского мешка грязные штаны и принимается с остервенением рвать их зубами и лапами — что поделаешь, захотелось псу поиграть, убить время. Бедняга Какаду до сих пор в глаза не видал ни одного партизана, ни единого раненого или убитого; Какаду, господин корреспондент, даже пленного партизана и то не видал. Капитанский студень уже не колышется, и от бедных штанов после этой собачьей игры остались одни лохмотья, а я спрашиваю себя, чем это мы так досадили всевышнему, что все несчастья на нас валятся разом.

Я спохватываюсь, когда голос капитана раздается вдруг у меня над самым ухом и капельки слюны брызжут в лицо. Я снова твержу — есть, капитан, мать твою так (это, конечно, только про себя). Капитан делает шаг в сторону и угрожающе шипит в лицо Какаду: «Выродки, зарубите себе на носу — никаких отлучек по вечерам, никому не разрешается шляться по бабам. Мы здесь, чтобы выполнять свой долг, а не учить народ разврату. Ясно?» Какаду говорит, что ясно, все понял наилучшим образом. А капитан ему — хватит, мать твою так, изображать из себя оратора и болтать лишнее. Какаду ему — есть, капитан. Капитан энергично перетягивает поясом свое симпатичное брюхо и еще раз напутствует нас, так как сейчас мы разойдемся по своим местам и должны глядеть в оба и думать о чем угодно, кроме баб. «Кроме баб, слышите?» — уверенно и повелительно гремит голос капитана. Мы все орем — есть капи-тан-по-ня-тно, а Какаду тихо добавляет, что пусть себе тешится надеждой, это всякому дозволено.

Мы выходим из строя и разбредаемся по своим местам. Какаду говорит — это уже слишком, и так жизни никакой нет, ему не по душе обрастать тут шерстью, а партизан или кого там еще даже в глаза не видать, да вдобавок еще лишиться последнего удовольствия приятно провести время с девочками, которые в любви даром времени не теряют и все ходы и выходы знают. На мой взгляд, это и правда не по-людски, но приказ есть приказ. Какаду перебивает меня — ему, мол, точно известно, что в городишко прибыли очень недурненькие шлюшки, ясное дело, для офицеров. Говорил бы, что ли, потише, если не хочешь получить нахлобучку от сержанта, советую я. Какаду глядит на меня горящими как угли плутоватыми и смышлеными глазками. Потом одну руку кладет мне на плечо, а другой теребит себя за подбородок — это означает, что он шевелит мозгами. Еще немного — и дело в шляпе, ему есть чем порадовать бедную солдатскую братию. Напротив веселого дома для офицеров живет женщина, которая оказывает услуги солдатам; живет она одна и за рост и волнующие формы прозывается Кобылицей. Кобылица, браток, чувствуешь? Какаду глубоко вздыхает и глядит вдаль, туда, где поднимается темная загадочная громада горы. Кобылица, Кобылица, твердит Какаду, словно нежнейшее название ароматного цветка. «Ну, пошли!» — говорит Какаду. Ты что, сдурел, отвечаю я, ведь, не дай бог, придет сержант да нас не застанет, тогда наша песенка спета. Раз так, Какаду один смотается, если я пообещаю ему молчать и выручать по-братски. Пожалуйста, говорю, деньги на это есть — иди. Деньги у него есть, специально копил для такого случая. Эти слова он повторяет еще раз и подмигивает с выражением полного довольства и удовлетворения жизнью. Я не скрываю, что завидую ему, но держи ухо востро, говорю. Знает он это, но уж одно прозвище этой бабенки тянет его, как в омут; а... мать твою так, как говорит капитан.

Капитан — куда, орет, подевались эти... с-солдаты? Мы перебегаем с места на место, стреляя в сторону горы, и я при этом думаю, что Какаду-таки попал в историю, ему не позавидуешь, несмотря ни на что. Сержант носится как угорелый с револьвером в руке. «Может, это просто ловушка, чтобы выманить нас из казармы»,— говорит капитан. Я целюсь в ту сторону, откуда раздались выстрелы. Но теперь там тихо. Скорее всего, с нами сыграли ловкую шутку, чтобы поднять с места, но, может, они затаились и ждут, когда кто-нибудь высунет голову или встанет в полный рост,— все эти догадки мелькают у меня в голове. Когда приходится ждать чего-то неопределенного или невозможного, время похоже на ленивое течение реки, которое и вовсе замирает на поворотах, и тогда кажется, что вода неподвижна. Капи-

тан интересуется, все ли целы в его части; спрашивает, нет ли раненых, а может, и убитых. Я гляжу на темную махину горы и думаю о Какаду. Слышу ли я, что он сказал? — спрашивает сержант; слышу, сержант, только смотрю, как бы кого не пропустить. А не сбежал ли, спрашивает он, этот трус Какаду? Да нет, сержант, вряд ли сбежал, правда, я не заметил, как он исчез,— тогда самая горячка была. Так он что, во время боя исчез? — спрашивает. Ясное дело, говорю, ни минуты не раздумывая, слова сами слетают у меня с языка. Капитан что-то заметил, какое-то пятнышко, чуть посветлей окружающей нас темноты. Всем велено быть начеку. Капитан приседает за выступом скалы — мать твою так, почему я тоже не пригибаюсь. Живого и целехонького возьмем, говорит сержант. Я давлюсь от смеха,— я-то видал, как двигается пятнышко, эту походочку я даже с закрытыми глазами узнаю. Капитан даже дрожит от нетерпения, лучше, шепчет, живого, он у нас запоет. А у бедняги уж и духу не хватает крикнуть, сказать — мол, я свой, ребята. Думаю я это и изо всех сил стараюсь не прыснуть прямо в лицо капитану — знал бы он, какое его ждет разочарование. Сержант сдавленным от волнения голосом, с бьющимся сердцем — ни шагу назад, приказывает, руки вверх, так-перетак, знаков никому не подавать. Все навели на Какаду карабины, ему приходится поднять руки и повернуться к нам спиной. Капитан решительным таким, уверенным голосом отдает распоряжения, а Какаду удивляется: мол, в чем дело, капитан, сделайте милость, не стреляйте. На этот раз попался, говорит капитан. А сержант — смирно, кричит, сволочь. Тот вытягивается по стойке смирно, я подхожу поближе проверить, он ли это, в то время как капитан и сержант из своего укрытия все еще держат его под прицелом. Какаду дрожит, и глаза его в ночной тьме уже не сверкают радостными, шальными огоньками, как раньше, до его приключения с Кобылицей. Ну что, Какаду или нет? — спрашивает сержант, а я тому — штаны, говорю, скорей застегни. «Спасибо, друг»,— слабым голосом благодарит он. «Какаду, сержант»,— кричу погромче, чтоб заглушить голос Какаду, шлюхиного ухажера, который, верно, не терял времени даром со своей Кобылицей, пока мы тут болтались между жизнью и смертью. Капитан уже идет к нам, сопя, как паровоз, и велит, чтобы солдат доложился. Какаду не знает, что сказать, и смотрит на меня, словно умоляет ему руку протянуть. Ну, думаю, Какаду, судя по всему, это, пожалуй, твой последний номер. Сержант радостно гогочет — аж рот до ушей; это, говорит, самый бесстрашный из моих солдат. Капитан спрашивает, переспрашивает, все еще с сомнением в глазах. А Какаду уверяет, что, мол, как услышал первый выстрел и пуля просвистела у самого уха, схватил оружие и кинулся в лес — бить тех бандитов, капитан. Капитан полагает, что такая храбрость достойна подражания. «Да и как же иначе, Какаду есть Какаду, где бы он ни очутился, надо только подкинуть его в воздух, а уж он полетит куда угодно»,— думаю я, довольный за друга.

На землю, тихо пробуждая лес, лучи льет солнце с голубых небес.

Человек спустился к реке. Спрятался за высокими кустами. День в сельве начинают, как всегда, птицы — они носятся по лесу, оглашая его своим пением, но наступление дня это еще и звуки, не похожие на зудение насекомых, рычанье диких зверей, на шорох ящериц и змей. «Опасности нет»,— говорит себе человек, оглядываясь по сторонам, и начинает раздеваться.

Чакеньо смотрит на него с пригорка. Улыбается. И тут замечает, что на другом берегу торопливо начинает раздеваться девушка. Он хо-

чет предупредить товарища, но вовремя удерживается, боясь вспугнуть девушку.

«Ух, какая холодная»,— бормочет девушка и входит в воду по пояс. От холода она легонько вскрикивает, окунаясь до шеи.

Человек осторожно поднимается и смотрит на реку. В руке у него ботинок, который он только что снял. Человек смотрит на девушку, а та тихонько смеется от удовольствия, резвясь в воде. Рука выпускает ботинок — он бесшумно падает в траву. Девушка смеется и напевает, и пение ее звучит для него новой, необыкновенной музыкой.

Я видел — сон иль явь? — как по песку из темных рощ сошла нагая нимфа к роднику.

Чакеньо привалился спиною к стволу дерева, чтобы было удобнее наблюдать. «Хавьер хороший парень,— подумал он про себя,— но посмотрим, как далеко он сейчас зайдет». Солнечные лучи уже накалили воздух так быстро и внезапно, как бывает только в сельве; едва рассветет, там сразу же, в мгновение ока наступает жара.

Хавьер кинулся в траву и отвел ветки, мешавшие ему как следует видеть купающуюся девушку; тело ее золотили солнечные лучи. Хавьер оглянулся назад, отыскивая взглядом Чакеньо, но не смог различить его среди деревьев. «Наверно, сидит с другой стороны»,— подумал он. Теперь девушка плавала. Колибри повисла в воздухе над Хавьером, рассыпая вокруг радужные блестки. Где-то дальше, на втором плане, девушка выбралась на песок. Обнаружив присутствие человека, колибри исчезла, метнувшись в сторону с внезапной стремительностью осы. Девушка не спеша, наслаждаясь, упругими шагами прошлась по песку. Ее нагота, представшая перед ним в ярком свете дня, была подтверждением ее красоты. «Она не просто хорошенькая»,— подумал Хавьер. Черные длинные волосы одевали, приоткрывали, окутывали, отграничивали, снова открывали ее светлое тело. И вдруг девушку пронзило странное ощущение, что кто-то за ней следит. Она остановилась. Поглядела на один берег, на другой. Кругом царил покой и безмятежность, все, казалось, говорило ей, что воздух струится, как обычно, что в природе нет ничего чуждого и непредвиденного. Но беспокойство, подозрение, закравшиеся ей в душу, не покидали ее. «Все-таки здесь кто-то есть»,— сказала она себе с растущей тревогой.

Чакеньо обливается потом, он жаждет, чтобы все это уже кончилось, наконец. «Хавьер подождет, пока она не оденется и не уйдет. И все,— решает он и перебирается в тень.— Вот это парень»,— думает Чакеньо, испытывая гордость за поведение Хавьера, невозможное для других боевых друзей. Он усаживается, наслаждаясь живительным покоем тени. «Хавьер — мой лучший товарищ, не способный ничем опозорить наше дело».

Мила мне рощи сень из-за тебя, с тех пор в прохладной той тиши брожу, скорбя.

Он почувствовал, что девушка на него смотрит. И содрогнулся от стыда. Но нет, не может быть, чтобы девушка увидала именно его — взгляд ее пробежал вдоль всего берега, потом она повернулась к нему спиной и стала смотреть в другую сторону. «Какая красавица»,— сказал про себя Хавьер, охваченный чувством, которое он, пожалуй, никогда бы не сумел определить: он ощущал в душе нечто более трепетное и нежное, чем дрожание крылышек колибри. «Это самая прекрасная девушка, которую я когда-либо видел в жизни»,— подумал он.

Со своего места Чакеньо не мог ее видеть. Однако Хавьер еще был в поле его зрения, и Чакеньо заметил, как он приподнялся и стал подносить руки ко рту рупором, намереваясь что-то сказать девушке; та вновь стала видна Чакеньо, она поспешно направлялась туда, где, должно быть, оставила свою одежду. Чакеньо улыбнулся.

В печали и тоске гляжу на те места, где знал покой. Что счастие? Лишь тлен и суета!

Хавьер поднес руки ко рту и произнес:

— Прощай, моя девушка.— И пригнулся пониже, чтобы больше ее не видеть. Но продолжал твердить про себя: «Прощай, прощай» — все более и более исступленно. Велев себе не поднимать головы, он прикрыл глаза и остался лежать на траве, ощущая печальный привкус горечи, который оставляют видения возможного, но не состоявшегося счастья; легкое движение, неясное, растаявшее пятнышко — а в сердце у нас уже зародилось предвкушение событий и переживаний, которым так и не суждено осуществиться.

Чакеньо увидел, как девушка одевается, как натягивает платьице, может быть единственное, что у нее есть, как одергивает его, подбирает рассыпавшиеся волосы и, то и дело тревожно оглядываясь, начинает взбираться по тропинке; заросли бурьяна все больше и больше скрывали ее от глаз, пока не скрыли совсем.

Девушка обернулась еще раз и исчезла в лесу. «С самого начала на берегу кто-то был»,— сказала она себе, пытаясь вспомнить слова, которые ей послышались на реке. Не может быть, что она все выдумала. Сердце ее учащенно билось. «Старику ничего не скажу»,— решила она.

Где ныне эти ясные глаза, что душу увели мою с собой?

— Ну пошли,— сказал Чакеньо, притворяясь, что ни о чем не подозревает и совершенно серьезен.

Хавьер кончил обуваться и встал.

— Теперь уже не буду купаться.

— Некогда,— сказал Чакеньо.

Хавьер взял свою винтовку и пошел вперед.

— Странный ты какой-то,— сказал Чакеньо.

Где белая и нежная рука? Хавьер шагал вперед, не обращая внимания на товарища.

— По-моему, ты чудной сегодня, старик.

Хавьер остановился и взглянул на Чакеньо. Светло-зеленые, как у лесного кота, глаза смотрели на него с дружеским интересом. *Где грудь лилейная?*

— Старик.

Чакеньо подмигнул и кивнул головой на реку.

— Это уже — прошлое. То, что не должно сковывать нас, понимаешь, старик?

Хавьер протянул ему руку.

— То, что мы завоюем,— сказал он немного спустя.

— Ничего не останется ни от прошлого, ни от нас самих после нашей борьбы,— сказал Чакеньо.— Понимаешь, старик, даже от нас.

К удивлению Чакеньо, Хавьер повторил стихи Поэта, которые уже были у него на языке:

— *И то, что некогда лелеял я в мечтах, на горе мне в холодный ныне обратилось прах.*

Друзья возвратились в лагерь.

Сначала я посмотрел — мы все посмотрели — в его глаза, такие бесхитростные, детские. Он вошел во двор и поздоровался с нами, притронувшись ко лбу кончиками пальцев. Капитан шагнул ему навстречу и этаким широким жестом протянул руку, словно лучшему другу. Мы все влюбились в лейтенанта в мгновение ока. Наш кругленький капитан потел от натуги — боялся выпустить один из своих знаменитых словесных снарядов крупного калибра. Похоже было, что язык его вообще откажется работать от такого долгого воздержания.

И вот является лейтенант с приказом: второму взводу приготовиться к рейду против партизан — по сообщениям крестьян, в лесу замечены подозрительные лица. Мне очень хочется пойти вместе с лейтенантом, просто хочется — и все. Сразу видно, умеет он командовать и подавать пример подчиненным. А лейтенант будто угадал мое желание — глядит на меня и, хочу ли я идти, спрашивает. Так точно, лейтенант, с превеликим удовольствием, желаю послужить родине, не щадя жизни. Он улыбается. Хорошо это у меня вышло, просто как по писаному. Какаду молчит, разинув клюв, да не на такого напал, тут не отмолчишься. Я не пойду, заводит потом Какаду свою попугайскую песню, Кобылица меня ждет по этому самому делу. Разумеется, всех нас тоже пошлют в лес, но сперва отправится он; лейтенант говорит твердо и в то же время мягко, одним словом, настоящий начальник наш лейтенант.

Отряд под его командой выходит. Капитан поднимает руку на прощание; наконец-то язык у капитана заработал, словно путы с него сняли. Приготовиться, командует нам сержант, спустя час выступаем. «За такого лейтенанта много дашь, мать твою так»,— подводит итог капитан, нахваливая лейтенанта, который всего два дня с нами пробыл, а успел показать, что такое настоящий мужчина. Даже Какаду поддакивает, хоть он сейчас ни о чем думать не может, кроме как о своем удовольствии: эх, красавица Кобылица! «С ним и умереть не страшно, так-перетак»,— подтверждает сержант. А я — чистая, говорю, правда, вот и я так чувствую, потому... «А ну, к лесу, быстро — стреляют!» Попробуйте только убить моего лейтенантика. Стреляй в воздух, пускай думают, что нас много. Гони бандитов. Отряд лейтенанта попал в засаду. Хорошо сказать «быстро», а камни в воде скользкие, как мыло. Беги и стреляй без передышки. И еще кричи. Сержант — лицо багровое и мокрое от пота — похож на жабу, которая вот-вот лопнет от натуги; он орет и стреляет. Камни, как живые, кидаются нам под ноги, не дают идти. Все поминают партизанскую мать и орут. От войны никуда не денешься, только какая это война; разве сравнить, когда мужчины дерутся в открытую и храбрость что-то значит. А здесь пропадешь ни за что, никто и знать не будет, никто не поможет тебе в тяжелую минуту; вот она какая, наша война. Засядет какой-нибудь стервец в укромном уголке и палит по тебе без предупреждения, даже выстрела не успеешь услышать, как ты уже готов. Неприятеля и не видать нигде. Помереть здесь — раз плюнуть, охнуть не успеешь, а пуля уже тут как тут, ты и не видал ее, а она уже отнимает у тебя ту малость, что остается в жизни бедному солдату.

Какаду пыхтит, как паровоз, и отчаянно палит во все стороны. Внизу, посередине ущелья, солдаты из отряда лейтенанта не продвинулись ни на один миллиметр. Распластались, лежат ничком и готовы вгрызться в землю.

Потом вдруг — полная тишина, никто не стреляет, один сержант носится взад-вперед, что-то высматривает зорким орлиным глазом. Должно быть, на этом пока точка — бандиты испарились бесследно, будто земля их поглотила. Вот так они дерутся. От этого у нас такое чувство, точно мы хватаем зубами один воздух, но он для нас — как дыхание смерти.

Какаду из дальнего конца ущелья кричит солдатам, чтоб они поднимались наверх, опасность миновала. Но те не могут уйти, они сооружают носилки для кого-то, кого настигла пуля. Какаду кричит, спрашивает, кого там убили. И со дна ущелья долетает до нас, словно многоголосое дробное эхо, ошеломительный вихрь печали: да лейтенантика же, лейтенантика... лейте...

Он смотрит на своего товарища, притаившегося в зарослях, и свистит. Свист птицей-невидимкой проносится над чащей. Человек снова смотрит на товарища. Оба прислушиваются.

— Не отвечают,— говорит человек, но в тот же миг их ушей достигает точно такой же свист, подражающий пронзительному голосу птицы и как бы продленный расстоянием.

Товарищ распрямляется и осторожно делает первый шаг, тревожно вглядываясь в каждый кустик, если оттуда доносится хоть малейший шорох. «Этот Чакеньо слышит то, чего я бы вовек не расслышал»,— думает Хавьер, пробираясь вперед между кустами с винтовкой наперевес.

Они спускаются с холма и выходят к реке. Хавьер на мгновение останавливается — как всегда, когда он попадает на это место.

— Быстрей,— шепчет Чакеньо.

На левом берегу поет какая-то диковинная птица. Чакеньо отвечает на ее пение. Хавьер отводит глаза в сторону. Начинает переходить реку вброд. От его тела по свинцовому стеклу реки расходятся круги, исчезая где-то вдали на плотной темной толще воды. Чакеньо идет впереди. Вода доходит ему до пояса.

«Вот тут, на этом самом месте она купалась»,— говорит себе Хавьер. Течение еле заметно, река похожа на гигантский стоячий пруд.

— Вода что кипяток в эти часы,— шепчет Чакеньо.

— Еще бы,— откликается Хавьер.

«Ей было здесь по пояс»,— думает он.

Чакеньо уже выбрался на берег и поджидает Хавьера. Когда тот подходит, Чакеньо снова пускается в путь. Прежде чем начать подъем по тропинке, Чакеньо трижды свистит, подражая змее, переплывающей реку. С другой стороны отвечают.

— Превосходно,— говорит Чакеньо.

Чакеньо ходит совсем бесшумно. Товарищи чуть было не прозвали его за это «котом», но он выразил им свое неудовольствие. «Это означает и кое-что еще».— сказал он категорически и серьезно. Больше никогда его так не называли. Хавьер на мгновение задерживается, чтобы бросить последний взгляд на спокойную воду, едва угадывающуюся по тусклому блеску там, внизу, в конце тропинки.

Намокшие брюки мешают идти. Хавьеру снова вспоминается девушка на реке. «Наверно, живет где-нибудь поблизости»,— говорит он себе. В нем растет уверенность, что он больше никогда ее не увидит. И эта уверенность камнем лежит у него на сердце. Но сейчас — ни о чем не думать. Он вспоминает боевую песню партии. Напевает ее про себя вновь и вновь, и бодрость постепенно возвращается к нему.

Песня уже кончилась, когда они добрались до вершины холма. Чакеньо и Хавьеру придется пройти еще немного, прежде чем перед ними окажется хижина, окруженная деревьями, она темнеет на фоне свежей зелени, как серое насекомое на листке.

— Теперь подождем сигнала,— говорит Чакеньо и прячется за ствол каштана. Хавьер становится рядом. Даже отсюда он едва может расслышать тихую-тихую песню, слетающую с губ его товарища. Чакеньо умеет мурлыкать себе под нос песенку и одновременно прислушиваться ко всем интересующим его звукам сельвы. «Это у меня от матери»,— поясняет он, когда товарищи выражают ему свое восхищение.— Все в порядке,— определяет Чакеньо, резко выпрямившись и выскакивая из-за дерева, будто в нем внезапно распрямилась пружина.

Они проходят между редкими посадками бананов, окружающими хижину. Залаяла собака. Чакеньо остановился.

— Обойдем домик вокруг,— предлагает он.

— Ладно,— соглашается Хавьер.

Две фигуры отделяются одна от другой и расходятся в противоположные стороны. Они передвигаются от дерева к дереву рывками, как в старинном немом фильме. Потом снова встречаются на том месте, с которого начали обход. Собака продолжает лаять.

— Все в порядке,— говорит Чакеньо. И добавляет: — Пошли.

Хавьер шагает позади. Почуяв людей совсем близко, собака перестала лаять и жалобно заскулила. Двое подходят к низкой глинобитной изгороди, окружающей хижину. Оттуда им видно, как собака скребется в дверь, повизгивая от страха. Куры и прочая птица тоже всполошились, почуяв их совсем рядом.

— В доме разговаривают. Лучше поторопиться,— говорит Чакеньо.

Мужчины перескакивают через изгородь и пробираются к курятнику. Дверь хижины распахивается, собака пулей влетает внутрь. Хавьер замирает у двери. Кто-то выбегает во двор, размахивая ножом, и спотыкается, налетев на собаку. Хавьер протягивает руку вперед и хватает человека за запястье. Другой рукой зажимает ему рот. И вдруг понимает, неожиданно ощутив нежность кожи, что девушка с реки дрожит от страха в его руках.

Капитан сказал, что мы совершили великий подвиг. «Мать твою так»,— договорили мы про себя, чувствуя, что чего-то не хватает. Тут капитан сказал «мать твою так», и мы все вздохнули с облегчением. Позволит ли капитан, спросил сержант, капитан позволил, и тогда сержант запричитал, как старая баба, шмыгая носом и призывая нас помнить лейтенанта, который прибыл сюда для участия в рейде против партизан. Какаду тоже всхлипнул раз-другой. Красные преступники, вмешивается капитан, еще раз показали свое нутро. Любой из нас мог очутиться в лейтенантовой шкуре, вернее, на его месте, говорит он. Смерть — это вам не фунт изюму. Капитан умолкает. Все мы жалеем бедного лейтенанта. Даже стервец Какаду, уж какой всегда разговорчивый, и тот молчит как убитый, будто и он не он. Сегодня мы стоим в городишке последний день, говорит капитан, а назавтра снова отправимся ловить бандитов. А сейчас поставим почетный караул у гроба лейтенанта и будем сменяться, пока за ним не приедут. После этого до одиннадцати вечера мы свободны. Какаду снова делается самим собой, таким, как всегда, и говорит, что нам здорово повезло. Он думает о своей Кобылице, я тоже о ней думаю, хотя понятия не имею, как она хотя бы выглядит. Поэтому она для меня как красивая игрушка, которая принадлежит Какаду.

Хочу я ее? Совсем нет. Знаю только, с каким жаром рассказывает о ней Какаду, как блестят в такие минуты его глаза. Я хочу вообще женщину, а вовсе не обязательно Кобылицу. Кобылицей пусть наслаждается Какаду, когда затоскует без ласки. Чего мне не хватает — так это ласки, я один как перст, вот и все. Пусть бы появилась другая, не важно, кто именно, пусть бы пришла первой, и место ее было бы занято навсегда.

Вольно, скомандовал капитан, разойдись. Сразу там и сям завязываются приятельские разговоры, строятся разные планы. Я вынимаю сигарету. Какаду благодарит — он докурит мою, не стоит тратить еще одну. Даже по рукам чувствуется, говорит Какаду, что мне уже невтерпеж. Если у него выгорит одно дело, сегодня у Кобылицы можно будет устроить небольшую вечеринку. Кобылица пригласит свою двоюродную сестру, авось девчонка мне понравится и скрасит мое одиночество, если что. Я благодарю его за дружескую заботу и смеюсь. Вот

и познакомлюсь наконец с твоей Кобылицей, ты и так от радости все уши мне о ней прожужжал.

Мы обнимаемся и по очереди затягиваемся сигаретой, как в лучшие времена, будто нам больше никогда и не придется кидаться в адское пекло нашей войны. Поскорей бы уж прошло время, говорю я; эй, че [1], время, ну-ка поторапливайся! Вот еще, говорит он, тоже мне аргентинец дерьмовый выискался. Не дерьмовый, говорю, а фартовый. Какаду считает, что я здорово сострил, но сержант кричит — хватит дурака валять, скоро надо строиться и ждать, когда прибудут из города за телом покойного лейтенанта. Опять эта смерть, никак от нее не отвяжешься, а нам было так уютно и весело. Начистите ботинки и приведите в порядок форму, распоряжается сержант. Если я ему помогу, Какаду берется слетать к Кобылице и устроить все насчет сегодняшнего вечера. Еще бы, старик, давай дуй. Куда она годится, нынешняя молодежь, замечает сержант, скребет у себя в затылке и надувается от важности.

Капитан с гордостью оглядывает нас и говорит, что мы вели себя как настоящие храбрецы, генерал тоже смотрит на нас с гордостью, мол, только этого от нас и ожидали. А мы поднимаем гроб и тащим его на себе к самолету, который ожидает на взлетной дорожке. Когда помираем, мы тяжелее делаемся, замечает Какаду, обливаясь потом. Это, наверно, потому, говорит другой солдат, что мы становимся твердые, как лед, и еще после смерти на нас, точно гири, давят взгляды тех, которые по нас плачут. Нашли о чем болтать, думаю я. Самолет стоит на середине дорожки, а дорожка такой длины, что из сил выбьешься, пока ее пройдешь. Мы все взмокли. Иногда я думаю, что нельзя человеку помирать в таких заброшенных местах; но лейтенант-то наш не сам умер, его убили, это совсем другое дело, другая песня. По крайней мере здесь. Ну, хорошо, лей... Лейтенант! Что, мол, у нас глаза на затылке? Так точно, лейтенант. Тощий такой, физиономия только чуть поменьше лошадиной, зато погубастее, и взгляд презрительный — в общем, ничего похожего на покойника, каким он остался в нашей памяти. Ну, теперь выровнять гроб — и наверх. Чертовы сундуки, откуда они взялись? Он на родном языке, кажется, говорит, не на китайском, мать вашу так. Мы устали, и гроб поэтому особенно тяжелый. С такими солдатами, говорит, партизан, пожалуй, до самой столицы не остановишь. Наконец гроб поставили куда следует. Чтоб она пропала, эта смерть; и жертву-то, кривая старуха, толком наметить не умеет. Если уж выбирать, так стоило бы выбрать эту лошадиную рожу. Какаду, увидев, что лейтенант отвернулся, делает рукой непристойный жест. Мы все покатываемся со смеху. А вечером Какаду хвастает шуткой, которую он отмочил перед этой бабой лейтенантом, и Кобылица как захохочет, словно ее бесы защекотали. Груди у нее подрагивают, соблазняют. Но я в ее сторону и не смотрю, уставился на ее двоюродную, та даже не усмехнулась. Она потолще Кобылицы и не такая смазливая. Что поделаешь, думаю, у каждого своя судьба. Какаду уже не терпится — столько у него припасено всяких басен для Кобылицы, и он подмигивает мне, бери, мол, сестричку и уводи ее отсюда. «Ладно,— говорит толстуха,— пойдем пройдемся». Я обнимаю свою девушку за плечи, не так чтоб очень аккуратно. Кобылица уже повисла на Какаду, видно, что она женщина горячая и напористая, как и полагается в таком деле.

Неужели уж Кобылица лучше поэтому других женщин? Вранье это, чистое вранье! Она делает свое дело и знает, как взять быка за рога, а в душе пустота. Дает, что у нее просят, и все. Любовь к жен-

[1] Общепринятое обращение аргентинцев друг к другу.

щине, да еще вечная,— совсем другая любовь. Это все равно что сделать ее хозяйкой того, что ты есть, и не думать, не бояться, что она тебя забудет или ты стушуешься, потеряешь себя. Просто Кобылица виднее, ловче своей деревенской толстухи сестры. Может, я выражаюсь не очень складно, но как я сказал, что это вранье, так на том и стою.

Из домика все время доносятся смех и веселые заигрывания Какаду. Кобылицына сестра уселась в саду под большим деревом в густой тени; прохладно, и птички щебечут. Она все говорит и говорит о Кочабамбе, потому что однажды там побывала, а я как раз из тех мест, и ох, как же там... Я закрываю ей рот поцелуем, она начинает отбиваться, но страсть придает мне силы — наконец-то я достиг того, о чем мечтал с тех пор, как попал сюда. Мне удается распустить ей пояс, дальше — больше, и вот уже я добираюсь до того, что Кобылица, думаю, предлагает попроще и без лишних слов.

— Я пришел из-за тебя,— говорит мужчина. Она опускает голову и кусает губы. Ночью она слыхала топот ног — люди прошли мимо, едва замедлив шаги у хижины.

— Опять кто-то идет! — вскрикивает старик, кидаясь к гамаку дочери, чтобы защитить ее от грозящей опасности, какова бы она ни была. Собака ворчит и царапает дверь, прыгает на нее, и дверь открывается со слабым писком, похожим на писк умирающей птицы. Лаура обнимает отца.

— Они не зайдут, не бойся, отец,— шепчет она ему на ухо.

— Только из-за тебя,— говорит мужчина и, обхватив ладонями ее лицо, приподымает, чтобы заглянуть ей в глаза.

Вот оно, твое лицо, то, что я видел там, на реке. Твои глаза, запавшие мне в душу. Глаза, чей взгляд говорит мне, что ты дышишь одним воздухом со мною.

— Не бойся, отец, они не придут,— повторяет девушка. Собака принимается выть. Люди проходят мимо. Она *знает* теперь, что он с ними. Тьма еще скрывает очертания предметов. Туман начинает медленно сползать к подножию горы.

Люди останавливаются у хижины. Едва заметным пятном проступает она сквозь белесую пелену. «Туман скроет нас»,— думают эти люди. И шагают дальше, сжимая оружие.

— Светает,— говорит старик.

— А туман все опускается,— отзывается Лаура, глядя в окошко на пальмы.

Прикасаюсь к твоей руке. Пальцы твои, чуть дрогнув, раскрываются. Нежность кожи будит мое желание. Не мигая, смотрят на меня твои глаза. Пальцы слегка поддаются, и их медлительность делает мое наслаждение более полным. Когда пальцы наши наконец переплетаются, ты то открываешь, то вновь закрываешь глаза; щеки твои загораются огнем.

Сквозь туман едва угадывается зачинающийся день. Старик не хочет отойти от гамака. В углу дрожит и ворчит собака.

— На рассвете я был здесь,— говорит мужчина.

«Я слышала, как ты проходил,— думает девушка.— Слышала твои шаги. Даже дыхание твое. То самое, которое тогда ветерок донес до меня с реки. В то утро тоже был туман».

— Не выходи, доченька,— просит старик.

— Мне нужно пойти на речку, за водой,— говорит Лаура и выходит.

«Она больше не вернется,— думает старик.— Ее мать тоже ушла

к реке и больше не вернулась... Я останусь один». Старик садится в гамак. Собака успокоилась, замолчала и свернулась у ног хозяина.

— Эх ты, бедолага. Такой же старый, как я,— говорит он собаке.

Солнечные лучи разогнали туман. Кожа покрывается горячей испариной, блестит, как масляная. Партизаны выходят на берег ручья, который стекает с холма и теряется в лесу. Они приглядываются, выбирают выгодные для боя позиции. У каждого свое место, все движутся уверенно, без суеты, как люди, хорошо знающие свое дело. Командир только изредка отдает необходимые распоряжения. Сплошь и рядом лишь кивок головы выражает его согласие. Туман над ущельем, по дну которого бежит ручей, еще противится солнечным лучам. Проходит несколько минут, и все уже на местах, готовые к бою. Туман стелется теперь только по самому дну ущелья. Яснее слышен плеск воды. Люди терпеливо ждут, не переговариваясь, не сводя глаз с верховья ручья.

Твое дыхание смешивается с моим. И возникает одно и единое, живущее той жизнью, которую мы ему даем. Руки твои двумя нежными голубками опустились на мои плечи, они открыли мне врата твоего царства. Дыхание твое так близко к моему, что я чувствую, как кожа моя отступает, боясь ранить твою — такую нежную и чистую.

Командир снимает кепи, кладет в сторону. Шея его покрывается обильным потом. Чакеньо привалился спиной к стволу дерева — кажется, что он мирно отдыхает.

— Мы прошли очень рано.

— Я слышала,— говорит девушка.

Лаура достает воду выдолбленной тыквой. Туман задержался, повис над рекой. Девушка ставит тыкву на песок и глядит на противоположный берег. «Он проходил тут на рассвете»,— говорит она себе, прикасаясь к своему запястью, на котором еще ощущает крепкие пальцы человека, сжавшего ей руку в ту ночь, когда в курятнике поднялся переполох. «Это бандит, убийца. Сегодня утром он пришел убивать»,— говорит она себе, стараясь отвести его руку и уклониться от дыхания, которое снова щекочет ей шею.

— Вернулась,— радуется старик и, обнажая беззубые десны, улыбается.

— Да, отец. Все тихо.

Старик выбирается из гамака, идет к двери. Широколистные бананы вплотную подступают к хижине. Через несколько шагов старик вдруг останавливается, встревоженный.

— Стреляют,— говорит он, и лицо его искажается от страха.

— Да нет,— говорит девушка, протягивая к отцу руки. «Не хочу, чтоб его убили, боже мой»,— думает она.

Солнце достигло зенита. Лаура и старик в молчании едят, сидя на полу друг против друга. Собака устроилась между ними, ждет, когда ей кинут кусок.

— Лаура, я пришел, потому что люблю тебя,— говорит мужчина. Я глажу твои волосы. Темные, как само обиталище жизни. Жизнь исходит из сени твоих глаз, от твоих волос и наполняет мир, который обнимает меня.

Оба смотрят на бледную луну — с темной неровной выемкой на краю. Она видна сквозь ветви. Женщина вздыхает, мужчина снова обнимает ее.

— Больше не стреляют,— говорит старик.

— Идут! — Чакеньо проворно вскакивает и хватается за оружие.

Все глядят на него — они знают, что солдаты находятся сейчас примерно за последним поворотом ущелья, их еще не видно, но слух Чакеньо уже возвестил об их появлении.

Люди проверяют оружие и затаив дыхание ждут. Командир берет свое кепи, неторопливо надевает его. В дальнем конце ущелья появляется зеленое пятно, оно движется с осторожностью и останавливается возле огромной скалы. Потом делает знак, и из глубины возникает еще одно пятно, еще и еще... Чакеньо считает их сиплым голосом, еле прорывающимся сквозь зубы.

— Все. Дадим им подняться повыше,— говорит Командир.

— Они вернутся. Кажется, уже возвращаются,— беспокоится старик.

— У нас раненый, дедушка,— произносит человек, останавливаясь в дверях.

Лаура застыла в углу комнаты.

— У нас ничего нет. Мы не можем вам помочь,— говорит старик.

— Нам нужен кипяток,— поясняет человек.— Мы заплатим,— добавляет он.

Старик почесывает в голове и глядит в темный угол, где по-прежнему стоит Лаура.

— Я дам,— говорит Лаура и выходит из потемок.

Мужчина смотрит на нее почти без удивления. Лаура проходит к двери совсем близко от него.

— Спасибо,— благодарит мужчина и спешит за ней.

Губы твои приоткрываются. Поцелуй еще неведом им, но они жаждут его. Они пытаются спастись бегством, когда я приближаю к ним свое лицо, пытаются, но не могут: их останавливает желание. Губы твои ждут. И вот наконец я прикасаюсь к ним своими, они приоткрываются, уступая натиску моей жизни и пропуская ее к ожидающей сокровищнице — твоей душе.

— Болит, Чакеньо? — спрашивает Хавьер раненого.

— Этот — мой,— говорит Чакеньо и целится в кого-то. Хавьеру видно усталое лицо молодого офицера, ему даже удается разглядеть, как оно покрывается капельками пота, когда тот останавливается перевести дух. Офицер подносит руку ко лбу и вытирает пот. Он целиком погружен в свою физическую усталость и ничего не подозревает. Раздается слабый щелчок, и на глазах у Хавьера лицо офицера в одно мгновение словно стерли с окружающего фона, оно просто исчезло, будто его загородили ширмой, разрисованной скалами и листвою. Хавьер поворачивает голову и замечает у Чакеньо непроизвольную гримасу удовлетворения. Он всеми силами хочет отдалить эхо выстрела, который навсегда уничтожил офицера, и все же сам стреляет, думая уже лишь о том, чтобы стереть образ вспотевшего офицера и всех офицеров на свете.

— Ты для меня сама чистота, понимаешь? — говорит Хавьер.— Все остальное — это смерть, забвение...

Луна выплывает на клочок неба, уже усеянный звездами. Теперь ее можно увидеть всю целиком. Оба, Хавьер и Лаура, думают, как красива луна, как красива она сейчас, когда плывет по небу, не заштрихованная темными ветвями, которые порой совсем закрывали ее.

— Это мой друг,— говорит мужчина, указывая на раненого.

Лаура смотрит на него, но не произносит ни слова. Только дует на угли, разжигая огонь.

— Меня зовут Хавьер,— говорит мужчина.

— Меня — Лаура.

И вот оно, полное счастье, снова живое, трепещущее, его биение в наших сердцах: твоем, Лаура, и моем. Мы должны посмотреть друг на друга вот так, вблизи, закрыть глаза и смотреть.

Чакеньо стонет от боли. Все его тело сводят судороги. На углях пляшет язычок пламени.

— Вода скоро закипит,— говорит Лаура и бросает взгляд на раненого.— Бедняжка,— произносит она.

Хавьер поднимает на нее глаза, трогает за локоть. Она вздрагивает, но тут же успокаивается.

— Я вернусь, как только смогу, в одну из таких ночей,— обещает Хавьер.

— Придут солдаты,— голос старика звучит из глубины хижины.

Ночь зарождается в сельве. Мрак забирается сперва в дупла древесных стволов, оттуда он протягивает свои пальцы к кронам — упирается ладонями в землю и неслышной пантерой укладывается под деревьями.

— Нам надо уйти, как только я выну пулю и перевяжу рану,— говорит один из мужчин.

Лаура не отрывает взгляда от Хавьера. Они стоят один против другого, смотрят друг другу в глаза, руки их переплетены во тьме.

— Я вернусь,— повторяет Хавьер.

По коже твоей пробегает дрожь, я вновь ощущаю ее близость. Мое жаждущее тело обволакивает ее. Сжимает и отпускает. И теперь уже твоя кожа сжимает мое тело, задерживает его и дарит ему свою гладкость.

Старик захрапел. Женщина поднимается из гамака. Идет к двери и открывает ее с величайшими предосторожностями, ухватившись пальцами за косяк. Дверь еле слышно проскрипела. Храп прекратился. Лаура ждет. Старик шумно поворачивается на другой бок и вновь принимается храпеть. Лаура проскальзывает в узкую щель приоткрытой двери. Собака подбегает к ней, помахивая хвостом.

— Тихо, Черныш,— говорит девушка.

Она смотрит на ближние деревья. Поднимает взгляд к небу. Густые ветви почти совсем заслоняют луну. Девушка вздрагивает: кто-то сжал ей руку. Собака все помахивает хвостом.

— Это я. Я вернулся,— говорит мужчина.

Довольно с меня, говорит Какаду, этой дерьмовой жизни; что уж тут поделаешь, говорю, Какаду-свистун, служить родине — это тебе не в бирюльки играть, а Какаду — хотел бы я, говорит, задать тебе один вопрос, если позволишь. Я позволяю. Тогда что ты скажешь сейчас, ну-ка, отвечай, слуга родины. Смех Какаду привлекает внимание сержанта. Что там еще за дерьмо? — спрашивает сержант; расквохтались, точно куры, а ну кончай, не нарушай строя. Какаду ускоряет шаг и пригибается еще сильнее, когда мы выходим к скалам. Даже смех берет смотреть на него: эх, ты, Какаду-свистун, трещотка! Ему, я знаю, сейчас не до того, не доходит все это до его попугайского нутра, он же день и ночь только и думает что о Кобылице. Кобылица даром что шлюха, пробрала Какаду до самых костей. Я уже ему сказал — дырявая твоя голова, погубит тебя эта уличная баба; а он только знай твердит: такая жизнь, кто что может наперед знать. А мне еще всякие случаи вспоминаются. Он выкурил сигару, разлегся в Кобылицыном гамаке и заявил, что у меня самого при виде Кобылицы слюнки текут и чтоб я не смел на нее заглядываться, и показал на нее пальцем из своего гамака. А Кобылица напыжилась и смерила меня презрительным взглядом; не люблю, говорит, когда в меня тычут пальцем, и чего тыкать, у меня, мол, ноги из головы не растут; прости меня, мамочка моя дорогая, заверещал Какаду; а она, ладно, говорит; должен тебе сказать, говорит он мне, что эта самая Кобылка, эта мамочка моя дорогая — вон она перед тобой,— скоро станет моей женой; Кобылица разевает в улыбке почти беззубый рот; ну, сбрендил, думаю, этот Какаду. Да со-

ображаешь ли ты, Какаду, что говоришь? Я знаю, ты малость того, к тому же еще трепач и пустомеля, но все-таки что с тобой, братец? Вот где-нибудь в другом месте, когда нет Кобылицы рядом, мы друг друга понимаем. Какаду глядит на меня, принимается вздыхать и спрашивает, почему я не сказал ему то же самое у нее в комнате. Объясняю. Успокойся, говорю Какаду, поостынь малость. Надо же так распалиться из-за бабы, а, Какаду?

Да знаешь, иногда эти женщины, откуда ни посмотри, оказываются лучше кисейных барышень, которых берут в жены прямо из родительских объятий. *Я тоже думаю, как с ней должно быть сладко. Годится ли она для дружбы? Куда там! Какой уж из нее друг? Кобылица все перевернет вверх дном. Она как норовистая необъезженная лошадь. Она не зовет к любви, а соблазняет. Это искушение злом для бескорыстного товарищества, вот что это такое.* Какаду вскакивает и одним прыжком оказывается в зарослях кустарника, потому что пули стали щелкать со всех сторон; а, сволочи, орет сержант, засада, прячься, кричит, и не шевелись ни под каким видом, так-перетак. Я прижался к здоровенному камню и молю пресвятую деву, чтоб она меня из этого дела вытащила; Какаду, конечно, тоже молится там, в колючем кустарнике, и тоже поносит на чем свет стоит и партизан, и Вооруженные силы, и тут же думает о своей Кобылице, говорит ей, наверно: «Уж подожди чуточку, Кобылица, ты мои намерения знаешь. Вот вырвусь отсюда, и мы с тобой поедем в Ла-Пас». А ловкая баба распахивает глаза, словно кулак разжимает, и обещает, что будет не жена, а золото; так же вот она таращила глаза, когда возле гамака показала мне язык, разинув рот, в котором не было ни одного целого зуба, и вдобавок вильнула задом, как красотка из мексиканского фильма; а Какаду еще тогда засмеялся и ущипнул ее за мягкое место. Эх, когда бы человек знал, что такое жизнь и что сам бог держит от нас в тайне, никак не желая приоткрыть нам будущее; может, господь сам удивляется, что из всех его стараний выходит, потому что или он заботится о нас не меньше, чем о любой другой твари — какой-нибудь жалкой пичуге или еще о ком-нибудь,— и тогда должен поступать одинаково со всеми своими созданиями, или же, если на нас ему наплевать, так хорошо бы, он хоть знал, повторяю я, что получается из всего этого никому не понятного дела. А сержант— ты, что ли, оглох, кричит, стреляй. Я стреляю куда глаза глядят, наугад. Сдавайтесь, солдатики, доносятся до нас голоса этих разбойников из-за зарослей, мол, не против вас воюем, а против генералов — грязных лакеев империализма. А сержант: за кого вы нас принимаете, кричит, так вас и так, если только кто подымется, тут же пулю в лоб, и не рассказывайте тут сказок, мать вашу так. Какаду, ясное дело, палит как бешеный во все стороны — дерется за свою Кобылицу, свою скуластую шлюшку, потому что, если он выберется из этой заварухи целым и невредимым, он хочет иметь право устроить свою жизнь с той, которая ему по сердцу; нравится мне это или нет, ему до лампочки. Кобылица бегом к гамаку — и плюх на Какаду; а, черт, кричит он, обожгу сигаретой, пусти; а она — уже обжег, подумаешь; и так и льнет, так и ластится к нему; ничего, друг, все устроится, видал, как невесте невмоготу. Я выхожу и со злости влепляю плевок в петуха, дремлющего среди своих кур в холодке возле дома. Да, говорит сержант, подсидели-таки нас на этот раз, прекратить стрельбу, эти сукины сыны теперь носа не высунут, даже ради собственной мамаши, так ее и растак. Солдаты давай тут же что-то кричать партизанам и поминать мать на все лады, а партизанам словно уши позакладывало — молчат и тоже не стреляют. Теперь, говорит сержант, будем ожидать здесь, пока остальные наши не подойдут, чтоб их. Какаду — это точно, сидит в своем гнезде в кустах, перышком не пошевелит — хочет живым отсюда выбраться и явиться

к ненаглядной владычице своего сердца. Из чащи кто-то начинает стрелять снова; а ну, бабье, кричит сержант, вылезай, выходи сражаться, как положено мужчинам. И тут вдруг закричал солдат; крик больше похож на вой, он все громче и громче,— заглушая выстрелы, он врывается к нам в уши, будто чья-то грубая рука запихивает его, и ползет по нашим нервам, точно червь, утыканный колючками. Попали в беднягу, говорит сержант; не Какаду ли это, сержант, спрашиваю я; какой там Какаду, отвечает он, Какаду небось уже вздремнул разок-другой у себя в кустах и до остального ему дела нет, храпит, наверно, там, где приземлился. А я думаю, везет же этому Какаду, всегда из воды сухим выходит; а о Кобылице не думаю, ей-богу, не думаю, хотя поди знай, что у тебя может получиться с этой женщиной, не такая уж она плохая, одно тело чего стоит, прямо как у влюбленной пантеры. *Не такая плохая? И я для себя одного исполняю роль Какаду в ночь свадьбы с Кобылицей, хоть для нее это будет не в первый раз, не в первый.* Кобылица смотрит на меня и растирает обожженное место на руке, мол, что ж это тебе не по нутру выбор приятеля. Кобылице смешно. Я гляжу на нее со злостью и в то же время желаю ее; Кобылица все-таки настоящая баба, хоть и шлюха порядочная. Слышишь выстрелы у входа в ущелье, раздается голос сержанта; нет, пока не слышу, сержант; да ты оглох, что ли, мать твою так; так точно, говорю, сержант; а сержант кричит: ну и зададим мы сейчас перцу этим бородачам, туда их и растуда. Медленно надвигаются сумерки. Где-то начинает стрекотать пулемет, а мы все еще не можем подняться. Я всей душой благодарю бога и пресвятую деву Копакабанскую. И тихонько шепчу: Какаду, Какаду, разбойник. Раненый солдат больше не кричит. Сержант вдруг выскакивает из укрытия — покажем им, на что мы способны; а ну, за мной, так вас... Мы поднимаемся и начинаем стрелять по зарослям. Продвигаемся вперед. Я пробегаю взглядом по кустам, и у меня мелькает мысль, что Какаду, как Хуан Сегуро, не сдвинется с места, пока не подойдет подкрепление. Жмусь к кустам, где засел Какаду, чтобы дать ему коленкой под зад. Тьма накрывает вечер. Я пробираюсь сквозь кустарник и — вот он, Какаду, Какаду, а, твою мать... Ну, хватит, не паясничай перед другом. Ну же, Какаду, пошутил и будет, вставай... Смотри, Какаду, лицо у тебя все заляпано жидкой грязью. Сплошная грязь, Какаду. А ну, друг, поднимайся, ведь только за этим дело стало: завтра тебе дадут отпуск и ты женишься на Кобылице, которую избрал себе спутницей жизни, и заживешь беззаботно и счастливо, наделаешь детишек своей скуластенькой, а она и думать забудет, чем занималась в городе. Клянусь тебе, Какаду. Ну, Какаду, все ждут, вскакивай скорей, утрись, отряхнись, осталось только ополоснуть лицо, смыть с него грязь, ей-богу же, все ждут, скажи уже что-нибудь этакое — и готово. Не сойти мне с этого места, Какаду. И я слышу, как птица, расхрабрившись— пули перестали свистеть,— запевает так красиво, Какаду, на том самом кусте, из-за которого торчат твои ботинки, покрытые грязью и пылью. Наверно, сам бог послал нам ее, Какаду. Клянусь, Какаду. А сержант крестится и говорит что-то, чего никто, даже он сам, не понимает, и кладет мне руку на плечо; и я тут же чувствую руку Кобылицы на своем плече и ее крик и вижу, как она размазывает по лицу слезы и сопли и не знает, бедняжка, обо что вытереться.

1. Марио смотрит на свои ногти с черной каймой и улыбается. Както особенно приятно сознавать, что у тебя могут быть грязные ногти. Как-то особенно радостно чувствовать, что тело твое еще может пачкаться, покрываться грязью, которую нужно и можно смыть.

2. Вчера ночью, стоя на часах, я вспомнил свое пребывание в семинарии. Столько тщетных надежд и волнений! Впрочем, это не так: я должен был подняться на эту ступень, чтобы попасть туда, куда попал. Только путь, которым я шел, мог привести меня сюда. То была «прекрасная» пора поисков и бесконечных разочарований. Я надеялся встретить любовь и понимание там, где был лишь холодный формализм, мертвая буква. Искать тепло очага там, где угас огонь любви к другому существу, к ближнему,— безумие.

3. В лагере жизнь по-прежнему сохраняет свою притягательность. Энтузиазмом охвачены все. Каждый день мы учимся вести партизанскую войну. Иногда нас посещают иностранные журналисты и представители интеллигенции, все они придерживаются передовых взглядов. Беседуют с нами. Фотографируют, но снимки будут опубликованы лишь после открытия боевых действий. Командир обладает необыкновенным даром организатора. Мы полагаем, что это для нас особенно важно. У нас также ежедневно один час отводится на дискуссии, на которых мы председательствуем по очереди; Командир принимает в них участие, излагает свои четкие и точные мысли, однако решение проблемы часто оставляет нам. Мы изучаем некоторые необходимые книги. Читаем и романы и стихи. Чакеньо соблазнил меня идеей написать роман о партизанах.

— Вот уже и герой у тебя готов,— сказал он шутливо, указав на себя.

— Да,— ответил я,— о тебе я, во всяком случае, могу сказать, что характером ты так же суров, как сухие степи твоего Чако.

4. Командир беседовал с нами о ценности наших дружеских отношений. Когда он говорил, я подумал о Карлосе. «Наверно, он уже стал священником»,— сказал я себе, со щемящей грустью вспомнив нашу дружбу и часы, проведенные вместе. Дружба строится на основе общих интересов, общих духовных запросов, в этом проявляется общность корней у двух существ, связанных дружеской любовью.

5. Насколько я понимаю, у нас и у других революционных деятелей существуют некоторые расхождения относительно методов ведения партизанской войны и руководства ею. Тем не менее у нас хватит времени: ведь каждый день мы упражняемся, готовимся к длительной борьбе, которая начнется примерно через полгода, если считать от сегодняшнего дня.

6. Нам приходится неожиданно покидать центральный лагерь, со всем снаряжением, радиопередатчиками и прочим. Отряд правительственных войск наткнулся на одну из наших групп, охранявшую подходы к лагерю на дороге в ущелье. Командир не сомневается, что на нас донесли. Это в корне меняет наши планы. Кажется, они приняли одного из наших связных в поселке за торговца кокаином. Они его заподозрили, потому что он все время уезжал в сторону гор и тратил сразу крупные суммы на закупку большого количества продуктов.

7. Кажется, Командир неважно себя чувствует. Бродит в одиночестве по лагерю. Мы все замечаем, что его движения какие-то вялые. После того как троих наших ранили, мы все время меняем расположе-

ние лагеря, уходя от преследования. До сегодняшнего дня Командир ничем не выдавал своей усталости. Никто не решается заговорить с ним. Все вопросительно смотрят на меня. Я набираюсь храбрости и подхожу.

— Вы неважно выглядите, товарищ.

— Ничего, пройдет.

Я теряюсь, не знаю, что еще сказать. Смотрю в хмурое, затянутое тучами небо.

— Кажется, будет гроза,— говорю я.

— Никакая гроза не может нас смутить.

Я перевожу глаза на Командира и с восхищением, не отрываясь, гляжу на него.

— Я устал,— говорит он, глядя в сторону.— Из городов приходят не слишком веселые вести. Все вы должны знать, что сейчас мы переживаем критический период.

— Мы готовы на любые жертвы,— говорю я и чувствую себя ребенком, который на уроке отвечает учительнице катехизис.

— В революции все строго взвешено, и то, что для нее бесполезно, становится помехой, препятствием,— говорит Командир.

Тучи делаются все темней и темней. Ветер, дующий нам в лицо, насыщен влагой.

— Я... я тоже думаю о своих усилиях и жертвах во имя революции,— говорит Командир.— Думаю о своих сыновьях, о...

Именно в этот момент звучат три-четыре отдаленных выстрела со стороны нашего арьергарда. Командир в одну секунду вскакивает на ноги, и вот уже у нас на глазах он весь в движении, распоряжается, будто в этом вся его жизнь, будто он совсем не болен.

8. Пока мы шагаем по лесу, Чакеньо наклоняется ко мне и говорит:

— Может случиться, что кто-то из нас двоих погибнет в бою. Если это буду я, прошу тебя вспоминать обо мне и рассказать кому-нибудь, какой я был, как боролся за свои идеалы...

Он на минуту умолкает, подыскивая слова, какие может подсказать ему его бесхитростный ум. Потом продолжает:

— Все-таки кое-что меня успокоит в мой смертный час. Ведь правда, когда знаешь, что продолжаешь жить в чьей-то памяти, то умираешь не совсем, не целиком?

— Да, может быть. Но ты и не можешь умереть здесь: ты в родной стихии,— говорю я ему.

— Птицу почти всегда убивают в воздухе,— был его ответ.

Думаю, что усталость и чувство одиночества, отсутствие поддержки вызывает в нас эти мрачные мысли.

9. У нас была стычка с солдатами правительственных войск. Мы устроили им засаду. Чакеньо ранили. Так как негде было оказать ему помощь, пришлось отнести его в одну хижину. Оказалось, что там живет та девушка с реки. Она вела себя великолепно. Зовут ее Лаура. Лаура. Отец ее немного боялся — и нас, и солдат. В бреду Чакеньо хватал меня за руку и говорил:

— Не забывай меня, помни, о чем я тебя просил.

Мы ушли, как только оказали Чакеньо первую помощь.

Лауре я пообещал вернуться.

10. Солдаты буквально идут за нами по пятам. Проблем огромное множество. Мы делаем круги, потому что не можем углубляться дальше в горы, в лес (у нас нет надежных проводников, поэтому мы боимся

потерять людей) и не можем выйти на равнину (вокруг зарослей, где мы находимся, местность совершенно лишена растительности, что облегчит правительственной авиации налеты на нас). Несмотря на усталость и некоторый упадок духа (это коснулось всех нас, хотя вовсе не служит признаком отсутствия у нас революционного энтузиазма), я чувствую в некотором роде особый подъем благодаря близости Лауры. Сегодня ночью я сделаю вылазку к ее дому. Знаю, что солдаты оцепили всю округу, но я должен ее увидеть; она все больше становится частью моей жизни. С человеческими существами происходит обычная и весьма серьезная вещь: хотя мы и живем, движимые самыми великими идеалами, мы всегда ощущаем потребность постоянно «начинять» нашу жизнь каким-нибудь ощутимым, реальным грузом. Постараюсь выразиться яснее: в каждый отдельный момент нашего существования, отмеченный знаком служения идеалу, мы живем не только одним этим напряженным ожиданием, но всегда переплетаем его с теми или иными задачами, может быть, и менее возвышенными и менее достойными, не сравнимыми с высокой чистотой идеала, но выгодно отличающимися от него тем, что они «находятся под рукой», больше, чем он, обладают вкусом и цветом жизни. Поэтому нам кажется роботом, существом, лишенным подлинной человечности, тот, кто делает из своего идеала хрустальный замок. Отношения с существами другого пола не только чисто сексуального свойства и есть одна из этих «начинок». В душе человека назревает конфликт, когда из простой жизненной начинки любовная страсть постепенно превращается в самые соки жизни, вытесняя идеал, который раньше питал его. Но если умирает идеал, что происходит тогда?

11. Командир говорил с нами совершенно откровенно. Он сказал, что дела идут не слишком хорошо, хотя и не все потеряно. Не было сомнений, что властям удалось нанести удар по нашим связям в городах. Благодаря этому правительство знало, сколько нас, где мы находимся и каковы наши истинные возможности. Заканчивая, он сказал, что, как революционер, он не имеет права нас обманывать, что каждый должен еще яснее осознать, какая упорная и трудная борьба предстоит нам. Он привел несколько высказываний вождей революции и в заключение указал, что, принимая во внимание сложившуюся ситуацию и полагая, что среди нас остались самые преданные делу люди, те, кто действительно живет Революцией, он даже и не мыслит, чтобы кто-нибудь мог покинуть наши ряды.

Когда он кончил, наступило долгое молчание. Казалось, мы обдумывали — каждый для себя — свои поступки, и вдруг неожиданно для нас самих из наших глоток рванулась на волю наша боевая песня. Мы обняли Командира и выступили в поход.

12. Свернувшись калачиком, чтобы согреться, прогнать утренний холод, я думаю о Революции. «Можно ли ее сдержать? Неужели она лишь печальная иллюзия, рожденная в экзальтированных умах кучки людей?» — спрашиваю я себя. Я не могу ответить утвердительно на эти вопросы. Некоторые наши товарищи уже погибли. Это так. Весьма возможно, что врагу удастся уничтожить нас всех. Но ведь мы — это еще не Революция. Мы осознали ее, хотели сделать ее у себя на родине, вот и все. Революция — требование, веление самого человеческого существования: если человек хочет построить истинно гуманное общество, выйти из мрака ночи, из этой жуткой мешанины животного и человеческого, он должен делать Революцию.

13. Сегодня на рассвете мы вступили в небольшое селение, затерянное в горах. Собаки еще издали встретили нас лаем, но не слишком встревожили жителей. Селение мирно спало, когда мы появились на окраинных улочках. Собаки только ворчали, но нападать не решались. Вид у селения был довольно жалкий — ни церквушки, ни рынка, не было даже центральной площади. Мы выбрали небольшое свободное пространство перед домами и созвали туда народ.

Собирались люди долго. Некоторые со страху попрятались в самые невероятные места: залезли под свои узенькие койки, зарылись в кучи грязного тряпья. Мы убедили их выйти, уверив, что им не грозит никакая опасность, что мы не будем стрелять и хотим только получить кое-какие сведения и побеседовать.

Пока собирали людей, Командир остановился в лучшем «доме» селения, единственном выбеленном известью. Он принадлежал коррехидору [1], который каким-то образом узнал о нашем приближении и бежал в горы. Дома мы застали только его супругу, крупную длиннолицую женщину с крючковатым носом. Увидев осунувшееся, усталое лицо Командира, она смягчилась, с нее слетела кажущаяся черствость, и она сама предложила ему кровать, предварительно сменив простыни. Командир согласился «прикурнуть» на один момент, но усталость взяла свое, и он глубоко уснул.

— Бедняжка,— повторяла женщина, взглядывая на него.

— Он немного нездоров,— сказал я.

— Очень устал,— пояснил, поправляя меня, кто-то из товарищей.

— Вам надо сдаться. Пять дней назад здесь были солдаты, их было в десять раз больше, чем вас. И оружия у них больше. Сержант сказал, что они помилуют всех, кто сдастся. Уж не знаю,— сказала женщина.

— Нас больше, чем вы можете себе представить, и нас поддерживает народ,— сказал тот же товарищ.

Люди постепенно собирались на площадке. Молча ожидали. Некоторые пришли с детьми — для безопасности. День едва зарделся над самыми далекими холмами. Многие принесли с собой керосиновые лампы. Я не мог понять, для чего это им.

Когда удалось собрать всех жителей, включая учителя, который был очень говорлив и любезен с приглашавшими, несколько товарищей пошли будить Командира. Я запротестовал. Сказал, что он очень устал, что лучше дать ему еще немного поспать.

— Жители переполошатся,— сказал Чакеньо.

— Но Командир не спал по-настоящему больше недели,— отвечал я.

Жена коррехидора поддержала меня. Заметила, что ее односельчане не привыкли ждать. Она рассказала, как однажды депутат обещал им приехать в назначенный день, чтобы «на месте ознакомиться с насущными нуждами жителей» (произнеся эти слова, женщина покраснела от страха, что они произведут на нас плохое впечатление), и все селение ожидало его в школе целый день. Депутат так и не появился.

— Он извинился только три месяца спустя через одного из руководителей Крестьянского объединения, который ездил в Ла-Пас,— кончила свой рассказ жена коррехидора.

Солнце пекло все сильнее. Я решил пройтись по селению. Собравшиеся ожидали стоя. Мужчины держали шляпы в руках и в волнении крутили их, перехватывая за поля; женщины прикрывались одеялами, хотя жара все усиливалась, некоторые прижимали к себе детей, словно стараясь защитить их.

[1] В данном случае — староста населенного пункта.

— Командир сейчас придет,— сказал я. Рядом со мной встал Херонимо.

— До того как Командир придет побеседовать с вами, мы хотели бы вас кое о чем спросить. Я задам несколько вопросов. Прошу вас говорить правду и ничего не бояться. Когда здесь были солдаты?

Голос Херонимо прозвучал громко и ясно, но ни один человек не пошевелился, ни один не выказал ни малейших признаков того, что слышал вопрос. Херонимо повторил его, на этот раз несколько энергичнее, и при этом картинно потряс винтовкой.

По людям пробежал испуганный шепот.

— Несколько дней назад,— сказал наконец учитель, сияя дружеской улыбкой.

— Сколько именно? — спросил Херонимо, глядя мимо него на собравшихся.

— Шесть,— ответила какая-то женщина.

— Пять,— поправил ее мужчина и втянул голову в плечи, как будто хотел ее спрятать.

— Много их? — поинтересовался Херонимо.

— Гораздо больше, чем вас,— сказал учитель, явно довольный — не то тем, что солдат больше, не то тем, что знает такие подробности.

— Мы здесь не все. Мы никогда все не показываемся на людях,— пояснил Херонимо, на этот раз пристально поглядев на учителя; тот не отвел глаз.

Солнце тем временем успело подняться еще выше и жгло нам макушки. Некоторые женщины, слегка робея, стали скидывать с плеч одеяла, служившие им накидками.

— Они говорили, куда двинутся? — спросил Херонимо.

Об этом никто ничего не знал.

— Они ушли в ту же сторону, откуда пришли,— сказала одна женщина.

— Куда же? — спросил Херонимо.

— Вон туда,— показала женщина.

— На юг,— уточнил учитель, снова очень довольный собой.

— Они вам что-нибудь говорили?

— Обещали вознаграждение, если что-нибудь расскажем. А мы — никто — ничего не знали. Только всякие слухи насчет вас. Еще они сказали, что, когда вас разобьют и в стране наконец воцарится спокойствие, они придут и построят нам школу попросторней,— сказал учитель.

Херонимо окинул нас быстрым взглядом. У него был несколько утомленный вид, несмотря на то, что он обладал недюжинной физической силой.

— Они сказали, что вы нас оберете до нитки,— выпалил кто-то в толпе, кто — мы не разобрали.

— И что в бога не веруете и в пресвятую деву тоже,— добавила какая-то старушка, смерив нас презрительным взглядом.

Немногочисленные молодые парни глядели на нас с полным безразличием. Они стояли кучкой с краю площадки.

— Не хотите ли вы сообщить нам что-нибудь важное, что-нибудь такое, что может нам помочь? — обратился я к толпе.

Мне показалось, что никто меня не слушал.

Вдруг, совершенно непонятно откуда и как, перед Херонимо возник мальчонка и с улыбкой воззрился на него. Херонимо наклонился и взял ребенка на руки.

— В школу ходишь? — спросил он громко, будто специально, чтобы слышали все.

— Нет, я помогаю отцу в поле,— ответил мальчик.

Херонимо взглянул на собравшихся.

— Мы не хотим вас обманывать. Мы не хотим говорить вам ни о боге, ни об ангелах. Мы сражаемся за этих вот детей.

Я ушел с собрания и отправился в дом коррехидора. Командир все еще спал. Хозяйка приготовила ему горячий завтрак и ожидала во дворе, беседуя с кем-то из наших.

— До какого вы пробудете здесь, в нашем селении? — спросила она меня. Увидев встревоженный взгляд своего товарища, я понял, что тот же вопрос она уже задавала ему.

— Он сам решит,— сказал я, кивнув головой на комнату, где отдыхал Командир.

— Как бы мой муж не помер от страха там, в горах,— сказала она нежным голосом, которого никто не мог предположить в такой рослой и сильной женщине.

Вошел Дарио. В руках у него была пачка денег. Он показал ее хозяйке.

— Нам нужна провизия и одежда,— сказал он.— Мы за все заплатим.

— Постараемся найти, что можно,— пообещала женщина.

Я вошел в комнату, в которой спал Командир. Остановился возле кровати и не мог отвести от него глаз. Новые глубокие морщины прорезали его лицо. Меня снова охватило чувство восхищения им. Борода его, всегда чистая, почти не скрывала глубоких скорбных складок и выражения усталости. Спал он тяжело, по временам нервно подергивал головой. Его руки — тонкие и белые, несмотря на жизнь в походных условиях,— отдыхали по бокам, как нежные голубки. «Ради такого человека есть смысл принести себя в жертву»,— сказал я себе.

Хотя я даже не пошелохнулся, он внезапно, но совершенно спокойно открыл глаза. Сев на кровати, он со слегка виноватой улыбкой сказал мне:

— Видно, я как следует устал, если заснул.

— Не торопитесь. Для вас готов завтрак,— сказал я.

— Никак у тебя не получается говорить мне «ты»,— заметил Командир, поднимаясь.

Хозяйка внесла в комнату завтрак. Командир с улыбкой принялся за него. В глазах женщины я заметил искорки восхищения этим человеком, которого она на несколько часов пригрела в своем доме.

Когда Командир позавтракал, мы отправились на собрание. По дороге он расспрашивал меня, что произошло за это время.

— В общем, они тоже сбиты с толку,— сказал он, улыбаясь.— Это какая-то небывалая погоня. Преследователи прибывают раньше, чем преследуемые, затем возвращаются вновь, так и идет — по кругу,— добавил он.

Собравшиеся тихо переговаривались. Казалось, что они больше не боятся плохо одетых улыбающихся бородачей. Херонимо показывал парнишке какую-то деталь винтовки. Все замолчали, как только мы подошли и поднялись на небольшое возвышение, с которого Командир должен был говорить.

— Добрый день,— сказал он, подняв руку для приветствия.

Никто не отозвался. Учитель стал пробиваться вперед: такой спектакль нельзя было упустить.

— Благодарю вас за сведения, которые вы сообщили моим товарищам. Они нам пригодятся,— начал Командир.— Мы не хотим причинять вам ни малейших неудобств и уйдем, как только отдохнем и запасемся самым необходимым. Никаких грабежей не бойтесь. Относительно этого можете быть совершенно спокойны. За все, что мы возьмем из продуктов или одежды, будет уплачено. Я не допускаю среди

своих товарищей никаких злоупотреблений. Мы боремся за справедливость, поэтому никогда не начнем своего дела с несправедливости. Мы боремся за вас, хотя вам кажется это странным. Мы добиваемся человеческих, достойных условий жизни для вас и ваших детей, для всех боливийцев. Мы хотим, чтобы эта земля одаривала тех, кто рождается, работает и живет на ней, а не иностранных капиталистов. Вы влачите нищенское существование: у вас нет электричества, нет дорог к городам, не хватает питьевой воды, нет хорошей школы, ваши дети не могут получить приличную профессию, если пожелают, вы лишены медицинской и санитарной помощи в случае болезни и многого, многого другого. Всего этого мы можем для вас добиться с вашей помощью. Иметь это — ваше право, вы ведь люди, и вы сможете этого достичь, если твердо пойдете к своей цели. Мы не просим вас бороться против солдат с оружием в руках, на это есть мы, но вы можете бороться за новую жизнь, отказывая войскам в своей помощи — не снабжать их продуктами, не сообщать никаких сведений...— Командир на мгновение остановился. Люди слушали его молча, внешне не выражая ни одобрения, ни недовольства. Только учитель, казалось, был доволен, хотя от него мне все время было как-то не по себе, но я не мог бы сказать точно, почему именно.

Громко заплакал грудной ребенок.

Мать начала судорожно укачивать его, она явно боялась привлечь к себе внимание. Она была молодая и миловидная. Командир улыбнулся и сказал, чтобы она дала ребенку молока. Женщина прикрыла грудь одеялом и стала кормить младенца.

— Мы ведем борьбу в трудных условиях, вдали от своих семей. Мы боремся не за себя, а за будущее всех вас,— снова заговорил Командир.— Мы пришли не с пустыми обещаниями. У вас будет достаточно возможностей отстранить нас, если мы их не сдержим. Мы и не угрожаем вам, у вас полная свобода выбора, но подумайте обо всем, что я сказал. Мир в наше время идет с Революцией или против нее. Революция не ограничивается передачей вам клочка земли, который вы даже не сумеете обработать: она означает научную организацию производства, чтобы каждый получал по потребностям и по своему вкладу в общее благосостояние. Революция означает гарантированное право на человеческое достоинство, чтобы не было человека, на которого смотрели и с которым бы по той или иной причине обращались как с существом, низшим по сравнению с другим существом. Мы все равны по рождению и в смерти, мы должны быть равны и в жизни. Революция вручает человеку его собственную судьбу, делает его творцом самого себя...

Я хочу закончить этот разговор, который, я уверен, многие из вас запомнят на всю жизнь, следующими словами: что бы о нас, партизанах, ни говорили, верно только одно — мы свободно взяли на себя эту историческую ответственность, не будучи в этом как-либо материально заинтересованы лично; мы несем вам надежду на новый мир, решимость покончить с отжившими системами; мы боремся не за себя самих, а за сынов нашей метисской Америки, которых, возможно, нам не суждено увидеть. Многие из нас погибнут в этой борьбе, но не забывайте никогда, что они отдали свои жизни, чтобы дать вам, принести вам жизнь, достойную каждого человека, живущего в двадцатом веке.

Командир умолк и поднес руку ко лбу, явно утомленный. Я испугался, что он потеряет сознание. Никто не пошевелился — ни восторга, ни неудовольствия. Только мы, его товарищи, находились под впечатлением речи. Молчание продолжалось несколько минут. Командир подошел к Дарио и что-то сказал ему на ухо. Тот вышел вперед и обратился к народу:

— Если у вас есть какие-нибудь вопросы, мы с удовольствием ответим. Вам нечего нас бояться. Мы вооружены не для того, чтобы стрелять в вас или защищаться от вас, но чтобы не быть застигнутыми врасплох, если появятся солдаты.

Учитель, очевидно, только и ждал этого момента, чтобы заговорить. Он вышел вперед и поднял правую руку.

— Представители армии нам сказали, что вы не революционеры, а обыкновенные захватчики, что вы явились сюда по приказу иностранных держав поработить нашу родину, вот я и хочу, чтобы вы нам это объяснили,— произнес он спокойным голосом с неопределенной, как всегда, миной на лице — то ли насмешливой, то ли презрительной, то ли дружеской.

— Сейчас отвечу,— сказал Командир.— Вы, как мне сообщили, местный учитель, ведь так?

— Да, он.

— Хорошо. Кто отцы боливийского отечества?

— Боливар и Сукре.

— Так. Ну, а они родились в Верхнем Перу [1]?

— Нет! Они были венесуэльцами,— не дал договорить учитель.

— Правильно. Прямо как на экзамене у вас в школе. Люди, освободившие нас от испанского владычества, были гражданами Америки, американцами. Мы все американцы. Мы все, народы Америки, должны объединиться против империализма янки и против капитализма — наших смертельных врагов.

Командир подождал следующего вопроса. Вышел молодой парень.

— Говорят, что вы коммунисты и не верите в бога,— сказал он, бледнея.

Командир ответил не сразу. Посмотрел на небо. Солнце поднялось высоко и стояло почти в зените прямо у нас над головами.

— В вашем селении есть священник? — спросил он, переводя глаза на парня.

— Нету,— сказал учитель, потому что юноша не решился ответить.

— Ну и что же — вы получаете от церкви ежедневную помощь или хотя бы в тех случаях, когда понадобится? Уверен, что нет. Служители церкви сидят в городах, там нет недостатка в пожертвованиях и много чистой публики, кто-нибудь нет-нет да и пригласит поужинать. Служить здесь чересчур накладно. Армия, которая расстреливает шахтеров и поддерживает бесправие народа, имеет своих капелланов, но здесь нет ни одного посланца бога. Мы думаем, что сначала нам надо бороться за лучшую долю здесь, на земле, ведь именно здесь мы по-настоящему голодны, здесь страдаем от отсутствия самого необходимого, поэтому оставим на совести каждого его отношения с небом и богом. Мы хотим гарантировать труд, хлеб и свободу всем, кто нуждается; религия — дело личной совести каждого.

На лице юноши появилось неопределенное выражение, кажется, он не был удовлетворен. Больше никто вопросов не задавал. По распоряжению Командира собрание было распущено. Мы занялись добыванием продовольствия и одежды. Когда стало смеркаться, я пошел сменить дозорного, оставленного нами на холме у въезда в селение. Он расспросил о том, что произошло в течение дня. Я рассказал ему все в общих чертах.

На рассвете следующего дня совершенно бесшумно мы оставили селение. Никто не видел, как мы уходили.

[1] Верхнее Перу — название, под которым в XVI веке территория современной Боливии была включена испанцами в вице-королевство Перу.

14. Мы вышли к небольшой реке. Несколько самолетов летали над нами, так что весь день мы не могли и носу высунуть из леса. Когда спустилась ночь, на встречу с нами вышел один товарищ из группы Хосе. Группа его отступала на север, где горы были повыше, так как подверглась преследованию армейских частей. Их предал некий Рубен, горняк, доброволец, записавшийся на шахте «Двадцатый век». У них были две стычки с войсками, и в конце концов они попали в засаду. Судя по всему, войска решительно и упорно продвигаются вперед. Товарищ, который пришел, едва не падал от усталости. Брюки его были изорваны в клочья. Ноги кровоточили, на них были одни только самодельные тряпичные сандалии. Когда он отдохнул, я подошел узнать о Хосе.

— Этот парень из Кочабамбы? — спросил он.

— Да,— ответил я.

— Так его убили,— сказал он, даже не взглянув на меня.

15. Мы столкнулись на тропинке со старой женщиной и ее внучкой. У девочки очень смышленое лицо, ей лет одиннадцать. Они живут в хижине неподалеку и разводят коз. Старуху уговорили пустить Командира переночевать в хижине или хотя бы поспать там несколько часов. Мы купили у нее четырех коз, чтобы заколоть. Старуха взяла у нас деньги, не торгуясь, похоже было, что она не совсем ясно представляла себе их реальную ценность. Старуха сообщила нам, что солдаты где-то неподалеку. У нас было такое чувство, будто она что-то скрывает от нас, но она была единственным существом, которому мы могли довериться за деньги. Мы все обсудили наше положение и согласились на том, что придется перейти реку и подняться повыше в горы. Солдаты не решатся двинуться туда. Командиру было плохо, как никогда, он уже не мог держаться на ногах. Мы попросили старуху достать нам мула. Она сказала, что приведет его ночью — сходит за ним к своей куме. Мы отпустили ее с некоторыми опасениями, хотя с нами оставалась девочка и стадо.

Уже глубокой ночью старуха вернулась, ведя за собой довольно приличного мула. Она посоветовала нам уйти на рассвете, хотя не было никаких признаков того, что солдаты где-то поблизости. Мы попросили ее довести нас до брода. Предложили за это хорошие деньги. Она сказала, что не может быстро ходить и устала, пока ходила за мулом. Однако пообещала нам помощь своей внучки, с тем условием, что мы ей заплатим вперед. Все эти переговоры вели Дарио и я, так как у Командира начался жестокий приступ лихорадки.

Я так и не смог уснуть. Написал эти строчки. И стал думать о Лауре. «Лаура, увижу ли я тебя еще когда-нибудь?» — спрашиваю я себя.

Брюхо капитана трясется от радости. Он почесывает себе затылок, сдвигает за козырек фуражку со лба и заливается смехом. Старуха смотрит на него с недоумением, думая, что он спятил. Ну, держитесь, говорит капитан, сукины дети, мать вашу так, пришел и на нашу улицу праздник. А потом запирается со старухой в ее лачуге, чтобы мы разговора их не подслушали. Мы просто помираем от любопытства. И не сводим глаз с закрытои двери хижины, которую капитан называет «моя штаб-квартира». Наконец оба выходят: впереди старуха с выражением воплощенной невинности на лице. За нею наш круглолицый капитан, рот до ушей от радости. Пусть старуха спокойно возвращается в дом и делает так, как сказал капитан, а у него есть один мировой парень, он нас проведет на условленное место. И палец его указывает

на Камбу; старуха уходит, ни разу не оглянувшись. Всем приготовиться, снаряжение походное — даст бог, мы всыплем этим бандитам по первое число. Мы выступаем. Капитан шагает позади всех, старается не выдать распирающую его радость, не запеть. Наверно, думаю, Какаду прошел у господа бога какую там полагается обработку и ждет теперь, когда я выполню свой обет. У Камбы глаза пантеры, он отыщет тропинку, даже если на дворе ночь и не видно ни зги. Мы идем, а сами боимся, как бы опять не устроили нам какой-нибудь ловушки. Ну, если так случится, думаю я, старухе тоже живой не выбраться, так ее и растак.

В темноте лес ощеривается черными масками, которые пугают тебя из-за каждого куста, хоть ты вовсе не собираешься раздумывать об ужасах и страхе смерти. Мы шагаем уже более трех часов, и когда силы наши уже на исходе от этого бесконечного марша и затаившейся повсюду опасности, Камба вдруг останавливается и говорит — вот она, пришли и чтобы я сказал капитану. Я бегу, передаю капитану слова Камбы. Капитан обливается потом, но виду не подает, что устал, и говорит, чтоб мы обождали и что надо переправиться через реку прямо сейчас, ночью, мол, еще разок не пожалеем себя ради блага родины и поскорее освободим ее от наглых захватчиков. Мы все настороженно прислушиваемся к тому, что для нас — лишь черная, невидимая угроза, пугающая неизвестностью. Наши глаза — уже привыкшие к темноте сельвы — различают на берегу стволы деревьев, все заметнее блеск бесшумной воды, отливающей старым серебром. Никто не может сказать с уверенностью, что перед нами одни деревья. Переправа будет длительной пыткой, ожиданием того, что, может быть, стало нашей судьбой с тех пор, как пришла старуха; она проделала до нашего лагеря ровно тот же путь, что сейчас мы, пришла и смотрит на меня, а потом заявляет, что хочет поговорить с капитаном, и все смеются и говорят, что у капитана нет времени на таких старух, и для того чтобы войти в «мою штаб-квартиру», ей должно быть по крайней мере лет на сорок меньше; а я говорю, замолчите, сукины дети, может, мы еще спасибо скажем этой сеньоре; охота закурить, говорит Камба, выкрутив свои штаны и надевая их мокрыми; и мне тоже, думаю я. Однако приказ есть приказ, а наши желания так и остаются желаниями. И снова мне приходит на ум Какаду, а следом уж, конечно, и Кобылица. Какаду интересуется, как поживает его суженая; ах ты, сукин сын, думаю, и там тебе неймется? *Кобылица — баба что надо, для бабского дела созданная, женщина не жадная, не то что другие в городке.* Рука капитана приятным грузом ложится мне на плечо, а его похвала — «правильно, солдат» — сладким медом вливается мне в уши, будто сама Кобылица меня окликает; «если все пойдет хорошо, вам обеспечен отпуск и повышение»; горжусь, мол, вашей сообразительностью. Капитан хвалит старуху, можно сказать, до небес превозносит, что поделать, говорит, надо довериться ей, солдаты. Все на карту ставим, жизнью рискуем. Толстяк без устали носится туда-сюда, расставляет солдат, как ему велит его наука, которой его обучали в военном училище. Один Камба умеет уничтожать следы, но и другие пусть не зевают: один след — и всем нам крышка, покажут нам гады, где раки зимуют, и охнуть не успеем. Старуха-то, наверно, уже болтает с партизанами, зубы им заговаривает, а мы наготове сидим, тихо, как мыши, и смотрите у меня, чтоб ни один волосок не шелохнулся, разрешаю только моргать и мочиться в штаны, если кто не утерпит, мать вашу так, только чтоб тихо.

Командир дремлет, сидя в седле. Голова его раскачивается из стороны в сторону, в такт шагам мула. Остальные идут гуськом на рас-

стоянии пяти-десяти шагов один от другого. Сначала девочка шла рядом с Дарио, но потом забеспокоилась и стала понемногу уходить вперед. Каждый шаг удаляет меня от тебя, Лаура. Тропинка круто поднимается вверх по склону, усеянному камнями и заросшему бурьяном, и внезапно обрывается на обширной площадке, гладкой и лишенной всякой растительности; дальше впереди поблескивает река. Еще немного, Какаду, потерпи, скоро хоть сможешь забыть о своей Кобылице. Добравшись до гребня, девочка приостановилась.

— Бабушка велела довести вас досюда и вернуться,— говорит она, уставившись на воду, бегущую далеко внизу.

— Но нам нужно знать, где брод,— объясняет ей Дарио.

Девочка смотрит вниз и молчит. Потом показывает рукой:

— Вон он брод. Там совсем мелко.

Хавьер подходит к Дарио и девочке. Вслед за ним подъезжает на муле Командир. Ну, Какаду, настал их последний час. Я видел, как они темными пятнышками появились над обрывом. Капитан говорит, пусть спустятся, я выстрелю первым. Матерь божия Копакабанская, молюсь я. Стук сердца отдается сильнее, чем слова молитвы. Хавьер улыбается девочке.

— Она говорит, что брод прямо против этого спуска. Но дальше идти не хочет.

Хавьер смотрит на Командира. Передает, что сказал ему Дарио.

— Хорошо, хорошо,— говорит Командир, пытаясь совладать с лихорадкой и с трудом понимая слова, слетающие с губ Хавьера.

Дарио подозрительно оглядывается по сторонам. Все спокойно. Нас немного трясет; к тому же, друг, утренний холод пронимает, да и бородачи что-то остановились и дальше не идут. «Принюхиваются, гады»,— говорит капитан, но все равно шевелиться не велит.

— Ты перейдешь со мной реку и потом вернешься к бабушке,— говорит Дарио.

— Бабушка сказала, чтобы я вернулась сразу, не переходила бы реку,— отвечает девочка, готовая расплакаться.

У Командира начинают стучать зубы. Потерпи самую малость, Какаду, ведь спустятся же они в конце концов. Долго еще нам ждать? Спорят о чем-то с девчонкой, старухиной внучкой, поясняет капитан.

— Отпусти ее, пусть идет. Она и так уже достаточно сделала,— говорит Хавьер.

— Не знаю,— сомневается Дарио.— Тут что-то не так.

Чакеньо подходит ко мне поближе.

— Непредвиденные осложнения,— шепчет он.

— Не знаю, что-то не так,— повторяет Дарио и переводит взгляд на девочку. Та начинает хныкать. Я смотрю на Командира, он по-прежнему сидит в седле, его знобит. Подхожу и беру Командира за руку. Он открывает глаза, улыбается мне. Спускались бы уж, переправлялись бы скорей, так вас и так.

— Будем переправляться? — спрашиваю у Командира.

— Конечно,— отвечает он.

— Сначала перейду я с девочкой,— говорит Дарио.

Девочка начинает плакать сильнее.

— Мне от бабушки попадет,— всхлипывает она.

Позабыть на минутку, где ты, и подумать о своем — все равно что глотнуть свежей родниковой воды. Да так ли? Ничего похожего! Как станешь размышлять, совесть точно ядовитая гусеница обжигает, так и норовит наружу того беса вытянуть, который дернул меня на это дело. Да только разве она женщина, которая ждет? Не ждет она, а выжидает. Берегись! Эта баба своего не упустит, подвернется удобный случай, она тут как тут. Связаться с Кобылицей — это как в пропасть

броситься; только по дну той пропасти журчат чистые ручьи, стелется мурава и сочится мед любви.

Небо над нами все светлей и светлей, Какаду. Мы сидим, словно каменные,— не разговариваем, не шевелимся. Я жду своего часа ради нашей с тобой крепкой дружбы, пальцы у меня не дрогнут. Меня прямо точит нестерпимое желание вскочить, убивать, разнести их к чертовой матери. Командир произносит несколько невнятных слов; глаза его то закрываются, то открываются вновь; он обливается потом и тут же дрожит в ознобе. Возле него копошатся какие-то яркие улыбающиеся существа. Одно протягивает что-то вроде щупальца и оправляет на мне одежду, издавая при этом утешающие звуки, которые он не может разобрать. Он пытается ответить, старательно подражая им. Два других существа перевили друг друга сверкающими щупальцами. Сделав усилие, Командир может разглядеть целых четыре странных существа, одно так мало, что напоминает крошечную улитку без раковины. Командир пытается поговорить и с нею, но, выслушав его, улитка начинает издавать пронзительные звуки, от которых у него режет в ушах.

Близится день, обрисовывая контуры вершин, но пока это лишь бледная узкая полоска над черным массивом хребта.

— Я подарю тебе кое-что,— уговаривает Дарио девочку и берет ее за руку.

— Идите скажите остальным, чтоб начинали спускаться, только когда вернется девочка,— говорит мне Дарио.

Чакеньо берет мула под уздцы и тихонько напевает песенку, популярную у него на родине. Я думаю о том, что больше не увижу тебя, Лаура, и иду выполнять поручение Дарио.

Если хорошенько прикинуть, Какаду, то больше всех, наверно, сходят с ума те трое, которых капитан поставил как раз напротив площадки, где совещаются сейчас бородачи. Ребятам наверняка виден каждый волосок в бороде вон того, что сидит на муле — надо думать, начальника. Начальство везде одинаковое: всегда устраивается поудобнее и понадежнее, так, чтобы легче было дать деру, ну да на сей раз, думаю, это не поможет — я об этом так, между прочим. Капитан наш хитер, как бестия, Какаду. Он мне сказал, что настал час отплатить тем, кто тебя убил. Ясное дело, до того, как привел нас сюда. Он потирал руки и улыбался; и говорил без умолку, строил планы. Старухе предложил немалые денежки. Трое солдат на верхушке холма могут различить даже всхлипывания девочки. Они держат пальцы на гашетке пулемета. Сбоку от широкой тропы, спускающейся к реке, за скалами засел еще десяток солдат. Капитан предусмотрел все до последней мелочи. Я думаю о том, что я все дальше и дальше от тебя, и отвечаю товарищам, которые спрашивают, почему мы остановились. Он нам разъясняет: «Сидеть всем тихо, ни под каким видом не стрелять, пока не пройдут брода». Мы начеку. Бородачи, говорит капитан, должны переправляться без девчонки. Гибель невинного существа нам ни к чему.

Девочка упирается, не хочет идти.

— Вот эти пятьдесят песо будут твои,— говорит ей Дарио.— Купишь себе хорошенькие туфельки.

Девочка перестает плакать и берет деньги.

— Но бабушка сказала, чтобы я не шла через реку,— говорит она и начинает сходить вниз по склону.

Двое уже спускаются, Какаду. Скользят вниз. Тихо, герои, говорит капитан, терпение. Мул начинает беспокойно перебирать ногами.

— Тсс, старушка,— говорит мулу Чакеньо.

Клянусь, Кобылица, я отомщу за смерть Какаду, уложу хоть одного. Может, ты видел убийцу, видел, кто убил моего Какаду? — хлюпая носом, говорит Кобылица. Бедняжка ревет и прижимается ко мне

грудью. Клянусь тебе, Какаду. Я словно каменный сначала, у меня и в мыслях ничего нет, это ведь твоя Кобылица. Но она не отступает, жмется, ластится — кого хочешь проймет. Меня пот прошиб, я ее тоже за руку беру, а она ревет и мокрым носом по моим щекам возит; Какаду, тут силы мне изменили, Кобылица ведь баба в самом соку, мягкая вся, точно губка, так и тянет пощупать; она даром что шлюха, а слаще не видел. Клянусь, хоть одного, но убью, отомщу по справедливости, Кобылица. Ты ему друг, стало быть, должен быть и моим другом. Ты ему друг, говорит, и как будто между прочим вовсю старается — хочет знать, какой из меня мужчина,— и все жмется, жмется, аж голова кругом идет. И тело ее у меня под руками мягче мягкого. Двое уже на берегу.

— Одна из них — девчонка,— шепчет капитан.

«А разрази вас гром, сволочи»,— говорю про себя. Потому что девчонка могла невзначай получить то, что предназначается для него.

Мужчина берет девочку на руки и начинает переходить реку. Вода теплее воздуха. Я оставляю ребят и возвращаюсь к Командиру и Чакеньо. Спрашиваю, переправились ли уже Дарио и девочка.

— Как раз сейчас переходят,— говорит мне Чакеньо, указывая кивком головы вниз.

— А Командир? — интересуюсь я.

— Лихорадит его по-прежнему,— говорит Чакеньо и добавляет: — Когда заберемся повыше и поглубже в лес, он сможет отдохнуть, а мы за ним присмотрим.

— Товарищи спокойно ждут,— говорю я.

— Тем лучше,— отвечает Чакеньо.

Дарио дошел до середины реки и остановился. Ему показалось, что с другого берега доносится какой-то шепот.

— Вам тоже страшно? — спрашивает девочка.

— Молчи,— говорит Дарио.

На другом берегу поднимаются чистые плотные заросли. При слабом свете утренней зари ничего нельзя разобрать. В листве начинают скакать и петь птицы. «Тут, может, вся армия нас поджидает»,— мелькает в голове у Дарио. До ушей его не доносится никакого подозрительного шума, глаза не отмечают ни малейшего движения, которое могло бы говорить о присутствии людей. Девочка не спускает с него внимательных глаз, готовая расплакаться от страха.

— Тихо, детка. Все в порядке,— говорит ей Дарио с улыбкой и двигается дальше. Принюхиваются гады, как здорово сказал капитан. Он остановился, Какаду, и чуть не швырнул девчонку в воду, чуть не открыл стрельбу. Зря бы мы тогда здесь сидели, зря бы с капитаном дожидались, когда наша возьмет. А в голове у меня снова и снова ворочается воспоминание, не дает моей совести покоя. Потому что Кобылица — это ведь баба настоящая, без обману, друг Какаду; баба она прежде всего и, что ей положено, еще как знает. Я уже и телом и душой совсем размяк, готов делать, что ей только вздумается. Она навалилась на меня, и я смотрю ей в глаза, близко-близко — ближе некуда, даже дышать тяжело, она тоже на меня уставилась и дышит прямо в лицо. В комнате тепло, и мне так хочется отдохнуть, понежиться, пока не началась эта погоня за бандитами. Она старается и так и этак, вся выкладывается, а я чувствую ее тело, мягкое и податливое под моими пальцами, и терпения уже нет никакого. Ты все это понимаешь, Какаду, мы ведь вместе куролесили в городе и в лагере, когда познакомились с Кобылицей. Бородач оставил девчонку на берегу и идет прямо на нас. Винтовку держит наперевес. Оглядывает кустарник, где мы сидим, но ему и в голову не приходит, что мы тут. Я кусаю себе губы, чтобы не

послать его подальше и не исполнить, не откладывая в долгий ящик, обещание, которое я дал тебе, друг.

— Он отпустил девочку и идет по берегу к лесу,— сообщает Чакеньо.

— Пойду скажу товарищам, пусть спускаются,— говорит Хавьер.

— Лучше подождем сигнала. Предчувствия редко обманывают Дарио,— говорит Чакеньо.

— Хорошо,— соглашается Хавьер.

В один из этих дней я непременно вернусь. Во что бы то ни стало вернусь, Лаура. Ты не должна меня забыть.

Дарио подходит к ближайшим зарослям — они стоят плотной стеной — и кидает камень в густую листву. Потом дулом автоматической винтовки слегка раздвигает ветви. Никого.

Первые лучи солнца просачиваются сквозь густую листву и падают на землю бледной тоской по солнцу. Дарио возвращается к девочке, которая снова принялась хныкать.

— Все в порядке,— говорит он ей,— возвращайся к бабушке. Я никогда не забуду, как ты помогла мне, дружок,— добавляет он, ласково взяв ее за подбородок. Девочка отворачивается и быстро переходит реку назад. Дарио делает знак партизанам, ожидающим наверху. Чакеньо начинает спускаться, ведя под уздцы мула. Вслед за ним начинают двигаться остальные.

Мы чуть было не пропали. Бородач стоял и смотрел прямо на нас, не знал, есть мы тут или нет. Он был в каких-нибудь двух шагах. Какаду, я видел его лицо и бороду. Мне пришлось губы в кровь искусать, чтобы не выпустить в него пулю. Никто пикнуть не смел. Капитан, верно, тоже не то что моргать — дышать боялся. Сейчас бородач, стоя на берегу, делает знаки своим, чтобы спускались. Вот появляется первый, тащит за узду мула. Мул слегка оскальзывается. Командиру чудится, будто он летит на дно пропасти. Он с усилием открывает глаза. Свет занимающегося дня безжалостно терзает его, как разъяренная фурия. Сверкающее существо, видное ему словно сквозь дымку, поворачивает свою бесформенную голову и растягивает огромный рот в дружеской улыбке. Одно из его щупалец тянется к кораблю, на котором Он уплывает. Командир не чувствует ни малейшего страха от столь необычного общества, порукой его безопасности — дружеское расположение странных, фантастических существ.

Двое уже одолели половину пути. Кажется, сердца у нас лопнут, если они не поторопятся. Подожди, Какаду, доверься пресвятой деве Копакабанской, я уберу по крайней мере двоих из бандитов, которые отправили тебя на тот свет.

Мы снова трогаемся в путь. Дарио убедился, что опасности нет. Если нам удастся уйти в горы, в лес, который начинается на том берегу прямо у воды и тянется до самой Амазонки, им никогда не схватить нас. Мне приходит в голову мысль написать тебе, Лаура, разумеется, только в воображении. Я на минутку останавливаюсь, чтобы вытащить из вещевого мешка тетрадь. Буду на ходу сочинять письмо и на первом же привале напишу. Это письмо дойдет до тебя не раньше, чем мы снова увидимся. Я уверен, что, как только мы доберемся до берега, все образуется и мой путь снова приведет меня к тебе. Тот берег для меня как лик надежды, Лаура, любимая.

Любовь к ней? Нет, ни за что! Я отказываюсь, решительно отвергаю возможность даже в мыслях соединять так эти понятия. Одиночество, тяготы войны, мальчишеская удаль и жажда строить планы на будущее — вот в чем причина. Нет, любовь — это чистота помыслов, это свежая, чистая улыбка юной девушки, которая не прячется по углам с мужчинами. Но... ведь так? Долой, прочь даже помыслы!

Люди медленно спускаются по крутому каменистому склону. Вдалеке сияет солнце, его диск выглядывает из-за ломаной линии гор. Чакеньо уже у воды. Мул вытягивает шею и принимается пить. Чакеньо торопит нас. Я вхожу обеими ногами в воду и чувствую ласкающее тепло, которое поднимается все выше и выше по мере того, как я продвигаюсь вперед. Я вижу, что Дарио продолжает внимательно изучать песчаный берег на той стороне. Все мы уже на середине реки. Командир движется теперь в центре колонны — мул его понемногу отстает.

Девочка останавливается, увидев троих солдат,— они велят ей бежать домой. Солдаты залегли на высоком каменистом выступе и ждут, глядя, как оседает пыль на склоне.

Дарио все ходит и ходит по берегу. Непонятный след на песке заставляет его насторожиться. След ведет к дуплу в огромном подгнившем стволе. Дарио наводит на дупло винтовку и оглядывается: растянувшись по широкому броду, партизаны переходят реку. Выше, на вершине холма внимательный взгляд Дарио улавливает короткий блеск. В какую-то долю секунды Дарио все понимает.

— Назад, назад! — кричит он и стреляет по дуплу.

Командир вздрагивает от свиста пуль. Он видит, как у его ног ныряют в воду и всплывают хромированные существа. От их металлических длинных щупалец отрываются какие-то светящиеся юркие блики. Существа окружают его, с необъяснимым отчаянием пытаются что-то сообщить. Все кружится в световом вихре, из него возникают гибкие щупальца и стараются утянуть его корабль подальше от сверкающего смерча.

Стреляем без роздыха, мать вашу так. И я стреляю. Убиваю. Наконец-то дождался своего часа, не зря, значит, столько времени просидел не шевелясь. Отсюда мне хорошо видно, как бородач, ведущий под уздцы мула, на котором сидит их начальник, начинает метаться по сторонам, что-то кричит и стреляет куда попало. Прицеливаюсь в него не торопясь — ведь я действую наверняка,— и он падает в воду. Я бью их яростно и уверенно, как можно бить из засады. Так вам и надо, собаки, радуется капитан. Все кричат и палят, никем не считанные гильзы устилают землю. Смерть предателям-капиталистам, кричат бородачи и крутятся кружком, стараются вырваться, а уйти некуда. Сверху наши поливают реку из пулеметов. Любо-дорого смотреть на это, Какаду; вовек не забуду, как пули поднимали брызги, раскалывали камни и того лучше — впивались в тела, а из них хлестала кровь и вода в реке делалась красной. Раненый мул визжит, а человек на нем словно очнулся от сна: глядит по сторонам и поднимает руки — хочет снять с себя какой-то груз, нам не видать какой. Взять этого живым, кричит капитан, он — главный, а тот падает замертво, ведь ребята на скале не слыхали и все стреляли и стреляли, не помня себя от радости и восторга.

Раздается последний выстрел, уже ненужный. Солдаты сидят еще какое-то время в укрытии. Утренний ветерок уносит запах пороха. Наступает полная тишина, ее лишь слегка нарушает плеск воды, омывающей трупы и полоску прибрежной земли.

Мы вздрагиваем от громкого голоса — капитан дает команду: велит нам подобрать трупы. Лезем в воду. Я тащу тело бородача с изуродованным пулями лицом и простреленной грудью.

Солдаты подбирают трупы партизан и раскладывают их на песке в один ряд, лицом в небо. Капитан принимается их считать.

— Четырнадцать! — говорит он.

— Значит, одного не хватает,— замечает сержант.

— Будем искать. Берите шестерых солдат и отправляйтесь по берегу вниз, пока его не обнаружите. Необходимо ликвидировать всех до одного. Тогда у нации перестанет болеть голова,— говорит капитан, потирая руки.

Человек шевелит головой. Он лежит, прижавшись щекою к песку. Приоткрыв глаза, человек смотрит, как вода, ударяя о скалу, взбивает зеленоватую пену. Он пытается встать, но острая боль в плече мешает ему поднять свое тело. «Я ранен»,— мелькает у него в голове.

Четверо солдат бредут вдоль одного берега, трое солдат и сержант — вдоль другого. Они движутся медленно, тщательно оглядывая спокойную гладь реки и прибрежный песок. Кажется, что вода и не бежит вовсе, что она остановилась. Чуть поодаль от солдат птицы-рыболовы кружатся низко над водой. Один солдат останавливается и подбирает с песка какой-то черный мокрый предмет. Показывает его сержанту.

— Это тетрадь для заметок,— говорит сержант, пытаясь перелистнуть размокшие странички, но они рвутся при малейшем прикосновении. На некоторых страницах чернила расплылись настолько, что прочесть запись уже невозможно.

Хочу пошевелить пальцами, но они мне не повинуются. Напрягаю все силы, чтобы перебраться в тень. Слишком печет солнце, невозможно лежать здесь, на раскаленном песке. С величайшим трудом, превозмогая боль, устанавливаю, что пуля угодила мне в плечо, раздробила кость. Кровотечение не унимается. Когда мне наконец удается дотащиться до тени, я делаю маленькую передышку и сажусь. Рука свисает, как лишний кусок мяса, как ветка, едва держащаяся на стволе, готовая вот-вот отвалиться. Я уже потерял много крови, а она все течет и течет. Оборачиваюсь и вижу красный след, который тянется от реки до моего убежища. «Если придут солдаты, они тут же со мной расправятся»,— думаю я, стягивая с себя рубаху, чтобы наложить жгут и остановить или хотя бы уменьшить кровотечение.

Сержант усаживается на камень и принимается читать тетрадь. Я думаю о тебе, Какаду, и о Кобылице тоже. Обоим я поклялся исполнить долг друга и не подвел вас, но я хочу отдать свой долг с лихвой, Какаду. Меня всего колотит от радости, эта лихорадка забралась мне в жилы, и по ним разливается приятное тепло, согревая мне сердце. Я хочу во что бы то ни стало сам отправить на тот свет человека, которого мы ищем. Тогда моя совесть успокоится, я расквитаюсь и за случай с Кобылицей; хотя я ведь такой же мужчина, как ты, Какаду, и все другие, да и Кобылица — женщина, которая этим живет, ей тоже не интересно, если мы, мужчины, позабудем, что ее дело — давать, а наше — получать удовольствие. Сержант радуется, как любящий отец, которого жена осчастливила двойней, и говорит, что есть, есть кое-какие следы и надо сообразить, как действовать дальше.

Ткань рубахи пропитывается кровью. Мои силы немножко восстановились. Доползаю до воды и смачиваю рубаху. Делаю себе жгут. Постепенно кровь останавливается. Веткой пытаюсь замести следы, брызги крови на песке. Устал страшно. Возвращаюсь в свое убежище. Кружится голова. Чувствую, что теряю сознание. Добираюсь до убежища и валюсь в тень.

Четверо солдат заметили на реке какой-то предмет; один из солдат бросается в воду, скинув одежду на берегу, другие делают знаки солдатам на противоположной стороне.

— Что это там? — кричит сержант.

— Не знаю, сержант, вроде бы вещевой мешок,— отвечает солдат.

Пловец возвращается на берег. В руках у него мокрый рюкзак.

— Вещевой мешок, сержант,— говорит он.

— Ну-ка, несите его сюда,— распоряжается сержант.

Любовь? Да, именно так. Ведь любовь это и сомнение тоже. И усталость, пожалуй. Это, думаю я, необходимость терпеть и радость, и страх. Но все это ради чего-нибудь стоящего! Ради чего-то, что завоевало, заслужило любовь. Нет, не хочу. Зло берет, как вспомню. Ну что ж, Кобы-

лица — женщина, а любовь выбирает женщину для мужчины. Вот и все. Угрызения совести? Не со стороны об этом судить. Чужая душа — потемки.

Я вспоминаю, как мы попали в засаду. Передо мной встает пылающее в лихорадке лицо Командира, который, преодолевая жар, силится понять, что происходит вокруг. Я кидаюсь к нему, хочу заставить окунуться в воду; когда до Командира остается всего несколько шагов, руки его взлетают в воздух — кажется, что они достают до неба,— и вдруг исчезают в реке. Я останавливаюсь в полном смятении, а пули свистят вокруг и крики солдат сотрясают воздух. Стреляю по берегу и приседаю, погружаясь с головой, но винтовку держу над водой. Когда становится нечем дышать, поднимаюсь, хочу выстрелить, но в голове все начинает кружиться, меня ведет куда-то в сторону, в бездонную темную глубину. «Боже мой, я погиб»,— говорю я себе.

Сержант раскрывает мешок и вынимает оттуда вещи, раскладывая их рядком на песке. Среди старых грязных тряпок ему попадается ладанка. Сержант поднимает ее повыше, чтобы видели солдаты, и смеется.

— А, сволочь, в бога и святую деву верует,— говорит он.

С другого берега раздаются крики солдат. Сержант встает и приставляет ладонь к уху:

— Что? Не слышу!

Кажется, это их винтовка, сержант, и еще, сержант, наверно, пулеметная лента. А сержант мне в ответ — мол, приятно слышать, музыка это, можно сказать, райское пение, ведь так? По мне — точно так, даже больше того. Гляжу я на реку, Какаду, мутная она, как сама жизнь,— не светлая и не черная, как сажа.

Мне удалось вновь подняться. Кровь больше не течет. Думаю, что смогу идти. Наконец-то попробую скрыться. Невозможно не оставить никаких следов. Буду спускаться вниз по реке. Не знаю, удастся ли мне отойти на достаточное расстояние прежде, чем тут появятся солдаты, которые, конечно, рыщут в поисках партизан, уцелевших после кровавого побоища. Не может быть, чтобы остался в живых кто-нибудь еще. Как ужасно одиночество в этих дремучих дебрях.

— Здесь кровь, сержант,— говорит солдат.

— Смотрите, ее старались стереть. Кровь совсем высохла,— говорит сержант.

Солдаты осторожно продвигаются вперед. Сержант велит солдатам с другого берега перебраться к ним. Брод близко.

— Сержант! — зовет солдат и протягивает ему клочок окровавленной материи.

— Где? — спрашивает сержант.

— Вот здесь,— солдат показывает на дупло. Ну гад, бородач, говорит сержант, погоди, поплачешь ты у меня кровавыми слезами. И улыбается своей злорадной улыбочкой, точно дьявол, который слов на ветер не бросает,— знаю, мол, куда можно дойти этой дорогой. Тут рукой подать, говорю, сержант, до тропинки, по которой... ясное дело, отвечает, так-перетак; и глазки у него сверкают, как горящие угли, даже страшно делается и весело до жути, знаешь ведь, что не зря он там все обмозговывает; дает он мне тетрадку, читай, говорит, эту страничку и смекай, если воображение есть; а я гляжу и глазам не верю, имя то написано черным по белому, и от радости кровь у меня рвется из жил. Сержант интересуется, нет ли тут тропинки покороче, чтоб побыстрее добраться до хижины, которую подозреваем. Есть, говорит Камба. Три лиги всего; если же берегом идти вниз по течению, вдвое дольше будет, сержант. А сержант так, говорит, и перетак, и смеется, и подмигивает. Ну, твое счастье, выпал тебе случай за приятеля отомстить.

Река поворачивает под прямым углом. За поворотом она раздается вширь и образует обширный, неглубокий брод. Тропинка спускается из лесу прямо к броду.

Теперь и дальше так. Так? Ректор поднимается со своего места и говорит мне, что теперь я волен поступать как мне угодно. Я бегу, Марито за мной. Мы одну разбили. О боже. Я должен добраться до ночи. Скачут лошади, и мы бежим. Это я разбил, мама. Ректор смотрит на меня и говорит, что больше ему ничего не оставалось делать. «Ты сам выбрал... дело твоей жизни»,— говорит он. Одна лошадь почти черная, она вот-вот нас нагонит; Марито смеется и плачет; мы больше не в силах бежать; черная лошадь прыгает на нас, ректор спешит нам на помощь. Солнце еще не зашло, но уже не такое яростное. Боже мой.

Ну, говори же, Камба, сукин сын, где это, я бегом домчусь. Чувствую, как солнце резво катится к горизонту. Камба удивляется, бес в тебе, что ли, сидит. Какой там бес, просто месть меня гонит, торжественный обет дал другу перед богом и святой девой. Убили Какаду, и за убийство я должен отомстить, пролить их кровь — так мне велит сердце. Да разве Камбе это понять, до него такое не доходит, не знает он, что значит дружба и верность тому, чем был для меня Какаду, когда мы жили, как братья. Пот прошибает, и дышать трудно, хотя из-за горизонта уже виднеется только половинка солнечного диска. «Вот мы и добрались наконец, друг»,— говорит Камба. Отсюда будет виден брод и тропинка. Хижина на другом берегу, вокруг нее банановые деревья и громадные каштаны, поясняет Камба. Он сопит за моей спиной, совсем выбившись из сил. Пот, так его, подло заливает глаза.

Из-за поворота показывается лодка, замедляя ход на широкой части русла. Человек старается направить ее к берегу.

— Вижу, Камба.

А ректор смеется и обнимает моего отца, и все согласны, что так лучше. «На твоем месте мы поступили бы точно так же»,— говорят оба одновременно. Мы с Марито переглядываемся. Лошади быстро скачут через луг прямо к нам, копыта их высекают искры, когда под ноги попадаются камни. Солнце вот-вот скроется. Боже мой. Скорее, скорее, я не хочу, чтобы лошади меня затоптали. Хуана тоже пронзительно кричит. Мама смотрит на лошадей и протягивает руки, потягивается. Ничего не понимаю. Это конец. Вот тропинка, вот она там. Хуана и Карлос смотрят, как я играю с деревянными лошадками, и тоже хотят играть. «Каждый человек оправдывает свою жизнь своими поступками»,— говорит преподаватель теологии.

— Я должен дойти прежде, чем стемнеет.

— Да, вон там, пониже. Это лодка.

Теперь Лаура одна, ждет, как всегда, в своей хижине. Жар понемногу отпускает меня, слава богу. Я доберусь. А лошади? Это просто какой-то... какая-то...

— Черт возьми, да в лодке же человек.

— Да, правда, там кто-то есть.

— Господин ректор, я пришел, чтобы...

— Проходи, проходи, милый Хавьер.

— Ранен, гад. Не может управлять.

— Ну, Какаду, все. Час настал.

Солдат снимает фуражку и обтирает лицо грязным платком.

— Я обожду его на тропинке. А ты иди к хижине и задержи старика с дочерью. Сержант дойдет берегом, попозже.

— Этой ночью так же, как всегда, Лаура.

Другой солдат останавливается в нерешительности.

— Ты слишком злой. Лучше бы взять его живым. Так мне кажется.

— Хуана, этой ночью ты должна прийти, потому что...

— Иди к хижине! — выкрикивает солдат и с вызовом хватается за карабин.

— Я говорю тебе, что больше ничего не чувствую, когда иду к мессе или преклоняю колена перед образом Христа. Во всем такая холодность, Карлос.

— Но ведь он раненый. Это уже не война.

— Я вернусь, Лаура. Клянусь. Я...

— А, чтоб тебя. Я имею право отомстить.

— Бог в недвусмысленно выраженной воле и в справедливости, полагаю я...

Камба выходит на тропинку и неохотно пускается в путь. Через несколько шагов он останавливается и оборачивается.

— Это преступление,— говорит он громко.

— Да провались ты! Они тоже поубивали наших ребят,— цедит солдат и угрожающе вскидывает карабин.

— Я так устал, Лаура... Я прошел всю сельву и...

Белая лошадь для тебя, Карлос; черная — для Лауры; третья — для... Человек выбирается из лодки. Невыносимая боль пронзает все его тело, когда он ступает на землю. Он часто дышит. «Кажется, брежу»,— говорит себе Хавьер и смачивает голову водой. Я жду тебя здесь один, вот так же спрятался, как ты, когда убивал моего Какаду, проклятый бородач. Жду, потому что должен отплатить своим друзьям за любовь — и Какаду, и Кобылице, *ведь эта женщина околдовала мое сердце. Сердце! А, будь оно проклято! Кобылица делает так, как хочет тот, кто приносит, приносил ей денежки. Она была, кем была, но этому уже конец, ну и что? Теперь не время испытывать судьбу — мою или чью еще, а то, что я принял о ней решение, хоть и запоздалое, это судьба другого — он имел и взял то, что она ему хотела дать.*

«Конец всему?» — спрашивает себя человек, волоча свое тело по узкой тропинке вверх по склону.

Эпилог

ХАВЬЕР:

«Всему конец?» — спросишь ты себя еще один, два, три раза, точно грузное обессилевшее пресмыкающееся волоча вверх по тропинке свое тело. Жар и бред оставят тебя в наступившей тишине. Повязка, жгут, который ты сделал себе, ослабеют, и кровь снова начнет течь ручьями. У тебя уже даже не будет сил выкрикнуть ее имя, имя Лауры; к тому же тебя остановит страх привлечь внимание солдат, которые — подумаешь ты — идут за тобой по пятам. Усталость, слабость и волнение заставят тебя на мгновение остановиться. Ты повернешь лицо, чтобы оглядеть след, оставленный твоим телом и странно заметный во тьме, которая уже воцарилась кругом. Посреди тропинки твоя свежая кровь, перемешавшись с землей, прочертит извивающийся ручеек, поблескивающий мрачно и печально: ты подумаешь, что истоки этого ручья находятся в тебе, но что ты питаешь его самим собой, прекращая существовать, чтобы превратиться понемногу (как в античных мифах) в зыбкий плеск прохладной воды. Ты протянешь свою руку и притронешься к жидкой кашице, замешанной на твоей крови; этот «прах» ты ощутишь, как тот, в который ты превращаешься, как глину, которая уже есть ты. И подумаешь (в этот свой миг, не отмеченный хронометрами) о Карлосе, о семинарии, о своих родителях, о единственном соблазне, на который был способен — Хуане, о великом идеале, приведшем тебя в эти далекие и неприветливые места; отдаваясь на волю последнего головокружения, ты

подумаешь также о своем Командире, этом большом человеке, которого уже нет на земле. Ты приладишься поудобнее, и твои руки вновь начнут цепляться за траву, чтобы тащить твое тело дальше. Тебе придется прикрыть глаза, потому что ты не сможешь держать лицо кверху и будешь все время ударяться головой о землю. Добравшись до верха, ты снова откроешь глаза и увидишь, что на тебя надвигается какое-то пятно (ты теперь видишь только пятна), и тебе захочется улыбнуться, потому что ты подумаешь — боже мой, это Лаура. Но улыбка твоя застынет, превратится в гримасу удивления, потому что пятно остановится возле тебя, держа какой-то металлический предмет. Ты удивительно отчетливо увидишь карабин, тебе даже покажется, что это коллаж, выполненный на сумеречном сером фоне каким-то талантливым мастером. Ты закроешь глаза и представишь себе, что услышишь сначала разрыв шрапнели, а потом почувствуешь, как пуля уводит тебя от жизни. Ты еще молча заплачешь по Лауре, по ее одиночеству, по миру, который ты покидаешь, но до слуха твоего донесется не выстрел, а только рыдания какого-то человека, который скажет в слезах: «Брат, бедный мой брат», не зная, что ты уже не сможешь его услышать. Хавьер, ты уже не сможешь услышать.

ЛАУРА:

Ты станешь успокаивать отца, пока солдат будет советовать тебе уходить как можно скорее в горы, говоря, что он и так рискует головой. Ты спросишь — и вся твоя жизнь будет в этом вопросе,— остался ли кто-нибудь в живых. Солдат скажет, что все погибли и что сержант со взводом солдат идет сюда берегом реки, чтобы сжечь хижину и увести старика с дочерью. Твой отец попытается остаться, ссылаясь на свой возраст и невиновность. Солдат скажет ему, что рассчитывать на милосердие не приходится и что в опасности окажется и твоя честь, Лаура. Ты возьмешь узелок с двумя-тремя платьями, которые у тебя есть, и, поблагодарив солдата, выйдешь из дому. Отец пойдет за тобой, прося его обождать. Проходя садом, ты поднесешь руку к животу и подумаешь, что Хавьер, единственный мужчина, которого ты любила, не умер, что жизнь его бьется в твоих жилах, что пройдет немного времени и ты будешь питать его своим молоком, одевать и учить всему, чему сумеешь; этому «своему Хавьеру» ты расскажешь — подумаешь ты, пробираясь по лесу,— о Хавьере, о его доброте, о том, чем он был. Ты смеешься, и плачешь, и торопишься дальше, держа в одной руке узелок с платьем, а другой ощущая, как в чреве твоем, трепеща, зарождается радость.

СОЛДАТ:

Ты стоишь неподвижно в темноте, пока Камба не исчезнет из виду. Тогда ты помолишься святой деве, прося ее придать тебе силы, чтоб ты мог убить убийцу своего друга. Ты подумаешь, не спуская глаз с тропинки, все больше и больше растворяющейся во мраке, о Какаду и о Кобылице. Тебе захочется уговорить себя, что ты был добрым другом. Ты усомнишься, хорошо ли поступил с Кобылицей: она была, как ни говори, невестой твоего друга. Ты будешь кусать губы, уверяя себя, что все пройдет, как только ты убьешь бородача, который поднимается по тропинке и которого — подумаешь ты — что-то слишком долго нет. Ты будешь почти уверен, что там, на небесах, Какаду забудет про твои дела с Кобылицей. Он не попомнит зла, ведь ты исполнишь свой дружеский долг. Тебе захочется спуститься навстречу врагу и покончить разом со всяким ожиданием; но нечто, не дающее тебе покоя, удержит тебя в твоем укрытии. Ты станешь доискиваться, что мешает твоему счастью как раз сейчас, когда ты исполняешь свой дружеский долг, клятву, которую

ты дал. Не выяснив истины, ты примешься думать о девушке из хижины. И даже тихонько скажешь вслух, пытаясь избавиться от ее чар, что она обыкновенная партизанская шлюха, но потом не очень уверенно предположишь в ней возлюбленную того человека, что поднимается сейчас по тропе. Это покажется тебе убедительнее. Ты будешь предаваться своим мыслям, когда раздастся долгий и громкий звук. Сначала трудно будет определить, что это такое, наконец он покажется тебе прерывистым болезненным стоном. Все в тебе сожмется от этого стона. Ты выйдешь на тропинку со своим карабином и приготовишься выстрелить в человека, которого поджидаешь. Но человек придет не так, как ты ждал — качаясь и цепляясь за стволы деревьев; нет, он будет ползти по земле и стонать, продвигаясь вперед миллиметр за миллиметром. И тогда ты поймешь, почему он так задержался. Ты подойдешь, направив на него оружие и думая о Какаду, о его смерти. В двух-трех шагах от него ты остановишься и, увидав на его лице грустную улыбку, улыбку умирающего, опустишь свой карабин. И сколько бы ты ни старался, ты уже не сможешь думать ни о Какаду, ни о Кобылице, ты даже не сможешь помолиться святой деве Копакабанской. Ты все будешь стоять возле него, пока не угаснет его улыбка, пока не опустит он голову и не произнесет имя девушки; и тогда, солдат, ты склонишься над ним и скажешь, что хочешь спасти его, перевязать его рану. Ты притронешься к его лицу, оно будет холодным и испачканным в земле. Ты приложишь ухо к его груди и услышишь лишь холодное молчание, которое пронзит твой слух и дойдет до глубины души. Ты поднимешься обескураженный, не зная, что делать. К тебе подойдет Камба и скажет, что хижина пуста, все ушли. Откуда-то из глубины леса, снизу, ты услышишь шаги своих товарищей, поднимающихся по тропинке вместе с сержантом. Камба повторит тебе, что все ушли. «Слава богу»,— скажешь ты и разрыдаешься, протягивая к нему руки, а он обнимет тебя с горячностью и дружеским пониманием.

О романе «Зажигающие зарю»

Читаешь роман Ренато Прады Оропесы, а в памяти тотчас же всплывают волнующие своей революционной страстью, непоколебимой верностью священным идеалам борьбы за свободу и вместе с тем пронизанные чувством трагического самопожертвования, подчас просто человечьей горечью строки «Боливийского дневника» Че Гевары.

Майор Эрнесто Гевара де ла Серна, правда, не назван по имени в романе «Зажигающие зарю». Автором не нарисован точный портрет легендарного героя, если не считать чего-то, присущего ему, связанного с ним — и что знакомо всем, знавшим его лично. Мы как бы встречаем тех, кто был рядом с Че в Боливии, но не можем различить их лиц. Автор преднамеренно отходит от известных, уже ставших историей фактов; он далек, скажем, от мысли буквально воспроизвести драматические события 7—9 октября 1967 года — последние часы жизни Че Гевары и его боевых друзей. Но это, разумеется, нельзя поставить в упрек писателю. Перед нами — художественное произведение, а не беллетризованная биография, не монография, не историческое исследование. И все же присутствие Че Гевары и его соратников ощутимо.

Бесспорно, что некоторые мысли, суждения, наблюдения, даже эпизоды, помеченные Че Геварой на листках календаря — что потом стало «Боливийским дневником»,— нашли свое отражение так или иначе на страницах произведения Прады Оропесы. Тяжкий, тернистый путь и затем гибель партизан, описанные в романе, напоминают эпопею группы патриотов-интернационалистов во главе с Че, сражавшихся с оружием в руках на боливийской земле против наемников американского империализма и проливших свою кровь за правое дело.

Нет сомнения, что и черты Командира навеяны образом Че.

Образ Че Гевары, человека и революционера, сам по себе притягателен, составляя, по выражению кубинского литератора Эдмундо Десноэса, «часть новой мифологии, мифологии XX века, социалистической революции, нового человека». Участие в революционной борьбе — всегда на передовой — и гибель в бою — смертью непобежденного — окружили ореолом незабвенной славы имя Че в глазах молодежи Ла-

тинской Америки, да и не только Латинской Америки. И уже многие поэты мира посвятили бойцу-интернационалисту свои стихотворения и поэмы.

Написать в прозе художественное произведение — своего рода отклик на эпопею Че Гевары в Боливии — задался целью молодой боливийский католический писатель Ренато Прада Оропеса, преподаватель философии Высшей педагогической школы при университете Кочабамбы. По существу это первый опыт создать «весомую прозу» на столь серьезную тему. Очень ответственная — как в моральном, так и в политическом аспекте — задача. Тем более что реакцией уже предпринимались попытки представить в заведомо искаженном, полностью фальсифицированном виде выдающегося деятеля международного коммунистического движения. С другой стороны, и «ультралевые» не раз провокационно спекулировали его именем.

Как справился со своей задачей автор романа «Зажигающие зарю»?

Тридцатичетырехлетний Ренато Прада Оропеса относится к тем молодым боливийским писателям, которые стремятся отойти от традиционного в боливийской литературе течения, так называемого «индеанизма», ограниченного узкими локальными рамками, и которые хотят сказать новое слово, затрагивая, поднимая социальные и политические проблемы большого звучания. Своеобразным, хотя и не бесспорным, художником он показал себя в первом с его участием сборнике рассказов «Аргаль-Лагар» (1967), заслужив муниципальную премию, а также в последовавших повестях — «Человека уже никто не ждет» и «На грани молчания» (1969). В 1968 году Прада Оропеса получил Национальную премию по жанру рассказа, а в следующем году за роман «Зажигающие зарю» удостоен премии латиноамериканского литературного конкурса «Каса де лас Америкас» в Гаване.

Член жюри конкурса «Каса де лас Америкас» знаменитый кубинский романист Алехо Карпентьер, оценивая произведение Ренато Прады Оропесы, писал во вступлении к гаванскому изданию: «Чтение и перечитывание всей рукописи нас убедило, что это — весьма высокого качества произведение, обогащенное в фактуре своей удачными находками автора. В языке романа достаточно оправданно использованы местные модуляции, придавшие ему национальный колорит и достоверность. Сцены, развертывающиеся, так сказать, в «плане военщины» — среди солдат и офицеров армии диктатуры,— написаны мастерской рукой: карикатурные, на первый взгляд, персонажи на самом деле таковыми не являются, а, наоборот, предстают живыми типами, характерными — их мы хорошо знаем! — для многих стран континента... В приведенном в романе дневнике отражена иная действительность, применены иные выразительные средства, создающие соответствующий контрапункт с миром солдатни».

В романе действуют живые люди из плоти и крови, а не надуманные схемы. Писателю в общем, за немногими исключениями, удалось раскрыть внутренний, психологический мир действующих лиц. Рисуя представителей двух противостоящих сил — партизан и солдат диктатуры,— автор убедительно показывает их — столь различное — восприятие, понимание патриотического долга, дружбы, любви, смерти... Понятны как символизм Лауры, так и **mezza voce** возникших и вскоре исчезнувших фигур — родителей Хавьера, ректора семинарии, знаменующих прошлое. Объективно автор говорит об изолированности выступления патриотов, явившейся одной из причин поражения,— вспомните сцену в деревне (а сколько раз об этом упоминал Че Гевара в «Боливийском дневнике»!). «Народ бьется в недоверии, ни на что не реагирует, ибо не сознает своей силы и возможностей,— отмечал Ренато Прада Оропеса в кубинской газете «Гранма», поясняя отношение к партизанам запуганных, замученных извечными диктаторами, неграмотных индейцев.— Речь идет о забитом народе, где все чужие друг другу, о народе, не умеющем выразить свои интересы... В подобном трагическом положении находится сегодня боливийский народ, и самопожертвование Че взывает к нему, являясь тем зерном, которое даст ростки борьбы за освобождение».

Да, автор хотел сказать новое слово в боливийской литературе. И, по-видимому, это желание увлекло его на поиски новых форм, что ставит читателя — особенно при чтении первых страниц романа — в нелегкое положение: чрезвычайно усложнено построение сюжета, смещены времена, не конкретизировано место действия, беспорядочно наплывают, сменяя друг друга, разорванные мысли персонажей, «вне времени и пространства» оказывается повествующий... Быть может, автору таким приемом хотелось, предположим, передать взбудораженное состояние духа, взволнованность Хавьера, принимающего решение порвать с духовной семинарией, отказаться от сана священнослужителя и уйти в партизаны? Быть может... Но, как уже отмечала латиноамериканская критика, от этого произведение не выигрывает.

Успех романа «Зажигающие зарю» вызван, ясно, другим, и он закономерен — мы познакомились еще с одним литературным, подчеркиваю, литературным документом эпохи борьбы народов против империализма и реакции.

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

Из книги «Восемнадцать текстов» (1970 г.)

С ГРЕЧЕСКОГО

Сегодня и завтра греков

Давно сказано, что поэзия — душа народа. Я думаю, любой читатель этих нескольких стихотворений современных поэтов Греции почувствует и поймет сердечную боль, глубокое страдание, безысходную тоску, которыми полна ныне душа греческого народа.

Славный древний народ, кому стольким обязаны Европа и все человечество, греки — нация поистине трагической судьбы. Тяжкое турецкое иго, жестокая диктатура Метаксаса, гитлеровская оккупация и английская интервенция, кровопролитная гражданская война — этапы этой трагической судьбы. И когда, с трудом прокладывая дорогу к свободе, народ был накануне выборов, суливших торжество демократических сил, все его мечты внезапно оказались сокрушенными тайно подготовленным антинародным переворотом хунты черных полковников. И снова заполнились лишь недавно опустевшие тюрьмы и концлагеря, снова без суда и следствия исчезали люди и в пыточных камерах асфалии звучали крики и стоны истязуемых.

Уже пятый год хозяйничает хунта на истерзанной земле Греции. До сих пор она не осмелилась ввести в действие даже куцую конституцию — ублюдочное порождение нынешнего режима. Народ, подаривший миру идею демократии, по-прежнему лишен элементарных свобод и человеческих прав. Всепроникающий полицейский шпионаж, предательство, постоянная угроза личной свободе и безопасности — вот условия, в которых живут сейчас греки.

Со всей своей чувствительностью поэзия отзывается на эту душевную боль народа, несмотря на все запреты, на духовный террор правителей. «И нет уже глаз, чтоб смотреть, и ушей, чтобы слушать, и рот запечатан»,— пишет Манолис Анагностакис. «Твоя жизнь — спиной к холодной стене, и рука другого тебя обыскивает... Тебя держат у стенки. Потом двое мужчин моют руки с мылом»,— вторит ему Такис Сипопулос. И с какой горечью звучат слова того же Манолиса Анагностакиса: «Сейчас не такое время, когда стихи приводят в движение массы, сейчас не такое время, когда стихи свергают режимы».

Читатель найдет в этих стихах немало примет сегодняшней жизни греческого народа. Он найдет их, несмотря на тяготы цензуры, несмотря на «запечатанный рот» нынешних греческих поэтов. Но главное — он ощутит, какой болью и тоской они проникнуты, и поймет, что думает и чувствует сегодня народ Эллады.

И еще одно он почувствует и поймет. Нелегко бороться против военщины, вооруженной современными танками, пулеметами, авиацией. Будущее сопротивление греческого народа своим поработителям еще копится и зреет в подполье, в сердцах и умах людей. Наступит день, и оно вырвется наружу, ибо греки — народ, никогда не покорявшийся ни чужой, ни своей неправедной власти. Идея борьбы за свободу, за демократию живет и крепнет в душе народа. И в этих стихах читатель найдет немало свидетельств тому. Разве не об этой борьбе, пусть смертельно трудной, но обязательно победной говорит баллада прославленного поэта Греции Георгоса Сефериса? Разве не о подготовке этой священной борьбы говорят строки Манолиса Анагностакиса — о том, что «как гвозди, должны забиваться слова, чтоб ветром не уносило». И пафосом этой борьбы звучат его же строки, заключающие стихотворение: «Пусть

даже ты искалечен, но над всем пусть виднеются руки твои. Суди, чтоб быть судимым».

Так душа народа — поэзия сегодня изливает всю боль и скорбь порабощенного народа. Так душа народа — поэзия сегодня ручается, что завтра этот народ поднимется на борьбу.

С. С. СМИРНОВ

ГЕОРГОС СЕФЕРИС

Почему же радость отдается
Песнею безлирною эриний?
Почему в слезах душа моя?
Безнадежная тоска
Страх и боль родит в груди.

Эсхил. «Агамемнон».
(Перевод С. Апта)

Кошки святого Николая

«А вот и Каво Гата [1],— молвил капитан
и показал на низкий голый берег,
едва видневшийся за пеленой тумана.
Сегодня рождество.— Вон там, вдали,
в порывах веста из морской волны
явилась Афродита. Камнем Грека
зовется это место. Лево
руля!» Мне помнится. глазами Соломеи
смотрела кошка, год спустя ее не стало,
а Рамазан, как он смотрел на смерть
в снегах Востока, день за днем
под леденящим солнцем,
малютка-бог, хранитель очага.
Не медли, путник...
«Лево руля»,— ответил рулевой.
...сейчас, быть может, друг мой
один и взаперти, среди картин,
за рамами напрасно ищет окна.
Ударил корабельный колокол, как будто
упала гулко древняя монета
давно исчезнувшего государства,
будя воспоминанья и преданья.

«Как странно,— оборвал молчанье капитан,—
но этот колокол сегодня, в рождество,
напомнил мне о колоколе монастырском.
Историю о нем рассказывал монах,
чудак, мечтатель и немножко не в себе.
Так вот, когда-то страшное несчастье
постигло этот край. За сорок с лишним лет —
ни одного дождя, и остров разорился,
и гибли люди, и рождались змеи.
Мильоны змей покрыли этот мыс,
большие, толще человеческой ноги

[1] Мыс Кошка на южном берегу Кипра.

и ядовитые. И бедные монахи
монастыря святого Николая
ни в поле не осмеливались выйти,
ни к пастбищам стада свои погнать.
От верной гибели спасли их кошки,
взращенные и вскормленные ими.
Лишь колокол ударит на заре,
как кошки выходили за ворота
монастыря и устремлялись в бой.
Весь день они сражались и на отдых
недолгий возвращались лишь тогда,
когда к вечерне колокол сзывал,
а ночью снова начиналась битва.
Рассказывают, это было чудо:
калеки — кто без носа, кто без уха,
хромые, одноглазые, худые,
шерсть клочьями, и все же неустанно
по зову колокола шли они сражаться.
Так пролетели месяцы и годы.
С упорством диким, несмотря на раны,
в конце концов они убили змей,
однако вскоре умерли и сами,
не выдержав смертельной дозы яда.
Исчезли, как корабль затонувший,
бесследно... Так держать!
...Могло ли быть иначе,
коль день и ночь им приходилось пить
пропитанную ядом кровь врага.
Из поколенья в поколенье яд...»
«...держать!» — откликнулся, как эхо, рулевой.

Среда, 5 февраля 1969 г.

Перевод С. ИЛЬИНСКОЙ

МАНОЛИС АНАГНОСТАКИС

Сентиментальный рассказ

Посвящается поэту Костасу Кулуфакосу

Ему говорил отец: «Все равно этот мир не переделаешь...»
Сначала, почти ребенком, он поверил, что переделает
(Тридцать лет назад, слишком давно, чтобы кто-то теперь помнил об этом),
Но образцовый урок преподал ему старший брат,
Тоже славный спаситель в прошлом, рановато раскаявшийся
Или, точнее, преждевременно образумившийся, секретарь
По особым поручениям в министерстве.
И он, верный сын и брат, взглянув на дело и так, и эдак,
Увидел чужие ошибки, измены, взвесил все «за» и «против»,
Заговорил о предателях и об указке извне.
К тому же ситуация все обострялась —
И он, от природы весьма не глупый, знал, между чем и чем выбирает.
Я совсем не к тому, что Макис, если бы даже и захотел, спас бы тогда Грецию.

Ее не спас и... пожалуй, ни к чему называть имена,
Но все же, что бы ни говорили, мы когда-то вместе пили вино,
Прятались от кавалеристов на улице Арриана,
Целовали одних и тех же девчонок, передавали друг другу пароли.
(Это все отдает романтикой, сентиментальностью, знаю прекрасно,
А действительность требует сдержанности — мы-то знаем про это! —
И, главное, трезвого «реализма».)

И теперь

Ты снова живешь за решеткой, а Макис опять в сторонке —
Господин сегодняшней ситуации,—
Таким, пожалуй, он оставался всегда, при всех ситуациях —
Дает советы тебе, как скоропостижнее образумиться и наконец
Поработать с пользой для этой несчастной родины,
И взывает к тебе от имени старой дружбы и заклинает словами:
«А помнишь...»
(Я говорю в лоб, ничего не смягчая,
О вещах, которые всем известны,
И я говорил об этом не раз, а другие, до меня, говорили еще лучше,—
Это скучные вещи, уже не вызывающие у вас интереса,
Вроде убийства Шарон Тейт, или свадьбы Жаклин,
Или холодильника «кельвинейтор».)

ЭПИЛОГ

И главное, чтоб никаких иллюзий.

Пусть, в лучшем случае, твои стихи существуют,
Словно два расплывчатых маяка в тумане,
Словно письмо далеким друзьям с единственным словом «жив».
«Потому что,— как справедливо заметил когда-то мой друг Титос,—
Сейчас не такое время, когда стихи приводят в движение массы,
Сейчас не такое время, когда стихи свергают режимы».

Пусть даже так.
Пусть даже ты искалечен, но над всем пусть виднеются руки твои.
Суди, чтобы быть судимым.

Перевод ЮННЫ МОРИЦ

Поэтика

— Ты скажешь: опять предаете поэзию,
Святейшее самовыявление человека
Превращаете в средство,
В орудие темных стремлений,
Вполне сознавая, какой скверный пример
Подаете потомкам.

— Но ты, ты скажи мне, что *ты не* предал,
И ты, и такие, как ты, за долгие годы,
Продавая все, что скупают
На бирже и на толкучке,
И нет уже глаз, чтоб смотреть,
И ушей, чтобы слушать,

И рот запечатан. К каким вы зовете святыням?

Я знаю, ты скажешь: снова риторика, проповедь.
Не спорю: риторика, проповедь.

Как *гвозди,* должны забиваться слова,

Чтоб ветром не уносило.

Моему сыну

Сыну не нравились сказки.

А ему продолжали рассказывать
О драконах и верной собаке,
Сером волке, прекрасной принцессе.

Но сыну не нравились сказки.

Теперь, вечерами, мы сидим и толкуем,
И собаку я называю собакой, а волка — волком
И пальцем показываю, какие люди — плохие,
Учу именам, как молитвам, и пою о погибших.

Довольно! Мы должны говорить детям правду.

Надгробное

Ты умер — и стал совершенством:
Душа-человек, семьянин, патриот и так далее.
Груда венков, три речи господ вице-президентов,
Семь адресов: похвалы за примерную службу.

Ах, Лаврентис, только я, наверно, и знаю,
Какой ты мерзавец,
Фальшивый пятак, вся жизнь утонула во лжи.
Покойся же с миром, нарушать твой покой я не буду.
(Я дорого заплачу за жизнь без тщеславного шума,
Не променяю ее на твой бесславный удел.)
Покойся же с миром: душа-человек, семьянин, патриот
и так далее.

Не первый и не последний.

Перевод С. ИЛЬИНСКОЙ

ТАКИС СИНОПУЛОС

Ночи

Куда ни посмотришь — все скверно, зловеще, и март источает вдобавок ледяной, отравленный свет.
Куда ни посмотришь — все скверно, зловеще. И то, другое, в затылок,— все время носится в воздухе. Чтоб совсем невозможно было дышать. Беспросветная ложь. Громоздятся груды мешков. Вагоны всю ночь
заперты на засовы.

И то, другое, в затылок, все время носится в воздухе. Чтоб совсем невозможно было дышать.
Оковы и камеры, колючая проволока и засовы. Чтоб совсем невозможно было дышать.
Год, следующий. Пустынные ненавистные времена. И что можешь сказать ты, очевидец?
Какого ответа дождешься от этого окаменевшего истукана, который глядит на тебя, словно неподвижный кошмар?
Говори, говори немедленно. Вспоминай имена, адреса. Когда вы очнулись в этом колодце?
Я ничего не знаю об этом, я сам — ничто, говорит Никитас.
Я вечно спал в той залитой кровью дыре, которую вы видели,— триста лет.
Я отдам все, что потребуете, сказал Никитас. Кроме того обрыва и песчаных насыпей. Это последнее, что я видел. Нет меня, и не надо меня.
Разберемся.
Да, сказал я им, ненормально — ходить на руках.
И кроме того, ненормально — убивать руками.
Свет понемногу отодвигается за кипарисы.
Нож чернеет. На полке спит пуля позапрошлого года.
Я сегодня опять споткнулся о труп Кимона.
Это, по всей вероятности, были глаза любви, две тропинки для одиноких.
Проекция мрака, слепая мгла, на которой колышется кинореклама.
Твоя жизнь — спиной к холодной стене, и рука другого тебя обыскивает.
Ты говорил мне, что жизнь твоя начинается позже, в другом квартале.
Ночные агентства, ты сможешь бежать.
Ты вернешься ни с чем, бессребреным, преданным,— все, как было.
Ты сегодня роешь зубами горький кусок хлеба, в котором зарыта возможность свободы.
Сегодня каждый камень открывает свое окно.
Темная улыбка витает над тем, что некогда было твоим ртом, лицом.
В древней кровати, где все исчезают посмертно, ты уснешь.
Безымянный друг, если б смог ты узнать, как начиналось все это.
Постаревшие женщины уходят и возвращаются с мертвыми детьми.
Гвоздь в стене, на гвозде — пиджак, на полу — ботинки.
На балконе — луна.
Один дом, и бесконечные числа домов.
И тебе говорят — выйдешь, подпиши вот это.
Двое мужчин для одних носилок.
Две женщины для одного поцелуя.
Четыре ножа для предателя.
И ночь для тебя.
И гортань пересохла.
Некто без имени.
Тебя держат у стенки.
Потом двое мужчин моют руки с мылом.

Перевод ЮННЫ МОРИЦ

ВИНЦЕНТ ШИКУЛА

Рассказы

СО СЛОВАЦКОГО

Не случайно в нашу небольшую подборку, впервые представляющую в журнале творчество молодого словацкого писателя Винцента Шикулы, вошел рассказ «Дорога». Образ дороги — сквозной в его прозе. «Дорога... Просто такая бедная горная дорога. Сколько раз проходил я по ней, сколько раз сдирал ноги на камнях!» Или в другом рассказе — «Танцуй!»: «Когда идешь по дороге, всегда нужно... окликнуть человека, шагающего впереди или сзади. Не годится, чтобы человек шел один». Не годится. В этом Шикула убежден, и все его творчество — это путь к человеку, к миру, к утверждению нерасторжимости людских связей.

По дорогам Словакии, прошлой и нынешней, бредут герои Шикулы. Это люди разные, но в чем-то очень схожие — их родила одна земля. Крестьяне и ремесленники, учителя и музыканты, бродяги и чудаки. Они не знают ненависти, отчаяния, в какой бы беде ни оказались, они сродни Мандуле из одноименного рассказа, признанного одним из лучших образцов шикуловской прозы. Эти люди бывают счастливы просто оттого, что ходят по своей земле, что слышат стук падающих груш или грохот проходящих поездов («Падали груши»). Не ведая корысти и фальши, они живут в близости к природе, постигая в ней красоту и сложность бытия. Таков мир писателя, мир его детства (он и сейчас живет среди своих односельчан в родном старинном городке Модре). Шикула идет по этому миру как бы с открытой камерой, регистрируя обрывки событий, летучие встречи, беглые настроения, реплики, воспоминания, где один факт сменяет другой по какой-то внутренней ассоциации.

Через малое к большому, через повседневное к высокому, через человека к миру, через единичный факт к целому — такова фактура его повествования. Снижая эпическое начало в общепринятом понимании, Шикула находит свой стиль — эпику малой формы, где фабула разбивается на ряд зарисовок, зафиксированных в точно оттененных настроениях. Отсюда необычайная лиризованность его прозы, когда эмоциональное напряжение переплавляет ее в поэзию. Ведь Шикула и начинал как поэт, но даже утвердившись в прозе первыми же книгами («Не аплодируйте на концертах!» и «Может, я построю себе бунгало», 1964), он остается верен своему поэтическому призванию. И действительно, считая «поэзию достоянием прозы», Шикула умело пользуется формообразующими элементами стиха: его проза ритмична, интонированна, авторская речь с особой стилевой раскованностью подчас неотделима (даже графически) от речи героев, а отдельные миниатюры («Падали груши», «Долгими неделями с ясными ночами перед отлетом птиц» или хотя бы зачин «Мандули») по своей архитектонике просто ощущаются как верлибр.

Шикула — музыкант по образованию. И недаром все его книги заселены деревенскими музыкантами, полнятся птичьими голосами и шорохами леса, а в одной из его детских книжек (единственной переведенной на русский язык — «Каникулы с дядюшкой Рафаэлем») музыка даже движет сюжетом. Шикула и композиционно строит свои повести по законам музыкальной формы. Книга его «Не на каждом пригорке трактиры стоят» (1966) полифонична, действие ее развертывается тремя темами, звучащими параллельно и лишь изредка сюжетно перекликающимися.

Несмотря на свои тридцать пять лет, Винцент Шикула — уже признанный писатель. У него за плечами пять сборников прозы: кроме названных — книга «С Розаркой» (1966), не раз отмеченная международными и отечественными премиями

и отснятая для телевидения, и сборник рассказов «Воздух» (1968), получивший в 1970 году премию Вита Нееддлы.

Проза Шикулы — это поиск человеческих контактов, тепла, идущего от человека к человеку, пусть даже незнакомому. «Я хочу,— говорит герой рассказа «Танцуй!»,— чтобы люди надоедали мне, чтобы они всегда были у меня перед глазами, хочу, чтобы они постучались ко мне или просто вошли без стука». Проза его — это вечная дорога, поезда, что опаздывают или приходят вовремя («Поезд опаздывает»), автобусы, которые привозят любимых, это жизнь в ее постоянном движении и обновлении, где грусть сменяется шуткой, а холод одиночества — теплом участия.

В рассказах Шикулы — атмосфера некой поэтической недосказанности, еле уловимые движения души. Шикула предоставляет читателю право вместе с ним разматывать сложный клубок бытия, домысливать, нащупывать и находить в мире прекрасное, не опошляя его громкими фразами («Не аплодируйте на концертах!»). Он осторожно и как бы нежно прикасается к миру, боясь нарушить грубым жестом или фальшивым словом его исходную гармонию. И пусть порой ему бывает грустно — это проходит: ведь Винцент Шикула твердо верит, что его героям должно быть и будет хорошо.

Н. ШУЛЬГИНА

Не аплодируйте на концертах!

Спой, спой же! Помнишь, как тогда в машине ходила по кругу песенка? Уже совсем стемнело, и под зеленым брезентом кузова было очень холодно. Кто-то достал губную гармошку и заиграл.

— Тебе что, не холодно?

— Холодно.

— И охота тогда играть?

— Охота.

И заиграл снова.

Были спички — не было сигареты, нашлась сигарета — куда-то подевались спички. А месяц в небе стоял высоко-высоко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, казармы, широкий казарменный двор, светившийся мозаикой окон. В тот день тебе достался билет: он был никому не нужен, все отказались от него. В общем, это была твоя первая увольнительная.

Концерты начинаются с платьев.

Ты стоял у входа и смотрел на поток костюмов, хлынувший в концертный зал: девушка, паренек, паренек, девушка, бородатый мужчина — в памяти все так отчетливо, словно это было сегодня. Или вот женщина, на какой-то миг загородившая всем дорогу: сначала живот, обтянутый черным бархатом, потом белое кружевное жабо и, наконец, маленькая головка в жидких завитках. Ты вспоминал все концерты, на которых когда-то бывал или выступал сам. Ты вспоминал Геленку, ее розовое платье и усталые от упражнений на рояле руки, вспоминал брата, и Роберта, вечно облизывавшего мундштук инструмента, и Камила с его прекрасным голосом. И вашу роту, с песней шагавшую по двору. И тебе даже трудно понять, отчего на глаза вдруг навертываются слезы, но ведь и в роте, хоть она такая большая, у каждого есть свое маленькое человеческое сердце.

Начался концерт, и ты вспомнил неприметную деревушку в предгорье: домишки под соломенными крышами, половодье цветущих груш. Там, бывало, сидя в траве, ты лакомился крохотными зелеными калачи-

ками просвирника и смотрел, как над крышами вился сизый дымок. Утра бывали розовые, таких теперь уже не бывает. Ты все думал, что когда-нибудь еще встретишь такое розовое утро. Может, ты и встретил его, но не узнал, и оно прошло мимо. И вот ты снова возвращаешься к самому началу, когда все тебе казалось красивым и взаправдашним. И солдаты были тогда красивее: точь-в-точь как воины из календаря святого Войтеха.

За деревней дорожные мастера растапливали смолу, засыпали дорогу серым гравием. Но ты не решался туда идти — боялся отца. Вы бегали с Геленкой, и ноги у вас были заляпаны грязью. Потом вы сидели под стогом летошнего сена и грели друг другу колени. В воздухе вились колечки, такие крохотные колечки; они вырастали до громадных размеров, и в них снова появлялись маленькие. Вы пальцами показывали на гусят и не могли нарадоваться, глядя, как они набивают зобики молодой зеленой травкой. Когда начался дождь, вы погнали гусей домой. Пристроившись на подоконнике, ты глядел на воду, скопившуюся в канавке; каждая капля звенела в ней, точно большая пятикроновая монета. Сидуш стоял у окна и играл. Бывало, он по целым дням не притрагивался к скрипке, но уж когда играл — не переставал часами. Это был самый лучший скрипач, какого довелось тебе встретить.

Однажды курица забыла снести яйцо, и ты решил, что мама из-за этого плачет. Она пекла хлеб, поминутно заглядывала в печь и всякий раз, закрывая створки, вздыхала: «О господи!» Деревенский глашатай ходил по деревне, а Сидуш прибивал к большому чемодану табличку со своей фамилией. Потом он уехал. И увез с собой скрипку.

К этому времени гуси уже научились летать, а на Горных лугах скосили клевер. Но лесник загикал не из-за гусей. Он просто хотел, чтоб все знали, что он там, что стоит он на самой вершине Малой Куклы и зорко охраняет свои владения.

И было еще одно утро, одно такое розовое утро: ты в первый раз пошел тогда в школу.

Наша учительница была очень красивой, но когда сердилась, лицо ее покрывалось красными пятнами, и это не нравилось тебе. Когда она тебя наказывала, ты никогда не плакал, потому что любил ее. Заплакал ты только однажды. В тот день она должна была тебя наказать, но не сделала этого. И ты усомнился в ее непогрешимости. Ты перестал верить ее рассказам и вообще всему на свете. Почему три плюс три обязательно шесть? Кто это придумал? Кто придумал, что надо ходить в школу, служить? Кто придумал, чтобы она учила нас? Когда-нибудь откажусь от всего этого...

Она взяла тебя за руку и повела в свою комнату.

— Он приходил сюда, знаешь...

Что ей от него надо? Что ей надо от Сидуша?

Она схватилась за спинку стула, и на лице ее выступили пятна, которые так не нравились тебе.

— Вот здесь он сидел, на этом самом стуле...

С чего бы ей плакать? Ты не выносил даже маминых слез, не то что чужих. Ты выбежал из комнаты и припустился домой.

На дворе, склонившись, отец подбирал виноград, рассыпавшийся вокруг кадки.

— Хочешь?

— Не-е.

— Что так?

— Хочу знать, что с ним. Слышишь? Хочу знать, что с Сидушем.

— На, поешь винограду.

— Хочу про него все знать.

— Глянь-ка, все рассыпалось...

— Чего ты меня обманываешь? Чего вы меня все время обманываете?

— Все рассыпалось. Все. Вырастешь, куплю тебе скрипку. А чего бы не купить тебе скрипку! Ведь Сидушу я купил скрипку. Всякий может купить скрипку и научиться играть. Ведь Сидушу я купил скрипку. Только вот не пойму...

Аплодисменты.

Знали б вы, как я ненавижу эти хлопки. Знали б вы, как вы глупы. До чего это глупо — хлопать на концертах. Человек хочет поведать вам свое сокровенное, а вы ему аплодируете. Не аплодируйте! Слышите! Не аплодируйте! Глупцы!

Я встал и вышел из зала.

Перевод Н. ШУЛЬГИНОЙ

Дорога

Тверда дорога — каменистая, водой размытая. Сто раз чинили ее, и снова портила ее вода, снова уносила песок, оставляя голую каменистую почву. Дорога... Просто такая бедная горная дорога. Сколько раз проходил я по ней, сколько раз сдирал ноги на камнях! Мальчишкой ходил по грибы. По грибы или по дрова. По четвергам в школе занятий не бывало, и по четвергам я с раннего утра до позднего вечера пропадал в лесу. Воспоминания... Вспоминаю маму — какая большая женщина была, как она деревья рубила... Возьмет топор — и давай рубить дуб: на дубы она с тех пор злобу держала, как погиб отец. Он лесорубом был, и однажды его придавило. Придавило его в лесу. Пока из-под дерева вытащили, он и кончился. Совсем маленьким был я тогда, и смутно все это в моей памяти. Похороны смешиваются с какой-то заварухой у пекаря. Там все тогда ругались, кажется, побились даже. Не помню уж... Верно, из-за хлеба—хлеб-то добывать труднее было, чем дрова. Хлеб не украдешь, а дрова — сколько угодно. Помню, проснулся я, а матери нет. Верней, она была, только за сундук спряталась. Будто боялась, что я есть попрошу. Я и просил... Ну, потом и случилась та заваруха у пекаря. Проходили мы через его двор, ученики как раз золу выносили, рассыпали, тлеющим угольком мне подошву обожгло — я босой был. Плакать перестал уже только на кладбище, когда гроб землей закидывали. Не мог больше плакать — весь выплакался. Шел я с сестрой и братом. Мама с другим братом впереди нас. Как через деревню шли, все на нас смотрели. Даже ребята постарше и девчонки. И казалось мне: я вырос в их глазах, и смотрят они на меня совсем не так, как прежде. Еще бы! У них-то ведь отец не умер. И не было у них на рукаве широкой черной повязки. Вот с тех пор и начал я ходить в лес. Чем старше подрастал, тем чаще ходил. Не поверите, если сосчитать, сколько раз проходил я той дорогой, сколько дров на спине перетаскал.

— Эй! Что вы делаете? И не жалко вам такого славного дуба?

— Не дуб это, ольха, а ольхи мне не жалко!

— Это дуб. Зачем рубите?

— Ольха, смотрите сами!

А был дуб. Лесник это знал, и мама знала. Так мы тогда лес воровали. Мне и в голову не приходило, что со временем я сам стану охранять лес — тот самый, который взял у меня отца.

— Э-ге-гей! — окликают меня рабочие, строящие что-то недалеко от дороги.

— Э-ге-гей! — ору в ответ.

— В обход?

— Да так... Что вы там строите-то?—спрашиваю, сворачивая с дороги — совсем немного, только чтоб к ним приблизиться.

— Хозяина спроси, он тебе скажет!

— Загон вроде ладим,— вмешиваются другие.— Он думает, кабаны в него заходить будут.

— Может, и будут.

— Нет,— говорят,— вышку сторожевую сколачиваем, за пожарами следить. Никогда не следили, и ладно было. Как загорится — все одно не углядишь.

— Это вам лесничий велел?

— Он. Нет, думаю, для кабанов это. Влезет на вышку — и подстережет. Окна велел прорубить, прямо бельведер заказал.

— А ты-то куда? — спрашивают опять.

— Да так... Хочу на питомник взглянуть.

На полянку вышли женщины — в спортивных брюках, в штанах — как в лес ходят. Рассматриваю каждую, но той, которую ищу, нет среди них. И хорошо. Хоть в голову ничего такого не полезет. Не выношу я, когда в голову разные мысли лезут, когда начинаю я мысленно выворачивать человека наизнанку.

— Проверять вышли?

— Добрый день!

Смеются. Кто их знает, чему они могут смеяться. Поздороваешься — а они в смех. Двинулся я побыстрее, чтоб не слышать их больше, скорее с глаз долой. Свернул на дорожку, по которой они пришли,— эта дорожка ведет к питомнику. А мне там и делать-то нечего. Я Любу повстречать думал, она должна была прийти сюда с женщинами. Не пришла. На работе ее, видно, нет. Заболела, видно, потому что уж второй день пропускает. Я могу о ней женщин спросить или спросить лесничего. Или нет. Незачем им про меня все знать. Пройду-ка я вдоль речки вниз, к Трем скалам. Лесничий говорил, у Трех скал уже белые грибы появились. Куда там! Рано еще грибам, да и сухо. Дождик бы, тогда бы и грибам время. Я в лесу каждый кустик знаю. Да и как не знать! В хороший год у Трех скал грибов — что травы. Нагнись под куст — полную шапку уноси. Походишь малость, и уже девать их некуда. Хорошо бы дождик...

— Йожко!

— Ну?

— Время у тебя есть?

— А что?

— Потолковать бы. Сам знаешь, как у меня дела с работой.

Фрно — маленький, седой, почти старик; он в коричневых вельветовых брюках и в коричневом же поношенном пиджаке. Всякий раз он останавливает меня на улице и говорит — полчаса, час, а то и дольше.

— В городе сказывали,— говорит,— что раз я в лесу работал, то и пусть мне дают работу в лесничестве. А лесничий наш — чисто собака. Три раза к нему ходил, так только отмахивается — некогда, мол! Я и так и эдак к нему подступал, а тут уж не выдержал — поругался. Или ты лесничий, или проваливай в пекло. Некогда, вишь, ему! Да ежели тебе некогда, так кому ж тогда есть когда? Из дому носа не кажет, все курит, курит да бутылки в угол составляет. Бывал я у него — весь угол бутылками заставлен. А лес из окошка только и видит. Это дело? Он, вишь, умственно работает. Так твою! Это тебе-то да умственно работать? Ты возьми ружьишко да марш в лес! Слушай, Йожко. Я сызмальства в лесу работаю, а теперь, когда у меня пятьдесят процентов работоспособности, вдруг и дела мне не подыщут! А где я изработался? В лесу изработался! В лесу я пятьдесят процентов здоровья своего оставил. Где же справедливость-то?

Что ему ответить? Они с моим отцом дружками были. Служили еще в первую мировую, в одном полку. Да как ему поможешь? Лесничий — тот скорее бы мог. У меня же мой участок, и делать я могу только то, что мне позволит или прикажет лесничий.

— Да если б силенка была, думаешь, ходил бы я клянчить? Пошел бы с мужиками, и точка! Кабы мне доктор не запретил, взял бы пилу, да и айда. Ох, сколько мы с твоим батькой лесу повалили!

Она прошла мимо. Это не мог быть никто другой. Прошла мимо, я по шагам узнал. Мне бы за ней... Слышите, дядюшка Фрно! Мне б за ней побежать!.. Дядюшка Фрно, слышите? Ее ведь шаги!

— Твой батька тебе рассказал бы, какой я был работник. Мой топор был лучшим в деревне, а пилу направить как следует мог только твой отец да я. Эх, что говорить!

Он плюнул. Я смотрел на дорогу, смотрел в темноту, поглотившую ее. Если побежать за ней — еще, пожалуй, догнал бы... Дядюшка Фрно, я ведь ничего не понимаю, не слушаю я вас и понятия не имею, о чем вы толкуете! Может, как-нибудь в другой раз? Дядюшка Фрно, я очень, я страшно тороплюсь!

— Знаешь что? Ходишь мимо, так загляни ко мне как-нибудь!

— Ладно. Я завтра к вам зайду. Обязательно зайду.

— Завтра не надо. Меня дома не будет, я в Петровицы иду, там свинью колоть будут.

— Ну не завтра. Вы будьте надежны. Я как-нибудь на неделе к вам приду.

— Только обязательно!

— Обязательно.

— До свиданья!

— Доброй ночи.

Дом, в который вошла Люба, стоит в самом конце деревни, возле дороги в лес. Когда-то дом пустовал, а от других отличался тем, что был был больше и имел мансарду — это считалось тогда необычным. Построил этот дом Любин отец и с самого начала открыл в нем трактир.

— Ну и выбрал же ты! — дивились тогда деревенские.

— Чего выбрал?

— Да местечко для трактира!

— А что?

— Ха-ха! А ты сам мозгами-то раскинь. Ха! Кто сюда за пивом потащится?

Но Любин отец знал, что делал. Он закупил вина, пива, а главное, рому — возчики ведь ром пьют. И лишь после этого вывеску приладил:

ТРАКТИР У БУНДАША

В тот же день завернули первые клиенты.

— Почем наливаете?

— Так же, как в деревне.

— Надо бы подешевле, раз на такой дороге стоите.

— А ведь оно-то и главное!

— Это верно...

А потом и докумекали деревенские. Кто, собственно, пьет-то? Спокон веку больше всех пьют возчики. Круглый год лес вывозят в деревню, а то и прямо в город. По такой дороге переть да чтоб хоть пива не хлебнуть — куда это годится? Начали завидовать Бундашу. А больше всех, конечно, завидовал Франтишек Бенчурик, который в деревне корчму держал. Гляньте! Ничего у человека не было, а теперь вон как поднялся!

А по деревне уже ходил деревенский глашатай с таким оповещением:

«Доводится до сведения, что с завтрашнего дня каждую субботу в трактире у Бундаша по официальному разрешению будет отпускаться мясо!»

Фью — у-у-у!

Значит, не надо таскаться в город за мясом, у себя же купить можно! А где мясо покупают, там уж и пива возьмут, и вина, и паленки! Ох делец, ну и делец!

Этим Бундаш совсем доконал Бенчурика, и тот решил поднять своего конкурента на смех. Как-то осенью, в субботу, в день, когда колют свиней и к Бундашу сошлось особенно много народу, на трактире его появился такой плакат:

МИШО БУНДАШ — СОБАЧЬЯ КОСТЬ

И под красивыми буквами — изображение огромной собачищи, грызущей кость. Все поняли, откуда ветер подул. Ха-ха! А здорово этот Бенчурик придумал. Народ хохотал и с тех пор еще больше полюбил Бундаша, только называть его стали уже не Бундаш, а Собачья Кость. Давно это было, и висит теперь над входом вывеска «ГОСТЕПРИИМСТВО»[1], а люди и поныне говорят: «Пошли к Собачьей Кости».

Стою перед трактиром. Люба живет во дворе. Мать ее померла много лет тому назад, старший брат эмигрировал, кажется в Аргентину. Говорили, отец его бил, вот и сорвался он то ли в сорок восьмом, то ли в сорок девятом — приятели сманили. Люба... Ей, поди, и в голову не приходит, что я здесь стою. Что ради нее торчу здесь. Что я и вошел бы, если б не казалось мне глупым — вот так, без всякого повода... Повод... Строго говоря, нет у меня повода для того даже, чтоб стоять здесь, потому что вечер уже, а в трактир мне не хочется. Зачем я пойду в трактир, если не вхожу во двор? Ни пива я не хочу, ни вина, ничего. Глупо. Ужасно глупо, что я так врезался. Или войти? Войти? Не войти? Войдука я в трактир. Сяду вот и буду сидеть. Послушаю.

Людей мало: трактирщик да два посетителя. И разговор ведет Любин отец. Как только я вошел, он вдруг осекся, словно разом забыл, что хотел сказать. Но тотчас оправился, продолжал:

— Хотите верьте, хотите нет, а таких лошадей еще не бывало. Маленькие, а сильные, как черти. Венделевы лошади против них — пустое место.

— А вот и нет. Ходил я с Венделем лес возить, хорошо его лошадей знаю. Фыркают, а тянут здорово.

— Чего ты понимаешь! Я вот тут стою, в это окошко гляжу и что на дороге делается — все вижу. А ты что видел? Ты лошадей купил, когда у нас уж лес валить перестали. И разве это лошади? Уроды какие-то. Понимаешь ты, что такое уроды? Вот это и есть твои лошади. Тебе бы радоваться, что жив остался, сидишь тут, пиво пьешь...

Он махнул рукой и встал. Окинул взглядом пустые столы и, может, увидел всех их, увидел сидевших здесь когда-то: Венделя Дубана и Барто, Павла Пальковича, Франтишка Коника, Штефана Коника и Винцо Моравчика. Вендель вон там, у печки, сидел. Днем, проходя мимо с лошадьми, выпивал две, а то и три рюмки рому, зато вечерами обычно просиживал над одной малой кружкой пива.

Но вот отец Любы обернулся ко мне. Что он так на меня смотрит? Не может ведь он знать, что пришел я сюда из-за его дочери. Откуда ему

---

[1] Название теперешней государственной фирмы, объединяющей рестораны, столовые и буфеты. *(Прим. перев.)*

знать? Слышишь, откуда тебе знать? Раз как-то я уже разговаривал с тобой, да это было просто так. По тому разговору ты, старый, ни о чем догадаться не мог. То ли девку никто не хочет, то ли она не хочет никого. Замуж не хочет — так ты тогда говорил.

— Что будешь пить, Йожко?

— Ничего, дядя Бундаш.

— Что ж так? Хоть пива бы взял.

Он подсел ко мне. Что ему надо? Видно, дрова нужны — хочет, чтоб я достал для него бумажку в лесничестве. А то чего ему еще от меня хотеть?

— Разум у меня уж не прежний, душа моя.

— То есть как это — разум?

— Вот состаришься, и у тебя уж не будет прежнего-то.

— Верно,— согласился я.— Не пойму только, о каком это вы разуме.

— Да о таком, какой нужен.

Те двое хотели продолжать разговор с трактирщиком, но Бундаш их не слушал. Он сидел напротив меня и так на меня смотрел, словно хотел насквозь пронзить. А я искал в его лице черты Любы и не находил. По-моему, ничего в ней нет от него. Словно и не его дочь.

— Знал ты нашего Мишо? — спросил он погодя.

— Знал.

— Парень был хоть куда. Ведь сколько ему было, когда он за границу махнул? Пятнадцать годков. Выдрал я его, он и фьюить! Живется ему там неплохо, только скучно. Еще бы! Работает как вол, а все-то среди чужих. Поговорить толком не с кем. С кем он там может поговорить, когда там по-нашему никто не умеет? И нечисти всякой там пропасть. Ящерицы прямо в суп лезут. Представь, Йожко,— ящерицы в супе!

— Гм...

— Пишет, рад бы вернуться, да меня боится, и еще должен он указать властям какую-нибудь причину. Я уж думал, думал, а причины такой не придумал.

— Какая же нужна причина?

— Да если б я знал, душа моя! Ему такая причина нужна, чтоб все черным по белому. Бумагу такую, чтоб его сюда пустили. Понял, о чем я говорю?

— Теперь понял.

— Вот и все, что я хотел... Приходи-ка к нам. Стыдиться нам тебя нечего, и напиши причину. Причина такая, что я уже старый, и голова у меня болит, и кашляю я по утрам, и вообще не тот я, что прежде. Ну, выдрал я его, так это когда было, и вреда ему от этого никакого, пускай спокойно домой едет. Любица ему супу доброго наварит, и жить он у нас будет по-царски, потому что нет тут никаких этих ящериц и прочего свинства и... И все мы тогда надеремся на радостях...

Он как развеселился, так и загрустил. Может, представил себе, как тоскует сын, как печет его солнце и еще, наверное, как выбрасывает он ящериц из тарелки. Подпер старик голову рукой и опять стал пристально смотреть на меня, только в глазах его уже не было той остроты, какой он вначале пронзал меня.

— Ничего. Что-нибудь придумаем.

Он несколько оживился.

— Эх, коли нет у тебя причины, ничего и не придумаешь.

— Причину-то мы найдем.

— Какую?

— Там увидим.

Встретил я лесничего. Хотел спросить его, как же быть с Фрно. Все-таки работал по лесному делу, и мы обязаны ему как-то помочь. Что,

если его на место уборщицы в контору лесничества? Недавно искали ведь уборщицу. Так не взять ли Фрно? Пускай на побегушках — он и тем был бы доволен.

— Пан лесничий!

— Некогда мне, некогда!

— Вам в ту сторону? Мне тоже. Разрешите?

— Ладно. Так что вам?..

— Я насчет Фрно хотел. Знаете, все-таки надо ему как-то...

Лесничий засмеялся.

— Почему же он сам ко мне не придет? — Переминаясь с ноги на ногу, он нервно почесывал бородку.— Пришлите его ко мне,— сказал он в конце концов, и по тону его было ясно, что он просто хочет от меня отделаться.

— Пан лесничий!

— Вам еще что-то надо?

— Да нет, я только насчет Фрно...

— До свиданья!

Хотел я крикнуть ему вслед, да понял — ни к чему.

А Люба опять не вышла на работу. И скоро, может, совсем уволится. Бундаш болен. У него сердце больное, а пьет как губка. Теперь он уже вторую неделю ждет письма от Мишо. От Мишо... Ему надо вернуться, ведь глупо это — шататься где-то по чужим странам, работать бог весть на кого. В здешних инстанциях все уже, кажется, сделано, препятствий не будет. И дело ему найдется. Для начала может поработать в кооперативе, а то в лесу. Лучше, чем каждый день вставать в три-четыре утра, ехать в набитом автобусе, ждать поезда — еще и поезда ждать! — по полчаса, а то и больше. А я бы с ним подружился, каждый день бы виделись. Каждый день мог бы я видеть Любу... Я и вчера с ней виделся. Поздно уже было. Трактир закрыт, вокруг темно. Груша там у них в саду растет, так я под ней стоял. Как мог я так глупо стоять там? И сперва не решался я прикоснуться к Любе, и слова что-то с языка не шли. Взял я ее за плечи, только когда она уходить собралась. Положил я ей руки на плечи и поцеловал. Но почему она так дрожала? Ей ведь уже двадцать с лишним, не мог же это быть у нее первый поцелуй?..

Или — что вот это означает?..

— Дурная я, Йожко. Ты думаешь, я хорошая, а я дурная.

— Почему же ты дурная?

— Ты думаешь, я хорошая, но это неправда.

— Но почему?

— Так.

Что она хотела этим сказать?

По деревне протекает речка. Протекает! Как лето — почти всегда остаются одни лужи, и от них неприятный запах. Такая вода не годится ни пищу варить, ни белье стирать. Люди предпочитают брать воду у святого Флориана. Тот стоит посреди деревни, смотрит на нижний конец ее и скромненько льет воду из ведерка. Порой налетает ветер, так и хочет вырвать ведро из рук домашнего угодника. Если долго смотреть, тогда покажется, будто борются они — Флориан с ветром. В конце концов ветер разбирает злость, он подхватывает несколько капель и швыряет их в сторону... Это — пора груш. Слышишь? Падают... Одна упала прямо в ведро Флориана.

Какие прекрасные груши!

Замечательные.

И как только могут уродиться такие прекрасные?..

А вот же уродились — и точка! Груши об этом не задумываются. Висят себе на деревьях, а захочется им, сорвутся наземь или в грязную воду. Стук!

Надо обобрать их. Обобрать их надо прежде, чем они сгниют: что на землю упало, то уж разве свиньи сожрут.

— Хочешь? Угощайся!

Благодарю.

Встреча с Фрно смутила меня. Я обещал, а ничего не сделал. С лесничим почти невозможно разговаривать. Отмахивается — некогда. Некогда ему! Как точно раскусил его Фрно! Надо бы как-нибудь все это ему высказать, на собрании, что ли: никого-то он не уважает, не умеет обращаться с людьми, и в самом деле недопустимо, чтобы он в рабочее время ходил, налившись до самых глаз.

— Ничего я для вас не сделал, дядюшка Фрно.

Разочарование. Но что-то блеснуло у него в глазах. Мгновенная вспышка, я едва успел уловить ее.

— Не сделал? Ну что ж... И ко мне вот даже не зашел.

— Не зашел,— покаянно кивнул я.

Вот теперь-то Фрно и сознался:

— Эх, Йожко, милый, да я такую работенку получил — одно удовольствие! Стулья расставлять, пыль вытирать — ну что тебе рассказывать... И ведь сами ко мне пришли, место предложили.

— Кто — лесничий?

— Как бы не так! Я этому лесничему когда-нибудь славную песенку спою! Он такой еще и не слыхивал. В местном Национальном комитете буду работать. Теперь, как там что задумают, все буду знать прежде всех. Нет, говорю, есть все-таки на свете справедливость!

Он позвал меня на рюмочку вина, но у меня не было настроения. Сказал, что лучше как-нибудь потом и что слово свое сдержу обязательно.

— Так ты заходи!

— Зайду.

Ах, как спешит, как бежит с горы эта дорога! Не дорога — чистое сумасшествие. Для такой дороги не ноги нужны, не колеса — для такой дороги подойдут разве что крылья. Пожалуй, по такой дороге и шагом-то идти неприлично. Кусты шиповника отскочили на крутые косогоры, словно испугались ее необузданности. «Э-ге-гей!» — крикнешь лесу, и лес отзовется. Там, за поворотом — портретик, фотография моего отца, да, кажется, на ней уже ничего не разобрать. На обратном пути сверну с дороги, подойду посмотрю — правда ли все уже стерлось?

— Э-ге-гей!

— ...эй! — откликнулся лес.

Понедельник, вторник, среда. Сегодня Люба на вышке, сегодня ее дежурство. Женщины злятся на Любу за то, что лесничий чаще всех посылает на вышку ее. Там и дела-то: сиди на верхотуре да поглядывай. А вид оттуда красивый, деревня как на ладони. Последний раз я виделся с Любой в субботу вечером — они тогда письмо от Мишо получили. Старый Бундаш позвал меня — поблагодарить, мол. Вроде это моя заслуга, что все пошло как по маслу. И опять стояли мы с Любой под грушей. Я хотел поцеловать ее, но она спрятала лицо у меня на груди.

— Слушай, Йожко, я ведь дурная, не хочешь ты мне поверить...

— Ничего ты не дурная, это ты только воображаешь...

И опять не сумел я ее успокоить.

Но вот и вышка. Я молодняком пошел, чтоб Люба меня не заме-

тила. Тихо к лестнице подкрался, тихо подниматься стал. Люба... Показалось мне — она только что плакала. Глаза вытирала, все еще не замечая меня. Потом повернулась к деревне и долго смотрела в ту сторону усталым взглядом. Во мне заговорила жалость. Кто ее обидел?

Тут она меня заметила.

— Как дела, Люба?

Не отвечает.

Я ступил на помост, сел рядом с нею.

— Что с тобой? — спрашиваю.

— Знаешь, Йожко... Я ведь с ним...

— Да?..

— Живу.

Что-то вошло в меня. Какое-то чувство, а какое, сказать не умею. Может ли это быть? Может.

— С кем же?

— С лесничим...

И разом мной овладела ненависть. Я бы, пожалуй, не поверил, что столько ненависти может вместиться в одном человеке. Но постепенно чувство это стало переходить в печаль — в печаль необъятную, нестерпимую. Люба плакала. Ее слезы падали на мои пыльные ботинки. Почему она плачет? Слушай, Люба, отчего у меня мокрые ботинки? И вообще — к чему они, ботинки? К чему они такому человеку, как я, например? Когда-то ведь я не носил их. Пас хозяйских коров — за харчи, за миску теплой похлебки, за краюху черствого хлеба. Холодно было мне, но о ботинках я и думать не думал. Почему же я думаю о них сейчас? Порой сжаливались надо мной коровы. Шлепнет, бывало, какая-нибудь из них лепешку, и в ней я согревал озябшие ноги. А теперь мне не холодно. Мне только грустно.

Перевод Н. АРОСЕВОЙ

Мандуля

Выйдет лесник с ружьем, пойдет вдоль ограды питомника и станет думать: где же эта кукушка, по утрам меня будят петухи, в июне месяце так звонко разносятся их голоса из дырявых курятников, залатанных проржавевшей жестью. Мандулю помню я еще с той поры (станет он думать), когда она была девчонкой с двумя черными косичками и голенастыми ногами, свисавшими с дощатой крыши сарайчика над вязкой глиной у самой дороги, что вела на Обору, Тали и Шадлаварку; а деревенский пастух, низкорослый рябой парень — заиграют искорки у него в глазах, он ни дать ни взять окурок сигареты — каждый день проходил мимо и всегда кончиком бича вздымал пыль: щелкнет бичом, и пыль облачком взлетит над коровьими спинами.

А Мандуля сидела на крыше дощатого сарайчика, свесив ноги и касаясь пятками серых досок, и глядела поверх дороги на луга до самого леса.

— До чего ножки у тебя ладные! — бывало, скажет ей пастух.

— Какие?

И всегда он норовил схватить ее за колено, хоть и побаивался Мандулиного отца: прибежит тот от наковальни со спицей или еще какой железякой, да и огреет его по башке — отец нередко это сулил каждому.

— Я бы тебе кое-что принес,— продолжал пастух.

— Что же?

— Сладкий корень.

— На что он мне сдался?
— Хе-хе!

Пастух засмеется, покрутит над головой бичом, с кончика его сорвется клочок пакли, и корова, что идет рядом, испуганно отпрянет в сторону.

«Где же эта кукушка,— думает про себя лесник,— каждое утро она будит меня, где же эта кукушка...» — и только потом спрашивает:

— Что с Мандулей?
— С Мандулей?
— Что с ней? Уже второй день нет ее на работе.

В июне месяце перепелка выскочит прямо из-под ног и припустится бежать, бежит, бежит, а когда тебе кажется, что ты вот-вот схватишь ее, она распустит крылья и взмоет ввысь. Дорога белая, пыльная, и перепелка все летит, летит, отбрасывая на нее тень. Ботва по обе стороны, ну и ботва, местами совсем седая от пыли, в июне-то месяце, если дождик не брызнет на картофельные и кукурузные поля.

А женщина, что идет словно с закрытыми глазами, и есть Мандуля. В июне месяце. С закрытыми глазами.

А та, что идет ей навстречу, Фридова жена, почтальонша, я узнаю ее по форменному платью да еще по тому, что ходит она по этой дороге и в эту самую пору каждый день. Фридова жена. Тридцать крон. За Мандулей еще никогда не водилось долгов. Может, она отдаст их ей в понедельник, как только получит деньги. Вернет долг и пойдет купит мальчику пальто. В город пойдет.

— Ты откуда?

Мандуля пожала плечами.

— Слыхала я, сбежал он у тебя.
— Тридцатку я тебе отдам.
— Сбежал он у тебя?
— Как только получу деньги, отдам тут же.
— Стало быть, сбежал он.
— Сбежал. За мной не пропадет, не бойся...
— Чего мне бояться. А все потому, что ты его никогда не порола.
— Не порола.
— Вот и сбежал.

Мандуля кивнула. Потом закусила губу и снова почувствовала резь в глазах. В июне месяце. Две женщины бредут средь пыльных полей, и каждая бредет своей дорогой.

Ку-ку!

1

И верно! Сидит она, бывало, на крыше дощатого сарайчика, обитого кусками жести, за оградой из сухих кольев орешника, люди идут мимо, и чуть не каждый заговаривает с ней, а кто не заговорит, тех она сама окликнет — свистнет вслед, тут уж хочешь не хочешь, а обернешься.

— На смазку-то денег нет? — крикнет она мужику.
— А ты почем знаешь?
— Да колеса у вас так и поют.
— Ну, нету.
— Бедняжка!
— Чертовка!

Ленгарт, Мандулин отец значит, выпрямляет гвозди и кидает болты в кучу под акацию посреди двора, чтоб не искать их, если понадобят-

ся. Случись, пропадет в деревне гусь или курица — хозяйка тут как тут, да еще в обществе жандарма, станут за калиткой и высматривают, высматривают, высматривают, глядят, глядят, глядят, и все это время пес лает.

— Чего глядите? — как-то обозлился Ленгарт и вышел к ним с раскаленной подковой.

— Курица пропала.

— А я нешто кур прячу?

— Не знаю, прячете ли, нет ли,— ответил жандарм. Отворил калитку, вылупил глазищи и затопотал сапогами на собачонку.— Придется заглянуть в твои горшки.

— В мои?

— В твои.

— В мои?

— Провалиться мне на месте, в твои!

Жандарм вошел в избу, чем там только не смердело, он больно-то мешкать не стал, заглянул в горшки, под шкаф, под кровать. Ленгарт остался во дворе, бухал молотом по наковальне, ругался, ругался, ругался, собачонка заливалась лаем, а Мандуля сидела на крыше сараюшка и изводила хозяйку, стоявшую за низкой дощатой калиткой.

— Тетенька, какая вы красивая!

— Погоди у меня, погоди! — грозила та пальцем.

— Такая вы красивая, точно графиня!

— Дождешься у меня!

Меж тем жандарм вышел во двор, собака тут же вцепилась ему в куртку.

— Пшел! — он развернулся и одним ударом стряхнул с себя пса.

— Тетенька, какая вы красивая!

Они ушли.

Тогда Ленгарт направился в дом, вынес лестницу, приставил к стене и взобрался по ней на чердак. Пол на чердаке был ветхий, Мандуля, которая спала там целое лето под низкой дырявой кровлей, часто ждала со страхом, что пол под ней провалится.

— Нашел я эту курицу,— сказал Ленгарт, спускаясь по лестнице.

— Что-о-о-о?

— Нашел я ее.

— Где ж ты ее нашел? — удивилась Мандуля.

— Да вот тут и нашел. За трубой.— А из куриной глотки сочилась кровь, словно он только что свернул ей голову.

Сосед у них был всего один, Неспала. С той поры, как от него сбежала жена, звали его Вдовцом. Подумать только! Жена от него сбежала. Упорхнула, как куропатка. Он поминутно бегал к ним, и в зеленом клевере, который разделял обе лачуги, была протоптана дорожка.

— Ленгарт, я тебе удивляюсь,— заводил он всякий раз.

— Чего-о?

— Удивляюсь я тебе. Будь ты поумнее, мог бы жить...

— А я нешто не живу?

— Живешь-то ты живешь, да только, на мой взгляд, никакая это не жизнь.

— Ах ты старая перечница! А ты-то как живешь? Один горшок, да и тот некому вымыть. Пес шелудивый! Удивляется он. Дома-то тебе удивляться нечему, вот и несет тебя ко мне.

Этот разговор они вели, бывало, часами, пока Мандуля сидела на крыше дощатого сарайчика, а поскольку девчонке перевалило уже на семнадцатый, то чего только не взбредало ей в голову: что и она сбежала с олейкарами [1] — ходили они от дома к дому, от одних дверей к

[1] В старой Словакии — странствующие торговцы лекарственными снадобьями.

другим и вопили: «Касторку купи́те! В дерьмо наступи́те!» — сбежала вроде того мальчика, о котором рассказывал дядюшка Теофил, они, мол, его сманили, а потом забили мотыгами; или что в деревню пришли цыгане, точили бритвы и ножи, чинили зонтики и болтали с ней, когда она проходила по деревянным мосткам над вонючим ручьем, который кишел пиявками, или что они раскинули табор за деревней, развели костры и пели до глубокой ночи.

Она уже и тогда спала на чердаке, на охапке прошлогодней соломы, вертелась с боку на бок и в щелочку между прогнившими досками смотрела в сторону леса, который на ночь превращался в густую черную массу, и всякий раз почти в одно и то же время пес принимался лаять на полосу света, который двигался снизу; порой можно было услышать и приглушенный говор, обрывки слов или фраз, как будто с фонарем шли двое или трое, но не доходя до лачуги, сворачивали к лугам, так что свет почти всегда терялся в лесу.

Иногда ей чудилось, что кто-то подошел к самому забору и бродит вокруг, ей даже казалось, что кто-то разговаривает с собакой: «Луко, цыц! Да перестанешь ты, Луко?» Она садилась, напрягая слух,— кто бы это мог быть? Раз она даже спустилась во двор и сама не своя постояла на пороге кухни, размышляя, не разбудить ли отца. С колотящимся сердцем она обошла лачугу в сопровождении скулившей собаки. «Луко, перестань! Луко, ну, тихо же! Луко! Ну!» — унимала она пса. Потом снова взобралась на чердак.

Утром ее через щели кровли разбудило солнышко.

Она спустилась по лестнице, Ленгарт стоял посреди двора, в волосах у него было полно перьев, в руке — молот.

— Ночью тут кто-то побывал,— бросил он сквозь желтые зубы.

— Почему ты так думаешь?

— Пес пропал.

— Что-о-о?

— Сманил кто-то собаку.

Она забыла снять ногу с последней перекладины лестницы.

Ленгарт, который до сих пор казался спокойным, закипел злобой. Он с силой захлопнул за собой калитку и бросился бежать прямиком через клевер.

— Алексин, вставай! Слышишь ты, мерзавец? Где ты шлялся всю ночь, что до сих пор дрыхнешь? Ночью шаришь по чужим дворам, а днем отсыпаешься! Слышишь? Вставай, подлец ты эдакий!

— Никак ты спятил,— отозвался из лачуги Неспала.

— Отвори сейчас же, а не то разнесу калитку в щепки. Мерзавец ты! Негодяй ты эдакий! Что ты сделал с моей собакой?

— Чего?

— Что ты сделал с собакой?

— Ты что? Никак тебя и взаправду оглоушил кто! — Он отпер калитку и уставился, точно на привидение.

— Где моя собака?

— Я тебе, Ленгарт, удивляюсь.

Она спала на чердаке целое лето. Изо дня в день слышались голоса, она пыталась хоть что-нибудь разобрать, но никогда, так никогда ничего и не разобрала. Однажды ей показалось, что она видит свет у самой ограды. Она накинула платье, осторожно пересекла чердак и, выглянув в проем, где была лестница, убедилась, что не ошиблась. За забором стоял мужчина. Голова у него походила на обрубок.

— Чего тебе здесь надо? — тихо спросила она.

Он даже не шелохнулся.

— Ты что, не слышишь? Чего тебе здесь надо?

— Сойди вниз! — сказал он так тихо, что она едва расслышала.

— Я разбужу отца. Кто тебя звал сюда?

Незнакомец не двигался, она живо спустилась по лестнице и уже было схватилась за дверную ручку кухни, как он заговорил:

— Постой!

— Чего тебе надо?

Он поднял руку, делая знак, чтобы она не шумела. По его виду она поняла, что ей нечего бояться. Он был ниже ее ростом, из-за деревянных колышков забора торчала только его голова и плечи. Она подумала, что где-то уже видела его. Но не могла вспомнить.

— Погаси фонарь! — приказала она и сделала движение, как будто собиралась погасить сама.

— Какой фонарь?

Она подошла к забору и только тут увидела, что незнакомец держит в руке кусок полена, светящуюся гнилушку.

— Ты всегда себе так светишь? — спросила она.

— Что значит всегда?

— Я смотрела на дорогу, каждый вечер там кто-то ходил с фонарем, то пел, то разговаривал, я думала, что ходят двое, а может и больше, и всегда они будто о чем-то спорили. Проходили через Обору, потом через Фарские и Шебрецкие луга и почти всякий раз скрывались в лесу. Ты тоже был с ними?

— Почему ты так думаешь?

— Иначе откуда тебе тут взяться? — Она вдруг поняла, что не ошиблась. Слегка наклонилась, чтобы получше разглядеть его лицо.— Ты сманил нашу собаку,— сказала она.

— Я?

— Ты тут околачивался, а она всегда на тебя лаяла.

По правде говоря, это был еще совсем молодой парень, лет восемнадцати или девятнадцати. Бледное и словно усталое лицо.

— Разве это был не ты? — продолжала она допытываться.

— Я ничего не знаю.

— Тогда зачем бродишь тут по ночам?

— Не спится мне.

И в это время она увидела свет. Тот самый, что видела и раньше. Он медленно приближался к ним. Казалось, слышен был и разговор, но, конечно, ничего нельзя было разобрать: свет был совсем далеко.

— Смотри! — она показала пальцем.

Он оглянулся и заметно встревожился

— Что с тобой?

— Ничего.

Оба смотрели на дорогу, его волнение все росло и вскоре стало передаваться и ей.

Он отшвырнул гнилушку и обеими руками схватился за забор.

— Ты должна меня спрятать,— сказал он.

— Где же я тебя спрячу?

— Спрячь меня где-нибудь!

Он обежал забор и мигом очутился рядом с ней.

Свет был уже совсем близко.

Когда Мандуля проснулась, парня и след простыл. Она раздумывала, не рассказать ли ей все отцу, но в конце концов решила, что никому ничего не скажет. Она спустилась по лестнице, Неспала был уже у них. Опершись о наковальню, он вел с отцом разговор.

— Ты бы должен того...

— Что?

— Ты бы должен побольше заниматься ремеслом.

— Ты-то вон ничем не занимаешься. Целыми днями дрыхнешь или ходишь ко мне удивляться.

— Я — другое дело.
— Отчего же другое? Я работаю, сколько мне надо.
— Свинья ты! — в сердцах Неспала сплюнул.

Мандуля вошла в кухню, принялась стряпать завтрак. Весь день она неотвязно думала о парне, который провел ночь рядом с ней. Кто же это был? Что ему здесь нужно было?

На следующую ночь он пришел снова. Ку-ку! Ку-ку!
— Мандуля, спишь?
— Нет, не сплю.
— Сойди вниз.

И опять все повторилось. Так он ходил целый месяц, а потом как в воду канул. С той поры она его больше не видела. Раз в городе ей показалось, что он переходит улицу. Она бросилась к нему и, только схватив за рукав, поняла, что обозналась.
— Извините!
— Ничего.

И Мандуля снова сидела на крыше деревянного сарайчика, свесив ноги над вязкой глиной, смотрела поверх дороги на луга до самого леса, и деревенский пастух лихо щелкал перед ней бичом, потому что всего несколько дней назад навил на него новый кончик.
— Эй, душа-девица!
— Чего тебе?
— Говорят, кто-то позабыл у вас кузовок.
— Какой еще кузовок?
— Баю-баюшки-баю, не ложися на краю-ю-ю... Я тебе колыбельную спел, ты что, не слыхала?
— Дурак!
— Я-то при чем? — Он засмеялся и трижды передразнил кукушку.— Или ты уже не помнишь?
— Кого?

Пастух ухмыльнулся.
— Чего ухмыляешься?
— Хе-хе!
— Ты его видел?
— Не видел.
— Ну так что?

Он повторил свое «ку-ку».
— Ты слыхал что-нибудь?
— Слыхал.
— Что ж ты слыхал?
— Кукушку.
— И больше ничего?
— Ничего.

Она сидела на крыше деревянного сарая. Солнце уже заходило. Из трубы шел дым. Дым был коричневый, почти красный. Пастух возвращался со стадом в деревню. По дороге шныряли куропатки. Бац! Бац! Пастух постегивал бичом. В жнивье сверкали стеклышки.

Через несколько месяцев у нее родился сын.

2

Когда Мандулиному мальцу исполнилось шесть лет, остановила его раз на улице Фридова теща.
— Чей ты? — спросила она.

— Мандулин.
— Мандулин? Крестный купил тебе чулочки?
— Хм.
Фридова теща преспокойно разула его и преспокойно отобрала у него чулочки. Фридова теща. На улице.
— Что с тобой? — спросил его Ленгарт, когда мальчик в слезах вернулся домой.
— Дык... дык... дык...
— Где твои чулки?
— Тетка отняла их у меня.
— Какая тетка?
Мальчик пожал плечами и принялся еще пуще плакать.
— Я прибью ее,— вскипел Ленгарт, взял молот и вышел на улицу. Но не дошел и до дороги, как внутри у него что-то схватило. Право слово. Что-то схватило, и Ленгарт чуть не закричал. Боже праведный! Он опустился на яблоневый пень, держась за сердце, потому что там было больнее всего. Ленгарт, что с тобой? Глаза у него выкатились, и он уже не соображал, то ли сам с собой разговаривает, то ли пристает к нему с расспросами Неспала, который вдруг очутился возле него.
— Что с тобой, Ленгарт? Никак помирать собрался! Мандуля-а-а! Мандуля-а-а! Ты слышишь? Черт возьми, малый, где твоя мать?
Мальчик перестал плакать и уже стоял рядом.
— Позови маму! — приказал Неспала.
— Она на работе.
— Тогда сбегай за водой!
Мальчик пустился со всех ног.
— Ленгарт, где у тебя болит? Ленгарт! Ну же!
Ленгарт сделал попытку открыть глаза. Молот выпал у него из рук.

По правде говоря, только после этого Мандуля почувствовала, что такое настоящие заботы. Мальчику шел седьмой год, она в первый раз повела его в школу.
— Когда он родился? — спросил ее учитель.
— Летом.
— Когда летом?
— Почем я знаю. В мае.
— В мае целых тридцать один день.
— Господи! Ну кто же это точно упомнит?
Потом учитель обратился к мальчику.
— Чей ты? — спросил он его.
— Мандулин.
— Умеешь подкладывать дрова в печку?
— Умею.
— Наступят холода — будешь подкладывать дрова в печку. Ладно?
Мальчик кивнул.
Учитель посадил его, значит, у самой печки — там нашлось свободное место, рядом с меньшим Теофиловым сыном, у которого был такой странный, такой дикий взгляд, точно его сглазили. И такой же взгляд был у жены Теофила с того самого дня, как забодала ее корова,— она несла сено в ясли, а корова на нее рогами, нашли женщину под яслями только на второй день, после того как исходили всю деревню. («Такой жар мне в голову ударяет, такой жар, того и гляди, голова отвалится».) Она иной раз разведет руки в стороны и машет, и машет, и машет, и до поздней ночи раздаются ее псалмопения, которые обычно переходят в протяжный бессмысленный вой.
— Мама, ты спишь?

— Нет, не сплю.

— Почему я никак не могу заснуть?

— А ты закрой глаза. Закрой глаза и считай овечек! У них кудрявится белая шерстка, скачут они по лугу и перепрыгивают через ограду. Один барашек, другой, третий... Скачут они по лугу и перепрыгивают через ограду...

К утру ей почудилось, что она опять слышит призывное кукованье кукушки. Она даже не оделась, выбежала в одной рубашке во двор. Над Оборой висел туман. Над Шадлаваркой светила луна. Акация роняла листья.

Еще толком не рассвело, а Неспала уже был тут как тут.

— Ико, вставай! Слышишь, Ико! — звал он мальчика, который лежал в постели.

— Ико еще спит.

— Так разбуди его! Я ему шапку принес. Вчера рылся в сундуке да и нашел. Зима будет лютая. Право слово! Такой зимы не упомнит никто. Спишь, Ико? Я тебе шапку принес.

Ико открыл глаза.

— Глянь-ка! Баранью шапку я тебе принес.— И он тут же нахлобучил на мальчика шапку.

— Она ему велика.

— Ничего не велика! Голова у него мала, вот что. А голова вырастет. На, принимай шапку.

Она подала завтрак, позвала к столу и Неспалу. Потом отправила сына в школу, а сама стала собираться на работу. Поверх красного платья надела Ленгартов пиджак, голову повязала цветастым платком..

— На работу?

— На работу.

Старик пробурчал что-то и вышел. Постоял немного во дворе, посмотрел на Шебрецкие луга. Вороны боятся на землю садиться — лютая зима будет. Пересек клевер и остановился у своей лачуги. Мальчик прошел мимо, на голове у него была баранья шапка. Потом Неспала проводил взглядом Мандулю, пока она не скрылась в лесу.

Двенадцати лет он стал ходить в школу в город, и Мандуля неотрывно думала о нем с утра до вечера, сажая деревца. Когда она обрезала побеги, у ножниц выскочила пружина и они щелкнули вхолостую, бабы обошли ее, пока она возилась с пружиной, каждая уже направлялась с охапкой веток к кормушкам, к ним будут приходить серны, как приходили и прошлую зиму, когда все кругом было завалено снегом — тропинки и дороги, холмы и ложбинки, лесное зверье подходило к самым домам,— и не подумаешь, что в деревне столько браконьеров,— когда звери пробираются вдоль проволочных заграждений, они пятнают снег кровью, и он покрывается словно ржавчиной, металлические пуговицы на отцовском пиджаке блестят, но мальчик уже не хочет надевать его — товарищи, мол, смеются над ним, на автобусной остановке дразнят его отцовым именем — Ленгарт, Ленгарт, Ленгарт, дергают за пуговицы, видно, он их боится, на прошлой неделе он пеналом разбил голову сынишке почтальонши, да где же эта пружина, куда она запропастилась, в июне месяце, когда ветки на деревьях вырастут выше маковки, впору на них повеситься, а еще можно взобраться по ним на самую верхушку дерева, где же эта кукушка, часы на башне пробили полдень, мальчик вот-вот будет дома, да и мне можно пораньше уйти домой, если работать без перерыва, за металлические пуговицы теперь и гроша ломаного никто не даст...

С работы она возвращалась усталая, день ото дня все более усталая, кости да кожа, кости да кожа, вот во что превратилась Мандуля, и всякий раз она приставала к мальчику, и лицо у нее при этом было такое, как будто она выпытывала бог весть какую тайну.

— Ты сегодня был в школе?

— Был.

— Кого ты видел?

— Никого не видел.

— Никто не остановил тебя в городе?

— Никто.

Мальчика уже не радовало, когда мать принималась его выспрашивать — изо дня в день, изо дня в день, всегда одно и то же.

— Ты был в школе?

— Был,— буркнет он, точно голубь-воркун, как будто она и не мать ему, так он ей буркнет.

— Не нравишься ты мне, малый,— огорчался Неспала.

— А что такое?

— Да чудной ты какой-то, говорю.

А однажды мальчик просто не вернулся из школы. Мандуля вечером пошла в деревню, разведаю, мол, у мальчишек, что это значит. Никто ничего не знал. В тот же вечер она отправилась в город.

В июне месяце перепелка выскочит прямо из-под ног и припустится бежать, бежит, бежит, а когда тебе кажется, что ты вот-вот схватишь ее, она распустит крылья и взмоет ввысь. Дорога белая, пыльная, и перепелка все летит, летит, отбрасывая на нее тень. Ботва по обе стороны, ну и ботва, местами совсем седая от пыли, в июне-то месяце, если дождик не брызнет на картофельные или кукурузные поля.

А женщина, что идет мне навстречу словно с закрытыми глазами, и есть Мандуля. В июне месяце. С закрытыми глазами.

— Так он, значит, сбежал от тебя?

— Сбежал.

— И ты уже искала его?

Мандуля кивает.

— И не нашла?

Мандуля отрицательно качает головой.

— Ну, ничего. Когда вернется, задай ему хорошую трепку. Выпори его как следует. А не выпорешь, он опять сбежит. А постарше станет, еще чаще убегать будет. Помяни мое слово.

И Мандуля расплачется. И все, кто это видит, удивляются, потому что еще никто никогда не видел, чтобы Мандуля плакала. В июне месяце.

Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!

Перевод Ирины БОГДАНОВОЙ

Падали груши

Дом стоял у самой железнодорожной линии. Перебежишь дорогу, и сразу же за канавой колея. С поезда хорошо был виден двор, а через открытую дверь можно было заглянуть и в кухню. Дом как дом, примечательный разве лишь тем, что летом перед ним с дерева всегда падали груши — падали всегда в срок и ровно столько, сколько требовалось, ни больше ни меньше. Чаще всего падала одна: человек идет на работу либо с работы, такая груша ему как нельзя кстати.

Неподалеку рассаживались дети, они-то знали, что дерево трясти не следует, просто в этом нет надобности — ведь груша падает только тогда, когда ее больше всего хочется. Падали груши и по две, и по три: сколько детей, столько и груш.

Задует ветер, груши падают обильнее, но и тогда не бывает лишних: детей собирается еще больше, и каждый ждет свою.

Проходившие мимо поезда были такие длиннущие, что казалось, у них конца нет. Однажды в полдень, когда летнее солнышко нещадно палило, такой длинный-предлинный поезд вдруг остановился. Машинист, высунув голову, уставился на рельсы, а кочегар спустился вниз, в канаву. Из дома, перед которым росла груша, вышел старик, закивал машинисту; тот вроде бы смекнул, в чем дело, послал к нему кочегара, и старый угостил их грушами.

— Хорошо тянет?

— Тянет.

— Я ведь тоже на таких ходил. И до Мархега [1], и до Жилины. Сорок три года ходил...

— Походил — и будет.

— Будет,— согласился старый.— Да я б и теперь не отказался, да только тут, на «кукушке». А в дальние рейсы—где уж мне!—Старый призадумался, глядя на паровоз, точно хотел определить, сколько вагонов он мог бы на самом деле вытянуть, и нельзя ли еще три-четыре добавить к составу; он был бы не прочь заглянуть и наверх, к машинисту, но самому без посторонней помощи так высоко не забраться, да и времени в обрез. Машинист и кочегар кивнули старому напоследок, и поезд тронулся. А старик еще долго стоял перед домом и смотрел на рельсы,— глаза у него были голубые и все еще ясные, как у ребенка. Потом он вошел во двор, уселся на скамейку и сквозь щелку в воротах продолжал глядеть на дорогу. Кто-то прошел мимо, старый бросил ему сливу, потом слегка смутился, что бросил сливу вместо груши, но прохожий и сливой не побрезговал: в такое пекло и слива хороша, право же, хороша и слива.

Я заходил в этот дом два-три раза в неделю. Завидев меня, старый всегда почему-то мрачнел.

— Опять этот цыган приходил,— ворчал он обычно после моего ухода.

— Он не цыган,— поправляли его.

— Ну да, не цыган. Будто я не видал его.

— Да не цыган он.

— Работает хоть?

— А то как же! Все работают. И цыгане заняты делом...

И все-таки поначалу он не доверял мне, и когда я однажды зашел к нему, угостил меня твердой, кислой, самой что ни на есть завалящей грушей.

— Ну как? — спросил старик, глядя на меня.

— Вкусная,— похвалил я грушу.

— Вот так-то и люди всякие бывают.— Он кинул взгляд на скамейку, потом указал рукой на паука, пробиравшегося к грушам.— Хоть бы ветер потянул, да и дождик не помешал бы.

— И так ветрено,— заявил я, и мы оба поглядели на шумную крону груши.

— Ветрено. Оно и хорошо. По крайности хоть пауков не будет. Уж больно много их нынче. Хорошо, когда ветрено. Да и дождик не помешал бы...

---

[1] Австрийский город на границе с Чехословакией.

Мимо дома снова шел поезд, и старик поспешил за ворота, думал, верно, встретит знакомого машиниста; его лицо как-то не врезалось старому в память, и теперь он каждого машиниста принимал за того, которого когда-то угостил грушами, каждому кивал, каждый кивал ему в ответ, будто все они, встретившись где-то, сговорились уже издали высматривать старика, улыбаться ему, махать рукой,— а старик все стоял у ворот и долго-долго глядел вослед поезду.

Иногда я приносил ему вина, а он потчевал меня табаком, который выращивал сам,— покупной не пользовался у него доверием; мы покуривали, потягивали вино да по очереди сквозь щелку разглядывали прохожих.

Мне казалось, что он понемногу стал привыкать ко мне, стал иначе смотреть на меня; при желании я мог уже выбрать для себя какую угодно грушу.

— Бывало, отправляюсь в путь,— рассказывал старик,— всегда набиваю грушами полные карманы, съем одну-другую, остальные ребятам раздам. Люди всякие бывают, тебе-то еще невдомек...

А как уйду, он снова за свое:

— Опять этот цыган приходил.

— Да какой он цыган.

Как-то принес я старику бутылку вина, он спал. Поставил я бутылку в угол, а сам потихоньку выбрался во двор. Сел на лавочку и стал глядеть в щелку. На дороге — полным-полно груш. День стоял жаркий. Из проходившего мимо товарного поезда вывесился машинист и снял шапку.

Перевод Н. ШУЛЬГИНОЙ

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК

Тени в раю

РОМАН

Перевод с немецкого Л. ЧЕРНОЙ и В. КОТЕЛКИНА

IX

У Силверса я поначалу должен был составлять каталог на все когда-либо проданное им и отмечать на фотографиях картин имена их прежних владельцев.

— Самое трудное,— говорил Силверс,— это установить подлинность старых полотен. Никогда нельзя быть уверенным в их подлинности. Картины — они как аристократы. Их родословную надо прослеживать вплоть до написавшего их художника. И линия эта должна быть непрерывной: от церкви X к кардиналу A, от коллекции князя Y к каучуковому магнату Рабиновичу или автомобильному королю Форду. Пробелы здесь недопустимы.

— Но речь ведь идет об известных картинах?

— Ну и что? Фотография возникла лишь в конце девятнадцатого века. К тому же далеко не у всех старинных полотен есть копии, с которыми можно было бы свериться. Нередко приходится довольствоваться одними предположениями,— Силверс саркастически ухмыльнулся,— и заключениями искусствоведов.

Я спреб в кучу фотографии. Сверху лежали цветные снимки картины Мане — небольшого натюрморта: пионы в стакане воды. Цветы и вода были как живые. От них исходило удивительное спокойствие и внутренняя энергия — настоящее произведение искусства! Казалось, художник впервые сотворил эти цветы и до него их не существовало на свете.

— Нравится? — спросил Силверс.

— Прелестно.

— Лучше, чем розы Ренуара там на стене?

— Это совсем другое,— сказал я.— В искусстве вообще вряд ли уместно слово «лучше»!

— Уместно, если ты — антиквар.

— Эта картина Мане — миг творения, тогда как Ренуар — само цветение жизни.

Силверс покачал головой.

— Недурно. Вы были писателем?

Продолжение. Начало см. в № 10.

— Всего лишь журналистом, да и то плохоньким.

— Вам сам бог велел писать о живописи.

— Для этого я слишком слабо в ней разбираюсь.

На лице Силверса вновь появилась саркастическая усмешка.

— Думаете, люди, которые пишут о картинах, разбираются в них лучше? Скажу вам по секрету: о картинах нельзя писать — как вообще об искусстве. Все, что пишут об этом, служит лишь одной цели — просвещению невежд. Писать об искусстве нельзя. Его можно только чувствовать.

Я не возражал.

— И продавать,— добавил Силверс.— Вы, наверное, это подумали?

— Нет,— ответил я и не покривил душой.— А почему вы решили, что мне сам бог велел писать о картинах? Потому что писать о них нечего?

— Все-таки это лучше, чем быть плохоньким журналистом.

— Как знать.

Силверс рассмеялся:

— Вы, как и многие европейцы, мыслите крайностями. Или это свойственно молодежи? Однако вы уже не так молоды. А ведь между крайностями есть еще множество всяких вариантов и нюансов. У вас же об этом неверные представления. Я вот хотел стать художником. И стал им. Писал со всем энтузиазмом, присущим заурядному художнику. А теперь я антиквар и торгую картинами — со всем присущим этой профессии цинизмом. Ну и что? Предал я искусство тем, что не пишу больше плохих картин, или предаю его тем, что торгую картинами? Размышления в летний день в Нью-Йорке,— помолчав, сказал он и предложил мне сигару.— Попробуйте-ка вот эту сигару. Самая легкая изо всех гаванских. Вы любите сигары?

— Я еще плохо в них разбираюсь. Курю все, что попадается под руку.

— Вам можно позавидовать.

Я удивленно поднял голову.

— Это для меня новость. Не думал, что этому можно завидовать.

— У вас все еще впереди — выбор, наслаждение и пресыщение. Под конец остается лишь пресыщение. Чем ниже ступень, с которой начинаешь свой путь, тем позже наступает пресыщение.

— По-вашему, начинать надо с варварства?

— Если угодно.

Я обозлился. Варваров мне довелось видеть предостаточно. Эти салонные эстетические концепции меня раздражали — ими можно забавляться в более безмятежные времена. Даже за восемь долларов в день я не желал слушать разглагольствования Силверса. Я показал ему кипу фотографий.

— В картинах импрессионистов, наверное, проще разобраться, чем в картинах эпохи Ренессанса,— сказал я.— Все-таки они писали на несколько столетий позже. Дега и Ренуар дожили до первой мировой войны, а Ренуар даже пережил ее.

— И тем не менее появилось уже немало подделок и Ренуара, и Дега.

— Стало быть, единственной гарантией является тщательная экспертиза?

Силверс усмехнулся:

— Экспертиза или чутье. Нужно знать сотни картин. Видеть их вновь и вновь. На протяжении многих лет. Смотреть, изучать, сравнивать. И снова смотреть.

— Ну, разумеется,— сказал я.— Только почему же тогда многие директора музеев ошибаются в своих заключениях?

— Одни — умышленно. Но это быстро выходит наружу. Другие на самом деле ошибаются. Почему? Вот мы и подошли к вопросу о различии между директором музея и коммерсантом. Директор музея покупает редко и за счет музея. Коммерсант покупает часто — и всегда за свой счет. Не кажется ли вам, что этим они и отличаются друг от друга? Если коммерсант в чем-то ошибается, он теряет свои деньги. Директору же музея гарантирован каждый цент жалованья. У него интерес к картинам чисто академический, а у коммерсанта — финансовый. Естественно, что у коммерсанта взгляд острее, он большим рискует.

Я принялся разглядывать этого изысканно одетого человека. Костюм и ботинки на нем были английские, рубашка — из лучшего парижского магазина. Он был выхолен и благоухал французским одеколоном. И мне показалось, что он отделен от меня стеклянной стеной: я слышал все, что он говорил, но так, будто он где-то далеко-далеко. Он жил в некоем темном мире, мире головорезов и разбойников — в этом я был уверен,— но разбойников весьма элегантных и весьма коварных. Все, что он говорил, было верно и в то же время неверно. Все представало в странно искаженном виде. На первый взгляд Силверс производил впечатление спокойного, убежденного в своем превосходстве человека, но у меня было такое чувство, что он в любую минуту может превратиться в безжалостного дельца и не убоится пойти по трупам. Его мир насквозь фальшив, он слагался из мыльных пузырей благозвучных фраз и сомнительной близости к искусству, в котором Силверс разбирался лишь в ценах. Человек, действительно любящий картины, не стал бы ими торговать, подумалось мне.

Силверс посмотрел на часы.

— На сегодня хватит. Мне пора в клуб.

Меня нисколько не удивило, что он торопился туда. Это вполне вязалось с моим представлением о его нереальном существовании за «стеклянной стеной».

— Мы найдем общий язык,— сказал он и провел рукой по складке брюк.

Я невольно посмотрел на его ботинки. Он был слишком уж элегантен. Носки ботинок были чуть острее, чем нужно, а цвет — чуть светлее. Покрой костюма несколько вызывающий, а галстук — чересчур пестрый и шикарный. Он в свою очередь окинул взглядом мой костюм.

— Вам в нем не жарко?

— Когда очень жарко, я снимаю пиджак.

— Это не годится. Купите себе костюм из тропикала. Американские готовые вещи очень добротны. Здесь даже миллионеры редко шьют костюмы на заказ. Купите в магазине братьев Брук. А хотите подешевле — у «Браунинг энд Кинг». За шестьдесят долларов можно приобрести нечто вполне приличное.

Силверс вытащил из кармана пиджака пачку банкнот. Я еще раньше заметил, что у него нет бумажника.

— Вот,— сказал он и протянул мне сто долларов.— Считайте это авансом.

Стодолларовая бумажка жгла мне карман. У меня еще было время зайти в магазин «Браунинг энд Кинг». Я шел по Пятой авеню, славя имя Силверса в безмолвной молитве. Лучше всего было бы сохранить деньги и донашивать старый костюм. Но это было невозможно. Через несколько дней Силверс наверняка спросит меня о костюме. Так или иначе после всех лекций об искусстве, как о наилуч-

шем помещении капитала, мой собственный капитал удвоился, хоть я и не приобрел картины Мане.

Через некоторое время я свернул на Пятьдесят четвертую улицу. Чуть подальше находился небольшой цветочный магазин, где продавались очень дешевые орхидеи — может быть, не совсем свежие, но это было незаметно. Накануне Меликов дал мне адрес фирмы, где работала Наташа Петрова. В мыслях у меня был полный разброд — я так и не понял, что представляет собой эта женщина: то она казалась мне модницей и шовинисткой, то я сам себе казался вульгарным плебеем. Теперь, похоже, в мою жизнь вмешался бог, о чем свидетельствовала стодолларовая бумажка, лежавшая у меня в кармане. Я купил две орхидеи и послал Наташе. Цветы стоили всего пять долларов, но производили впечатление более дорогих, что было весьма кстати.

В магазине «Браунинг энд Кинг» я выбрал себе легкий серый костюм, причем подгонять пришлось только брюки.

— Завтра вечером будет готово,— сказал продавец.

— А нельзя ли получить костюм сегодня?

— Уже поздно.

— Он мне очень нужен сегодня вечером,— настаивал я.

Особой срочности в этом не было, но на меня вдруг напала блажь получить новый костюм как можно скорее. В кои-то веки я мог себе это позволить, и мне в голову внезапно пришла глупая мысль, будто новый костюм знаменует собой конец моей бездомной эмигрантской жизни и начало оседлого обывательского существования.

— Попытайтесь это устроить,— попросил я.

— Пойду узнаю в мастерской.

Я стоял между длинными рядами развешанных костюмов и ждал. Казалось, костюмы со всех сторон шли маршем на меня, как армия автоматов, доведенных до верха совершенства, когда в человеке уже нет нужды. Продавец, прошмыгнувший по безмолвным рядам, показался мне анахронизмом.

— Все в порядке. Приходите часов в семь.

— Очень вам благодарен.

Я вышел на раскаленную пыльную улицу.

Я свернул на Третью авеню. Лоу-старший украшал витрину. Я предстал перед ним во всем великолепии своего нового костюма. Он вытаращил глаза, точно филин ночью, и махнул канделябром, предлагая мне войти.

— Замечательно,— сказал он.— Это уже первый плод вашей деятельности в качестве обер-мошенника?

— Нет, всего лишь аванс от человека, которому рекомендовали меня вы, господин Лоу.

Лоу ухмыльнулся:

— Целый костюм. Tiens [1].

— И даже деньги еще остались. Силверс посоветовал мне магазин братьев Брук. Я же выбрал более скромный.

— У вас вид авантюриста.

— Благодарю вас. Так оно и есть.

— Кажется, вы уже неплохо спелись,— пробурчал Лоу и принялся устанавливать на фоне генуэзского бархата прелестного свежераскрашенного ангела восемнадцатого века.— Удивительно, что вы вообще еще появляетесь среди нас, мелких сошек.

---

[1] Смотри-ка *(франц.)*.

Я молча глядел на него. Маленький толстяк, оказывается, ревновал, хотя сам же направил меня к Силверсу.

— Вас больше устроило бы, если бы я ограбил Силверса? — спросил я.

— Между ограблением и лизанием зада есть определенная разница!

Лоу поставил на место французский стул, у которого лишь половина ножки была действительно старинной. Меня охватило теплое чувство. Ко мне уже давно никто не относился с такой бескорыстной симпатией. А задумался я над этим лишь совсем недавно. Мир полон добрых людей, но замечаешь это, лишь когда оказываешься в беде. И это является своего рода компенсацией за трудные минуты жизни. Удивительный баланс, заставляющий в минуты отчаяния уверовать даже в очень далекого, обезличенного, автоматического бога, восседающего перед пультом управления. Впрочем, только в минуты отчаяния — и никогда больше.

— Что вы так на меня уставились? — спросил Лоу.

— Славный вы человек,— искренне воскликнул я.— Прямо отец родной!

— Что?

— Это я так... В неопределенно-трансцендентном смысле.

— Что? — переспросил Лоу.— У вас, надо понимать, все хорошо, раз вы несете такой вздор. Вздор, да и только. Вам что, так уж нравится состоять при этом паразите? — Он вытер пыль с ладоней.— Наверное, у него черную работу делать не приходится, не так ли? — Он швырнул грязное полотенце за штору на груду японских офортов в рамках.— Ну как, там лучше, чем здесь?

— Нет,— ответил я.

— Так я и поверил!

— Просто там все иначе, господин Лоу. Когда глядишь на прекрасные картины, все остальное отступает на второй план. К тому же картины — не паразиты!

— Они жертвы,— неожиданно спокойно произнес Лоу-старший.— Представьте себе, каково бы им пришлось, будь у них разум! Ведь их продают, как рабов. Продают торговцам оружием, военным, промышленникам, дельцам, сбывающим бомбы! На обагренные человеческой кровью деньги эти типы приобретают картины, излучающие мир и покой.

Я взглянул на Лоу.

— Ну, хорошо,— сказал он.— Пусть эта война иная. Но такая ли уж она иная для этих паразитов! Их цель — заработать, нажиться, а где и как — им все равно. Если понадобится, они готовы и дьяволу...— Лоу замолк.— Юлий идет,— прошептал он.— Боже праведный, в смокинге! Все погибло!

Лоу-младший не был в смокинге. Мы увидели его в ту секунду, когда он входил с улицы, освещенный последним грязновато-медвяным лучом солнца, весь пропахший бензином и выхлопными газами. На нем была узкая визитка цвета маренго, полосатые брюки, котелок и, к моему удивлению, светло-серые старомодные гетры.

Я с умилением рассматривал их, ибо ничего подобного не видел с догитлеровских времен.

— Юлий! — воскликнул Лоу-старший.— Постой, подожди. В последний раз говорю: вспомни хотя бы о своей благочестивой матери!

Юлий медленно переступил порог.

— О матери я помню,— сказал он.— А ты не сбивай меня с толку, еврейский фашист!

— Юлий, побойся бога. Разве я не желаю тебе добра? Разве я не заботился о тебе, как только может заботиться старший брат, разве не ухаживал за тобой, когда ты болел, ты...

— Мы близнецы,— заметил Юлий, обращаясь ко мне.— Я вам уже говорил, что брат старше меня всего на три часа.

— Иной раз три часа значат больше, чем целая жизнь. Ты всегда был мечтателем, не от мира сего, мне вечно приходилось смотреть за тобой, Юлий. Ты же знаешь, я всегда думал о твоем благе, а ты вдруг стал относиться ко мне как к своему заклятому врагу.

— Потому что я хочу жениться.

— Потому что ты хочешь жениться бог знает на ком. Господин Росс, вы только взгляните на него, прямо жалость берет, он стоит здесь с таким видом, будто собирается взять барьер. Юлий! Юлий! Опомнись! Не спеши! Он, видите ли, хочет сделать предложение по всем правилам, как какой-нибудь коммерции советник. Тебя опоили любовным зельем, вспомни о Тристане и Изольде и несчастье, которое их постигло. Своего родного брата ты называешь фашистом за то, что он хочет предостеречь тебя от неверного шага. Юлий, найди себе добропорядочную еврейку.

— Не нужна мне добропорядочная еврейка. Я хочу жениться на женщине, которую люблю!

— Нет, вы только подумайте, он ее любит! Посмотри, на кого ты похож! Он собирается сделать ей предложение. Вы только поглядите на него, господин Росс!

— Ничем не могу вам помочь,— сказал я.— На мне тоже новый костюм. Костюм для обер-мошенника. Не так ли, господин Лоу?

— Это я пошутил.

Вскоре разговор вошел в более спокойное русло. Юлий взял назад свои слова о «еврейском фашисте» и обозвал брата «сионистом», а затем — «семейным фанатиком». В пылу спора Лоу-старший допустил одну тактическую ошибку. Он сказал, что мне, к примеру, вовсе не обязательно жениться на еврейке.

— Это почему? — спросил я.— Когда мне было шестнадцать лет, мой отец советовал мне взять в жены еврейку. Иначе, полагал он, ничего путного из меня не выйдет.

— Вот видишь! — воскликнул Юлий.

Спор разгорелся с новой силой. Однако Лоу-старший благодаря своей напористости взял верх над лириком и мечтателем Юлием. Ничего другого я и не ожидал. Если бы Юлий твердо решил жениться, он не появился бы здесь в визитке, а просто пошел бы к своей богине с рыжими космами — крашеными, как полагал Лоу-старший. Убедить его не спешить с предложением оказалось не так уж трудно.

— Ты ничего не потеряешь,— увещевал его Лоу-старший.— Еще раз хорошенько все обдумай.

— А если она заведет себе другого!

— Не заведет, Юлий. Ты ведь не зря вот уже тридцать лет в деле! Разве мы не уверяли тысячу раз своих покупателей, что у нас уже есть претенденты на облюбованную ими вещь, но это всегда было только ловким трюком. Ну, Юлий, поди и сними эту дурацкую визитку!

— Нет,— неожиданно резко возразил Юлий.— Я ее надел и не сниму.

Лоу-старший испугался, что опять возникнут осложнения.

— Хорошо, будь по-твоему,— сказал он с готовностью.— Куда пойдем? Может быть, в кино? На фильм с Полетт Годар.

— В кино? — Юлий с сожалением оглядел свою визитку цвета маренго. В кино ее никто не увидит, из-за темноты.

— Хорошо, Юлий. Тогда пойдем в ресторан, самый первоклассный. Закажем хорошую закуску. Рубленую куриную печенку, а на десерт пломбир с персиками. Куда хочешь, туда и пойдем.

— К «Соседу»,— решительно заявил Юлий.

Лоу-старший на какое-то мгновение задумался, как бы переваривая услышанное.

— Ну, хорошо, к «Соседу» так к «Соседу».— Он обернулся ко мне.— Господин Росс, пойдемте с нами. Вы сегодня так элегантны. А что это у вас за сверток?

— Мой старый костюм.

— Оставьте его здесь. Зайдете за ним после.

В гостиницу я вернулся около десяти вечера.

— Тут для тебя есть пакет,— объявил Меликов.— Если не ошибаюсь, это бутылка.

Я развернул бумагу.

— Боже мой! — воскликнул Меликов.— Настоящая русская водка!

Я осмотрел упаковку. Никакой записки не было. Только водка.

— Ты заметил, что бутылка не совсем полная? — спросил Меликов.— Я не повинен в этом. Так и было.

— Знаю,— сказал я.— Кто-то выпил две довольно большие рюмки. Нальем, что ли? Ну и денек!

X

Я зашел за Каном. Мы были приглашены на торжество к Фрисленлерам.

— У них большой праздник,— пояснил Кан.— Фрисленлеры позавчера стали американскими гражданами.

— Так скоро? Разве не надо ждать пять лет, чтобы получить документы?

— Фрисленлеры и ждали пять лет. Они прибыли в Америку еще до войны, с первой волной наиболее ловких эмигрантов.

— И впрямь ловкачи,— согласился я.— Что же это нам не пришла в голову такая идея?

Фрисленлерам сопутствовала удача. Еще до прихода нацистов к власти они поместили часть своего капитала в Америке. Старик не доверял ни европейцам вообще, ни немцам в частности. Свои сбережения он вложил в американские акции, главным образом в «Америкэн телеграф энд телефон компани». С течением времени они изрядно поднялись в цене. Единственное, в чем Фрисленлер ошибся, это в сроках. В Америке он поместил только ту часть своего капитала, которая не требовалась в деле. Фрисленлер торговал шелком и мехами и считал, что всегда сумеет, в случае если ситуация станет опасной, быстро реализовать свой товар. Но ситуация стала опасной уже за два года до захвата власти нацистами. Дела Дармштадтского национального банка, одного из крупнейших банков Германии, внезапно пошатнулись. У касс началась свалка. Немцы еще не забыли страшной инфляции, которая разразилась десять лет назад. Тогда триллион фактически стоил четыре марки. Во избежание полной катастрофы правительство закрыло банки и блокировало все переводы денег за границу. Этой мерой оно стремилось предотвратить обмен наличного запаса марок на более устойчивую валюту. В то время у власти стояло демократическое правительство, однако, само того не ведая, оно вынесло смертный приговор множеству евреев и противников нацистской партии. Капиталы, блокированные в 1931 году, так и не были разморо-

жены. Поэтому после прихода нацистов к власти почти никому не удалось переправить за границу свои средства и тем самым спасти их. Надо было либо все бросить, либо сидеть и, карауля свои деньги, ждать гибели. В кругах национал-социалистов немало потешались над этой ситуацией.

Фрислендѐр тогда еще колебался. Он не мог решиться все бросить и уехать; к тому же, подобно многим евреям в 1933 году, он стал жертвой странного благодушия и считал все происходящее лишь временным явлением. Бесчинства нацистов прекратятся, как только они достигнут вожделенной власти. Тогда будет сформировано разумное правительство. Ну что ж, придется пережить несколько беспокойных месяцев, как при любом перевороте. Потом все войдет в свою колею — Фрислендѐр был не только осторожным дельцом, но и пламенным патриотом. Он не очень доверял нацистам, но ведь имелся еще и президент Германии — почтенный фон Гинденбург, фельдмаршал и столп прусского права и добродетели.

Прошло еще некоторое время, прежде чем Фрислендѐр пробудился от спячки. Спячка продолжалась до тех пор, пока суд не предъявил ему обвинение во всевозможных злодеяниях, начиная с мошенничества и кончая изнасилованием несовершеннолетней девочки, которую он и в глаза не видел. Мать и дочь клялись, что обвинение вполне обоснованно, так как глупый Фрислендѐр, веровавший в пресловутую справедливость немецкой юстиции, с возмущением отверг притязания мамаши — она требовала от него 50 000 марок. Однако Фрислендѐр быстро «образумился» и при второй попытке шантажа оказался уже более сговорчивым. Как-то вечером к нему зашел секретарь уголовной полиции, подосланный крупным нацистским деятелем. От Фрислендѐра потребовали куда более высокую сумму, но взамен ему было позволено вместе с семьей бежать из Германии. Ему сказали, что на границе с Голландией часовому будут даны соответствующие инструкции. Фрислендѐр ничему не верил. Он каждый вечер проклинал себя, а по ночам его проклинала жена. Он подписал все, что от него требовали. И произошло невероятное: Фрислендѐра с семьей переправили через границу. Сначала — жену и дочь. Получив открытку из Арнхейма, он отдал остаток своих акций нацистам. Через три дня он тоже был в Голландии. Затем начался второй акт трагикомедии. Срок его паспорта истек, прежде чем он успел обратиться с ходатайством о получении американской визы. Он попытался раздобыть другие документы. Но тщетно. Тогда ему удалось получить некоторую сумму из Америки. Однако и этот источник вскоре иссяк. Остальные деньги — а это была большая часть его состояния — Фрислендѐр поместил с таким условием, что их могли выдать только ему лично. Он, конечно, рассчитывал, что скоро сам окажется в Нью-Йорке. Но срок его паспорта истек, и Фрислендѐр стал воистину нищим миллионером! Он отправился во Францию, где власти уже тогда проявляли нервозность и обращались с ним как с одним из тех беженцев, кто в страхе за свою шкуру плел всевозможные небылицы, надеясь таким путем получить разрешение на жительство. В конце концов, благодаря поручившимся за него американским родственникам, Фрислендѐру удалось получить визу на въезд в США, несмотря на просроченный паспорт. И когда в Америке ему выдали на руки его акции, он облобызал их и решил переменить имя.

Сегодня умер Фрислендѐр и родился Дэниел Варвик. Фрислендѐр сменил имя при получении гражданства.

Мы вошли в большую, ярко освещенную гостиную. Сразу можно было заметить, что в Америке Фрислендѐр не терял времени даром. Все здесь говорило о богатстве. В столовой высился огромный буфет. Стол

был уставлен вазами с пирожными, и среди всего этого великолепия красовались еще два круглых торта, облитых сахарной глазурью с надписью «Фрисленде» — на одном и «Варвик» — на другом. На торте «Фрисленде» был шоколадный ободок, который при некоторой фантазии можно было считать траурной каймой, а у торта «Варвик» ободок был из розовых марципановых розочек.

— Изобретательность моей кухарки,— с гордостью сказал Фрисленде.— Как, нравится?

Его красное широкое лицо сияло от удовольствия.

— Торт «Фрисленде» мы сегодня разрежем и съедим,— пояснил он.— Второй останется нетронутым. Это своего рода символ.

— Почему вам пришло в голову назваться Варвиком? — спросил Кан.— Если не ошибаюсь, это известный род в Англии?

Фрисленде утвердительно кивнул:

— Как раз поэтому. Если уж менять имя, так на что-то приличное. Что будете пить, господин Кан?

Тот с удивлением взглянул на хозяина.

— Шампанское, конечно, «Дом Периньен». Как и подобает по такому случаю!

Фрисленде на минуту смутился.

— Этого у нас, к сожалению, нет, господин Кан. Зато могу предложить отличное американское шампанское.

— Американское?.. Налейте-ка лучше бокал бордо.

— Калифорнийского. Хороший сорт.

— Господин Фрисленде,— сдерживая себя, сказал Кан.— Хотя Бордо и оккупирован немцами, он пока еще не в Калифорнии. Не стоит заходить так далеко в вашем новом патриотизме.

— Почему? — Фрисленде выпятил грудь, между лацканами смокинга блеснули сапфировые пуговицы.— Зачем сегодня вспоминать прошлое? Можно было бы выпить и голландского джина и немецкого вина. Но мы от них отказались. В Германии и в Голландии нам слишком многое пришлось испытать. По этой же причине мы не заказывали французских вин. К тому же они не намного лучше. Все это реклама! А вот чилийское вино действительно первоклассное.

— Выходит, свою досаду вы вымещаете на напитках?

— Кто как может. Прошу к столу, господа.

Мы последовали за ним.

— Как видите, есть и преуспевающие эмигранты,— заметил Кан.— Правда, их совсем мало. В Германии Фрисленде лишился всего, что нажил там. Но некоторые из так называемых «ловкачей» не теряли времени даром и уже многого добились. Основную же массу эмигрантов составляют «нерешительные». Эти топчутся на месте, не зная, захотят они вернуться в Германию или нет. Кроме того, здесь есть и просто «зимующие». Эти будут вынуждены вернуться, так как в Америке им не найти работы.

— А к какой волне вы относите меня? — спросил я, принимаясь за куриную ножку в винном желе.

— К самой поздней, которая уже сливается с той, что откатывается. У Фрисленде великолепная кухня, не правда ли?

— Все это приготовлено здесь, в доме?

— Все. Фрисленде повезло, что в Европе кухаркой у него была венгерка. Она осталась ему верна и несколько лет спустя последовала за ним через Швейцарию во Францию — с драгоценностями фрау Фрисленде в желудке. Несколько прекрасных камней без оправы, которые в свое время вручила ей фрау Фрисленде, Рози проглотила перед границей вместе со сдобной булкой. Впрочем, необходимости в этом не бы-

ло, ведь ее, как венгерку, никто не обыскивал. Сейчас она продолжает кухарничать. Истинное сокровище!

Я оглянулся. У буфета толпились гости.

— Это все эмигранты? — спросил я.

— Нет, не все. Фрау Фрисленде́р обожает американских знакомых. Вы же слышите, вся семья говорит только по-английски. С немецким акцентом, но по-английски.

— Разумно. А как им еще научиться английскому?

Кан рассмеялся. У него на тарелке лежал огромный кусок жареной свинины.

— Я вольнодумец,— сказал он, заметив мой взгляд,— а красная капуста одно из моих...

— Знаю,— перебил я его.— Одно из ваших многочисленных пристрастий.

— Чем больше таких пристрастий, тем лучше. Особенно если подвергаешься опасности. Это отвлекает от мыслей о самоубийстве.

— Вы когда-нибудь помышляли о самоубийстве?

— Да. Однажды. Меня спас запах жареной печенки с луком. Это была критическая ситуация. Вы знаете, жизнь протекает в разных пластах, и у каждого — свои цезуры, свои паузы. Обычно эти цезуры не совпадают. Один пласт подпирает другие, в которых жизнь на время угасла. Самая большая опасность, когда цезуры возникают одновременно во всех пластах. Тогда-то и наступает момент для самоубийства без видимой причины. Меня в такой момент спас запах жареной печенки с луком. Я решил перед смертью поесть. Пришлось немного обождать, за стаканом пива завязался разговор. Слово за слово, и я воскрес. Верите ли? Это не анекдот. Я расскажу вам историю, которая всегда приходит мне на память, когда я слышу жалкое английское кваканье наших эмигрантов. Оно меня очень умиляет, напоминая об одной старой эмигрантке, бедной, больной и беспомощной. Эта женщина решила покончить с собой и исполнила бы свое намерение, если бы, уже собравшись открыть газ, не вспомнила, с каким трудом ей давался английский язык и как с каждой неделей она все лучше и лучше его понимала. Ей стало жаль вот так разом все бросить. Крохотные познания в английском — это единственное, что у нее было, поэтому она уцепилась за них и выжила. Я частенько вспоминаю о ней, когда слышу английские слова, чудовищно исковерканные старательными новичками. Это трогательно. Даже у Фрисленде́ров. Комизм ведь не спасает от трагизма, и наоборот. Взгляните на ту девушку, что уплетает яблочный пирог со взбитыми сливками. Красива, не правда ли?

Я взглянул на девушку.

— Она не просто красива,— произнес я в изумлении.— Она трагически красива.— Я оглянулся еще раз.— Она божественна. Если бы она не ела яблочный пирог с таким аппетитом, то была бы одной из тех редких женщин, перед которыми падаешь ниц не задумываясь. Какое прекрасное лицо!.. У нее что, горб? Или слоновая болезнь? Если эта богиня забрела к Фрисленде́рам, что-то с ней наверняка не в порядке.

— Подождите, пока она встанет,— восторженно прошептал Кан.— Эта девушка — само совершенство. Лодыжки газели. Колени Дианы. Стройная фигура. Полная упругая грудь. Кожа восхитительная. Ножки — идеальные. И ни малейшего намека на мозоли.

Я взглянул на него.

— Не верите? — спросил он.— Я это точно знаю. Кроме того, зовут ее Кармен. Грета Гарбо и Долорос дэль Рио в одном лице!

— И...— с усилием произнес я.

Кан потянулся.

— Она глупа,— сказал он.— И не просто глупа, а неописуемо глупа. То, что она сейчас проделывает с яблочным пирогом, уже представляет для нее непосильное умственное напряжение.

— Жаль,— сказал я в нерешительности.

— Зато как хороша!

— Чем же может пленить такая фантастическая глупость?

— Своей неожиданностью.

— Статуя еще глупее.

— Статуя безмолвна, а Кармен умеет говорить.

— И что же она говорит?

— Самые несусветные глупости, какие только можно себе представить. Куда до нее какой-нибудь обывательнице! Она сверхъестественно глупа! Я иногда встречался с нею во Франции. Ее глупость была легендарной и хранила ее, как волшебный плащ. Но однажды она оказалась в опасности. Ей надо было уносить ноги. И я решил взять ее с собой. Она отказалась. Ей, видите ли, надо было еще принять ванну и одеться. Потом ей втемяшилось собрать свои туалеты — идти без них она не желала. А гестапо между тем было уже совсем близко. Я бы не удивился, если бы она вздумала еще побывать у парикмахера. К счастью, парикмахеров там не было. Вдобавок ко всему ей захотелось позавтракать. Я еле удержался, чтобы не запустить бутербродом в ее прелестное ушко. Она завтракала, а меня била дрожь. Недоеденные бутерброды и мармелад ей непременно нужно было прихватить с собой. Она так долго искала «чистую бумагу», что мы почти услышали скрип гестаповских сапог. Затем она села ко мне в машину. Не спеша. В то утро я в нее влюбился.

— Сразу же?

— Нет. Когда мы были уже в безопасности. Она так ничего и не заметила. Боюсь, что она слишком глупа даже для любви.

— Такое не часто встретишь!

— Иногда до меня долетали разные слухи о Кармен. Она проходила сквозь все опасности, словно величавый заколдованный парусник. Оказывалась в невероятных ситуациях. И хоть бы что. Ее бесподобная непосредственность обезоруживала убийц. Думаю, что ее даже ни разу не изнасиловали. Она, разумеется, прибыла сюда с одним из последних самолетов. Подойдя в Лиссабоне к кучке дрожавших от страха беженцев, она невозмутимо произнесла: «Было бы забавно, если бы самолет упал сейчас в море, правда?» И никто ее не линчевал. К тому же ее зовут Кармен. Не Рут, не Элизабет, не Берта, а — Кармен!

— Что она делает теперь?

— Счастливая судьба священной коровы сразу же ниспослала ей место манекенщицы у Сакса на Пятой авеню. Она сама не искала этого места, искать было бы для нее слишком утомительно. Ей преподнесли его на блюдечке.

— Почему бы ей не сниматься в кино?

— Даже для этого она чересчур глупа.

— Невероятно!

— Не только глупа, но и инертна. Никакого честолюбия. Никаких комплексов. Удивительная женщина!

Я взял кусочек торта «Фрислендер». Между тем торт «Варвик» унесли со стола в безопасное место. «Фрислендер» был великолепен — горький шоколад, посыпанный миндалем. Наверное, это тоже был символ. Мне стало ясно, чем Кармен так привлекала Кана. Невозмутимость, которую он воспитал в себе бесстрашием и презрением к смерти, ей была дана от природы. И это непреодолимо влекло его.

Его лицо приняло мечтательное выражение.

— На всю жизнь! Это величайшая авантюра из всех моих авантюр.

— Что?

— Величайшая,— повторил он.

— Неужели это вам не наскучит?

— Нет.— Кан тоже решил попробовать торт «Фрислендер». Он отрезал кусочек с начальными буквами «Фрис».— Почему бы ему не назвать себя просто Лендер? — заметил он.

— Решил начать все заново,— сказал я.— Хвостик старого имени его не удовлетворил бы. В общем, вполне понятно.

— Как вы себя назовете, когда примете американское гражданство?

— Позволю себе пошутить и в качестве псевдонима возьму свое прежнее имя. Свое настоящее имя. Этого, наверное, еще никто не делал.

— Во Франции я встретил одного зубного врача. За день до отъезда из Германии — он уже получил разрешение на выезд — его еще раз срочно вызвали в гестапо. В отчаянии он простился со своими близкими. Все думали, что его отправят в концлагерь. А ему учинили допрос относительно его имени. Заявили, что, будучи евреем, он не может выехать под этим именем. Его звали Адольф Дойчланд. Отпустили его лишь после того, как он согласился ехать под именем Ланд. Во французском лагере для интернированных он сообразил, что мог бы выехать и совсем под другим именем.

Наконец, подали кофе. Мы чувствовали себя как обжоры на картине Брейгеля-старшего.

— Как вы думаете, принципы Фрислендера и французский коньяк несовместимы?

— Здесь есть «Фундадор». Португальский или испанский. Пожалуй, сладковат немного, но ничего.

Вошла фрау Фрислендер.

— Уже начались танцы, господа. Сейчас, когда идет война, наверное, не следовало бы их устраивать, однако по такому случаю и потанцевать не грех. А вот и наши военные пришли.

Мы увидели несколько американских военных. Из числа новых знакомых Фрислендеров. Ковер в гостиной был скатан, и фрейлейн Фрислендер в ярко-красном платье избрала своей жертвой юного лейтенанта, довольно неохотно расставшегося с двумя приятелями, которые ели мороженое. Но и тех сразу же пригласили танцевать две удивительно похожие друг на друга девушки, обе очень красивые и веселые.

— Это двойняшки Коллер,— пояснил Кан,— из Венгрии. Одна из них прибыла сюда два года назад и прямо с парохода отправилась на такси к врачу, который славится своими пластическими операциями. Полтора месяца спустя она появилась вновь, перекрашенная, с прямым, наполовину укороченным носом и роскошным бюстом. Адрес этого врача она узнала в дороге и действовала, не теряя ни минуты. Когда позже приехала вторая сестра, ее прямо с парохода увезли к тому же врачу. Злые языки утверждали, что под вуалью. Так или иначе через два месяца она объявилась преображенной, и тут началась ее карьера. Говорят, что приехала еще третья сестра, но она отказывается от операции. Те же злые языки разнесли слух, что двойняшки держат ее взаперти, пока она не станет более сговорчивой.

— Эти предприимчивые двойняшки произвели операцию и со своими именами? — спросил я.

— Нет. Они утверждают, что в Будапеште были чуть ли не кинозвездами. Впрочем, и здесь они стали малыми звездами на малых ролях. Они далеко пойдут. Остроумны и интеллигентны. К тому же они венгерки. В общем, красный перец в крови, как говорится.

— Замечательно. Каждый здесь может начать сызнова, изменив все, что ему дано природой: лицо, бюст и даже имя. Словно это маскарад или источник вечной молодости. Дурнушка погружается в воду и выхо-

дит из нее преображенной. Я — за сестер Коллер, за Варвиков, за чудо перевоплощения.

Подошел Фрисленде́р.

— Будет еще гуляш. Рози уже готовит его. Подадут примерно в одиннадцать часов. Вы не танцуете?

— И танго, и императорскому вальсу мы предпочли отличную еду.

— Вам правда она понравилась?

— Выше всяких похвал.

— Очень рад.— Фрисленде́р наклонил к нам свое вспотевшее красное лицо.— Теперь редко чему-нибудь радуешься, не правда ли?

— Ну что вы, господин Фрисленде́р!

— Конечно. Я вот никак не могу избавиться от смутного чувства тревоги. Никак. Думаете, мне легко было решиться взять себе чужое имя, господин Кан? Иногда меня и на этот счет гложет тревога.

— Но вы же сами хотели поменять имя, господин Фрисленде́р,— мягко заметил Кан.

Он ненавидел фальшь, и если обнаруживал хотя бы слабый намек на нее, в его голосе начинали звучать иронические нотки. Но чужой страх и неуверенность тут же пробуждали в нем сострадание.

— Если имя вам не подходит, поменяйте еще раз.

— Думаете, можно?

— В такой благословенной стране это легче, чем где бы то ни было. Здесь относятся к этому с таким же пониманием, как на Яве. Если там кому-нибудь наскучит или опротивит собственное имя, можно выбрать новое. Это считается естественным, и многие прибегают к такому способу по нескольку раз в жизни. К чему вечно таскать за собой прошлое, когда уже давно его перерос? Врачи считают, что организм человека обновляется каждые семь лет.

На лице Фрисленде́ра появилась благодушная улыбка.

— Вы сокровище, господин Кан! — сказал он и отошел к другим гостям.

— Вон Кармен танцует,— сказал Кан.

Я повернул голову. Кармен медленно двигалась.

Живое воплощение несбыточных мечтаний с трагическим выражением лица, она безвольно покоилась в объятиях долговязого рыжеволосого сержанта. Все с восторгом смотрели на нее, она же, если верить Кану, размышляла о рецепте яблочного пирога.

— Я молюсь на эту корову,— сдавленным голосом произнес Кан.

Я молчал, разглядывая Кармен и фрау Фрисленде́р, двойняшек Коллер с их новыми бюстами и господина Фрисленде́ра-Варвика в коротковатых брюках, и мне было так легко, как давно уже не было. Может, это и впрямь Земля Обетованная, думал я, и Кан прав, говоря, что здесь в самом деле можно переродиться, а не только изменить имя и черты лица. Наверное, это действительно возможно, хотя и кажется нереальным: ничего не забыть и вместе с тем начать все сначала, сублимировать страдание, пока не утихнет боль, пустить все в переплавку, ничего при этом не утратив, никого не предав и не став дезертиром.

XI

На следующий день вечером я получил письмо от адвоката: мой вид на жительство продлен на шесть месяцев. Меня словно раскачивало на качелях — вверх-вниз, вверх-вниз. Но и к такому ощущению в конце концов можно привыкнуть. Адвокат просил позвонить ему завтра в первой половине дня. Я догадывался зачем.

Придя в свою убогую гостиницу, я застал там Наташу Петрову.

— Вы ждете Меликова? — спросил я в некотором смущении.

— Нет, я жду вас.— Она рассмеялась.— Мы так мало знакомы и уже так много должны друг другу простить, просто удивительно. Какие, собственно, у нас теперь отношения?

— Великолепные,— ответил я.— По крайней мере, нам как будто не скучно вместе.

— Вы ужинали?

Я мысленно подсчитал свои деньги.

— Нет еще. Может, пойдем в ресторан «Лоншан»?

Она оглядела меня. На мне был новый костюм.

— Новый! — сказала она, и я, проследив за ее взглядом, вытянул ногу.

— Ботинки тоже новые. Как, по-вашему, я уже созрел для ресторана «Лоншан»?

— Я была там вчера вечером. Довольно скучно. Летом приятнее сидеть на открытом воздухе. Но в Америке до этого еще не додумались. Здесь ведь и кафе нет.

— Только кондитерские.

Она бросила на меня быстрый взгляд.

— Да! Для старух, от которых уже слегка попахивает прелью.

— У меня в номере есть кастрюля с гуляшом по-сегедски,— сказал я.— Хватит на шесть здоровых едоков, венгерская кухарка приготовила. Вчера вечером он был вкусный, а сегодня еще вкусней. Гуляш по-сегедски с тмином и зеленью даже вкуснее на следующий день.

— Откуда у вас гуляш по-сегедски?

— Я был вчера в гостях.

— Впервые слышу, чтобы домой из гостей приносили гуляш на шесть человек. Где это было?.. В...?

Я возмущенно посмотрел на нее.

— Нет, не в немецкой пивной. Гуляш — блюдо венгерское, а не немецкое. Я получил приглашение в один дом. На ужин с танцами! — добавил я, чтобы отомстить за ее подозрения.

— Даже с танцами! У вас отличные знакомства!

Подвергаться дальнейшему допросу мне не хотелось.

— Одинокие холостяки, ютящиеся в унылых, убогих гостиницах, получают там от человеколюбивой хозяйки кастрюлю гуляша. В этом доме так принято,— пояснил я.— Еды там хватило бы на целую роту солдат. Кроме того, мне и моему приятелю дали малосольных огурцов и пирог с вишнями. Пища богов. Но, к сожалению, все остыло.

— А нельзя подогреть?

— Где? — удивился я.— У меня есть только маленький электрический кофейник, больше ничего.

Наташа рассмеялась.

— Надеюсь, у вас в номере найдется и несколько офортов, которые вы показываете вашим посетительницам!

— Об этом я еще не успел позаботиться. Так вы не хотите пойти в «Лоншан»?

— Нет. Вы так соблазнительно описали ваш гуляш... Скоро придет Меликов,— сказала Наташа.— Он наверняка нам поможет. А мы пока побродим полчаса по городу. Я еще не была сегодня на воздухе. А для гуляша надо нагулять аппетит.

— Ну что ж, пойдемте.

Мы брели по улицам. Дома плыли в красноватом свете. В магазинах зажглись огни. Наташа призналась мне, что страдает «обувным» комплексом. Не может равнодушно пройти мимо обувного магазина. Даже если она уже побывала там час назад, она на обратном пути непремен-

но постоит у витрины, чтобы проверить, не появилось ли чего-нибудь нового.

— Сумасшедшая? Правда?

— Почему?

— Ведь за это время ничего не могло измениться. Я же все успела рассмотреть.

— Но могли что-нибудь и упустить. Кроме того, вдруг хозяину пришла в голову мысль оформить витрину по-иному.

— После закрытия магазина?

— А когда же еще? Пока магазин открыт, хозяин должен торговать.

Она бросила на меня быстрый взгляд.

— Вы... вы немножко того...— И постучала себе пальцем по виску.— Я действительно несколько раз видела, как меняли оформление витрины. Вы ведь знаете, как это делается: все беззвучно шныряют за стеклом в одних чулках и делают вид, что не замечают глазеющих прохожих.

Она представила это в лицах.

— А как насчет домов мод? — спросил я.

— Это же моя профессия. К вечеру я уже сыта ею по горло.

Мы были недалеко от магазина Кана. Я подумал: а почему бы мне не одолжить у него электрическую плитку? К моему удивлению, Кан еще был в магазине.

— Одну минуту,— сказал я Наташе,— вот где мы решим проблему ужина.

Я открыл дверь.

— Я будто предчувствовал, что вы придете! — сказал Кан, разглядывая через мое плечо Наташу Петрову.— А вы не хотите пригласить вашу даму сюда?

— Ни в коей мере,— ответил я.— Я только хотел просить вас одолжить мне плитку.

— Сейчас?

— Да.

— Ничего не выйдет. Она мне самому нужна. Сегодня по радио последний отборочный матч чемпионата по боксу. Кармен придет ко мне ужинать. Должна вот-вот появиться. Она уже опаздывает на сорок пять минут.

— Кармен? — спросил я и посмотрел на Наташу, которая вдруг показалась мне такой желанной и такой далекой по ту сторону витрины, словно нас разделяли сотни километров.— Кармен,— повторил я.

— Да, а почему бы вам не остаться здесь? Мы бы вместе поужинали, а потом послушали бы репортаж о матче.

— Превосходно,— согласился я.— Еды здесь хватит.

— И все уже готово.

— А где мы будем ужинать? Для четверых ваша комната слишком мала.

— В магазине.

— В магазине?

Я вышел к Наташе, казавшейся мне по-прежнему такой далекой в отблеске витрины, мерцавшей серебристо-серым светом. Но когда я подошел к ней, мною овладело странное чувство, будто она стала мне гораздо ближе, чем раньше. «Иллюзия света, тени и отражения»,— подумал я, совсем сбитый с толку.

— Мы приглашены на ужин,— сказал я.— И на репортаж о соревнованиях по боксу!

— А как же гуляш?

— На гуляш тоже,— добавил я.

— Как?

— Сами увидите.

— У вас по всему городу спрятаны миски с гуляшом? — спросила она удивленно.

— Только в стратегических точках.

Я увидел, как подошла Кармен. Она была в светлом плаще, без шляпы. Наташа смерила Кармен взглядом. Кармен же оставалась невозмутимой и не обнаруживала ни малейших признаков любопытства. В красноватом вечернем свете ее черные волосы казались выкрашенными хной.

— Я немного опоздала,— проговорила она томным голосом.— Но это ничего, правда? Ага, гуляш на столе. Вы, надеюсь, прихватили с собой кусочек пирога с вишнями?

— С вишнями, с творогом и с яблоками,— уточнил Кан.— Сегодня перед обедом получен пакет из неистощимой кухни Фрислендера.

— Тут даже водка есть,— заметила Наташа.

— Настоящий день сюрпризов.

Гуляш был действительно вкуснее, чем накануне. Еще и потому, что мы ели его под звуки органа. Кан включил приемник, чтобы не дай бог не пропустить соревнований по боксу. Пришлось прослушать и предшествующую репортажу программу. Как ни странно, но Иоганн-Себастьян Бах неплохо сочетался с гуляшом по-сегедски, хотя мне казалось, что здесь более уместен был бы Франц Лист. Впрочем, обычный гуляш в сочетании с Бахом был бы невозможен. Снаружи, у витрины, собралось несколько прохожих: им хотелось послушать репортаж о соревнованиях по боксу, а пока они рассматривали нас. Нам они казались рыбками в аквариуме, так же, наверное, как и мы им.

Неожиданно раздался энергичный стук в дверь. Мы с Каном подумали, что это полиция, но это был официант из ресторана напротив, который принес четыре двойных порции спиртного.

— Кто это прислал? — спросил Кан.

— Господин с лысиной. Он, наверное, увидел через стекло, что вы пьете водку и что бутылка почти пуста.

— Где он?

Официант пожал плечами.

— Тут четыре порции водки. Они оплачены. Стаканы я заберу после.

— Тогда принесите еще четыре.

— Хорошо.

Мы подняли стаканы за незнакомых людей на улице. В рассеянном свете реклам я насчитал по крайней мере пять лысин. Нашего благодетеля узнать было невозможно. Поэтому мы поступили так, как редко доводится поступать: мы подняли стаканы за безымянное Человечество. В ответ Человечество начало барабанить пальцами по стеклу. Орган стих. Кан прибавил громкости и стал раздавать куски пирога. Он извинился, что не сварил кофе: для этого надо было сбегать наверх и найти там банку с кофе. А первый раунд уже начался.

Когда соревнования закончились, Наташа Петрова потянулась за стаканом с водкой. Кан казался утомленным — он был слишком страстным болельщиком. Кармен мирно и безмятежно спала.

— Что я вам говорил,— заметил Кан.

— Пусть спит,— прошептала Наташа.— Нам уже пора идти. Большое спасибо за все. Доброй ночи.

Мы вышли на улицу.

— Ему наверняка хочется остаться с ней наедине.

— Не совсем в этом уверен.

— Почему? Она очень красива,— Наташа рассмеялась.— Красива до неприличия. Так красива, что у других может возникнуть комплекс неполноценности.

— Вы поэтому ушли?

— Нет. Я поэтому осталась. Мне симпатичны красивые люди. Впрочем, иногда они настраивают меня на грустный лад.

— Почему?

— Потому что красота проходит. Старость не многим к лицу. Для этого, очевидно, нужно нечто большее, чем просто красота.

Мы шли по улице. Уснувшие витрины были полны дешевых украшений. Несколько гастрономических магазинов еще были открыты.

— Странно,— заговорил я.— Я никогда не задумывался над тем, что будет, когда мы состаримся. Возможно, меня так захватила проблема «лишь бы выжить», что я ни о чем другом и не думал.

Наташа рассмеялась.

— А я ни о чем другом не думаю.

— Наверное, и меня это ждет. Меликов утверждает, что этого не минуешь.

— Меликов всегда был старым.

— Всегда?

— Всегда слишком старым для женщин. Только старость ли это?

— Да. Если смотреть на вещи просто.

— Наверное, вы правы. А все прочее лишь отказ от радостей жизни под разными красивыми именами. Согласны?

— Возможно. Не знаю. Я не могу еще в этом разобраться.

Наташа окинула меня быстрым взглядом.

— Браво,— сказала она с улыбкой и взяла меня за руку.

Я показал налево.

— Вон обувной магазин. Еще освещенный. Посмотрим?

— Обязательно.

Мы подошли ближе.

— Какой большой город! — воскликнула она.— Без конца и края. Вам нравится Нью-Йорк?

— Очень.

— Почему?

— Потому что меня отсюда не гонят. Просто, не так ли?

Она глядела на меня, о чем-то размышляя.

— И вам этого довольно?

— Довольно для маленького счастья. Счастья примитивного человека, у которого есть жилье и еда.

— И этого достаточно? — повторила она.

— Для начала — да. Приключения уж очень надоедают, если входят в привычку.

Наташа рассмеялась.

— Счастье в укромном уголке, да? Все это вы придумали. Не верю ни единому вашему слову.

— Я тоже. Но иногда я успокаиваю себя такими сентенциями.

Она опять рассмеялась.

— Чтобы не впасть в отчаяние, не так ли? Ох, как мне все это знакомо!

— Куда теперь пойдем? — спросил я.

— Большая проблема большого города. Все заведения скоро надоедают.

— Как насчет ресторана «Эль Марокко»?

Она нежно пожала мне руку.

— Сегодня у вас в голове одни рестораны для миллионеров, будто вы богатый владелец обувной фабрики.

— Надо же мне продемонстрировать новый костюм.

— А не меня?

— Я предпочел бы не отвечать на этот вопрос.

Мы прошли в малый зал «Эль Марокко», а не в просторный с по-

толком в звездах и с полосатыми, как зебры, диванами. В малом зале Карл Инвальд исполнял венские песни.

— Что вы будете пить? — спросил я.

— «Русскую тройку».

— Что это такое?

— «Русская тройка»? Водка, имбирное пиво и лимонный сок. Очень освежает.

— Я тоже попробую.

Наташа забралась с ногами на диван, оставив туфли на полу.

— В отличие от американцев я не так уж обожаю спорт,— сказала она.— Не умею ездить верхом, плавать или играть в теннис. Я из тех, кто любит валяться на диване и болтать.

— Что вы еще можете о себе рассказать?

— Я сентиментальна, романтична и невыносима. Обожаю дешевую романтику. И чем дешевле, тем лучше. Ну, как «Русская тройка»?

— Великолепно.

— А венские песни?

— Тоже чудесны.

— Хорошо.— Она уютно устроилась в углу дивана.— Иногда просто необходимо, чтоб тебя захлестнула волна сентиментальности и ты забыл о всякой осмотрительности и хорошем вкусе. Потом можно отряхнуться и вдоволь посмеяться над собой. Так и поступим.

— Я уже начал.

В Наташе было что-то кошачье-веселое и вместе с тем печальное. И личико у нее было маленькое, с серыми глазами под густой копной волос.

— Давайте сразу и начнем,— сказала она.— У меня несчастная любовь, я во всем разочарована, одинока, нуждаюсь в утешении, ни о чем не хочу больше слышать и не знаю, для чего живу. Хватит для начала.— Она сделала большой глоток и выжидающе посмотрела на меня.

— Нет,— возразил я.— Все это лишь детали.

— И то, что я не знаю, для чего живу?

— А кто это знает? Если же кто-то и знает, то это лишь усложняет жизнь.

Она внимательно посмотрела на меня.

— Вы серьезно?

— Разумеется, нет. Мы несем чепуху. Вы же этого хотели?

— Не совсем. Только отчасти.

К столу подошел пианист и поздоровался с Наташей.

— Карл,— сказала она,— сыграйте, пожалуйста, арию из «Графа Люксембурга».

— С превеликим удовольствием.

Карл начал играть. Он очень хорошо пел и был великолепным пианистом.

Кто б мог счастью назвать точный срок
И вновь скрыться из глаз земных дорог.

Наташа слушала его, погруженная в свои мысли. При всей своей банальности, мелодия была прекрасная, но слова, как всегда, дурацкие.

— Как вы это находите? — спросила Наташа.

— Мещанская песенка.

Она раздумывала всего лишь мгновение.

— Тогда вам это не может не нравиться. Как счастье в укромном уголке, которое вы так высоко цените.

Умная каналья, подумал я.

— Вы не можете обойтись без критики? — вдруг спокойно проговорила она.— Не можете от этого отказаться? Боитесь оскоромиться?

Самый уместный вопрос в ночном нью-йоркском ресторане! Я злился на себя, потому что она была права. Как это ни отвратительно, все свои мысли я излагал с чисто немецкой обстоятельностью. Мне только не хватало еще заняться с пространным описанием увеселительных заведений — от седой старины до наших дней, подробно остановившись на танцевальных салонах и ночных барах в период после первой мировой войны.

— Эта ария напоминает мне давно прошедшие, довоенные времена,— сказал я.— Это очень старая ария — ее знал еще мой отец. Помнится, он даже иногда пел ее. Это был хрупкий мужчина, любивший старые вещи и старые сады. Я часто слышал эту арию. Обычная сентиментальная ария из оперетты, но в сумеречных садах венских пригородов и деревень, где при свете свечей под высокими орешниками и каштанами пьют молодое вино, она утрачивала свою сентиментальность. Она щемит душу, если слушать ее при свечах, в неназойливом сопровождении скрипки, гитары и губной гармоники, под мягким покровом ночи. Я уже давно ее не слышал. Тогда пели еще одну песню: «И музыке конец, вина всего лишь капля».

— Карл наверняка ее знает.

— Но мне не хотелось бы, чтобы ее сейчас исполняли. Это было последнее, что я слышал перед тем, как нацисты заняли Австрию. Потом пошли только марши.

Наташа на минуту задумалась.

— Арию из «Графа Люксембурга» Карл непременно будет повторять. Если хотите, я попрошу, чтобы он этого не делал.

— Он ведь ее только что спел.

— Когда я здесь, он исполняет ее по нескольку раз.

— Но мы ведь уже были здесь. А этой арии я не слышал.

— Тогда у него был свободный вечер и играл кто-то другой.

— Я слушаю это с таким же удовольствием, как и вы.

— Правда? Это не вызывает у вас печальных воспоминаний?

— Видите ли, многое зависит от индивидуального восприятия. В конце концов, все воспоминания печальны, ибо они связаны с прошлым.

Она принялась рассматривать меня.

— Не пора ли снова выпить «Русской тройки»?

— Непременно.— Теперь я стал рассматривать Наташу. Она не обладала трагической красотой Кармен, но лицо ее отличалось удивительной живостью — глаза ее то искрились озорным, мгновенно рождающимся, агрессивным юмором, то вдруг становились мечтательно-нежными.

— Что это вы так уставились? — Она испытующе посмотрела на меня.— У меня что, нос блестит?

— Нет. Я только подумал: почему вы так дружелюбно относитесь к официантам и пианистам и так агрессивны к своим друзьям.

— Потому что официанты беззащитны.— Она снова посмотрела на меня.— Я действительно очень агрессивна? Или это вы излишне впечатлительны?

— Да. Вероятно, я чрезмерно впечатлителен.

Она рассмеялась.

— Вы сами не верите тому, что говорите. Никто не считает себя излишне впечатлительным. Признайтесь, не верите?

— Отчасти все же верю.

Карл вторично запел арию из «Графа Люксембурга».

— Я вас предупреждала,— шепнула Наташа.

Вошли несколько человек и кивнули ей. И раньше уже кое-кто с ней здоровался. Она знала здесь многих — это я уже заметил. Затем двое мужчин подошли к столику и заговорили с ней. Я стоял рядом, и

у меня вдруг возникло ощущение, какое бывает, когда самолет попадает в воздушную яму. Почва уходила из-под ног, все рушилось и плыло у меня перед глазами — зелено-голубые полосатые стены, бесчисленные лица и проклятая музыка,— все раскачивалось, будто я внезапно потерял равновесие. Тут дело было не в водке и не в гуляше — гуляш был отличный, а водки я выпил слишком мало. Вероятно, со злостью думал я, виной тому воспоминание о Вене и моем покойном отце, не успевшем вовремя бежать.

Мой взгляд упал на рояль и на Карла Инвальда, я видел его пальцы, бегавшие по клавишам, но ничего не слышал. Потом все стало на свое место. Я сделал глубокий вдох — у меня было такое чувство, будто я вернулся из далекого путешествия.

— Здесь стало слишком людно,— сказала Наташа.— В это время как раз кончаются спектакли. Пойдем?

Театры закрываются, думал я, и ночные рестораны заполняют в полночь миллионеры и сутеперы, идет война, а я где-то посредине. Это была вздорная и несправедливая мысль, ибо многие посетители были в военной форме, и наверняка не все они — тыловые крысы; безусловно здесь находились и отпускники с фронта. Но сейчас мне было не до справедливости. Меня душила бессильная ярость.

Здороваясь и обмениваясь улыбками со знакомыми, мы прошли по узкому проходу, где находились туалет и гардероб, и выбрались наружу. Улица дышала теплом и влагой. У входа выстроились в ряд такси. Швейцар распахнул дверцу одной из машин.

— Не нужно такси,— сказала Наташа.— Я живу рядом.

Улица стала темнее. Мы подошли к ее дому. Она потянулась, как кошка.

— Люблю такие ночные разговоры обо всем и ни о чем,— сказала она.— Все, что я вам наговорила, разумеется, неправда.

Яркий свет уличного фонаря упал на ее лицо.

— Конечно,— подтвердил я, все еще кипя от бессильной злобы, вызванной жалостью к себе.

Я обнял ее и поцеловал, ожидая, что она с гневом оттолкнет меня. Но этого не произошло. Она только посмотрела на меня странным, спокойным взглядом, постояла немного и молча вошла в дом.

XII

Я вернулся от адвоката. Бетти Штейн дала мне сто долларов для уплаты первого взноса. Глядя на часы с кукушкой, я пытался торговаться, но адвокат, чуждый каких бы то ни было сантиментов, был тверд, как алмаз. Я дошел до того, что даже рассказал ему кое-что из своей жизни в последние годы. Я знал, что многое ему уже известно — во всяком случае все необходимое для продления моего вида на жительство. И тем не менее мне казалось, что некоторые детали могут настроить его более благожелательно. Пятьсот долларов для меня — огромная сумма.

— Поплачьтесь ему в жилетку,— посоветовала мне Бетти.— А вдруг поможет. К тому же все, что вы рассказываете,— чистая правда.

Но ничего у меня не вышло. Адвокат сказал, что он уже и так пошел мне навстречу, ибо его обычный гонорар намного выше. Не помогли и ссылки на судьбу эмигранта, лишенного всяких средств к существованию. Адвокат просто рассмеялся мне в лицо.

— Таких эмигрантов, как вы, в Америку ежегодно приезжает более ста пятидесяти тысяч. Здесь вы отнюдь не являетесь трогательным исключением. Что вы хотите? Вы здоровы, сильны, молоды. Так начинали все наши миллионеры. И, насколько я могу судить, вы уже про-

шли стадию мойщика посуды. Ваше положение не так уж плохо. Знаете, что действительно плохо? Плохо быть бедным, старым, больным и плохо быть евреем в Германии! Вот это плохо. А теперь прощайте! У меня есть дела поважнее. Не забудьте точно в срок уплатить следующий взнос!

Хорошо еще, что он не потребовал дополнительного гонорара за то, что выслушал меня.

Я плелся по городу, окутанному утренней дымкой. Сквозь блестящие, прозрачные облака просвечивало солнце. Свежим блеском отливали автомобили, а Сентрал-парк был полон детского гомона. У Силверса я видел примерно такие пейзажи на фотографиях картин Пикассо, присланных из Парижа. Злость на адвоката мало-помалу улеглась,— пожалуй, теперь это была скорее досада на себя за ту жалкую роль, которую мне приходилось играть. Он видел меня насквозь и был по-своему прав. Не было у меня основания обижаться и на Бетти, посоветовавшую мне сделать этот шаг. В конце концов, я сам должен был решать, воспользоваться ее советом или нет.

Я шел мимо бассейна с морскими львами — они блестели в лучах теплого солнца, как полированные живые бронзовые скульптуры. Тигры, львы и гориллы находились в клетках под открытым небом. Они беспокойно метались взад и вперед, глядя на мир своими прозрачными берилловыми глазами, которые видели все и не видели ничего. Гориллы, играя, бросались банановой кожурой. Я не испытывал к ним ни малейшего сочувствия. Звери выглядели не голодными искателями добычи, которых мучают комары и болезни, а спокойными, сытыми рантье во время утреннего променада. Они были избавлены от страха и голода — главных движущих сил природы — и платили за это лишь монотонностью существования. Однако, кто знает, кому что больше нравится. У зверей, как и у людей, есть свои привычки, с которыми они не желают расставаться, а от привычки до монотонности всего один шаг. Бунты бывают редко. Я невольно вспомнил о Наташе Петровой и о своей теории счастья в укромном уголке. Она отнюдь не была бунтаркой, а я подумал о счастье в укромном уголке лишь по контрасту: у нас обоих не было почвы под ногами; судьба бросала нас повсюду, лишь иногда мы делали остановку, чтобы перевести дух. Но разве не то же самое делают звери — только без лишнего шума?

Я уселся на террасе и заказал себе кофе. У меня было пятьсот долларов долгу, а капитала — сорок долларов. Но я был свободен, здоров и, как сказал адвокат, сделал первый шаг к тому, чтобы стать миллионером. Я выпил еще чашечку кофе и представил себе летнее утро в Люксембургском саду в Париже. Тогда я притворялся гуляющим, чтобы не привлекать к себе внимания полиции. Сегодня же я обратился к полицейскому с просьбой прикурить, и он дал мне огня. Думая о Люксембургском саде, я вспомнил арию из «Графа Люксембурга» в ресторане «Эль Марокко». Но тогда была ночь, а сейчас — ясный и очень ветреный день. А днем все выглядит иначе.

— Где вас только носит? Вы пропадали целую вечность! — сказал Силверс.— Чтобы заплатить адвокату, вряд ли требуется столько времени.

Я был поражен. Куда девались его светские манеры? Впрочем, его внешнему лоску я никогда особенно не доверял.

Сейчас в нем чувствовалась напряженность и нервозность, сгорбившись, он быстро шагал по комнатам. Даже в лице его что-то изменилось — мягкая, округлая плавность линий исчезла. Я вдруг увидел перед собой существо, готовящееся к нападению, что-то вроде ручного леопарда, узревшего дичь.

— Когда нечем платить, визиты могут быть и более продолжительными.

Силверс, казалось, не слышал.

— Идемте, у нас мало времени. Нам надо еще перевесить картины.

Мы направились в приемную с мольбертами. Силверс прошел в соседнюю комнату, вынес оттуда два полотна и поставил передо мной.

— Скажите, не раздумывая, какое бы вы купили?

Это опять были две картины Дега. Обе без рам. На обеих были изображены танцовщицы.

— Ну, живей! — потребовал Силверс.

Я показал на левую.

— Вот эту.

— Почему? Она ведь менее выписана.

Я пожал плечами.

— Она мне больше нравится. А почему, сказать вам с ходу затрудняюсь. Вы это лучше понимаете, чем я.

— Разумеется, лучше,— нетерпеливо буркнул Силверс.— Пошли. Надо вставить обе картины в рамы до прихода клиента.

Я принес несколько рам из запасника.

— Надо подобрать по размеру,— пробормотал он.— Вот эти будут, пожалуй, в самый раз. У нас не остается времени подгонять их.

В рамах картины поразительно менялись. Полотно, раньше как бы растекавшееся в пространстве, вдруг удивительным образом концентрировалось. Картины производили более законченное впечатление.

— Показывать их следует только в рамах,— сказал Силверс.— Лишь антиквары могут судить о них без рам. Даже директора музеев не всегда способны разобраться. Какая рама, по-вашему, лучше?

— Вот эта.

Силверс с одобрением посмотрел на меня.

— У вас неплохой вкус. Но мы возьмем другую. Вот эту.— Он втиснул танцовщиц в широкую, богато отделанную раму.

— Не слишком ли она шикарна для не совсем законченного полотна? — спросил я.

— Как раз такой она и должна быть, потому что картина сырая. Именно потому.

— Понимаю. Рама скрадывает несовершенство.

— У рамы вполне законченный вид, это придает законченность и обрамляемому полотну. Рама вообще играет очень большую роль,— поучал меня Силверс, усаживаясь поудобнее. Я уже не раз замечал, что он любит говорить менторским тоном.— Некоторые торговцы произведениями искусства экономят на рамах — они полагают, что клиент этого не заметит. Рамы теперь дороги, а позолоченные гипсовые рамы, черт возьми, на первый взгляд и впрямь напоминают настоящие дорогие рамы, и, заметьте, не только на первый взгляд.

Я осторожно вставлял в раму одно из полотен Дега. Тем временем Силверс подбирал раму для второй картины.

— Вы все-таки хотите показать обе? — спросил я.

Он хитро усмехнулся:

— Нет. Вторую картину я попридержу. Никогда не знаешь, что может случиться. Обе картины — «девственны». Я их еще никому не показывал. Клиент, который придет сегодня, хотел прийти лишь послезавтра. Кстати, оборотную сторону заделывать не будем, времени нет. Загните только гвозди, чтобы покрепче держалось.

Я принес вторую раму.

— Хорошо. Правда? — сказал Силверс.— Людовик Пятнадцатый — богатство, пышность. В результате картина поднимается в цене на пять тысяч долларов. Как минимум! Даже Ван Гог хотел, чтобы его картины

помещали в первоклассные рамы. А вот Дега обычно заказывал для своих полотен простые деревянные рейки, выкрашенные белилами. Я думаю, впрочем, что он, скорей всего, был отъявленным скупердяем.

Может быть, у него просто не было денег, подумал я. И Ван Гог тоже страшно нуждался: при жизни он не сумел продать ни одной картины и существовал только благодаря скудной поддержке брата. Картины, наконец, были готовы. Силверс велел мне отнести одну из них в соседнюю комнату.

— Другую повесьте в спальне моей жены.

Я посмотрел на него с удивлением.

— Вы правильно поняли,— сказал он.— Пойдемте со мной.

У миссис Силверс была прелестная спальня. На стенах и в простенках висело несколько рисунков и пастелей. Силверс оглядел их, точно полководец, производящий смотр.

— Вон тот рисунок Ренуара снимите, вместо него давайте повесим Дега, Ренуара перенесем вон туда, к туалетному столику, а рисунок Берты Моризо уберем совсем. Штору справа слегка задернем. Чуть больше... Так, вот теперь хорошее освещение.

Он был прав. Золотистый свет из-под приспущенной шторы придал картине очарование и теплоту.

— Правильная стратегия,— заметил Силверс,— половина успеха в нашем деле. Теперь пойдемте.

И он стал посвящать меня в тайны своей стратегии. Картины, которые он сегодня собирался показать клиентам, я должен был вносить в комнату, где стояли мольберты. После четвертой или пятой картины он попросит вынести из кабинета полотно Дега. Я же должен буду напомнить ему, что эта картина висит в спальне миссис Силверс.

— Можете говорить по-французски,— наставлял он меня.— Когда же я спрошу вас о картине, отвечайте по-английски, чтобы это было понятно и клиенту.

Я услышал звонок.

— А вот и он,— воскликнул Силверс.— Ждите здесь, наверху, пока я не позову вас.

Я отправился в запасник, где одна возле другой на деревянных стеллажах стояли картины, и присел на стул; Силверс же спустился вниз, чтобы встретить клиента. В запаснике было оконце с матовым стеклом, забранное частой решеткой, и мне стало казаться, будто я сижу в тюремной камере, где по чьему-то капризу хранятся картины ценою в несколько сотен тысяч долларов. Молочный свет напомнил мне камеру в Швейцарии, где я просидел две недели за незаконное пребывание без документов — обычное «преступление» эмигранта. Камера там была такой чистой и прибранной, что я охотно просидел бы в ней и дольше: еда была превосходной, к тому же камера отапливалась. Но через две недели в бурную ночь меня переправили в Аннемас, на границе с Францией. На прощание мне сунули сигарету и дали пинка: «Марш во Францию. И чтоб духа твоего в Швейцарии больше не было».

Я, наверное, немного вздремнул. Вдруг зазвенел звонок. Было слышно, что Силверс с кем-то разговаривает. Я вошел в комнату. Там сидел грузный мужчина с большими красными ушами и маленькими поросячьими глазками.

— Господин Росс,— притворно сладко проговорил Силверс,— принесите, пожалуйста, светлый пейзаж Сислея.

Я принес и поставил картину перед ними. Силверс долго не произносил ни слова: он смотрел в окно на облака.

— Нравится? — спросил он, наконец, скучливым голосом.— Одна из лучших картин Сислея. «Наводнение» — мечта каждого коллекционера.

— Ерунда,— процедил клиент еще скучливее, чем Силверс.

Силверс улыбнулся.

— Если картина ерунда, то и критика не лучше,— заметил он с явной иронией.— Господин Росс,— обратился он ко мне по-французски,— унесите это замечательное полотно.

Я немного постоял, ожидая, чтобы Силверс сказал мне, какую картину теперь принести. Но поскольку указаний не последовало, я удалился, унося с собой Сислея. Однако краем уха я успел услышать слова Силверса: «Сегодня вы не в духе, господин Купер. Отложим до следующего раза».

«Ну и хитер,— размышлял я в молочном свете запасника.— Теперь придется Куперу попотеть». Когда спустя некоторое время меня позвали снова и я одну за другой стал вносить картины, оба уже курили сигары из ящичка, который Силверс держал для клиентуры. Затем пришел мой черед подавать реплику.

— Картина Дега не здесь, господин Силверс,— сказал я.

— А где же? Она должна быть здесь.

Я подошел, нагнулся к нему поближе и прошептал так, чтоб услышал клиент:

— Картина наверху, у миссис Силверс...

— Где?

Я повторил по-французски, что картина висит в спальне у миссис Силверс.

Силверс хлопнул себя по лбу.

— А-а, правильно, я об этом совсем забыл. Ну, тогда ничего не выйдет...

Мое восхищение им было безгранично. Теперь он снова уступил инициативу Куперу. Он не приказывал мне нести картину и вместе с тем ни словом не обмолвился о том, что картина предназначена в подарок жене или даже уже принадлежит ей. Он просто прекратил разговор об этом и выжидал.

Я удалился в свою конуру и тоже стал ждать. Мне казалось, что Силверс держит на крючке акулу, но чем кончится поединок — акула ли проглотит Силверса или он выловит ее,— решить было трудно. Впрочем, положение Силверса было более выгодным: ведь акула, собственно говоря, могла только перегрызть леску и уплыть. Одно мне было ясно: Силверс ничего задешево не отдает, это исключено. Акула то и дело предпринимала новые забавные броски. Поскольку дверь была чуть приоткрыта, я слышал, что разговор зашел об экономическом положении и войне. Акула предрекала самое худшее: крах биржи, долги, новые расходы, новые битвы, кризисы и даже угрозу коммунизма. Все, мол, погибнет. Только наличный капитал сохранит ценность. Она не забыла упомянуть и о тяжелом кризисе тридцатых годов, когда обладатель наличных денег был королем и мог купить все за полцены, за треть, даже за четверть.

— А предметы роскоши, такие как мебель, ковры и картины, даже за десятую часть их стоимости,— задумчиво добавила акула.

Невозмутимый Силверс предложил покупателю коньяк.

— Потом вещи снова поднялись в цене,— сказал он.— А деньги упали. Вы же сами знаете, нынешние деньги стоят вдвое меньше тогдашних. С тех пор они так и не поднялись в цене, зато картины стали дороже в пять раз и более.— Он притворно и слащаво засмеялся.— Ох уж эта инфляция! Как началась две тысячи лет назад, так с тех пор и не кончалась. Ничего не поделаешь — ценности дорожают, деньги дешевеют.

— Поэтому ничего не следует продавать,— с радостным рычанием произнесла акула.

— О, если бы это было возможно,— вздохнул Силверс,— я и так стараюсь продавать как можно меньше. Но ведь необходим оборотный капитал. Спросите моих клиентов. Для них я настоящий благодетель: совсем недавно я за двойную цену выкупил танцовщицу Дега, которую продал пять лет назад.

— У кого? — спросила акула.

— Этого я вам, конечно, не скажу. Разве вам было бы приятно, если бы я раструбил по всему свету, за сколько и что вы у меня покупаете?

— А почему бы и нет?

Акула определенно была непростой штучкой.

— Другим, представьте себе, это не по нутру. А я вынужден на них ориентироваться.— Силверс сделал вид, что хочет встать.— Жаль, что вы ничего у меня не нашли, господин Купер. Ну, может быть, в следующий раз. Поддерживать цены на прежнем уровне я, разумеется, долго не смогу, вы это, конечно, понимаете?

Акула тоже встала.

— У вас же была еще одна картина Дега, которую вы мне хотели показать,— заметил он как бы между прочим.

— Это та, что висит в спальне у моей жены? — протянул Силверс.

И у меня в запаснике раздался звонок.

— Моя жена у себя?

— Нет, миссис Силверс ушла полчаса тому назад.

— Тогда принесите, пожалуйста, полотно Дега, которое висит у зеркала.

— Для этого потребуется некоторое время, господин Силверс,— сказал я.— Вчера мне пришлось ввернуть деревянную пробку, чтобы картина лучше держалась. Сейчас она привинчена к стене. Чтобы ее снять, мне нужно несколько минут.

— Не надо,— бросил Силверс.— Мы лучше поднимемся наверх. Вас не затруднит, господин Купер?

— Нисколько.

Я снова уселся у себя, как дракон, охраняющий золото Рейна. Через некоторое время оба вернулись, а мне было велено подняться за картиной, снять ее и принести вниз. Поскольку никакой пробки не было, я просто подождал там несколько минут. Из окна, выходившего во двор, я увидел миссис Силверс, которая стояла у кухонного окна. Она сделала вопросительный жест. Я резко замотал головой: опасность еще не миновала, и миссис Силверс следовало еще некоторое время побыть в укрытии.

Я внес картину в комнату с мольбертами и вышел. Что они говорили, я не мог разобрать, так как Силверс плотно закрыл за мной дверь. Вот сейчас он, наверное, деликатно намекает, что его жена охотно оставила бы эту картину для своей частной коллекции; впрочем, нет, я был уверен, что он преподнесет все таким образом, чтобы не вызвать недоверия акулы. Беседа в комнате с мольбертами продолжалась еще около получаса, после чего Силверс вызволил меня из заточения на этом складе ценностей.

— Картину Дега вешать назад не будем,— сказал он.— Утром вы доставите ее господину Куперу.

— Поздравляю.

Он состроил гримасу.

— Чего только не приходится выдумывать. А ведь через два года, когда произведения искусства поднимутся в цене, этот человек станет потихоньку злорадствовать.

Я повторил вопрос Купера:

— Зачем же тогда вы действительно продаете?

— Потому что не могу отказаться от этого. Я по натуре игрок. Кроме того, мне надо зарабатывать. Впрочем, сегодняшняя выдумка с привинченной пробкой была неплоха. Вы делаете успехи.

— Не значит ли это, что я заслуживаю прибавки?

Силверс прищурил глаза.

— Успехи вы делаете слишком быстро. Не забывайте, что у меня вы бесплатно проходите обучение, которому мог бы позавидовать любой директор музея.

Вечером я отправился к Бетти Штейн, чтобы поблагодарить за одолженные деньги. Я застал Бетти с заплаканными глазами, в очень подавленном состоянии. У нее собралось несколько знакомых, которые, по-видимому, ее утешали.

— Если я не вовремя, то могу зайти и завтра,— сказал я.— Я хотел поблагодарить вас.

— За что? — Бетти растерянно посмотрела на меня.

— За деньги, которые я вручил адвокату,— сказал я.— Мне продлили вид на жительство. Так что я еще какое-то время могу оставаться здесь.

Она расплакалась.

— Что случилось? — спросил я актера Рабиновича, который держал Бетти за руку, нашептывая ей какие-то утешительные слова.

— Вы не слышали? Моллер умер. Позавчера.

Рабинович сделал знак, чтобы я прекратил расспросы. Он усадил Бетти на софу и вернулся ко мне. В кино он играл отпетых нацистов, а в обыденной жизни отличался кротким нравом.

— Повесился,— сказал он.— У себя в комнате. Его нашел Липшюц. Смерть наступила, вероятно, день или два назад. Висел на люстре. Все лампочки в комнате горели и люстра тоже. Возможно, он не хотел умирать в темноте. Наверное, повесился ночью.

Я собрался уходить.

— Побудьте с нами,— сказал Рабинович.— Чем больше народу сейчас около Бетти, тем ей легче. Она не может быть одна.

Воздух в комнате был спертый и душный.

Бетти не желала открывать окна. Из-за какого-то загадочного атавистического суеверия она считала, что покойнику будет нанесена обида, если скорбь растворится в свежем воздухе. Много лет назад я слышал, что если в доме покойник, окна открывают, чтобы освободить витающую в комнате душу, но никогда не слышал, чтобы их закрывали, дабы удержать скорбь.

— Я глупая корова! — воскликнула Бетти и громко высморкалась.— Надо же взять себя в руки.— Она поднялась.— Сейчас я сварю вам кофе. Или вы хотите чего-нибудь еще?

— Нет, Бетти, ничего не надо, право.

— Нет. Я сварю вам кофе.

Шурша помятым платьем, она вышла на кухню.

— Причина известна? — спросил я Рабиновича.

— Разве нужна причина?

Я вспомнил теорию Кана о цезурах в жизни и о том, что людей, оторванных от родины, везде подкарауливает опасность.

— Нет,— ответил я.

— Нельзя сказать, чтобы он был нищим. И больным он тоже не был. Липшюц видел его недели две назад.

— Он работал?

— Писал. Но не сумел ничего опубликовать. За несколько лет ему не удалось напечатать ни строчки,— сказал Липшюц.

— Такова участь многих. Но дело, наверное, не только в этом? После него что-нибудь осталось?

— Ничего. Он висел на люстре, посиневший, с распухшим, высунутым языком, и по его открытым глазам ползали мухи. На него было страшно смотреть. В такую жару все происходит очень быстро. Глаза...— Липшюц содрогнулся.— Самое ужасное, что Бетти хочет взглянуть на него еще раз.

— Где он сейчас?

— В заведении, которое называется похоронным бюро. Вам уже приходилось бывать в подобных местах? Лучше избегайте их. Американцы — юная нация, они не признают смерти. Покойников гримируют под спящих. Многих бальзамируют.

— Если его загримировать...— сказал я.

— Мы тоже об этом думали, но тут ничто не поможет. Едва ли найдется столько грима, да к тому же это будет слишком дорого. Смерть в Америке — очень дорогая штука.

— Не только в Америке,— бросил Рабинович.

— Но не в Германии,— заметил я.

— В Америке это очень дорого. Мы подыскали похоронную контору подешевле. И все же это обойдется самое меньшее в несколько сот долларов.

— Если бы они у Моллера были, он, возможно, еще бы жил,— сказал Липшюц.

— Возможно.

Я заметил, что в фотографиях, висевших у Бетти в комнате, появился пробел: снимка Моллера уже не было среди живых. Его портрет висел на другой стене, еще не в черной рамке, как другие портреты, но Бетти уже прикрепила к старой золотой рамке кусок черного тюля. Моллер, улыбаясь, смотрел с фотографии пятнадцатилетней давности. Его смерть никак не укладывалась у меня в голове и этот черный тюль... Бетти вошла с подносом, на котором стояли чашки, и стала разливать кофе из расписанного цветами кофейника.

— Вот сахар и сливки,— сказала она.

Все принялись за кофе, и я тоже.

— Похороны завтра,— сказала она.— Вы придете?

— Если смогу. Мне уже сегодня пришлось отпроситься на несколько часов.

— Все его знакомые должны прийти! — воскликнула Бетти взволнованно.— Завтра в половине первого. Время специально выбрано, чтобы все могли быть.

— Хорошо. Я приду. Где это?

Липшюц сказал:

— Похоронное бюро Эшера на Четырнадцатой улице.

— А где его похоронят? — спросил Рабинович.

— Хоронить не будут. Его кремируют. Кремация дешевле.

— Что?

— Кремируют.

— Кремируют,— машинально повторил я.

— Да. Об этом позаботится похоронное бюро.

Бетти подошла к нам поближе.

— Он лежит там один, среди совершенно чужих людей,— пожаловалась она.— Если бы гроб стоял у нас здесь, среди друзей, ну хотя бы до похорон...— Она повернулась ко мне: — Вы о чем-то хотели спросить? Кто вам ссудил деньги? Фрисленде р.

— Фрисленде р?

— Ну конечно, а кто же еще? Но завтра вы обязательно придете?

— Непременно,— ответил я.

Что можно было еще сказать?..

Рабинович проводил меня до двери.

— Мы должны удержать Бетти,— прошептал он.— Ей нельзя видеть Моллера. Я хотел сказать — то, что от него осталось: ведь из-за самоубийства труп был подвергнут вскрытию. Бетти не имеет об этом понятия. Вы же знаете, она привыкла любыми средствами добиваться своего. К счастью, Липшюц бросил ей в кофе таблетку снотворного. Она ничего не заметила. Ей ведь уже пытались дать успокоительные пилюли, но она отказывается от лекарства, считая, что это предательство по отношению к Моллеру. Точно так же, как открыть окно. И все же мы постараемся положить ей еще одну таблетку в еду. Самое трудное будет завтра утром, но необходимо удержать ее дома. Так вы придете?

— Да. В похоронное бюро. А оттуда тело доставят в крематорий?

Рабинович кивнул.

— Крематорий там же? — спросил я.— При похоронном бюро?

— Не думаю.

— Что вы там так долго обсуждаете? — крикнула Бетти из комнаты.

— Она что-то заподозрила,— шепнул Рабинович.— Доброй ночи.

— Доброй ночи.

По полутемному коридору, на стенах которого висели фотографии «Романского кафе» в Берлине, он вернулся в душную комнату.

XIII

В эту ночь я плохо спал и рано вышел из гостиницы — слишком рано, чтобы идти к Силверсу. До музея Метрополитен я добирался на автобусе — проехал по Пятой авеню до угла Восемьдесят третьей улицы. Музей еще был закрыт. Я прошел по Сентрал-парку позади музея до памятника Шекспиру, затем вдоль озера — до памятника Шиллеру, которого сперва я даже не узнал. Вероятно, его воздвиг какой-нибудь американский немец много десятилетий тому назад.

Между тем открыли музей. Я был в нем не первый раз. Здесь все напоминало о времени, проведенном мною в Брюссельском музее, и, как ни странно, больше всего тишиною в залах. Безграничная мучительная скука первых месяцев, монотонная напряженность и непреходящий страх первых дней, страх быть обнаруженным, лишь постепенно переходивший в своего рода фаталистическую привычку,— все это под конец ушло куда-то, скрылось за горизонтом. Осталась лишь эта зловещая тишина, полная оторванность, жизнь как бы в штилевом ядре, окруженном бурными вихрями торнадо,— там же, где я был, царило безветрие, там не полоскался, не шевелился ни один парус.

В первый раз придя в музей, я боялся, что во мне всколыхнется что-то более сильное, однако теперь я знал, что Метрополитен лишь снова погружает меня в ту же защитную тишину. Ничто во мне не дрогнуло, пока я медленно бродил по залам. Мир и тишина исходили даже от самых бурных батальных композиций на стенах — в них было что-то странно метафизическое, трансцендентное, потустороннее, какая-то поразительная умиротворенность от того, что прошлое безвозвратно кануло в небытие, умиротворенность и тишина, какую имел в виду пророк, говоря, что бог являет себя не в буре, а в тишине; эта всеобъемлющая тишина оставляла все на своих местах, не давая войне взорвать этот мир,— мне казалось даже, что она защищает и меня самого. Здесь, в этих залах, у меня родилось безгранично чистое ощущение жизни, которое индийцы называют «самадхи», когда возникает иллюзия, будто жизнь вечна и мы вечно пребудем в ней, если только нам удастся сбро-

сить змеиную кожу собственного «я» и постигнуть, что смерть — всего лишь «аватара», превращение. Подобная иллюзия возникла у меня перед картиной Эль Греко, изображающей Толедо — мрачный и возвышенный пейзаж; она висела рядом с большим полотном — портретом Великого Инквизитора, этого благообразного прообраза гестаповца и всех палачей мира. Я не знал, существует ли между ними взаимосвязь, и вдруг в мгновенном озарении понял: ничто не связано друг с другом и все взаимосвязанно, и эта всеобщая взаимосвязь — своего рода извечный человеческий посох в земном странствии, один конец которого — ложь, другой — непостижимая истина. Но чем является непостижимая истина? Непостижимой ложью?

В музее я оказался не случайно. Смерть Моллера задела меня сильнее, чем можно было ожидать. Вначале она как будто не слишком взволновала меня, ибо мне нередко доводилось переживать такое во Франции во время моих скитаний. Ведь и Хаштенеер, который по небрежности французской бюрократии беспомощно и бессмысленно прозябал в лагере для интернированных, узнав о приближении немцев, предпочел умереть, лишь бы не попасть в их кровавые руки. Но то была вполне объяснимая слабость в минуту опасности. С Моллером дело обстояло иначе. Человеку удалось спастись, а он не захотел жить, и он был не кем-то посторонним, незнакомцем, нет,— его смерть касалась всех нас. Я хотел и не мог не думать о судьбе Моллера. Мысли о нем преследовали меня, не давая ни минуты покоя. Именно поэтому я и отправился в музей и ходил по залам, переходя от одного полотна к другому, пока не дошел до картины Эль Греко.

Пейзаж Толедо произвел на меня сегодня особенно мрачное и безрадостное впечатление. Вероятно, это объяснялось игрою света, а может, моим собственным мрачным настроением. Прежде я ничего не искал в этом пейзаже, сегодня же надеялся найти в нем утешение, но это был самообман: произведения искусства — не сестры милосердия. Кто ищет утешения, должен молиться. Но и это тоже всего лишь самообман. Пейзаж безмолвствовал. Он не говорил ни о вечной, ни о преходящей жизни — он был просто прекрасен и полон внутреннего спокойствия, однако сейчас, когда я искал в нем жизнь, чтобы отогнать мысли о смерти, мне вдруг почудилось в нем нечто загробное, будто я находился по ту сторону Ахерона. Зато огромный портрет Великого Инквизитора светился, как никогда, холодным красным светом, и глаза его следили за тобой, куда бы ты ни шел, словно он вдруг, спустя столько веков, пробудился ото сна. Полотно было огромное, оно господствовало надо всем в этом зале. И оно не было мертвым. Оно никогда не умрет. Пытки не прекращаются, страх не проходит. Спастись никому не дано. Мне стало вдруг ясно, что убило Моллера. Впечатление от происшедшего не прошло, оно осталось. Тем не менее во мне таилась надежда, и она обретала все большую силу, заставляя верить в возможность спасения.

Я дошел до зала, где экспонировалась китайская бронза. Мне нравилась голубая бронза. Моя любимая яйцевидная чаша стояла в стеклянном шкафу, и я сразу направился к ней. Она была неполированной, в отличие от зеленой безукоризненной бронзы великолепного алтаря эпохи Чжоу, стоявшего посреди зала; его бронзовые фигурки сияли, как нефрит, древность сообщала им шелковистый блеск. Я охотно подержал бы чашу несколько минут в руках, но она была недосягаема в своем стеклянном шкафу, что было вполне разумно, потому что даже невидимые капельки пота с рук могли повредить драгоценный экспонат. Я задержался, пытаясь представить себе, какова она на ощупь. Удивительно, как это меня успокаивало. В высоком, светлом помещении было что-то магическое — именно это так и притягивало меня к антикварным магазинам на Второй и Третьей авеню. Время здесь останавливалось,— вре-

мя, которое я так бесполезно тратил только на то, чтобы остаться в живых.

Хотя похороны стоили сравнительно недорого, но были обставлены с таким ложным пафосом, что лучше было бы положить тело в ящик из простых досок и на дрогах отвезти на кладбище. Самым отвратительным для меня было ханжество: кругом все и вся в черном, торжественные мины, скорбные лица, горшки с самшитом при входе и орган, который — как все отлично знали— был просто-напросто записью на граммофонной пластинке. Когда Бетти, красная, вспотевшая, вся в черных оборках, отчаянно и громко зарыдала, это прозвучало почти как избавление.

Я понимал, что я несправедлив. На похоронах трудно избежать пафоса и тайного, глубоко запрятанного удовлетворения от того, что не ты лежишь в этом ужасном полированном ящике. Это чувство, которое ты ненавидишь, но от которого тем не менее трудно избавиться, все чуть-чуть смещает, преувеличивает и искажает. К тому же мне было не по себе.

Мысль о крематории вызывала у меня все большее раздражение. Мне было известно, что у похоронных бюро, естественно, нет собственных крематориев — они есть только в концентрационных лагерях в Германии,— но эта мысль засела у меня в голове и гудела, как неотвязный слепень. Мне тяжело было погружаться в подобные воспоминания, поэтому я решил про себя, что, если после панихиды придется ехать еще и на кремацию, как это раньше было принято в Европе, я откажусь. Нет, не откажусь, просто исчезну без всяких объяснений.

Говорил Липшюц. Я не слушал его. Меня мутило от духоты и резкого запаха цветов. Я увидел Фрисленде́ра и Рабиновича. Всего пришло человек двадцать или тридцать. Половины из них я не знал, но, судя по внешности, это были в основном писатели и артисты. Двойняшки Коллер тоже присутствовали здесь. Они сидели рядом с Фрисленде́ром и его женой. Кан был один. Кармен сидела на две скамейки впереди него, причем у меня сложилось впечатление, что, пока Липшюц говорил, она попросту спала. Остальное было как обычно на панихидах. Когда на людей обрушивается нечто непостижимое, они пытаются постичь это с помощью молитв, звуков органа и надгробных речей, сдобренных сердобольной обывательской фальшью.

Вдруг возле гроба появились четверо мужчин в черных перчатках; они быстро и легко подняли гроб — их сноровка напоминала сноровку палача — и, бесшумно шагая на резиновых подошвах, вынесли его из помещения. Все закончилось неожиданно и быстро. Когда они проходили мимо меня, мне показалось, будто что-то потянуло вверх мой желудок, и, к своему изумлению, я почувствовал, как слезы навернулись мне на глаза.

Мы вышли на улицу. Я осмотрелся, но гроба уже не было. Рядом со мной оказался Фрисленде́р. Я подумал: можно ли в такой момент поблагодарить его за одолженные деньги?

— Идемте,— сказал он,— у меня машина.

— Куда? — спросил я в панике.

— К Бетти. Она приготовила кое-что выпить и поесть.

— Мне пора на работу.

— Сейчас ведь обеденное время. И вы можете побыть совсем недолго. Только чтоб Бетти видела, что вы пришли. Она принимает это очень близко к сердцу. И так — всякий раз. Вы же знаете, какая она. Пойдемте.

Вместе с нами поехали Рабинович, двойняшки Коллер, Кан и Кармен.

— Это была единственная возможность убедить ее не прощаться с Моллером,— заметил Рабинович.— Мы сказали, что после панихиды все придут к ней. Это была идея Мейера. Подействовало. Она гордится своей славой хорошей хозяйки, и это победило в ней все прочие соображения. Она встала в шесть утра, чтобы все сделать. Мы ей посоветовали приготовить салаты и холодные закуски: в жару это лучше всего. К тому же приготовление их займет у нее больше времени. Она хлопотала до часу. Слава богу! О господи, как там сейчас выглядит Моллер в такую жару!

Бетти вышла нам навстречу. Двойняшки Коллер сразу же отправились с ней на кухню. Стол уже был накрыт. Все эти хлопоты трогали и бередили душу.

— В старину это называлось тризной,— заметил Рабинович.— Впрочем, сей древний обычай...

Увлекшись, он разразился длинной тирадой о возникновении этого обычая на заре человечества.

«Вот ведь дотошный!»—подумал я, не слишком внимательно прислушиваясь к его словам и выискивая способ незаметно уйти. Появились двойняшки Коллер с блюдами — сардины в масле, куриная печенка и тунец под майонезом. Всем раздали тарелки. Я заметил, как Мейер-второй, иногда бывавший у Бетти, ущипнул одну из сестер за весьма соблазнительный зад. Итак, жизнь продолжается. Она может быть страшной или прекрасной в зависимости от того, как на нее смотреть! Проще было считать ее прекрасной.

Всю вторую половину дня я выслушивал наставления Силверса. Он разучивал со мной очередной трюк: я должен был говорить покупателю, что картины нет, хотя на самом деле она находилась у Силверса в кабинете. Мне надлежало говорить, что картина сейчас у одного из Рокфеллеров, Фордов или Меллонов.

— Вы представить себе не можете, как это действует на клиента,— наставлял меня Силверс.— Снобизм и зависть — неоценимые союзники антиквара. Если картина хоть раз выставлялась в Лувре или в музее Метрополитен, ценность ее значительно возрастает. Обывателям, покупающим произведения искусства, достаточно знать, что картиной интересуется какой-нибудь миллионер, чтобы она поднялась в цене.

— Даже тем, которые действительно любят картины?

— Вы хотите сказать — настоящим коллекционерам? Они мало-помалу вымирают. Теперь произведения искусства собирают, чтобы вкладывать деньги или хвастаться ими.

— А раньше было не так?

Силверс посмотрел на меня с иронией.

— В спокойные времена дело обстоит иначе: тогда истинное понимание искусства может формироваться постепенно, в течение жизни одного-двух поколений. После каждой войны происходит перераспределение собственности: одни разоряются, другие обогащаются. Старые коллекции идут с молотка. Нувориши становятся коллекционерами. Отнюдь не из неутолимой любви к искусству. Почему у спекулянта землей или фабриканта оружия вдруг появляется такая любовь? Она обнаруживается лишь после первых миллионов. Главным образом потому, что жена теряет покой, если у них нет ни одной картины Моне, тогда как у Джонсонов целых две. Это так же, как с «кадиллаками» и «линкольнами».— Силверс рассмеялся своим добродушным гортанным смехом, отчего у него забулькало в груди. Бедные картины! Ими торгуют, как рабами.

— Продали бы вы картину какому-нибудь бедняку за часть стоимо-

сти только потому, что картина для него — милее жизни, но у него нет денег, чтобы заплатить за нее? — спросил я.

Силверс погладил подбородок.

— Тут легко солгать и ответить: да. И все же я этого не сделал бы. Бедняк может каждый день бесплатно ходить в музей Метрополитен и сколько душе угодно любоваться полотнами Рембрандта, Сезанна, Дега, Энгра и другими произведениями искусства за пять столетий.

— Ну, а если ему этого мало? — не унимался я.— Может, ему хочется иметь у себя какую-нибудь картину, чтобы всегда, в любое время, даже ночью, молиться на нее?

— Тогда пусть покупает себе репродукции пастелей и рисунков,— без тени смущения ответил Силверс.— Они теперь настолько хороши, что даже коллекционеры попадаются на удочку, принимая их за оригиналы.

Его не так-то просто было сбить с толку. Да я к этому и не стремился. Я невольно все время мысленно возвращался к похоронам. Когда я уходил от Бетти, Кармен вдруг воскликнула: «Бедный господин Моллер! Теперь его сжигают в крематории!» Какое идиотство — до сих пор называть его «господином»! Меня это разозлило и вместе с тем рассмешило. От всего этого утра, как зубная боль, осталась только мысль о крематории. И это был не просто образ. Я это видел в действительности. Я знаю, что происходит, когда мертвец вздымается в огне, будто от невыносимой боли, когда лицо его, озаренное пламенем горящих волос, искажается душераздирающей гримасой. Я знал и как выглядят в пламени глаза.

— У старого Оппенгеймера,— спокойно продолжая Силверс,— была прекрасная коллекция, но он с ней порядком намучился. Дважды у него что-то похищали. Один раз ему, правда, вернули картину, после чего он был вынужден застраховать коллекцию на большую сумму, чтобы чувствовать себя спокойно. Тогда она стала для него слишком дорогой. Но он действительно настолько любил картины, что, если бы потерял их, никакая страховка не была бы для него достаточной компенсацией. Поэтому, опасаясь новых ограблений, он перестал выходить из дому. И наконец пришел к решению продать всю коллекцию одному музею в Нью-Йорке. После этого он сразу обрел свободу, получил возможность ездить куда и когда хотел — у него появилось достаточно денег для всех его прихотей. А если он желал видеть свои картины, то шел в музей, где уже другим людям приходилось беспокоиться о страховке и ограблениях. Теперь он с презрением взирает на коллекционеров: в самом деле, ведь трудно сказать, картины ли являются их узниками или они сами являются узниками своих картин.— И Силверс опять залился своим булькающим смехом.— Кстати, совсем неплохая острота!

Я смотрел на него и сгорал от зависти. Какая налаженная, устроенная жизнь! Он, правда, был немного циник, ироничный и холодный бизнесмен, и пламя, в котором агонизировало искусство, было для него лишь пламенем в уютном камине. Люди такого склада могли готовить себе пищу и жарить филе миньон на раскаленной лаве чужих страстей. Если бы можно было всему этому научиться! Хотел ли я этого на самом деле? Трудно сказать, но сегодня хотел. Мне было жутко опять возвращаться в свой темный гостиничный номер.

Заворачивая за угол, я увидел стоявший перед гостиницей «роллс-ройс». Я прибавил шагу, чтобы застать Наташу Петрову. Когда чего-нибудь очень хочется, оно ускользает от тебя в последний момент — мне не раз, и даже довольно часто, приходилось это испытывать.

— Вот он,— воскликнула Наташа, когда я вошел в плюшевый холл.— Сразу же дадим ему водки. Или сейчас слишком жарко?

— Надо научиться делать «Русскую тройку»,— сказал я.— Летом в Нью-Йорке — как в огромной пекарне. В Париже совсем другое дело.

— Сегодня я опять выступаю в роли авантюристки,— сказала Наташа.— «Роллс-ройс» с шофером в моем распоряжении до одиннадцати часов. Хотите рискнуть и еще раз поехать со мною?

Она бросила на меня вызывающий взгляд. А я подумал о том, что растратил уже все деньги.

— Куда? — спросил я.

Она засмеялась.

— Не в «Лоншан», конечно. Поехали в Сентрал-парк, съедим по котлетке.

— С кока-колой?

— С пивом, чтобы пощадить ваши европейские чувства.

— Хорошо.

— Она и меня хотела утащить с собой,— добавил Меликов,— но я приглашен к Раулю.

— На панихиду или на торжество? — спросила Наташа.

— На деловое свидание! Рауль собирается съезжать отсюда — хочет снять квартиру. И устроиться с Джоном по-семейному. Я должен отговорить его от этого шага. Таков приказ шефа.

— Какого шефа? — спросил я.

— Человека, который владеет гостиницей.

— Кто же этот таинственный шеф? Я уже видел его?

— Нет,— коротко ответил Меликов.

— Гангстер,— ввернула Наташа.

Меликов оглянулся.

— Вы не должны так говорить, Наташа, не надо. Это нехорошо.

— Я его знаю, я ведь жила здесь. Он толстый, обрюзгший, носит узкие костюмы и хотел спать со мной.

— Наташа! — резко сказал Меликов.

— Хорошо, Владимир, будь по-вашему. Поговорим о чем-нибудь другом. Но он хотел со мной спать.

— Кто же этого не хочет, Наташа? — Меликов снова улыбнулся.

— Всегда не тот, кто надо, Владимир. Горькая участь! Налейте-ка мне еще немного водки.

Она повернулась ко мне.

— Водка здесь такая вкусная потому, что босс, кроме всего прочего, является совладельцем водочного завода. Поэтому она обходится здесь дешевле, чем всюду. А мне она обходится дешевле еще и потому, что шеф не совсем оставил надежду лечь со мной в постель. У него исключительное терпение. В этом его сила.

— Наташа! — воскликнул Меликов.

— Хорошо, мы уходим. Или вам хочется еще немного гангстерской водки? — спросила она меня.

Я покачал головой.

— Он предпочитает водку в «роллс-ройсе»,— съязвил Меликов.

— Выпейте лучше здесь,— сказала Наташа.— В машине по какому-то трагическому стечению обстоятельств есть только бутылка датского шерри-бренди. Должно быть, хозяин автомобиля ездил вчера на прогулку с дамой.

Мы вышли на улицу. У машины стоял шофер и курил.

— Не хотите сесть за руль, сэр? — спросил он меня.

— В «роллс-ройсе»? Нет, не рискну. Я плохо вожу. Кроме того, у меня нет прав.

— Как чудесно! Нет ничего скучнее шофера-любителя,— сказала Наташа.

Я посмотрел на нее. Казалось, она больше всего на свете боялась

скуки. Я любил Наташу. Она была воплощенная уверенность в себе. Поэтому она, вероятно, и любила приключения, тогда как я ненавидел их — слишком долго они были моим хлебом насущным. Черствым хлебом. Черствым и беспощадным, как кандалы.

— Вы действительно хотите поехать в Сентрал-парк?

— Почему бы и нет? Закусочная там еще открыта. Можно посидеть под открытым небом и посмотреть, как играют морские львы. Тигры в это время уже спят. Зато голуби подлетают к столу. Даже белки подбегают к самой террасе. Где еще можно быть ближе к раю?

— Вы думаете, элегантный шофер «роллс-ройса» будет доволен, если на обед мы предложим ему котлету с минеральной водой? Спиртного ему, наверное, нельзя?

— Много вы понимаете! Он хлещет, как лошадь. Впрочем, не сегодня, потому что ему еще надо будет заехать за своим повелителем в театр. А котлеты — это его страсть. И моя тоже.

Было очень тихо. Кроме нас на террасе сидело несколько человек. На деревьях повисли сумерки. Бурые медведи готовились ко сну. Только белые медведи беспрестанно плавали в своих маленьких бассейнах. Шофер Джон в стороне уничтожал три большие котлеты с томатным соусом и солеными огурцами, запивая все это кофе.

— Жаль, что нельзя гулять ночью в Сентрал-парке,— сказала Наташа.— Через час это уже станет опасно. Четвероногие хищники засыпают, а двуногие просыпаются. Где вы были сегодня? У своего хищника антиквара?

— Да. Он объяснял мне на примере картины Дега смысл жизни. Своей. Не Дега, конечно.

— Странно, как много мы получаем отовсюду советов, не правда ли?

— И вы тоже получаете?

— То и дело. Каждый хочет меня воспитывать. И каждый знает все лучше меня. Слушая эти советы, можно подумать, что счастья полно в каждом доме. Но это не так. Человек — мастер давать советы другим.

Я посмотрел на нее:

— Думаю, вы не очень нуждаетесь в советах.

— Мне их нужно бесконечно много. Но они для меня бесполезны. Я делаю все наоборот. Я не хочу быть несчастной и тем не менее я несчастна. Я не хочу быть одинокой и тем не менее я одинока. Теперь вы смеетесь. Думаете, что у меня много знакомых. Это правда. Но и другое тоже правда.

Она выглядела прелестно в сгущавшихся сумерках, оглашаемых последними криками хищных зверей. Я слушал этот ее детский вздор с тем же чувством, с каким слушал сегодня Силверса: жизнь Наташи казалась мне непонятной и такой далекой от моей собственной. Она тоже была во власти простых эмоций и бесхитростных горестей; тоже никак не могла понять, что счастье — не стабильное состояние, а лишь зыбь на воде; но ни ее, ни таких, как она, не мучил по ночам орестов долг мести, сомнения в своей невиновности, увязание в грехе, хор эриний, осаждающих нашу память. Можно было позавидовать счастью и успехам окружавших меня людей, их усталому цинизму, красноречию и безобидным неудачам, пределом которых была утрата денег или любви. Они напоминали мне щебечущих райских птичек из другого столетия. Как бы я хотел стать такой птичкой, все забыть и щебетать вместе с ними!

— Иногда человек теряет мужество,— сказала Наташа.— А иной раз кажется, что к разочарованиям можно привыкнуть. Но это не так. С каждым разом они причиняют все большую боль. Такую боль, что

становится жутко. Кажется, будто с каждым разом ожоги все сильнее. И с каждым разом боль проходит все медленнее.— Она подперла голову рукой.— Не хочу больше обжигаться.

— А как вы думаете избежать этого? — спросил я.— Уйти в монастырь?

Она сделала нетерпеливый жест.

— От самой себя не убежишь.

— Нет, это можно. Но только раз в жизни. И пути назад уже нет,— сказал я и подумал о Моллере, о том, как в душную ночь в Нью-Йорке он одиноко висел на люстре — в лучшем своем костюме и чистой сорочке, но без галстука, по словам Липшюца. Он считал, что в галстуке смерть была бы более мучительной. Я этому не поверил. Какая разница? Ведь это все равно, как если бы пассажир в поезде решил, что скорее доберется до места, бегая взад и вперед по коридору. Это заинтересовало Рабиновича, и он принялся было распространяться по этому поводу, исследуя проблему с холодным любопытством ученого. Тогда-то я и ушел.— Несколько дней назад вы сказали мне, что несчастны,— заговорил я.— Потом сами же опровергли свои слова. У вас все так быстро меняется! Значит, вы очень счастливый человек!

— Ни то ни другое. Вы действительно так наивны? Или просто смеетесь надо мной?

— Ни то ни другое? — повторил я.— Я уже научился ни над кем не смеяться. И верить во все, что мне говорят. Это многое упрощает.

Наташа с сомнением взглянула на меня.

— Какой вы странный,— сказала она.— Рассуждаете, как старик. Скажите, вам никогда не хотелось стать пастором?

Я рассмеялся.

— Никогда!

— А иногда вы производите именно такое впечатление. Почему бы вам не посмеяться над другими? Вы так серьезны. Вам явно не хватает юмора! Ох уж эти немцы...

Я покачал головой.

— Вы правы. Немцы не понимают юмора. Это, пожалуй, верно.

— Что же вам заменяет юмор?

— Злорадство. Почти то же самое, что вы именуете юмором: желание потешаться над другими.

На какой-то миг она смутилась.

— Прямо в цель, профессор! Как же вы глубокомысленны!

— Как истинный немец,— рассмеялся я.

— А я несчастна. И в душе у меня пусто! И я сентиментальна. И все время обжигаюсь. Вам это непонятно?

— Понятно.

— Это случается и с немцами?

— Случалось. Раньше.

— И с вами тоже?

К столу подошел официант.

— Шофер спрашивает, может ли он заказать порцию мороженого, ванильного и шоколадного.

— Две порции,— сказал я.

— Все из вас надо вытягивать,— нетерпеливо произнесла Наташа.— Можем мы, наконец, поговорить разумно? Вы тоже несчастны?

— Не знаю. Счастье — это такое расплывчатое понятие.

Она озадаченно посмотрела на меня. С наступлением темноты ее глаза заметно посветлели.

— Тогда, значит, с нами ничего не может произойти,— как-то робко сказала она.— Мы оба на мели.

— Ничего с нами не произойдет,— подтвердил я.— Мы оба обожглись, и оба стали чертовски осторожны.

Официант принес счет.

— Кажется, уже закрывают,— сказала Наташа.

На какой-то момент я ощутил знакомое мне паническое чувство. Мне не хотелось быть одному, и я боялся, что Наташа сейчас уйдет.

— Машина в вашем распоряжении до закрытия театров? — спросил я.

— Да. Хотите куда-нибудь прокатиться?

— С большим удовольствием.

Мы поднялись с мест. Терраса и парк совсем опустели. Темнота черным полотном затянула кроны деревьев. Такое было впечатление, точно стоишь на деревенской площади: где-то в бассейне, тихонько плескаясь, как негритята, купались морские львы, а чуть поодаль размещались стойла буйволов и зебу.

— В это время в Сентрал-парке уже становится опасно?

— Пока это час патрулей и извращенцев. Они околачиваются возле скамеек, на которых целуются влюбленные. Час воров-карманников, насильников и убийц наступает позже, когда совсем стемнеет. Тогда же появляются и бандиты.

— И полиция ничего не может с этим поделать?

— Она прочесывает аллеи и рассылает патрули, но парк велик и в нем есть где спрятаться. А жаль. Хорошо, если бы летом все было по-другому. Но сейчас бояться нечего, мы ведь не одни.

Она взяла меня под руку. «Сейчас бояться нечего, мы ведь не одни»,— думал я, ощущая ее близость. Темнота не таила в себе опасности; она защищала нас, сохраняя сокрытые в ней тайны. Я чувствовал обволакивающую нежность, у которой еще не было имени,— она ни к кому конкретно не относилась и свободно парила, как ветерок поздним летним вечером, и тем не менее уже была сладостным обманом. Она не была безоблачной, а слагалась из страха и опасения, что прошлое нагрянет вновь, из трусости и желания выстоять в этот таинственный и опасный промежуточный период беспомощности, втиснувшийся где-то между бегством и спасением; она, как слепец, хваталась за все, что представлялось ей надежной опорой. Мне было стыдно, но я легкомысленно убеждал себя в том, что и Наташа не лучше меня, что и она словно лиана цепляется за ближайшее дерево, не терзая себя вопросами и угрызениями совести.

Ей, как и мне, не хотелось быть одной в трудные минуты жизни. Эта едва теплившаяся нежность витала вокруг нас и казалась такой безопасной, потому что у нее еще не было имени и ее еще не успела закогтить боль.

— Я обожаю тебя! — неожиданно, к собственному моему удивлению, вырвалось у меня, когда мы проходили под освещенной желтыми фонарями аркой, которая вела к Пятой авеню. Перед нами маячила широкая тень шофера.— Я не знаю тебя, но я обожаю тебя, Наташа,— повторил я, поймав себя на том, что впервые обратился к ней на «ты».

Она повернулась ко мне.

— Это неправда,— ответила она.— Ты лжешь, все неправда, хотя такие слова и приятно слышать.

Я проснулся, но прошло некоторое время, прежде чем я уяснил себе, что видел сон. Лишь постепенно я снова стал различать темные контуры своей комнаты, более светлые очертания окна и красноватый отблеск нью-йоркской ночи. Но это было тягучее, медленное пробуждение, будто мне приходилось выбираться из трясины, где я чуть не задохнулся.

Я прислушался. По-видимому, я кричал. Я всегда кричал, когда видел этот сон, и каждый раз мне требовалось много времени, чтобы прийти в себя. Мне снилось, что я кого-то убил и закопал в заросшем саду у ручья; что по прошествии долгого времени труп нашли, это навлекло на меня большие несчастья, и я был схвачен. Я никогда толком не знал, кого же я убил — мужчину или женщину. Не знал также, почему я это сделал, и, кроме того, мне казалось, будто я уже забыл во сне, что я совершил. Тем ужаснее был для меня страх и глубокое замешательство, еще долго преследовавшие меня после пробуждения, будто сон все-таки был явью. Ночь и внезапный испуг сокрушили все защитные барьеры, которые я воздвиг вокруг себя. Побеленное известью помещение в крематории с крюками, на которых подвешивали людей, и пятнами под ними, оставленными головами, дергавшимися от ударов и обивавшими известку, снова явилось мне в эту душную ночь; потом я увидел скелетообразную руку на полу, которая еще шевелилась, и услышал жирный голос, который повелевал: «Наступи на нее! Грязная тварь, растопчешь ты ее, наконец, или нет? Быстрее или я тебя уничтожу! Мы и тебя, свинья, подвесим, но не торопясь, с наслаждением!»

Мне вновь послышался этот голос, и я увидел холодные глумящиеся глаза, и в сотый раз повторил себе, что он уничтожит меня, как назойливую муху, как десятки других узников, просто удовольствия ради, если я не выполню его приказа. Он только и ждал, что я откажусь. И все же я чувствовал, как пот ручьями лил у меня из-под мышек, и я стонал, беспомощный и мучимый тошнотой. Этот жирный голос и эти садистские глаза должны быть уничтожены. Мэрц, думал я. Эгон Мэрц. Потом он меня выпустил при очередном послаблении режима, потому что я не был евреем, и тогда я бежал. До границы с Голландией было рукой подать — я хорошо знал эти места и воспользовался оказанной помощью,— но и тогда уже понимал, что это лицо садиста еще не раз возникнет передо мною прежде, чем я умру.

В эту короткую летнюю ночь я сидел на кровати, подобрав ноги, оцепенев. Сидел и размышлял обо всем, что хотелось похоронить и спрятать глубоко под землей, и снова о том, что это невозможно и что мне надо вернуться назад, пока я не подох раньше срока от ужаса и отчаяния, как это случилось с Моллером. Я должен остаться в живых и спастись — спастись во что бы то ни стало. Я сознавал, что ночью все кажется более драматичным, умножаются ценности, меняются понятия, и тем не менее я продолжал сидеть, ощущая распростертые надо мной крылья грусти, бессильной ярости и скорби. Я сидел на кровати, ночная мгла рассеивалась, и я разговаривал сам с собой, как с ребенком, я ждал дня, а когда он наступил, я был совершенно разбит, будто всю ночь бросался с ножом на бесконечную черную ватную стену и никак не мог ее повредить.

XIV

Силверс послал меня к Куперу, тому самому, который приобрел танцовщицу Дега. Мне было велено доставить ему картину и помочь ее повесить. Купер жил на четвертом этаже дома на Парк-авеню. Я думал, что дверь откроет прислуга, но навстречу мне вышел сам Купер. Он был без пиджака.

— Входите,— сказал он.— Давайте не спеша подыщем место для этой зелено-голубой дамы. Хотите виски? Или лучше кофе?

— Спасибо, я с удовольствием выпью кофе.

— А я виски. Самое разумное в такую жару.

Я не стал возражать. Благодаря кондиционерам в квартире было прохладно, как в склепе. Голова Купера напоминала созревший помидор. Это впечатление еще более оттеняла изысканная французская мебель в стиле Людовика XV, а также маленькие итальянские кресла и небольшой роскошный желтый комод венецианской работы. На обитых штофом стенах висели картины французских импрессионистов.

Купер сорвал бумагу с полотна Дега и поставил его на стул.

— Это ведь было мошенничество с картиной, не так ли? — спросил он.— Силверс утверждал, будто подарил ее жене и та устроит скандал, если, вернувшись домой, вдруг не обнаружит ее. Какой блеф!

— Вы поэтому и купили ее? — спросил я.

— Конечно, нет. Я купил ее потому, что мне хотелось ее иметь. Вы знаете, сколько Силверс содрал с меня за это полотно?

— Нет, не знаю.

— Тридцать тысяч долларов.

Купер испытующе посмотрел на меня. Я сразу понял, что он лжет, устраивает мне проверку.

— Ну? — сказал он.— Немалая сумма, верно?

— Для меня целое состояние.

— А сколько бы вы за нее заплатили?

Я рассмеялся.

— Ни гроша!

— Почему? — быстро спросил Купер.

— Очень просто: у меня нет на это денег. В данный момент от полного безденежья меня отделяют тридцать пять долларов.

— А сколько бы вы заплатили, если бы у вас были деньги? — не унимался Купер.

Я решил, что отработал свою чашечку кофе и расспросов с меня довольно.

— Столько, сколько имел бы. Если вы оцените ваши картины, то убедитесь, что увлечение искусством довольно прибыльное дело. Выгодней и не придумаешь. Мне кажется, Силверс охотно купил бы некоторые ваши картины и при этом не прогадал бы.

— Мошенник! Чтобы через неделю снова предложить их мне — только на пятьдесят процентов дороже!

Купер откулдыкал, точно индюк после кормежки, и на этом успокоился.

— Итак, где будем вешать танцовщицу?

Мы прошли по квартире. В это время Купера позвали к телефону.

— Осмотритесь не спеша,— сказал он мне.— Может, найдете какое-нибудь подходящее местечко.

Квартира была обставлена с тонким вкусом. Должно быть, Купер либо сам знал толк в этом деле, либо имел прекрасных советчиков, а может, и то и другое вместе. Я послушно шел за горничной.

— Это спальня мистера Купера,— сказала она,— здесь, пожалуй, найдется место.

Над широкой кроватью в стиле модерн висела картина в позолоченной раме — лесной пейзаж с трубящим оленем, несколькими косулями и ручьем на переднем плане.

Я безмолвно рассматривал эту низкопробную мазню.

— Мистер Купер написал это сам? — поинтересовался я.— Или получил в наследство от родителей?

— Не знаю. Картина у него висит все время, пока я здесь. Чудесно, а? Совсем как в жизни!

— Вот именно. Даже пар перед мордой оленя — и тот не забыли. Что, мистер Купер охотник?

— Не знаю.

Я огляделся и увидел венецианский пейзаж Цима. У меня прямо слезы навернулись на глаза от умиления: я разгадал тайну Купера. Здесь, в собственной спальне, ему незачем было притворяться. Тут было то, что ему действительно нравилось. Все прочее было показухой, бизнесом, возможно, даже увлечением — кто мог это знать, да и кому это было интересно? Но трубящий олень — это уже была страсть, а от сентиментального венецианского пейзажа веяло дешевой романтикой.

— Пойдем дальше,— сказал я девушке.— Картины здесь так хорошо висят, что мы только все испортим. Наверху тоже есть комнаты?

— Там терраса и маленькая гостиная.

Она повела меня вверх по лестнице.

Слышно было, как в кабинете Купер грубо, лающим голосом отдавал приказания по телефону. Интересно, похожа ли обстановка кабинета на спальню: второй трубящий олень был бы там как раз к месту.

У двери, ведущей на террасу, я остановился. Подо мной, насколько хватал глаз, лежал Нью-Йорк в душном летнем зное — он показался мне в этот момент африканским городом с небоскребами. На горизонте угадывался океан. Это был город из камня и стали, производивший как раз то впечатление, какого добивались его строители: возникший бурно и целенаправленно, без вековых традиций, воздвигнутый решительно и смело трезвыми, не отягощенными предрассудками людьми, высшим законом для которых была не красота, а целесообразность,— он являл собою пример новой, дерзкой, антиромантической, антиклассической, современной красоты. Я подумал, что на Нью-Йорк, наверное, надо смотреть сверху, а не снизу, задрав голову к небоскребам. Сверху они производили более спокойное впечатление, будто являлись извечной органической составной частью окружающего — жирафы в стаде зебр, газелей и гигантских черепах.

Я слышал, как, тяжело дыша и шаркая ногами, по лестнице поднимался Купер.

— Ну, нашли место?

— Здесь,— ответил я и показал на террасу.— Хотя солнце скоро погубит картину. Но танцовщица над городом — согласитесь, в этом что-то есть... Может, поместить ее рядом, в гостиной, на той стене, куда не попадает солнце?

Мы вошли в гостиную. Она была очень светлая, с белыми стенами и мебелью, обитой пестрым английским ситцем. На одном из столов я заметил три китайские бронзовые статуэтки и двух танцовщиц. Я взглянул на Купера. Что же он все-таки такое? Не лучше ли было бы ему вместо бронзовых статуэток эпохи Чжоу приобрести, скажем, три старинных бокала, а вместо фигурок танцовщиц из терракоты — фарфоровых гномиков или слонов?

— Там, у стены, за бронзовыми статуэтками,— сказал я.— Зеленоголубой цвет бронзы почти того же оттенка, что и танцовщица.

Купер все еще поглядывал на меня с опаской и сопел. Я приложил картину к стене.

— В таком случае придется дырявить стену,— сказал он наконец.— А если потом понадобится снять картину, останется дырка.

— Тогда на ее место можно будет повесить другую картину,— сказал я и с удивлением взглянул на Купера.— Кроме того, отверстие можно залепить гипсом, так что его почти не будет видно.— Ну и крохобор! Вот так, наверное, он и скопил свои миллионы. Удивительно только, что это меня не раздражало: трубящий олень в спальне примирил меня с ним. Все остальное в квартире было враждебно Куперу, хотя он и не отдавал себе в этом отчета. Он понимал, что на такого рода покупки требуется много денег, но сколько платить и за что — не знал и потому так старался все у меня выспросить. Он толком не понимал, в каком

соотношении находятся деньги и искусство, и в этом смысле походил на истинного любителя.

Наконец Купер решился.

— Ну, пробейте небольшое отверстие. Самое маленькое, какое только можно. Видите вот этот патентованный крюк — для него нужен лишь тонкий гвоздик, а висеть на нем может большая картина.

Я быстро вбил крючок под недоверчивым взглядом Купера. А потом позволил себе поглазеть на китайские фигурки из бронзы и даже подержать их в руках. Я сразу же почувствовал нежную теплоту и в то же время прохладу патины. Это была чудесная бронза, и у меня возникло странное чувство, будто я вернулся домой, к своему погасшему очагу. Фигурки отличались безукоризненным совершенством. Это было неописуемое чувство, возникавшее от сознания того, что кому-то, много веков назад, посчастливилось овладеть материализованной «иллюзией вечности».

— Вы разбираетесь в бронзе? — спросил Купер.

— Немного.

— Сколько они стоят? — сразу же спросил он, и мне захотелось его обнять, до того он был искренен и неподделен в эту минуту.

— Им нет цены.

— Что? Как это? В них надежнее вкладывать капитал, чем в картины?

— Этого я не сказал,— ответил я, проявив мгновенную осторожность, чтобы не нанести Силверсу удар с фланга,— но они превосходны. Лучших нет даже в музее Метрополитен.

— Неужели? Гляди-ка! Их всучил мне однажды какой-то мошенник.

— Вам просто повезло.

— Думаете? — Он закулдыкал, как шесть индюков, и пренебрежительно взглянул на меня. Казалось, он прикидывал, дать мне на чай или нет, но так и не решился.— Хотите еще кофе?

— Благодарю.

Я вернулся к Силверсу и все ему рассказал.

— Старый разбойник! — воскликнул Силверс.— Он каждый раз устраивает дознание, когда я кого-нибудь посылаю к нему. Прирожденный случайный покупатель. А начинал-то ведь с тачки железного лома! Это уж потом он продавал целые поезда с ломом. А накануне войны, в самый подходящий момент, занялся военным бизнесом. Кстати, он поставлял оружие и железный лом Японии. А когда эта возможность отпала, переключился на Соединенные Штаты. За каждое приобретенное им полотно Дега заплатили жизнью сотни, если не тысячи, ни в чем не повинных людей.

Я еще никогда не видел Силверса таким рассерженным. То, что он сказал насчет Дега, было, разумеется, абсолютной выдумкой, но слова его все же отложились в моем сознании. Фальшь и лицемерие производят большее впечатление, чем истина.

— Почему же тогда вы ведете с ним дела? — поинтересовался я.— Ведь таким образом вы становитесь его соучастником?

Силверс хоть и рассмеялся, но все еще кипел от негодования.

— Почему? Потому что я ему что-то продаю! Не могу же я, в самом деле, быть квакером в бизнесе! Соучастник? В чем? В войне? Это просто смешно!

Мне стоило известных усилий успокоить его и объяснить, что все мои вопросы вытекают из моего пристрастия к логическому мышлению. Это всегда приводит к недоразумениям.

— Не выношу этих торгашей смертью,— изрек, наконец, Силверс, успокоившись.— И тем не менее! Я выудил из него на пять тысяч боль-

ше, чем была оценена картина. Надо было содрать с него еще тысяч пять.

Он принес себе виски с содовой.

— Хотите?

— Спасибо. Я уже напился кофе.

Надо наказать Купера, подумал я, звонкой монетой. Зато в случае удачи я сумею выбраться из трясины прошлого.

— Вы вполне сможете наверстать свое,— сказал я.— Вероятно, он скоро опять придет. Я ему дал понять, что другое полотно Дега составило бы великолепную пару с тем, которое он купил, и что, на мой вкус, вторая картина в художественном отношении куда ценнее.

Силверс задумчиво посмотрел на меня.

— Вы делаете успехи! Заключаем пари: если в течение месяца Купер явится за второй картиной Дега, вы получаете сто долларов!

Перед отелем «Плаза» я вдруг увидел Наташу. Она пересекала площадь, засаженную разросшимися деревьями, направляясь к Пятьдесят девятой улице. Впервые после долгого перерыва я увидел ее днем. Она шла быстрым и размашистым шагом, чуть наклонившись вперед. Меня она не видела.

— Наташа! — окликнул я, когда она поравнялась со мной.— Думаешь о том, какую диадему взять сегодня вечером напрокат у «Ван Клеефа и Арпельса»?

Она на какой-то момент опешила.

— А ты? — бросила она.— Стащил у Силверса картину Ренуара, чтобы оплатить счет в ресторане «Эль Марокко»?

— Я человек скромный,— вздохнул я.— Я думаю всего лишь о прокате, а ты сразу о грабеже. Ты далеко пойдешь.

— Зато проживу, наверное, меньше. Не хочешь ли со мной пообедать?

— Где?

— Я тебя приглашаю,— сказала она, смеясь.

— Так не годится. Для сутенера я слишком стар. К тому же я недостаточно обаятелен.

— Ты совсем не обаятелен, но не в этом дело. Пойдем, и не терзайся. Мы все постоянно обедаем здесь по талонам. Оплата в конце месяца. Так что за свое достоинство можешь не беспокоиться. Кроме того, мне бы хотелось, чтобы ты встретился с одной старой дамой. Очень богатой, которая интересуется картинами. Я рассказывала ей о тебе.

— Но, Наташа! Я ведь не торгую картинами!

— Не ты, так Силверс. А если ты приведешь к нему клиента, он должен будет заплатить тебе комиссионные.

— Что?

— Комиссионные. Так принято. Ты что, не знаешь разве, что добрая половина людей живет за счет комиссионных?

— Нет.

— Тогда тебе пора это усвоить. А теперь пошли. Я голодна. Или ты боишься?

Она вызывающе посмотрела на меня.

— Ты очень красивая,— сказал я.

— Браво!

— Если что-нибудь получится с комиссионными, я приглашу тебя на обед с икрой и шампанским.

— Браво. D'accord[1]. Ты перестанешь в таком случае терзаться?

[1] Согласна *(франц.)*.

— Несомненно. Теперь у меня осталась только боязнь пространства.

— Не так уж сильно ты отличаешься от других,— сказала Наташа.

Ресторан был почти полон. У меня было такое ощущение, будто я попал в элегантную клетку, где находились вместе бабочки, галки и попугаи. По залу порхали официанты. Как всегда, Наташа встретила здесь много знакомых.

— Ты знаешь, наверное, половину Нью-Йорка,— сказал я.

— Чепуха. Я знаю лишь бездельников и людей, имеющих отношение к моде. Как и я. Чтобы тебя опять не мучила боязнь пространства, посмотрим летнее меню.

— Странное название — летнее меню.

Она рассмеялась.

— Это просто одна из диет. Вся Америка питается по какой-нибудь диете.

— Почему? У всех здесь довольно здоровый вид.

— Чтобы не толстеть. Америка помешана на том, чтобы сохранить молодость и фигуру. Каждый хочет быть юным и стройным. Старость здесь не в почете. Почтенный старец, пользовавшийся таким уважением в Древней Греции, в Америке попал бы в дом для престарелых.— Наташа закурила сигарету и подмигнула мне.— Не будем сейчас говорить о том, что большая часть мира голодает. Ты, наверное, это имел в виду?

— Я не такой дурак, как ты полагаешь. Я совсем не об этом думал.

— Ну, допустим!

— Я думал об Европе. Там не так уж голодают, но, конечно, продуктов там значительно меньше.

Она взглянула на меня из-под полуопущенных век.

— Не кажется ли тебе, что было бы куда полезней поменьше думать об Европе? — спросила она.

Меня поразило ее замечание.

— Я пытаюсь не думать об этом.

Она рассмеялась.

— Вот идет эта богатая старуха.

Я ожидал увидеть расфуфыренную выдру, этакое подобие Купера, а к нам подошла изящная женщина с серебристыми локонами и румяными щечками — она, несомненно, всю жизнь была такая холеная и ухоженная, точно и не покидала стен детской. Ей было около семидесяти, но можно было спокойно дать ей пятьдесят. Выдавали ее только шея и руки, поэтому на ней было ожерелье из четырех рядов жемчуга, уложенных друг на друга, которое закрывало всю шею и в то же время придавало даме сходство с портретом эпохи Империи.

Ее интересовал Париж, и она принялась меня расспрашивать. Я же поостерегся рассказывать ей о своей жизни там и преподносил все так, будто никакой войны там нет и в помине. Я смотрел на Наташу и рассказывал о Сене, об острове св. Людовика, набережной Великих Августинов, о летних вечерах в Люксембургском саду, на Елисейских полях и в Булонском лесу. Я видел, как теплели Наташины глаза, и мне легче было говорить обо всем этом.

Нас быстро обслужили, и менее чем через час миссис Уимпер стала прощаться.

— Вы не заедете за мной завтра в пять часов? — спросила она меня.— Мы поехали бы к вашему Силверсу посмотреть его коллекцию.

— Хорошо,— ответил я и хотел еще что-то добавить, но Наташа толкнула меня под столом ногой, и я прикусил язык.

Когда миссис Уимпер ушла, Наташа рассмеялась.

— Ну как, роды прошли безболезненно? Ты, конечно, хотел ей объяснить, что у Силверса только открываешь ящики, ведь так! Ни к че-

му это. Многие здесь занимаются лишь тем, что дают советы невежественным толстосумам и сводят их со знакомыми антикварами.

— Словом, агент по продаже! — резюмировал я.

— Консультант,— возразила Наташа.— То есть достойный, уважаемый человек, который защищает бедных, беспомощных миллионеров от грабителей-антикваров. Пойдешь к ней?

— Конечно,— ответил я.

— Браво!

— Из любви к тебе.

— Еще раз браво!

— Откровенно говоря, я и без того пошел бы к ней. Я куда меркантильнее, чем ты думаешь.

Она слегка ударила в ладоши.

— Ты постепенно становишься почти очаровательным.

— То есть становлюсь человеком? Если прибегнуть к твоей терминологии.

— Еще не человеком. Скажем, статуей, делающей первые шаги.

— Все уладилось удивительно быстро. А ведь миссис Уимпер ничего обо мне не знает.

— Ты рассказывал о том, что она любит: Париж, лето в Булонском лесу, Сена осенью, набережные, лотки букинистов...

— И ни слова о картинах...

— Это ей особенно понравилось. Ты правильно сделал: ни слова о делах.

Мы спокойно шли по Пятьдесят четвертой улице. На душе у меня было легко и радостно. Мы остановились возле антикварного магазина, где были выставлены египетские ожерелья. Они сияли в бирюзовом свете, а рядом с ними стоял большой ибис. С аукциона в «Савое» выходили люди, унося с собой ковры. Прекрасно было это ощущение жизни! И как далеко еще была ночь.

— Сегодня вечером я тебя увижу? — спросил я.

Она кивнула.

— В гостинице?

— Да.

Я пошел обратно. Солнце светило сквозь пелену пыли. Пахло выхлопными газами, воздух был раскален. Я постоял перед «Савоем», где происходил аукцион, и, наконец, вошел внутрь. Зал был наполовину пуст, атмосфера была какая-то сонная. Аукционист выкрикивал цены. Распродажа ковров закончилась; теперь с молотка пошли фигурки святых. Их вынесли на сцену и расставили в ряд, точно готовили к новому мученичеству. Некоторые из них пришлось распаковывать прямо на сцене. Цветные фигурки спросом не пользовались и стоили очень дешево. В военное время святые первыми попадают в тюрьму. Я снова вышел на улицу и стал рассматривать витрину. Среди массивной мебели эпохи Ренессанса стояли две бронзовые китайские фигурки; одна была явной копией фигурок эпохи Мин, а вот вторая вполне могла быть подлинной. Патина, правда, была плохая, может быть, даже подвергалась обработке, и все же в этой бронзе было что-то, придававшее ей вид подлинной. Наверное, какой-то профан счел статуэтку копией и пытался ее подделать. Я вернулся в сумрачное помещение, где проходил аукцион, и попросил дать мне каталог очередной распродажи. Бронзовые фигурки были перечислены без указания эпохи — среди оловянных кувшинов, всякой медной утвари и прочих дешевых вещей. По-видимому, стоить они будут недорого, ибо трудно ожидать участия крупных антикваров в столь обыденной распродаже.

Я вышел из «Савоя» и направился вниз по Пятьдесят четвертой улице ко Второй авеню. Там я свернул направо и пошел дальше — к ма-

газину братьев Лоу. У меня появилась мысль купить бронзу, а потом перепродать ее Лоу-старшему. Я был уверен, что он ее не заметил среди оловянных кувшинов и массивной мебели. Потом я подумал о Наташе и вспомнил тот вечер, когда она довезла меня в «роллс-ройсе» до гостиницы. Я тогда наспех простился с ней, да и, по правде говоря, всю дорогу был очень молчалив — я думал лишь о том, как бы поскорее выбраться из этого шикарного автомобиля. Причина была поистине детская: мне срочно требовалась уборная. Но поскольку в Нью-Йорке это заведение куда труднее отыскать, чем в Париже, я терпел, в результате чего мне просто не хватило времени для прощания. Наташа с возмущением смотрела мне вслед, и сам я, облегчившись, злился потом на себя за то, что опять все испортил по собственной глупости. Однако на следующий день этот эпизод представился мне уже в совершенно ином свете, даже с каким-то романтическим оттенком, ибо вместо того, чтобы велеть шоферу остановиться у ближайшего отеля и попросить Наташу подождать в машине, я предпочел мучиться и терпеть. Я счел это глупостью, но в то же время и верным признаком сердечной склонности, и меня охватило неподдельное чувство нежности. С этим чувством я и подошел к магазину братьев Лоу. Лоу-младший стоял между двумя белыми лакированными креслами в стиле Людовика XVI и задумчиво смотрел на улицу. Я собрался с духом, отбросил мысль о своем первом самостоятельном бизнесе и переступил порог.

— Как дела, мистер Лоу? — нарочито небрежным тоном спросил я, опасаясь вызвать недовольство у этого романтика.

— Хорошо! Брата сейчас нет. Он ест свою кошерную пищу, вы же знаете! А я — нет,— добавил он, сверкнув глазами.— Я питаюсь по-американски.

Близнецы Лоу напоминали мне известных сиамских близнецов, из которых один был трезвенник, а другой — горький пьяница. Поскольку система кровообращения у них была одна, несчастному трезвеннику приходилось выдерживать не только опьянение, но и последующее похмелье своего пропойцы-брата. Как всегда, страдала добродетель. Так и у Лоу — один был ортодоксальным евреем, а другой — вольнодумцем.

— Я обнаружил бронзовые статуэтки,— объявил я.— Они будут продаваться с аукциона по дешевке.

Лоу-младший махнул рукой.

— Скажите об этом моему брату — фашисту, я утратил интерес к бизнесу: меня занимают сейчас только проблемы жизни и смерти.— Он повернулся ко мне и вдруг спросил: — Скажите честно, что вы мне посоветуете: жениться или нет?

Это был коварный вопрос: при любом ответе я проигрывал.

— Кто вы с точки зрения астрологов? — ответил я вопросом на вопрос.

— Что?

— Когда вы родились?

— Какое это имеет значение? Ну, двенадцатого июля.

— Так я и думал. Вы — Рак. Легкоранимая, любвеобильная, художественная натура.

— Так как же все-таки? Жениться мне?

— От рака трудно отделаться. Он крепко вцепляется в тебя, пока ему не отрежешь клешни.

— Какой кошмарный образ!

— Образ чисто символический. Если перевести его на язык психоаналитиков, это означает всего лишь: пока не вырвешь ему половые органы.

— Всего лишь? — жалобно воскликнул Лоу.— Оставьте, наконец, шутки и скажите ясно и просто: жениться мне или нет?

— В католической Италии я бы вам ответил: нет. В Америке это проще: вы всегда можете развестись.

— Кто говорит о разводе? Я говорю о женитьбе!

Дешевую шутку «это почти одно и то же» мне, к счастью, не пришлось произносить. Равно как и ничего не стоящий совет: раз ты спрашиваешь, жениться тебе или не жениться, то не женись. В магазин вошел Лоу-старший, весь сияя после тяжелой кошерной трапезы.

Младший брат взглядом призвал меня к молчанию. Я кивнул.

— Как поживает паразит? — весело спросил Лоу-старший.

— Силверс? Он только что добровольно прибавил мне жалованье.

— Это он может. На сколько? На доллар в месяц?

— На сто.

— Что?

Оба брата уставились на меня. Первым оправился от удивления старший.

— Ему бы следовало прибавить двести,— заметил он.

Такое присутствие духа восхитило меня, но я решил не поддаваться.

— Он так и хотел,— сказал я.— Но я отказался. Считаю, что еще не заслужил. Может быть, через год — тогда другое дело.

— С вами нельзя говорить разумно,— пробурчал Лоу-старший.

— Напротив,— сказал я.— Особенно если речь идет о бронзовых статуэтках.— Я поведал ему о своем открытии.— Я могу купить их для вас на аукционе. Все будут считать их подделками.

— А если это действительно подделки?

— Ну, значит, мы ошиблись. Или вы хотите, чтобы я еще застраховал вас от убытков?

— Почему бы и нет? — ухмыльнулся Лоу.— При ваших-то доходах!

— Я их и сам могу купить. Это даже проще,— сказал я разочарованно.

Я рассчитывал на большую благодарность за такой совет. Как всегда, это оказалось заблуждением.

— Ну, как чечевичный суп? — спросил я.

— Чечевичный суп? Откуда вы знаете, что я ел чечевичный суп?

Я показал на лацкан его пиджака, где прилипла половинка раздавленной чечевицы.

— Слишком тяжелая пища для этого времени года, мистер Лоу. Рискуете получить апоплексический удар. Всего хорошего, господа!

— Вы человеколюбивая бестия, господин Росс,— с кисло-сладкой улыбкой заметил Лоу-старший.— Но надо понимать шутку! Сколько могут запросить за эту бронзу?

— Я рассмотрю ее еще раз, как следует.

— Хорошо. Я ведь не могу этого сделать: если я посмотрю на нее два раза, эти типы почуют недоброе. Они знают меня. Вы меня предупредите?

— Разумеется.

Я уже был почти за дверью, когда Лоу-старший крикнул мне вслед:

— С Силверсом все неправда, да?

— Правда! — бросил я.— Но у меня есть предложение получше — от Розенберга.

Не прошел я и десяти шагов, как меня охватило раскаяние. Не из этических соображений, а из суеверия. В своей жизни я проделал уже немало афер с господом богом, в которого всегда начинал верить лишь в минуту опасности,— подобно тому, как тореадоры перед боем приносят

к себе в каморку статуэтку мадонны, украшают ее цветами, молятся, давая обет ставить ей свечи, служить мессы, вести благочестивую жизнь, воздерживаться отныне и во веки веков от выпивки и так далее и тому подобное. Но вот бой закончен, и статуэтка богоматери летит в чемодан вместе с грязным бельем, цветы выбрасываются, обещания забываются, при первом же удобном случае на столе появляется бутылка теквильи — и так до очередной корриды, когда все повторяется сначала. Мои аферы с господом богом были в том же духе. Но иногда я поддавался и иному суеверию — чувство это, правда, уже давно не возникало во мне, потому что в основе его лежало не стремление избежать опасности, а скорее боязнь спугнуть ожидание. Я остановился. Из магазина рыболовных принадлежностей на меня смотрели чучела щук, возле которых кольцами была разложена леска. «Чтобы не спугнуть ожидание, надо прежде всего чего-то ждать»,— подумал я, и мне вдруг стало ясно, что я уступил братьям Лоу свой маленький бизнес тоже из суеверия. Мне хотелось настроить в свою пользу не только бога, который незримо поднимал сейчас свою сонную главу над крышами домов, но и судьбу, ибо произошло то, во что, казалось, я больше не верил: я снова ожидал чего-то, и это что-то не было материальным, осязаемым — это было теплое чувство, преисполнявшее меня блаженным сознанием того, что я еще не совсем превратился в автомат. Я вспомнил старые, забытые ощущения — сердцебиение, учащенное дыхание; в эту минуту я реально ощутил все эти симптомы, питаемые светом двух жизней — моей собственной и другой, безымянной.

XV

Когда на следующее утро я сообщил Силверсу о предстоящем визите миссис Уимпер, он отнесся к моим словам весьма пренебрежительно.

— Уимпер, что за Уимпер? Когда она придет? В пять? Не знаю, буду ли я дома.

Но мне было точно известно, что этот ленивый крокодил только тем и занимался, что поджидал клиентов, попивая виски.

— Ну, что же,— сказал я,— тогда отложим ее визит, может, потом у вас появится время.

— Ладно, привозите, привозите вашу даму,— снисходительно бросил он.— Лучше сразу покончить с таким пустяковым делом.

«Вот и прекрасно,— подумал я.— У меня будет возможность рассмотреть как следует бронзовые статуэтки в «Савое» после обеда, когда там не толкутся покупатели, как в обеденный перерыв».

— Вам понравилось, как обставлен дом у Купера? — спросил Силверс.

— Очень. У него, по-видимому, великолепные советчики.

— Так оно и есть. Сам он ничего в этом не понимает.

Я подумал о том, что и Силверс мало в чем разбирается, кроме одной, узкой области живописи — французских импрессионистов. Но даже этим у него не было особых оснований гордиться: картины являлись для него бизнесом, так же как для Купера — оружие и железный лом. При этом у Купера было преимущество перед Силверсом: он владел еще и прекрасной мебелью, тогда как у Силверса не было ничего, кроме мягких диванов, мягких кресел и скучной, стандартной мебели массового производства.

Он будто угадал мои мысли.

— Я тоже мог бы обставить свой дом мебелью конца восемнадцатого века,— сказал он.— Я этого не делаю из-за картин. Весь этот хлам в стиле барокко или рококо только отвлекает. Обломки минувших эпох! Современному человеку это ни к чему.

— У Купера — другое дело,— поддакнул я.— Ему незачем продавать картины, поэтому он может позволить себе и хорошую мебель.

Силверс рассмеялся.

— Если бы он действительно стремился к стилевому единству своих интерьеров, ему следовало бы расставить по комнатам пулеметы и легкие орудия. Это было бы уместнее.

В его словах отчетливо проступала неприязнь к Куперу. Он испытывал подобные чувства ко всем своим клиентам. Показное добродушие моментально слетало с него, как слетает с медяшки дешевая позолота. Он считал, что презирает своих клиентов, скорее же всего он им завидовал. Он старался внушить себе, что цинизм сохраняет ему свободу, но это была дешевая свобода, вроде «свободы» клерка, за глаза ругающего своего шефа. Он усвоил привычку многих односторонне образованных людей потешаться над всем, чего не понимал. Однако эта удобная, но сомнительная позиция не очень-то ему помогала, и иногда в нем неожиданно проглядывал просто разнузданный неврастеник. Это и вызывало во мне интерес к Силверсу. Его елейные проповеди можно было выносить, лишь пока они были внове, а потом они нагоняли только скуку — я еле сдерживал зевоту от этих уроков житейской мудрости.

В полдень я отправился на аукцион и попросил показать мне бронзовые статуэтки. Людей в залах было немного, потому что распродажи в тот день не предвиделось. Огромное унылое помещение, набитое мебелью и утварью XVI и XVII веков, казалось погруженным в сон. У стен громоздились новые партии ковров вперемежку с оружием, копьями, старыми саблями и латами. Я размышлял о словах Силверса по поводу Купера, а потом о самом Силверсе. Как Силверс в отношении Купера, так и я в отношении Силверса — мы оба перестали быть беспристрастными, объективными наблюдателями и превратились в пристрастных критиков. Я уже не являлся зрителем, ко всему, в сущности, равнодушным,— во мне клокотали страсти, которых я давно не испытывал. Я снова ощутил себя включенным в изменчивую игру бытия и уже не был пассивным созерцателем происходящего, стремившимся лишь к тому, чтобы выжить. Незаметно в меня вошло что-то новое, напоминавшее отдаленные раскаты грома и заставившее меня усомниться в моей мнимой безопасности. Все опять заколебалось. Я был снова близок к тому, чтобы принять чью-то сторону, хотя и сознавал, что это неразумно. Это было чувство примитивное, немного напоминавшее враждебность мужчины ко всем остальным представителям этого пола — потенциальным соперникам в борьбе за женщину.

Я стоял у окна в зале аукциона с бронзовой статуэткой в руках. Позади был пустой зал с расставленной в нем пыльной рухлядью, а я с легким волнением смотрел на улицу, где в любую минуту могла появиться Наташа, и чувствовал, как во мне растет неприязнь к Силверсу и я становлюсь вообще несправедлив ко всему роду людскому. Я понимал, что мое волнение связано с Наташей и что мне вдруг снова стало необходимо не просто выжить, а добиться чего-то большего.

Я положил бронзовые статуэтки на место.

— Это подделка,— сказал я принесшему их человеку, старику сторожу с сальными волосами; он жевал резинку, и мое мнение было ему абсолютно безразлично.

Бронза была, без сомнения, старинная, но несмотря на мое новое внутреннее состояние у меня хватило присутствия духа, чтобы об этом умолчать. Я медленно шел вверх по улице, пока не оказался напротив ресторана, где мы были с Наташей. Я не зашел туда, но мне почудилось, что подъезд его освещен ярче других, хотя вход в соседний ресторан был рядом с витриной фирмы «Баккара», сиявшей граненым стеклом и хрусталем.

Я явился к миссис Уимпер. Она жила на Пятой авеню. Пришел я вовремя, но она вроде бы не особенно торопилась. Картин у нее оказалось немного — всего лишь несколько полотен Ромнея и Рейсдаля.

— Для «Мартини», надеюсь, не рано? — спросила она.

Я увидел, что перед ней стоит бокал с чем-то похожим на водку.

— «Мартини» с водкой? — спросил я.

— «Мартини» с водкой? Такого я еще не пила! Это джин и немного вермута.

Я пояснил, что в «Ройбене» научился вместо джина добавлять во все водку.

— Занятно. Надо как-нибудь попробовать.— Миссис Уимпер качнула своими локонами и нажала на кнопку звонка.— Джон,— сказала она вошедшему слуге.— У нас есть водка?

— Да, мадам.

— Тогда приготовьте «Мартини» с водкой для господина Росса. Водку вместо джина.— Она повернулась ко мне.— Французский вермут или итальянский? С маслинами?

— Французский вермут. Но без маслин. Я впервые пил этот коктейль именно так. Но, пожалуйста, не хлопочите из-за меня. Я выпью «Мартини» и с джином.

— Нет, нет! Всегда надо учиться новому, если есть возможность. Приготовьте и мне, Джон. Я тоже хочу попробовать.

Оказывается, старая кукла была не прочь выпить. И теперь я думал лишь о том, чтобы довезти ее до Силверса достаточно трезвой.

Джон принес стаканы.

— За ваше здоровье! — воскликнула миссис Уимпер и стала жадно пить большими глотками.— Отлично,— объявила она.— Надо ввести это у нас, Джон. Удивительно вкусно!

— Непременно, мадам.

— Кто вам дал рецепт? — спросила она меня.

— Один человек, не желавший, чтобы от него пахло алкоголем. Он не мог себе это позволить и утверждал, что коктейль на водке в этом смысле безопаснее.

— Как забавно! Вы пробовали? Действительно не пахнет? Правда?

— Возможно. Меня это никогда не волновало.

— Нет? А у вас есть кто-нибудь, кого бы это волновало?

Я рассмеялся.

— Все, кого я знаю, изрядно выпивают.

Миссис Уимпер осмотрела меня с головы до ног.

— Это полезно для сердца,— бросила она как бы невзначай.— И для головы. Проясняет мозги. Может, выпьем еще по полстаканчика? На дорогу?

— С удовольствием,— сказал я, хотя вовсе не был этому рад, опасаясь, как бы за одним бокалом не последовало много других.

Но, к моему удивлению, осушив свои полстакана, миссис Уимпер встала и позвонила.

— Машина готова, Джон?

— Да, мадам.

— Хорошо. Тогда едем к мистеру Силверсу.

Мы вышли из дома и сели в большой черный «кадиллак». Почему-то я думал, что миссис Уимпер не поедет в своем автомобиле, и силился вспомнить, где тут ближайшая стоянка такси. Вместе с нами из дома вышел и Джон, чтобы везти нас к Силверсу. Я отметил, что мне везет по части автомобилей: сперва «роллс-ройс», а теперь «кадиллак» — и оба с шоферами. Недурно! Мне бросился в глаза небольшой бар — такой же, как в «роллс-ройсе», и я не удивился бы, если б миссис Уимпер извлекла из него еще по бокалу с коктейлем. Но вместо этого она принялась бе-

седовать со мной о Франции и Париже на довольно корявом французском языке с сильным американским акцентом — я сразу перешел на французский, так как это давало мне преимущество, которое могло пригодиться у Силверса.

Я заранее знал, что Силверс отошлет меня, полагаясь на собственное обаяние. Однако миссис Уимпер не сразу меня отпустила. В конце концов я сказал, что хочу приготовить коктейли с водкой. Миссис Уимпер захлопала в ладоши.

Силверс бросил на меня уничтожающий взгляд. Он предпочитал шотландское виски, считая все остальные напитки варварскими. Я объяснил ему, что доктор запретил миссис Уимпер пить шотландское виски, и отправился на кухню. При помощи прислуги я разыскал там, наконец, бутылку водки.

— Вы пьете это после обеда? — спросила сухопарая прислуга.

— Не я. Посетители.

— Какой ужас!

Любопытно, как часто на меня возлагали ответственность за чужие поступки. Я остался у кухонного окна, а к Силверсу послал прислугу с «Мартини» и с виски. Снаружи на подоконнике устроились голуби. Их развелось в Нью-Йорке не меньше, чем в Венеции, они стали совсем ручными, летали и гнездились всюду. Я прижался лбом к прохладному оконному стеклу. «Где-то мне суждено умереть?» — думал я.

Когда кухарка вернулась, я отправился на свой наблюдательный пост в запасник — оказалось, что Силверс уже собственноручно достал оттуда несколько небольших полотен Ренуара. Это было удивительно, потому что обычно он любил продемонстрировать, что держит помощника.

Немного спустя он явился ко мне.

— Вы забыли про свой коктейль. Идите к нам.

Миссис Уимпер уже осушила свой стакан.

— А вот и вы! — воскликнула она.— Вы всегда такой вероломный? Или испугались собственного рецепта «Мартини»?

Она сидела прямо, как кукла, только руки у нее были не мягкие и изящные, как у куклы, а жесткие и костлявые.

— Что вы думаете об этом Ренуаре? — спросила она.

Это был натюрморт с цветами, помеченный 1880 годом.

— Прекрасная вещь,— сказал я.— Вам будет трудно найти что-нибудь равноценное, если его продадут.

Миссис Уимпер кивнула.

— Выпьем еще немного? В такие дни, как сегодня, меня всегда мучит мигрень. Воспаление тройничного нерва. Ужасно! Доктор говорит, единственное, что может помочь,— это немного алкоголя; спирт как будто расширяет кровеносные сосуды. Чего только не делаешь ради здоровья.

— Я вас понимаю,— сказал я.— У меня тоже несколько лет была невралгия. Это очень болезненно.

Миссис Уимпер бросила на меня теплый взгляд, будто я сделал ей комплимент. Я вернулся на кухню.

— Где водка? — спросил я прислугу.

— Лучше б я ушла в монастырь,— сказала она.— Вот там она стоит, ваша водка! В монастыре, по крайней мере, не соблюдают диету.

— Ошибаетесь. Монахи были первыми, кто ввел строжайшую диету.

— Почему же они такие толстые?

— Потому что едят не то, что надо.

— Постыдились бы насмехаться над простой несчастной женщиной! Зачем же я училась стряпать, раз никто ничего не ест! Я готовила

паштеты в жокей-клубе в Вене, если хотите знать, дорогой мой господин! А здесь готовлю одни салаты — без масла, точно капля масла это цианистый калий! О приличном торте и говорить нечего! Здесь это считается чуть ли не изменой родине.

С двумя бокалами «Мартини» я вышел из кухни. Миссис Уимпер уже ждала меня.

— Слишком много налили,— сказала она и залпом выпила весь стакан.— Итак, до завтра. В пять. Господин Силверс сказал, что вы сами повесите у меня картину.

Мы проводили ее на улицу. По ней никак не было видно, что она много выпила. Я подвел ее к машине. Несмотря на жару, уже чувствовалось приближение вечера. Тепло скапливалось между домами, как густое невидимое желе; сухая листва деревьев шуршала, будто это южные пальмы.

Я вернулся в дом.

— Почему вы сразу не сказали мне, что это — миссис Уимпер? — небрежно заметил Силверс.— Конечно, я отлично знаю ее.

Я остановился.

— Я вам это говорил,— возразил я.

Он махнул рукой.

— Фамилия Уимпер встречается часто. Вы не сказали мне, что речь идет о миссис Андрэ Уимпер. Я знаю ее давно. Но теперь это уже неважно.

Я был озадачен.

— Надеюсь, вы не обиделись на меня,— саркастически заметил я.

— С чего бы мне на вас обижаться? — возразил Силверс.— В конце концов она, очевидно, что-нибудь купит.— Силверс махнул рукой, точно хотел прогнать муху.— Но трудно сказать наверняка. Эти старые дамы по десять раз возвращают картины, так что даже рамы не выдерживают и разваливаются. А они так и не покупают. Бизнес вовсе не простая штука, как вы думаете.— Силверс зевнул.— Пора кончать. В жару очень устаешь. До завтра. Унесите оставшиеся картины.

Он ушел, а я стоял и смотрел ему вслед. «Какой мошенник,— думал я.— Он, видно, хочет лишить меня комиссионных на том основании, что я-де привел к нему не нового, а старого, уже давно известного клиента». Я взял три полотна Ренуара и отнес в запасник.

— «Роллс-ройс»! — воскликнул я, завернув за угол. Машина стояла у тротуара, за рулем сидел шофер. Я был счастлив. Я как раз раздумывал о том, куда бы сводить Наташу сегодня вечером, и ничего не мог придумать. Везде было слишком душно. Решение подсказал «роллс-ройс».— Авантюры, кажется, следуют за мной, как тень,— сказал я.— Машина у тебя на весь вечер — до закрытия театров?

— Дольше,— сказала Наташа.— До полуночи. В полночь она должна стоять перед рестораном «Эль Марокко».

— Ты тоже?

— Мы оба.

— У миссис Уимпер — «кадиллак»,— сказал я.— Может быть, у нее есть и «роллс-ройс». А у тебя что — появился еще один клиент для Силверса?

— Там видно будет. Как закончилось дело с миссис Уимпер?

— Очень мило. Она купила довольно хорошего Ренуара — картина вполне в стиле ее кукольного дома.

— Кукольный дом,— повторила Наташа и рассмеялась.— Эта кукла, которая кажется такой беспомощной и глупой, будто может только

хлопать глазами и улыбаться, на самом деле является президентом двух компаний. И там она не хлопает глазами, а делом занимается.

— Неужели?

— Ты еще насмотришься чудес, общаясь с американками.

— Зачем мне американки? Ты сама — чудо, Наташа.

К моему удивлению, она покраснела до корней волос.

— Я сама — чудо? — пробормотала она.— Наверное, мне надо почаще посылать тебя к таким женщинам, как миссис Уимпер. Ты возвращаешься с удивительными результатами.

Я ухмыльнулся.

— Поедем на Гудзон,— предложила Наташа.— Сначала на пирс, где океанские пароходы, а потом вдоль Гудзона до моста Джорджа Вашингтона и дальше по набережной, пока не наткнемся на какую-нибудь уютную харчевню. Меня сегодня тянет в какой-нибудь маленький ресторанчик, к лунному свету и речным пароходам. Собственно, я предпочла бы поехать с тобой в Фонтенбло. Разумеется, когда кончится война. Но там меня, как возлюбленную немца, остригли бы наголо, а тебя без лишних слов поставили бы к стенке. Так что останемся при своем: с котлетами и кока-колой, в этой удивительной стране.

Она прижалась ко мне. Я почувствовал на своем лице ее волосы и ее прохладную кожу. Казалось, ей никогда не было жарко, даже в такие дни.

— Ты был хорошим журналистом? — спросила она.

— Нет, второсортным.

— А теперь больше не можешь писать?

— Для кого? Я недостаточно хорошо владею английским. К тому же я уже давно не могу писать.

— Значит, ты как пианист без рояля?

— Можно и так сказать. Твой неизвестный покровитель оставил тебе что-нибудь выпить?

— Сейчас посмотрим. Ты не любишь говорить о себе?

— Не очень.

— Понимаю. И о твоем теперешнем занятии тоже?

— Агент по продаже произведений искусства и мальчик на побегушках.

Наташа открыла бар.

— Вот видишь, мы как тени,— сказала она.— Странные тени прошлого. Станет ли когда-нибудь по-другому? О, да тут польская водка! Что это ему взбрело в голову? Польши ведь уже не существует.

— Да,— подтвердил я с горечью.— Польши, как самостоятельного государства, больше не существует. Но польская водка выжила. Прикажешь плакать или смеяться по этому поводу?

— Выпить ее, милый.

Она достала две рюмки и налила. Водка была великолепная и даже очень холодная. Бар, оказывается, был одновременно и холодильником.

— Две тени в «роллс-ройсе»,— заметил я,— пьют охлажденную польскую водку. За твое здоровье, Наташа!

— Ты мог бы попасть в армию? — спросила она.— Если бы захотел?

— Нет. Никому я не нужен. Здесь я нежелательный иностранец и должен радоваться, что меня не загнали в лагерь для интернированных. Живу на птичьих правах, но так же было со мной и в Европе. Здесь-то рай. Если угодно, призрачный рай, отгороженный от всего, что имеет на этом свете значение, особенно для меня. Если угодно, временный рай, в котором можно перезимовать. Рай поневоле. Ах, Наташа! Поговорим о том, что у нас осталось! О ночи, о звездах, об искре

жизни, которая еще теплится в нас, но только не о прошлом. Полюбуемся луной! Пассажирские пароходы «люкс» превратились в военные транспорты. А мы стоим за железными перилами, отделяющими этот рай от всемирной истории, и вынуждены беспомощно, бесцельно ждать да почитывать в газетах сообщения о победах, потерях и разбомбленных странах, и снова ждать, и снова вставать каждое утро, и пить кофе, и беседовать с Силверсом и миссис Уимпер, в то время как уровень океана пролитой в мире крови каждый день поднимается на сантиметр. Ты права, наша жизнь здесь — это жалкий парад теней.

Мы смотрели на причал. Он был почти пуст, но в зеленом свете сумерек отшвартовывалось несколько судов — серо-стальных, низко сидящих, без огней. Мы снова сели в машину.

— Постепенно улетучиваются мои глупые, старомодные грезы,— произнесла Наташа.— И моя сентиментальность. Прости меня, я, наверное, тебе надоела.

— Надоела? Что у тебя за странные мысли? Это ты должна простить меня за пошлости, которые я тебе говорил. Уже по одному этому ясно, что я был плохим журналистом! Смотри, какая прозрачная вода! И полнолуние!

— Куда теперь поедем, мадам? — спросил шофер.

— К мосту Джорджа Вашингтона. Только медленно.

Некоторое время мы молчали. Я упрекал себя за идиотское неумение поддерживать беседу. Я вел себя как тот человек в «Эль Марокко», который горько оплакивал участь Франции, и притом вполне искренне. Но он не понимал, что скорбь в отличие от радости нельзя проявлять на людях, и потому производил смешное впечатление. Я тщетно пытался выбраться из тупика.

Тут вдруг Наташа повернулась ко мне. Глаза ее сияли.

— Как это прекрасно. Река и маленькие буксиры, а там вдали — мост!

Она давно забыла о нашем разговоре. Я уже не раз замечал это: она быстро на все откликается и быстро все забывает. Это было очень кстати для такого слона, как я,— человека, который помнил невзгоды и совсем не помнил радостей.

— Я тебя обожаю! — воскликнул я.— И говорю это здесь, сейчас, под этой луной, у этой реки, впадающей в море, в водах которой отражаются сотни тысяч раздробленных лунных дисков. Я обожаю тебя и даже готов повторить избитую фразу о том, что мост Вашингтона, как диадема, венчает беспокойный Гудзон. Только мне хотелось бы, чтобы он действительно стал диадемой, а я — Рокфеллером, или Наполеоном Четвертым, или, на худой конец, главою фирмы «Ван Клееф и Арпельс». По-твоему, это ребячество?

— Почему ребячество? Ты что, всегда стремишься перестраховаться? Или ты в самом деле не знаешь, как нравится женщинам такое ребячество?

— Я прирожденный трус и каждый раз, прежде чем что-нибудь сказать, должен собраться с духом,— ответил я, целуя ее.— Мне хотелось бы научиться водить машину,— сказал я.

— Можешь начинать хоть сегодня.

— Я — за рулем «роллс-ройса». Тогда мы могли бы высадить блюстителя нравственности у ближайшей пивной, а так мне кажется, точно я в Мадриде: вечно в сопровождении дуэньи.

Она засмеялась.

— Разве шофер нам мешает? Он же не знает немецкого и по-французски тоже не понимает ни слова. Кроме «мадам», разумеется.

— Значит, он нам не мешает? — переспросил я.

Она на мгновение умолкла.

— Милый, это же беда большого города,— пробормотала она.— Здесь почти никогда нельзя побыть вдвоем.

— Откуда же тогда здесь берутся дети?

— Одному богу известно!

Я постучал в стекло, отделявшее нас от шофера.

— Вы не остановитесь вон там, у того садика? — переспросил я, протягивая шоферу пятидолларовую бумажку.— Сходите, пожалуйста, куда-нибудь поужинать. А через час приезжайте за нами.

— Да, конечно, сэр.

— Вот видишь! — воскликнула Наташа.

Мы вышли из машины и увидели, как она исчезла в темноте. В тот же миг из открытого окна за сквером раздался грохот музыкального автомата. На сквере валялись бутылки из-под кока-колы, пакеты из-под пива и обертки от мороженого.

— Прелести большого города! — бросила Наташа.— А шофер приедет только через час!

— Можем погулять вдоль берега.

— Гулять? В этих туфлях?

Я выскочил на середину улицы и замахал руками, как ветряная мельница. В неярком уличном свете я узнал удлиненный радиатор «роллс-ройса»: на Гудзоне таких было немного,— должно быть, это наш шофер повернул назад.

Так оно и оказалось, но теперь он был уже не третьим лишним, а нашим спасителем. Глаза у Наташи блестели от сдерживаемого смеха.

— Куда дальше? — спросила она.— Где бы нам поесть?

— Жарища везде невыносимая,— сказал шофер.— Разве что в «Блю Риббон»? Прохладно. И тушеная говядина там — высший класс.

— Тушеная говядина? — сказал я.

— Тушеная говядина! — повторил он.— Высший класс!

— Будь я проклят, если в Нью-Йорке стану есть тушеную говядину или кислую капусту,— сказал я Наташе.— Это то же самое что кричать «Хайль Гитлер!» Поехали на Третью авеню. Там много всяких ресторанов.

— В ресторан «Морской царь»? — спросил он.— Хороший ресторан, и воздух там кондиционированный.

— Кислая капуста — блюдо эльзасское,— сказала Наташа,— если уж мы решили точно определить ее национальный статус!

— Эльзас долгое время принадлежал Германии.

— Мы без конца возвращаемся к политике. Хорошо, поедем на Третью авеню. Морские цари пока еще нейтральны.

Я перестал спорить: о, если бы все было так просто! В конце концов я и сам прибыл сюда с потушенными огнями, передвигаясь зигзагами, чтобы избежать встречи с подводными лодками. Что уж тут говорить о нейтралитете, если сам бог перестал быть нейтральным и перед очередным боем перекочевывает с одного полевого алтаря на другой?

В ресторане «Морской царь» мы увидели Кана. Он был там единственным посетителем, одиноко и отрешенно сидевшим перед блюдом, полным огромных крабовых клешней.

— Человек со множеством хобби,— заметил я.— Он превратил мир в коллекцию разных хобби и благодаря этому неплохо живет.

— Молодец.

— После крабов будете есть еще мороженое? — спросил я Кана.

— Я это проделал однажды. Не скажу, чтобы мне это пошло на пользу. Нельзя следовать всем влечениям сразу.

— Очень мудро.

Мы тяжело опустились на стулья, будто проделали долгий путь. Я решил не водить Наташу в ресторан «Эль Марокко»: мне почему-то не хотелось больше знакомиться с ее друзьями.

XVI

Днем я отправился к Кану. Он пригласил меня отобедать с ним в китайском ресторане. Кан предпочитал китайскую кухню всем остальным. Началось это его увлечение еще в Париже. Но Парижу тут далеко до Нью-Йорка: в Нью-Йорке есть целый китайский квартал.

Мы доехали на автобусе до Мотт-стрит. Ресторан помещался в подвале, куда вели несколько ступенек.

— Удивительное дело,— сказал Кан.— В Нью-Йорке почти не встречаешь китаянок. Либо они сидят по домам, либо китайцы разрешили проблему внеполового размножения. Китайчат на улице сколько угодно, а женщин совсем не видно. А ведь китаянки самые прекрасные женщины на свете.

— В романах?

— Нет, в Китае,— сказал Кан.

— Вы там были?

— А как же. Поехал в тридцатом. И пробыл два года.

— Но потом вернулись. Почему?

Кан буквально затрясся от смеха.

— Тоска по родине!

Мы заказали креветки, зажаренные в масле.

— Как поживает Кармен? — спросил я.— С виду она нечто среднее между полинезийкой и очень светлой китаянкой. В ней есть какая-то трагическая экзотика.

— А между тем она родилась в Померании, в Рюгенвальде. Такие парадоксы иногда бывают. Хорошо, что она еврейка и не надо доискиваться, откуда она такая взялась.

— Выглядит она так, словно ее родина Тимбукту, Гонконг или Папеэте.

— Однако по своему интеллектуальному уровню она — местечковая еврейка. Очаровательная смесь! Я могу представить себе, как вы примерно поступите и что подумаете в той или иной ситуации. Но когда дело касается Кармен, я — пас. Она для меня книга за семью печатями. Я никогда не знаю наперед, ни что она подумает, ни как поступит. Вы ошибаетесь, она вовсе не дитя Иокагамы, Кантона или других экзотических городов — она просто с другой планеты. Спустилась к нам с лунных кратеров, поднялась из первозданных глубин глупости, чистой, святой простоты и чудовищной наивности, о которых мы, простые смертные, давно потеряли представление. Она чиста, как в первый день творения. Словом, законченный образец женщины. Ни к чему не прилагает усилий, не ведает сомнений. Она существует, и слава богу! Может, хотите заказать еще порцию креветок? Сказочная еда!

— Хорошо.

— Глупость — ценнейший дар,— продолжал Кан.— Но тот, кто ее утратил, никогда не приобретет вновь. Она спасает, как шапка-невидимка. Опасности, перед которыми бессилен любой интеллект, глупость просто не замечает. Когда-то я пытался искусственно поглупеть. Практиковался в глупости и даже преуспел. Иначе мои проделки во Франции могли бы плохо кончиться. Но все это, конечно, жалкий эрзац по сравнению с истинной, бьющей через край глупостью, особенно

если она сочетается с такой внешностью, какой могла бы позавидовать сама Дузе...— Кан усмехнулся.— Глупость Кармен — это уже глупость Парсифаля, она почти священна.

Я поперхнулся. Сравнение Кармен с Парсифалем или с Лоэнгрином было настолько дико — оно просто обезоруживало. Мне нравилось делать несопоставимые сравнения. В Брюсселе я иногда коротал время, придумывая их. Они и сейчас мгновенно приводили меня в хорошее настроение, подобно священному толчку, который, как гласит учение «дзэн», чувствуешь перед просветлением. Неожиданное сравнение всегда выходит за пределы человеческой логики.

— А как вы вообще живете? — спросил я.— Как идут дела?

— Умираю от скуки,— ответил Кан и оглянулся по сторонам.

Кроме официантов, в ресторане больше не было китайцев. Здоровенные потные бизнесмены неумело орудовали палочками, пиджаки, снятые по случаю жары, висели на спинках стульев, словно призраки. Кан ел палочками с элегантностью второразрядного мандарина.

— Я умираю от скуки,— повторил Кан.— А магазин процветает. Через несколько лет я стану старшим продавцом, еще через несколько — совладельцем. А потом, глядишь, пройдет еще какое-то время, и я смогу приобрести все дело. Заманчивая перспектива. Не правда ли?

— Во Франции она была бы заманчивей.

— Но только перспективой. Безопасность казалась там самой невероятной случайностью, ибо ее не существовало. Однако между перспективой и действительностью — дистанция огромного размера. Иногда это — вообще противоположные понятия. И когда человек оказывается в безопасности, она поворачивается к нему своим истинным лицом — скукой. Знаете, что я думаю на этот счет? Многолетние цыганские скитания испортили нас, мы уже не годимся для буржуазного образа жизни.

— Не ручайтесь за всех,— рассмеялся я.— Большинство еще годится. Многие скоро забудут свое цыганское житье. Представьте себе, что людей, торговавших мукой и кормом для кур, заставили работать на трапеции... Как только им разрешат слезть с трапеции, они тут же вернутся к своей муке и кормам.

Кан покачал головой.

— Далеко не все. Эмигранты куда сильнее отравлены годами скитаний, чем вы думаете.

— Ну, что ж. Значит, они станут несколько отравленными торговцами.

— А художники? Писатели? Актеры? Все те, кто не может найти в эмиграции применения своим силам? За это время они стали на десять лет старше. Сколько же лет им будет, когда они смогут вернуться и приступить к привычному делу?

Я задумался над словами Кана. Что будет со мной?

Миссис Уимпер приготовила к моему приходу «Мартини». На этот раз он был в небольшом графине. Значит, Джону не придется бегать за каждым коктейлем в отдельности. Мне стало не по себе. По самым скромным подсчетам в графине было от шести до восьми двойных порций «Мартини».

Стремясь поскорее уйти, я заговорил бойко и деловито:

— Куда мне повесить Ренуара? Я захватил все, что надо,— это не займет и двух минут.

— Сперва давайте подумаем.— Миссис Уимпер, облаченная во все розовое, показала на графин.— По вашему рецепту. С водкой. Очень вкусно. Не освежиться ли нам немного? Сегодня такой жаркий день.

— «Мартини», по-моему, чересчур крепок для такой жарищи.

— Не нахожу,— она засмеялась,— и вы, наверное, тоже. По лицу видно.

Я начал озираться по сторонам.

— Может быть, повесить картину здесь? На этой стене, над кушеткой — самое подходящее место.

— Здесь, собственно, уже достаточно картин. Когда вы были последний раз в Париже?

Я покорился своей судьбе. Но после второго бокала все же встал.

— А теперь пора за работу. Надеюсь, вы уже приняли решение?

— Нет, я еще ничего не решила. А как вы считаете?

Я показал на простенок, где стояла кушетка.

— Это место просто создано для натюрморта с цветами. Картина прекрасно впишется сюда, и освещение здесь очень хорошее.

Миссис Уимпер встала и пошла впереди меня — миниатюрная, изящная женщина, с голубовато-серебристыми волосами. Оглядевшись по сторонам, она направилась в соседнюю комнату. Здесь висел портрет маслом, пол-лица занимал тяжелый, выдававшийся вперед подбородок.

— Мой муж,— сообщила игрушечная миссис Уимпер, проходя мимо портрета.— Умер в тридцать пятом. Инфаркт миокарда. Слишком много работал. У него никогда не было свободного времени, зато теперь времени у него в избытке.— Она мелодично засмеялась.— Американцы работают, чтобы умереть. В Европе это иначе. Да?

— В данное время — нет. Теперь там умирает куда больше мужчин, чем в Америке.

Миссис Уимпер обернулась.

— Вы имеете в виду войну? Не будем ее касаться.

Мы прошли еще через две комнаты, затем поднялись по лестнице. На лестнице висело несколько рисунков Гиса. Я захватил с собой Ренуара и молоток. И прикидывал, куда бы повесить картину.

— Может быть, в моей спальне? — небрежно заметила миссис Уимпер и пошла вперед.

Ее кремовая с золотом спальня была сногсшибательна: широкая кровать эпохи Людовика XVI, покрытая парчой, красивые кресла, стулья и черный лакированный комодик эпохи Людовика XV. Комод стоял на бронзовых ножках и был щедро украшен позолотой. На секунду я забыл обо всех своих мрачных предчувствиях и воскликнул:

— Здесь! Только здесь! Над этим комодиком!

Миссис Уимпер молчала. Она глядела на меня затуманенным, почти отсутствующим взглядом.

— Вы тоже так считаете? — спросил я, приложив маленькую картину Ренуара к стене над комодиком.

Миссис Уимпер не отрываясь смотрела на меня, потом она улыбнулась.

— Мне нужен стул,— сказал я.

— Возьмите любой,— ответила она.

— Стул эпохи Людовика Шестнадцатого?

Она опять улыбнулась.

— Отчего же нет?

Я взял один из стульев. Он не был расшатан. Тогда я осторожно влез на него и начал обмерять стену. За моей спиной не слышалось ни звука. Я определил высоту, на какой должна висеть картина, и приставил к стенке гвоздь. Но прежде чем ударить молотком, я оглянулся. Миссис Уимпер стояла в той же позе с сигаретой в руке и со странной улыбкой глядела на меня. Мне стало не по себе, и я постарался

как можно быстрее вбить гвоздь. Гвоздь держался крепко. Я взял картину, которую прежде положил на комодик, и повесил ее. Потом слез со стула и отставил его в сторону. Миссис Уимпер продолжала неподвижно стоять. И все так же не сводила с меня глаз.

— Нравится? — спросил я, собирая инструменты.

Она кивнула и пошла впереди меня к лестнице. Вздохнув с облегчением, я двинулся следом за ней. Миссис Уимпер вернулась в первую комнату и подняла графин.

— За Ренуара, за мою удачу!

— С удовольствием,— согласился я, решив, что после второго бокала «за удачу» улизну, сославшись на похороны.

Но мне не пришлось прибегать к этой лжи. Странная неловкость, которая возникла между нами, не проходила. Миссис Уимпер смотрела на меня невидящими глазами. Она слегка улыбалась, и трудно было понять, что означала ее улыбка — насмешку или еще что-то. Правда, я, как старый мазохист, решил, что она потешается надо мной.

— Я еще не выписала чека,— сказала она,— приходите как-нибудь на днях. И тогда вы его получите.

— Спасибо. Предварительно я позвоню.

— Можете прийти без звонка. Часов в пять я всегда дома. Спасибо за рецепт коктейля с водкой.

Смущенный, я вышел на жаркую улицу. У меня было такое впечатление, что меня ловко одурачили. Притом одурачил человек, который, как мне казалось, сам находился в несколько смешном положении. Надо полагать, что и в следующий раз со мной произойдет то же самое, хотя я не был в этом стопроцентно уверен. Могло случиться другое, только мне не хотелось убедиться в этом на собственном опыте. Во всяком случае, на данном этапе опасность миновала. Силверс наверняка пожелает сам получить чек. Он ни в коем случае не станет раскрывать мне свои карты.

— Ты без машины? — спросил я Наташу.

— Без машины, без шофера, без водки и без сил. Жарища невыносимая. В этой гостинице давно следовало установить кондиционер.

— Владелец нипочем не согласится.

— Конечно. Бандит!

— У меня есть лед — можно приготовить «Русскую тройку»,— сказал я.— И имбирное пиво, и лимонный сок, и водка.

Наташа поглядела на меня с нежностью.

— Неужели ты все купил?

— Да. Между прочим, я уже выпил два «Мартини».

Наташа засмеялась.

— У миссис Уимпер?

— Да. Откуда ты знаешь?

— Она этим славится.

— Чем? Своими коктейлями?

— И коктейлями тоже.

— Старая перечница. Удивительно еще, что все прошло так гладко.

— Она уже заплатила?

— Нет. А почему ты спрашиваешь? Считаешь, она вернет картину? — спросил я, не на шутку встревоженный.

— Этого я не считаю.

— У нее так много денег, что она может покупать, не задумываясь?

— И это тоже. Кроме того, она любит молодых мужчин.

— Что?

— Ты ей понравился.

— Наташа,— сказал я,— ты это серьезно? Неужели ты хочешь свести меня с этой старой пьянчугой?

Наташа расхохоталась.

— Послушай,— сказала она,— дай мне выпить.

— Не дам ни капли. Сперва ответь.

— Она тебе понравилась?

Я глядел на Наташу во все глаза.

— Ну так вот! — сказала она.— Миссис Уимпер любит молодых мужчин. И ты ей понравился. Пригласила она тебя на один из своих званых вечеров?

— Пока еще нет. Предложила зайти за чеком,— сказал я мрачно.— Но, может, я еще удостоюсь и этой чести.

— Обязательно! — Наташа наблюдала за мной.— Тогда она пригласит и меня тоже.

— Ты уверена? Видно, ты уже не раз бывала в подобных ситуациях и знаешь все наперед? Она должна была сразу броситься мне на шею, так, что ли?

— Нет,— сухо ответила Наташа.— Дай мне рюмку водки.

— А почему не «Мартини» с водкой?

— Потому что я не пью «Мартини». Еще вопросы есть?

— Очень много. Я не привык, чтобы мною торговали, и я не сутенер.

Я не увидел, как она плеснула водкой,— просто почувствовал, что водка течет у меня по лицу и капает с подбородка. Она вцепилась в бутылку — на ее побелевшем лице глаза казались огромными. Но я оказался проворнее, вырвал бутылку и, проверив, плотно ли вставлена пробка, швырнул ее на кушетку, подальше от Наташи. Она тут же кинулась за бутылкой. Но я схватил Наташу и толкнул в угол; я крепко держал обе ее руки и свободной рукой рванул на ней платье.

— Не смей дотрагиваться до меня,— прошипела она.

— Я не только дотронусь до тебя, чертовка! Возьму тебя силой, здесь, сию же минуту, ты у меня...

Она плюнула мне в лицо и пнула меня.

Я сжал коленями ее ноги. Она попыталась вырваться, но поскользнулась и упала. Я опять толкнул ее к дивану.

— Пусти меня. Ты взбесился,— зашептала она неожиданно высоким незнакомым голосом.— Пусти, я буду кричать.

— Ори сколько влезет,— захрипел я.— Все равно я проучу тебя, проклятая ведьма!..

— Сюда идут люди! Разве ты не видишь? Сюда идут люди! Пусти меня, негодяй, скотина... Пусти меня!..

Она лежала на диване, выгнувшись всем телом, чтобы я не мог подмять ее под себя. Я чувствовал, как напряжены ее мускулы; ноги ее были тесно и крепко прижаты к моим ногам, словно не я обхватил их, а она обхватила меня... И я заметил, что под юбкой у нее ничего нет. С силой я придавил ее к дивану... Теперь лицо ее было рядом с моим, и она не сводила с меня беспокойных глаз.

— Пусти меня! — шептала она.— Не здесь, только не здесь, пусти меня, не здесь, только не здесь.

— А где же, дрянь паршивая?..— Я скрипел зубами от злобы.— Убери руку, не то я сломаю ее. Я тебя здесь...

— Не здесь, не здесь,— шептала она тем же высоким, незнакомым голосом.

— Где же еще...

— У тебя в номере, не здесь, у тебя в номере.
— Чтобы ты удрала, а потом издевалась надо мной.
— Я не удеру, я не удеру. Только не здесь. Клянусь, я не удеру. Дорогой мой, дорогой...
— Что?— спросил я.
— Пусти меня. Клянусь, я не удеру. Только пусти меня. Сюда идут люди.
Я отпустил ее. И встал. Я ожидал, что она оттолкнет меня и пустится бежать. Но она не побежала, оправила на себе юбку, выпрямилась.
Я привел себя в порядок. Она встала. Я не спускал с нее глаз: теперь она могла пройти мимо меня, но я мог еще удержать ее.
— Пошли,— сказала она.
— Куда?
— К тебе в номер.
Я шел сперва сзади, потом обогнал ее; торопливо и почему-то осторожно поднялся по скрипучей лестнице, устланной серой дорожкой, мимо таблички со словом «Думай!» к своему номеру на втором этаже. И остановился перед дверью.
— Ты можешь уйти, если хочешь,— сказал я.
Она отодвинула меня и плечом толкнула дверь.
— Пошли! — сказала она.
Я вошел за ней следом и захлопнул дверь. Но не запер ее на ключ. Я вдруг почувствовал, что наступила реакция, и прислонился к стене. У меня было такое ощущение, точно я стою в лифте, который стремительно падает вниз, а меня в это время тащат наверх. В глазах у меня потемнело, как будто кто-то влил мне в череп целое ведро воды; вода булькала, и, чтобы не упасть, я крепко уперся обеими руками в стену.
Потом я увидел Наташу, она лежала в постели.
— Почему ты не идешь ко мне? — спросила она.
— Не могу.
— Что?
— Не могу.
— Не можешь?
— Да,— сказал я.— Проклятая лестница.
— При чем тут лестница?
— Не знаю.
— Что?
— Не могу, вот и все. Прогони меня, если хочешь.
— Из твоей собственной комнаты?
— Тогда смейся надо мной сколько влезет.
— Почему я должна смеяться?
— Не знаю. Я слышал, что, когда с мужчиной такое случается, над ним смеются.
— Со мной этого еще не бывало.
— Тем более ты должна смеяться.
— Не хочу,— сказала Наташа.
— Почему ты не уходишь?
— Ты хочешь, чтобы я ушла?
— Нет.
До сих пор она лежала неподвижно, а теперь приподнялась на локте, подперла голову и поглядела на меня.
— Я чувствую себя очень погано,— сказал я.
— А я нет,— сказала она.— Как ты думаешь, чем это все объясняется?
— Не знаю. Меня доконало слово «дорогой».

— А я считаю, во всем виновата лестница.

— И она тоже. А потом еще то, что ты вдруг решила стать моей.

— Лучше, чтобы я этого не решала?

Я беспомощно взглянул на нее.

— Не спрашивай. На меня повлияло все вместе.

Это был странный диалог: ни она, ни я даже не попытались приблизиться друг к другу, голоса наши звучали монотонно и невыразительно.

— В номере есть ванная? — спросила она.

— Нет. Только в коридоре. Четвертая дверь.

Она медленно встала, провела рукой по волосам и пошла к двери. Поравнявшись со мной, она погладила меня, глядя куда-то прямо перед собой. Однако, почувствовав ее прикосновение, я оторвался от стены и обнял ее. Она попыталась высвободиться. Ее тело сквозь одежду было такое молодое и теплое. И такое гибкое, будто я держал в руках форель... В ту же секунду все снова стало, как раньше. Я крепко обнимал ее.

— Ты ведь меня вовсе не хочешь,— прошептала она, отвернувшись.

Я поднял ее и понес к кровати. Она оказалась тяжелей, чем я думал.

— Я хочу тебя,— сказал я глухо.— Хочу тебя, только тебя, одну тебя, хочу тебя больше всего на свете, хочу проникнуть в тебя, слиться с тобой, хочу проникнуть в тебя!

Ее лицо было совсем рядом, я видел ее глаза, нестерпимо блестящие, остановившиеся.

— Тогда возьми меня! — пробормотала она сквозь зубы и не закрыла глаз.

...Голос ее становился все тише, она лепетала бессвязные, невнятные слова, потом перешла на шепот и совсем замолкла.

И вдруг она потянулась, проговорила что-то, закрыла глаза и тут же снова их открыла.

— Пошел дождь? — спросила она.

Я расхохотался.

— Нет еще. Может, пойдет ночью.

— Стало прохладней. Где у тебя ванная?

— Четвертая дверь по коридору.

— Можно я надену твой купальный халат?

Я дал ей халат. Она сняла с себя все, кроме туфель. Раздевалась она медленно, не глядя на меня. И не казалась смущенной. Она была вовсе не такая худая, как я предполагал. Уже раньше я чувствовал это, а теперь увидел своими глазами.

— Ты красивая! — сказал я.

Она подняла голову.

— Не слишком толстая?

— Помилуй бог. Нет.

— Хорошо,— сказала она.— В таком случае наше будущее рисуется мне в розовом свете. Я люблю поесть. И всю жизнь голодаю. Из-за того, что работаю манекенщицей,— добавила она.— Только поэтому.

— Сегодня мы поедим вволю. Закажем все закуски подряд и шикарный десерт.

— Я слежу за собой, чтоб не стать бочкой. Иначе меня вышвырнут на улицу. Так что можешь не беспокоиться.

— А я и не беспокоюсь, Наташа.

Взяв мое мыло и свою сумочку, она шутливо отдала мне честь и вышла. Я лежал и ни о чем не думал. Мне тоже казалось, будто полил дождь. Правда, я знал, что дождя не было, тем не менее я подошел к ок-

ну и выглянул наружу. Окно выходило на задний двор; из глубины каменного колодца поднималась духота и вонь от мусорных ящиков. «Только в нашей комнате стало свежей»,— подумал я. Пошел назад к кровати, снова улегся и устремил взгляд на лампочку без абажура, свисавшую с потолка. Через некоторое время вернулась Наташа.

— Я перепутала комнату,— сказала она.— Думала, что твоя дверь следующая.

— Там кто-нибудь был?

— Никого. Темно. Разве здесь не запирают комнаты?

— Многие не запирают. Вору у них нечем поживиться.

От Наташи пахло мылом и одеколоном. Где она взяла одеколон? Для меня это было загадкой. Может, он лежал у нее в сумочке? А может, кто-нибудь оставил одеколон в ванной, и она им воспользовалась.

— Миссис Уимпер,— сказала она,— любит молодых мужчин, но дальше этого дело не идет. Она с удовольствием беседует с ними. Вот и все. Запомни это раз и навсегда.

— Хорошо,— сказал я, хотя Наташа не вполне меня убедила.

В голой комнате ярко горела лампа. Наташа расчесывала волосы щеткой перед жалким зеркальцем над раковиной.

— Муж ее умер от сифилиса. Не исключено, что миссис Уимпер тоже больна, — добавила она.

— Кроме того, у нее рак и потеют ноги, а летом она моется исключительно «Мартини» с водкой,— сказал я ей в тон.

Она засмеялась.

— Не веришь? Да и с чего бы ты вдруг мне поверил?

Я встал.

— Как ты отнесешься к такому признанию: стоит мне до тебя дотронуться, и я уже не владею собой? — спросил я.

— Так было далеко не всегда,— сказала она.

— Зато теперь это так.

Она прильнула ко мне.

— Я убила бы тебя, если б это было иначе,— пробормотала она.

Я снял с нее купальный халат и бросил его на пол.

— Ты самая длинноногая женщина из всех, каких я знаю,— сказал я и выключил свет. В темноте я видел только ее светлую кожу и черные провалы рта и глаз.

Мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, и чувствовали, как в темноте на нас надвигается темная волна, чувствовали, как она перекатывается через нас. Мы еще долго лежали так, не дыша, и другие, гораздо менее грозные волны подымались и опадали в нас.

Наташа шевельнулась.

— У тебя есть сигареты?

— Да.— Я дал ей сигарету и поглядел на нее при свете спички. Лицо у нее было спокойное и невинное.— Хочешь чего-нибудь выпить? — спросил я.

Она кивнула. Я заметил это в темноте по движению горящей сигареты.

— Только не водки.

— У меня нет холодильника, поэтому все теплое. Хочешь, я принесу снизу?

— Разве это не может сделать кто-нибудь другой?

— Внизу никого нет, кроме Меликова.

В темноте я услышал ее смех.

— Он все равно нас увидит, когда мы спустимся,— сказала она.

Я не ответил. Мне еще надо было привыкнуть к этой мысли. Наташа поцеловала меня.

— Включи свет,— сказала она.— Мы пощадим привитые тебе пра-

вила приличия. К тому же я проголодалась. Давай пойдем в «Морской царь».

— Опять туда? Неужели тебе не хочется пойти в какое-нибудь другое заведение?

— Ты уже получил комиссионные за миссис Уимпер?

— Нет еще.

— Тогда пойдем в «Морской царь».

Наташа вскочила с постели и щелкнула выключателем. Потом она прошлась нагишом по комнате и подняла купальный халат.

Я встал и оделся. Потом снова сел на постель и стал ждать ее возвращения.

XVII

— А я ведь благодетель рода человеческого,— заявил Силверс. Закурив сигару, он благосклонно оглядывал меня.

Мы готовились к визиту миллионера Фреда Лэски. На сей раз мы не собирались вешать картину в спальне и выдавать ее за личную собственность госпожи Силверс, с которой она ни за что не расстанется, покуда супруг не пообещает ей норковую шубку и два туалета от Майнбохера. В конце концов она все же расставалась с любимыми полотнами, а норковой шубки не было и в помине. Впрочем, ничего удивительного: на дворе стояло лето! На этот раз речь шла о том, чтобы сделать из миллионера-плебея светского человека.

— Война — это плуг,— поучал меня Силверс,— она вспахивает землю и перераспределяет состояния. Старые исчезают, на их месте появляется бесчисленное множество новых.

— У спекулянтов, у торгашей, у поставщиков. Короче говоря, у тех, кто наживается на войне,— заметил я.

— Не только у поставщиков оружия,— продолжал Силверс как ни в чем не бывало.— Но также у поставщиков обмундирования, поставщиков продовольствия, судов, автомобилей и тому подобного. На войне зарабатывают все, кому не лень.

— Все, кроме солдат!

— О солдатах я не говорю.

Силверс отложил сигару и взглянул на часы.

— Он придет через пятнадцать минут. Сперва вы принесете две картины, а я спрошу вас насчет Сислея. Тогда вы притащите картину Сислея, поставите ее лицом к стене и шепнете мне на ухо несколько слов. Я притворюсь, будто не понял, и раздраженно спрошу, в чем дело. Вы скажете громче, что этот Сислей отложен для господина Рокфеллера. Понятно?

— Понятно,— ответил я.

Через пятнадцать минут явился Лэски с супругой.

Все шло как по маслу. Картина Сислея — пейзаж — была внесена в комнату. Я шепнул Силверсу несколько слов на ухо, и в ответ он сердито приказал мне говорить громче — какие, дескать, тут могут быть тайны.

— Что? — спросил он потом изумленно.— Разве Сислей, а не Моне? Ошибаетесь. Я же велел отложить картину Моне.

— Извините, господин Силверс, но боюсь, что ошибаетесь вы. Я все точно записал. Взгляните...— Я вынул записную книжку в клеенчатом переплете и протянул ее Силверсу.

— Вы правы,— сказал Силверс.— Ничего не поделаешь. Раз отложено, значит, отложено.

Я поглядел на господина Лэски. Это был тщедушный бледный человечек в синем костюме и коричневых ботинках. Он зачесывал на лысину длинные пряди волос сбоку, и казалось, что они буквально приклеены

к его черепу. В противоположность мужу, супруга господина Лэски отличалась могучим телосложением. Она была на голову выше и в два раза толще его. И вся обвешана сапфирами. Впечатление было такое, что она вот-вот его проглотит.

На секунду я остановился в нерешительности, держа картину так, что часть ее была видна присутствующим. И госпожа Лэски клюнула.

— Посмотреть ведь никому не возбраняется? — проквакала она своим хриплым голосом.— Или это тоже невозможно?

Силверс мгновенно преобразился.

— Ну, что вы! Ради бога простите, многоуважаемая госпожа Лэски! Господин Росс, почему вы не показываете нам картину? — сказал он недовольным тоном, обращаясь ко мне по-французски и, как всегда, ужасающе коверкая слова.— Allez vite, vite! [1]

Я притворился смущенным и поставил картину на один из мольбертов. После чего скрылся у себя в каморке. Она напоминала мне Брюссель. Я сидел и читал монографию о Делакруа, время от времени прислушиваясь к разговору в соседней комнате. В госпоже Лэски я не сомневался. Она производила впечатление человека, который вечно живет под угрозой нападения и, не желая быть страдательным лицом, неизменно выступает в роли агрессора. По-видимому, эта дама находилась в непрестанной борьбе с собственными представлениями о высшем свете Бостона и Филадельфии, а ей хотелось быть принятой в свете, хотелось добиться признания, чтобы в дальнейшем с язвительной усмешкой взирать на новичков.

Я захлопнул книгу и достал маленький натюрморт Мане: пион в стакане воды. Мысленно я вернулся в Брюссель — к тому времени, когда мне вручили электрический фонарик, чтобы я мог читать по ночам в своем убежище. Мне разрешали пользоваться фонариком только в запаснике, где не было окон, да и то лишь ночью. В запаснике многие месяцы стояла кромешная тьма. Долгое время я видел только блекло-серый ночной свет, когда покидал мое убежище и, подобно привидению, бесшумно бродил по залам музея. Но благодаря фонарику, который мне наконец доверили, я вернулся из призрачного царства теней в царство красок.

После этого я уже не вылезал ночью из своего тайника, освещенного теплым светом. Я заново наслаждался многокрасочностью мира, словно человек, чудом излечившийся от дальтонизма, или животное, которое из-за строения глаза воспринимает только различные оттенки серого. Я вспомнил, что с трудом удержался от слез, когда увидел первую цветную репродукцию акварели Сезанна с изображенной на ней вершиной Сент-Виктуар. Оригинал висел в одном из залов музея, и я не раз любовался им в обманчивой полутьме лунной ночи.

Судя по всему, люди в соседней комнате собрались уходить. Я осторожно поставил крохотный картон Мане, эту частичку его прекрасного мира, на деревянный стеллаж у стены. Жаркий день, отступивший, казалось, перед каплей росы на белом пионе и перед прозрачной водой стакана, написанными художником, вновь проник в мою каморку сквозь узкое и высокое окно. И вдруг во мне горячим ключом забила радость. На секунду все смешалось в моем сознании — день вчерашний с днем сегодняшним, брюссельский запасник с каморкой Силверса. Потом осталось лишь окрыляющее чувство, чувство благодарности за то, что я еще жив, за то, что я существую. Несчетные обязанности, обступающие человека со всех сторон, в мгновение ока рухнули, подобно стенам Иерихона, рухнувшим от громогласных труб богом избранного народа; я обрел свободу, дикую соколиную свободу, от которой у меня захватило дух, ибо пе-

[1] Давайте скорее, скорее! *(Франц.)*

редо мной открылись ветер, солнце и гонимые ветром облака, открылась совсем иная, неведомая доселе жизнь.

Ко мне вошел Силверс, окутанный ароматом своей сигары.

— А вы не хотите закурить «Партагос»? — спросил он возбужденно.

Я отказался. Когда человек должен мне деньги, подобная щедрость вызывает у меня подозрение. Как-то раз один тип решил, что рассчитался со мной, подарив мне сигару. От Силверса я ждал комиссионных за миссис Уимпер. В ее доме моя «невинность» подверглась опасности, и теперь, выражаясь языком сутенера, я хотел получить за это хоть что-то. Вечером я намеревался пойти с Наташей ужинать в ресторан с кондиционированным воздухом — теперь был мой черед вести ее в ресторан. С Силверсом надо было держать ухо востро: дабы умерить мои притязания, он уже успел соврать, что миссис Уимпер — его старая знакомая. Я не удивился бы, если бы он объявил, что в мое жалованье входят и комиссионные за миссис Уимпер: ведь даже весьма почтенные фирмы автоматически присваивают себе права на патенты работающих у них изобретателей, в лучшем случае выплачивая тем лишь какую-то часть прибылей.

— Семейство Лэски клюнуло на Сислея,— сказал благодетель рода человеческого.— Как и было задумано! Я заявил им, что Рокфеллер просил подождать неделю, но он наверняка пропустит срок. Он, конечно, не думает, что я могу продать картину на следующий же день после истечения срока. Госпожа Лэски была просто вне себя от радости — шутка ли, вырвать картину из-под носа у самого Рокфеллера.

— Элементарные трюки,— заметил я небрежно.— Больше всего меня удивляет, кто на них попадается.

— Почему?

— Да потому, что попадаются-то на них бессовестные разбойники, разбогатевшие отнюдь не в результате филантропической деятельности.

— Все очень просто. Эти пираты наверняка поиздевались бы над нами всласть, попадись мы им в руки. Но искусство — не их стихия, здесь они чувствуют себя в некотором роде как акулы в подслащенной водице. Для них это — непривычное дело. И ведут они себя соответствующе. Чем хитроумней они в своей обычной среде, тем быстрее попадаются на наши самые простые уловки. Прибавим сюда влияние жен.

— Мне надо к фотографу,— сказала Наташа.— Пойдем вместе. Я задержусь не надолго.

— На сколько?

— Час или немного больше. Почему ты спрашиваешь? Тебе там скучно?

— Вовсе нет. Просто я хотел выяснить, когда пойдем ужинать: до фотографа или потом?

— Потом. Тогда у нас будет сколько угодно времени. А то мне уже через полчаса надо быть на месте. И вообще, разве это так важно. Ты уже получил комиссионные за миссис Уимпер?

— Нет еще. Зато получил десять долларов от братьев Лоу за совет. Они купили китайскую бронзу всего за двадцать долларов. И теперь я горю желанием прокутить с тобой эти деньги.

Наташа нежно взглянула на меня.

— Мы их обязательно прокутим. Сегодня вечером.

У фотографа было прохладно — закрытые окна и кондиционер. И у меня возникло впечатление, что я сижу в подводной лодке. Остальная публика, по всей видимости, ничего не замечала; мои ощущения объяснялись тем, что я был здесь новичком.

— В августе будет еще жарче,— сказал Никки мне в утешение и взмахнул рукой с цепочкой на запястье.

Включили софиты. Кроме Наташи в ателье была еще брюнетка-манекенщица, которую я видел в прошлый раз. И тот бледный чернявый специалист по лионским шелкам. Он меня узнал.

— Война подходит к концу,— сказал он меланхолически и устало.— Еще год, и мы о ней забудем.

— Вы в это верите?

— У меня есть сведения оттуда.

— Вот как?

В нереальном белом свете софитов, разъединяющем людей и делающем более четкими все контуры и пропорции, мне вдруг поверилось в это наивное пророчество — может, и впрямь этот человек знает больше, чем все остальные. Я глубоко вздохнул. Да, я понимал, что Германия находится в тяжелом положении, но все равно не мог поверить, что война когда-нибудь кончится, точно так же, как не мог поверить в смерть. О смерти люди говорят и знают, что она неизбежна, но никто в нее не верит, поскольку она лежит за пределами понятий о жизни и обусловлена самой жизнью. Смерть нельзя постичь.

— В самом деле! — заверил меня мой бледный собеседник.— Вот увидите! В будущем году мы опять сможем импортировать лионский шелк.

Меня охватило странное волнение — тот безвременный вакуум, в котором жили мы, эмигранты, внезапно утратил свою непреложность. Даже нелепое упоминание о лионском шелке не мешало этому ощущению. Часы затикали снова, колокола зазвонили, остановившаяся киноленте опять начала крутиться; она крутилась все быстрей и быстрей, вперед и назад, в сумасшедшей непоследовательности, словно брошенная с размаху шпулька. Читая сообщения в газетах, я ни разу всерьез не поверил, что война когда-нибудь кончится. Но даже если бы я предположил на секунду, что это может произойти, то и тогда ждал бы неизбежного наступления чего-то иного, гораздо более страшного. Для меня это был привычный образ мыслей. А сейчас передо мной сидел бледный человечек, для которого конец войны означал, что в Америку опять начнется ввоз лионского шелка! Только и всего. Эта идиотская фраза убедила меня в возможности окончания войны куда больше, чем убедили бы два фельдмаршала и один президент в придачу. Лионский шелк — услада жизни — мог больше не бояться войны.

Наконец появилась Наташа. Она была в облегающем белом вечернем платье с открытыми плечами, в длинных белых перчатках, с диадемой императрицы Евгении от «Ван Клеефа и Арпельса». Меня словно ударило в сердце. Мне вспомнилась предыдущая ночь, а сейчас передо мной стояла эта женщина, так непохожая на вчерашнюю Наташу, ярко освещенная, почти нереальная, женщина с мраморно-холодными плечами в искусственном холоде ателье. Даже эта диадема, сверкавшая в Наташиных волосах, казалась неким символом — она вполне могла бы венчать статую Свободы в Нью-Йоркской гавани.

— Лионский шелк! — заметил бледный человек рядом со мной.— Наш последний рулон!

— Неужели?

Я не сводил глаз с Наташи. С сосредоточенным видом она молча стояла в белом свете софитов. И мне казалось, что передо мной — очень хрупкая, прелестная копия гигантской статуи, которая освещает своим факелом бушующие волны Атлантики, бесстрашная женщина, правда, не совсем такая, как ее могучий прототип — некий гибрид Брунгильды и разбитной французской торговки,— а женщина, скорее похожая на вы-

шедшую из девственных лесов Диану, воинственную и непобедимую. Но и эта Диана была опасна. Опасна и готова драться за свою свободу.

— Как вам понравился «роллс-ройс»? — спросил кто-то, опускаясь на стул рядом со мной.

Я оглянулся.

— Это ваш «роллс-ройс»?

Незнакомец кивнул. Он был высокого роста, темноволосый и моложе, чем я предполагал.

— Фрезер,— представился он.— Наташа хотела привести вас ко мне еще несколько дней назад.

— Я был занят,— сказал я.— Большое спасибо за приглашение.

— Сегодня наверстаем упущенное,— сказал он.— Я уже говорил с Наташей. Отправимся к «Лухову». Вы знаете этот ресторан?

— Нет,— сказал я удивленно. А я-то рассчитывал пойти с Наташей в «Морской царь». Мне так хотелось побыть с нею наедине. Но я не знал, как выйти из положения. Не мог же я сказать «нет», не оказавшись в дураках, если Наташа согласилась. Правда, я был не совсем уверен, что она дала согласие. Однако, кто мог поручиться, что Наташа не захочет продемонстрировать мне свой вариант миссис Уимпер,— так сказать, «мистера Уимпера». Конечно, я бы скорее удавился, чем вступил бы в сговор с этим господином. Пусть он раздобудет себе второго Силверса!

— Ну, хорошо. Стало быть, до скорого свидания.

Фрезер, по-видимому, привык, чтобы ему повиновались. Мне не хотелось принимать приглашение от него и Наташи. И он, хоть и не подал виду, понял это, что было ясно по его тону, вежливому, но не терпящему возражений.

Мы встретились с Наташей в ту минуту, когда она закрывала свой чемоданчик.

— Ты наденешь диадему? — спросил я.

— До такой степени я не пользуюсь их доверием. Диадему уже вернули. Служащий «Ван Клеефа» отвозит ее обратно.

— А мы, значит, идем в «Лухов»?

— Да, ты ведь так пожелал.

— Я? — переспросил я.— Мне хотелось промотать свои десять долларов вместе с тобой в «Морском царе». Но ты приняла приглашение от владельца «роллс-ройса».

— Я? Он подошел ко мне и сказал, что договорился с тобой.

— Он договорился со мной после разговора с тобой.

Наташа засмеялась.

— Ну и жулик!

Я смотрел ей прямо в глаза. И не знал, можно ей верить или нет. Если она говорила правду, то я попался на удочку глупейшим образом, что было мне, ученику Силверса, совершенно непростительно. Но я никак не мог предположить, что Фрезер пойдет на такой трюк; это не вязалось с его обликом.

— Раз так, поехали,— сказала Наташа.— Твои десять долларов мы прокутим завтра.

«Роллс-ройс» поджидал нас на другой стороне улицы у магазина скобяных изделий. Я сел в него с весьма противоречивыми чувствами, которые злили меня своей детскостью. Фрезер перешел с нами через улицу. После прохлады ателье невыносимая духота вечера почти оглушила нас.

— На будущий год велю встроить в машину кондиционер,— сказал Фрезер.— Кондиционеры для автомобилей уже изобретены, но их пока не производят. Война ведь продолжается.

— Летом будущего года она кончится,— сказал я.

— Вы в этом уверены? — спросил Фрезер.— В таком случае вы осве-

домлены лучше, чем Эйзенхауэр. Рюмку водки? — Он открыл хорошо знакомый мне бар.

— Покорнейше благодарю,— ответил я.— Но сейчас слишком жарко для водки.

К счастью, до ресторана «Лухов» было недалеко. Я уже приготовился гореть на медленном огне по милости Наташи и Фрезера, от которого ждал теперь самого худшего. К моему величайшему изумлению, «Лухов» оказался немецким рестораном. Вначале я решил, что мы просто по ошибке снова попали в немецкий квартал. Но потом даже не удивился — этот «роллс-ройс» приносил мне несчастье.

— Как вы относитесь к жаркому из оленины с брусникой? — спросил Фрезер.— И к картофельным оладьям?

— Разве в Штатах есть брусника?

— Да. Похожая ягода. Но здесь еще осталась моченая брусника из Германии. У вас на родине ее называют «прайсельберен», что значит прайсельская ягода. Правильно? — спросил Фрезер очень любезно, но не без ехидства.

— Возможно,— ответил я.— Я давно не был на родине. За это время многое изменилось. Не исключено, что бруснику теперь называют по-другому, если слова «прайсельская ягода» показались кому-нибудь недостаточно арийскими.

— Прайсельская? Ну что вы! Это звучит почти как прусская.

Фрезер захохотал.

— Что мы будем пить, Джек? — спросила Наташа.

— Что хочешь. Может, господин Росс пожелает выпить кружку пива? Или рейнвейна? Здесь еще сохранились запасы рейнвейна.

— От пива не откажусь. Оно больше соответствует здешнему духу,— сказал я.

Пока Фрезер совещался с официантом, я огляделся вокруг. Этот ресторан представлял собой нечто среднее между баварской пивнушкой в псевдонародном стиле и рейнским винным погребком. Кроме того, он слегка смахивал на «Хауз Фатерланд»[1]. В зале негде было яблоку упасть. Оркестр исполнял танцевальную музыку вперемежку с народными песнями. Я догадался, что Фрезер выбрал этот ресторан неспроста. Медленный огонь, на котором я должен был гореть, он зажег, так сказать, на эмигрантском топливе. Чтобы хоть как-то сохранить свое лицо, я был вынужден по пустякам защищать ненавистное мне отечество от нападок этого американца. Исключительная низость! Довольно хитроумным способом меня делали сопричастным преступлениям расы господ. «Так изничтожают только соперников!» — подумал я.

— Не взять ли нам на закуску селедку по-домашнему? — осведомился Фрезер.— Здесь она на редкость вкусная. И не запить ли нам эту селедку глотком настоящего немецкого штейнхегера, который пока еще подают в «Лухове»?

— Гениальная идея!— согласился я.— Но, к сожалению, врач запретил мне эти деликатесы.

Как и следовало ожидать, Наташа немедленно нанесла мне удар с фланга, заказав селедку со свеклой. Истинно немецкое блюдо!

Оркестр играл самые приторно-сладкие и самые идиотские рейнские песенки, какие я когда-либо слышал. В ресторане царила типичная туристско-провинциальная атмосфера, и меня особенно удивляло то, что часть посетителей принимала ее всерьез и считала высокопоэтичной. Я просто поражался невзыскательности американцев.

Вино настроило меня на более миролюбивый лад, и я принялся с лег-

[1] «Хауз Фатерланд» — фешенебельный берлинский ресторан в веймарской Германии.

ким сарказмом восхищаться Фрезером. Он в свою очередь спросил, не нуждаюсь ли я в помощи. И, разыгрывая из себя эдакого скромненького бога-отца из Вашингтона, который охотно уберет с моего пути любые препятствия, стоит мне только слово сказать, подбросил еще дров в медленно горевший эмигрантский костер. Но и я не остался в долгу: пропел восторженную оду Америке, заявив, что дела у меня в полном порядке и что я сердечно благодарю за заботу. Чувствовал я себя при этом довольно паршиво, хотя и не придавал значения пристальному интересу Фрезера к моим документам, особенно потому, что не знал, действительно ли он пользуется влиянием или просто напускает на себя важность.

Жаркое из оленины оказалось превосходным, равно как и картофельные оладьи. Я догадался, почему в ресторане негде яблоку упасть. Очевидно, в Нью-Йорке это было единственное заведение подобного рода.

Я ненавидел себя за то, что у меня не хватало чувства юмора, чтобы насладиться создавшейся ситуацией. Наташа, казалось, ничего не замечала. Теперь она потребовала пудинг с фруктовым сиропом. Я бы не удивился, если бы она предложила пойти после ужина в кафе «Гинденбург» выпить чашку кофе с пирожными. Не исключено, что она рассердилась на меня,— ведь, по ее версии, она попала в это неловкое положение из-за моей тупости. Одно было ясно: с Фрезером Наташа проводила вечер не в первый раз, и он сделал все от него зависящее, чтобы показать мне это. Ясно было также, что я провожу с ним вечер в последний раз. Меня вовсе не устраивало, чтобы американцы попрекали меня своими благодеяниями. Я не желал благодарить каждого американца в отдельности за то, что мне позволено жить в Америке. Я был благодарен властям, но никак не этому Фрезеру, который и пальцем не шевельнул ради меня.

— Не закончить ли нам вечер в «Эль Марокко»?

Только этого не хватало! Я и так уже слишком долго чувствовал себя эмигрантом, которого терпят поневоле. От Наташи я ожидал всего — она вполне могла согласиться. Наташа любила ходить в «Эль Марокко». Но она отказалась.

— Я устала, Джек,— сказала она.— Сегодня у меня был трудный день. Отвези меня домой.

Мы вышли на улицу, в духоту.

— Может, пойдем пешком? — предложил я Наташе.

— Но ведь я вас довезу,— сказал Фрезер.

Именно этого я и опасался. Он хотел высадить меня у дома, а потом уговорить Наташу поехать с ним дальше. В «Эль Марокко» или к нему. Кто знает? И какое мне, в сущности, до этого дело? Разве у меня были какие-нибудь права на Наташу? Что это вообще такое — «права»? А если что-нибудь в этом роде и существует, то, может, права были скорей у Фрезера? Может, я просто оккупант? И к тому же оккупант, который разыгрывает из себя обиженного?

— Вы тоже поедете? — спросил Фрезер не слишком дружелюбно.

— Я живу недалеко. Могу дойти пешком.

— Глупости,— возразила Наташа.— Идти пешком в такую духотищу! Довези нас до моего дома, Джек. Оттуда ему два шага.

— Хорошо.

Мы сели в машину. Джек мог еще попытаться высадить меня первым, но у него хватило ума предположить, что Наташа взбунтуется. Перед Наташиным домом он вышел из «роллс-ройса» и попрощался с нами.

— Очень приятный вечер! Повторим нашу вылазку как-нибудь еще.

— Большое спасибо. С удовольствием.

«Ни за что!» — поклялся я мысленно, наблюдая за тем, как Фрезер целует Наташу в щеку.

— Спокойной ночи, Джек,— сказала она.— Мне очень жаль, что я не могу пойти с тобою, но я слишком устала.

— В другой раз. Спокойной ночи, darling.

Это был его прощальный выпад. «Darling»,— думал я.— В Штатах это слово ничего не значит и значит очень многое. Так называли телефонисток, которых и в глаза не видели, и так называли женщин, которых любили больше жизни. «Darling»... на сей раз Фрезер заложил мину замедленного действия».

Мы с Наташей стояли друг против друга. И я знал, что, если не сдержусь сейчас, все будет кончено.

— Очень милый человек,— сказал я.— Ты на самом деле так устала, Наташа?

Она кивнула.

— На самом деле. Было очень скучно, и Фрезер — омерзительный тип.

— Не нахожу. С его стороны было просто очаровательно повести нас в немецкий ресторан ради меня. Таких чутких людей не часто встретишь.

Наташа взглянула на меня.

— Darling,— сказала она, и это словечко пронзило меня, как острая зубная боль.— Не старайся быть джентльменом. Джентльмены удивительно часто наводили на меня скуку.

— Сегодня вечером тоже?

— Сегодня вечером тоже. Не понимаю, о чем ты думал, когда принимал это дурацкое приглашение.

— Я?

— Да, ты! Попробуй скажи, что виновата я.

Я уже собирался сказать это. Но тут, к счастью, вспомнил об уроке, который дал мне отец в день моего семнадцатилетия.

«Ты,— сказал он,— вступаешь в эпоху женщин. Запомни поэтому: только безнадежные кретины хотят доказать свою правоту женщине и взывают к ее логике».

— Виноват я! — пробормотал я в бешенстве.— Если можешь, прости меня за то, что я свалял дурака.

Наташа подозрительно оглядела меня.

— Ты действительно думаешь, что свалял дурака? Или это очередной подвох?

— И то и другое, Наташа.

— И то и другое?

— А как же иначе. Я совершенно сбит с толку, превратился в полного идиота. Ведь я боготворю тебя.

— Этого я как-то не заметила.

— И не надо. Мужчина, который боготворит женщину у всех на виду, напоминает слюнявого дога. А мое состояние выражается в растерянности, в беспричинных вспышках ненависти и в явной тупости. Ты делаешь из меня черт знает что! И притом все время.

Выражение ее лица изменилось.

— Бедняжка! — сказала она.— И я не могу даже взять тебя наверх. Моя соседка грохнется в обморок. А очнувшись, начнет подслушивать под дверью. Нет, это невозможно.

Я бы отдал все на свете, чтобы пойти с Наташей. Тем не менее я вдруг воспрянул духом от того, что это невозможно. Стало быть, и для других это тоже невозможно. Я обнял ее за плечи.

— Ведь у нас с тобой еще много времени впереди,— сказала она.— Бесконечно много времени. Завтра, послезавтра, недели, месяцы... И все же нам кажется, что из-за этого одного, не совсем удавшегося вечера вся жизнь пропала.

— Я все еще вижу у тебя в волосах диадему от «Ван Клеефа». Я

хотел сказать, опять вижу. У «Лухова» я ее уже почти не видел. Видел вместо нее фальшивый жестяной обруч девятнадцатого века.

Наташа рассмеялась.

— В ресторане ты меня терпеть не мог. Правда?

— Да.

— И я тебя тоже. Не будем повторять такие хождения. Мы ведь еще пока на грани ненависти.

— А разве от этого можно уйти?

— Слава богу, нет. Не то жизнь превратилась бы в сплошную патоку.

Я подумал, что в этом мире явно не хватает сладкого. Но ничего не сказал. Вечно меня тянет к дешевым обобщениям. Проклятый характер!

— Мед лучше патоки,— сказал я вслух.— Ты пахнешь медом. И сегодня ты являлась в разных ипостасях. Не забывай, что я в модах профан. И принимаю их пока всерьез, верю в них. Даже когда ты надеваешь диадему, взятую напрокат.

Она потянула меня в подъезд.

— Поцелуй меня,— пробормотала она.— И люби меня. Мне нужно, чтобы меня очень любили. А теперь — убирайся! Уходи! Или я сорву с себя платье!

— Сорви! Нас никто не видит.

Она вытолкнула меня на улицу.

— Иди! Ты сам во всем виноват! Иди!

Она захлопнула дверь. Ночь была душная и влажная, и я медленно побрел к станции метро. Из метро на меня пахнуло спертым горячим воздухом, словно из подземелья, где тлела куча угля. Станция была плохо освещена. Поезд выскочил из темноты и с лязгом остановился. Вагон был почти пустой. Только в углу сидела пожилая женщина и наискосок от нее — мужчина. Я сел в другом конце вагона. И мы помчались под землей чужого города.

Это было одно из тех мгновений, когда имена, которые люди присваивают вещам, слетают с них, подобно шелухе, и когда вещи эти внезапно предстают перед человеком без пелены иллюзий, как нечто до ужаса враждебное, отчужденное по самой своей изначальной сути. Все связи на этой земле распались. И имена потеряли смысл. Остался лишь мир, полный угрозы, мир, лишенный имени и потому таивший в себе безымянные опасности, которые подстерегали тебя на каждом шагу. Опасности эти не обрушивались на человека сразу, не хватали его за горло, не валили с ног — нет, они были куда ужасней, ибо подкрадывались беззвучно, незаметно.

Я взглянул в окно — мимо меня проносилась эта чужая тьма, заглядывавшая в окна тускло освещенного поезда, в котором еще сохранилась капля человечности, правда, уже всем чуждой, призрачной, как полет летучей мыши: очертания лиц, кивок головы, частичка тепла, прикосновение плеч — язычок пламени из иного, безымянного мира, походивший на вольтову дугу и создававший впечатление моста, перекинутого через бездну. Но лишь впечатление — в действительности уже ничто не могло преодолеть хаос безграничной отчужденности и безнадежного одиночества. Не безобидного сентиментального одиночества, но одиночества абсолютного, в котором человек — это задуваемая ветром искра жизни — первая и последняя.

XVIII

Кан попросил меня сопровождать его.

— Речь идет о разбойничьем нападении,— сказал Кан,— на человека по имени Гирш. Надо вступиться за доктора Грефенгейма.

— Это тот Гирш, который облапошил Грефенгейма?

— Вот именно! — ответил Кан грозно.

— Тот Гирш, который утверждает, что никогда в жизни не получал ничего от Грефенгейма? А разве у Грефенгейма есть хотя бы клочок бумаги, обличающий Гирша?

— Все верно. Поэтому я и называю наш поход разбойничьим. Если бы у Грефенгейма была в руках хоть какая-нибудь расписка, на худой конец даже письмо, мы обратились бы к адвокату. Но у него в руках — воздух, в кармане — ни гроша и — золотая голова. Тем не менее он больше не может сдавать свои экзамены из-за отсутствия денег. Как-то раз он написал Гиршу и не получил ответа. До этого он сам заходил к нему. Гирш незамедлительно, хотя и вежливо, выпроводил его и пригрозил, что, если Грефенгейм явится снова, он привлечет его к ответственности за шантаж. И тут на Грефенгейма напал извечный панический страх эмигранта. Он решил, что его вышлют. Все это я знаю от Бетти.

— Вы посвятили Грефенгейма в свой план?

Кан обнажил зубы в усмешке.

— Как бы не так! — сказал он, засмеявшись.— Грефенгейм ляжет костьми у дверей Гирша, чтобы не допустить нас к нему. Все тот же извечный страх!

— А Гирш знает, что мы к нему придем?

Кан кивнул.

— Я подготовил его. Два телефонных звонка.

— Он вышвырнет нас вон. Или велит сказать, что его нет дома.

Кан опять обнажил зубы. Это была его манера улыбаться, но когда он так улыбался, я предпочитал не иметь его среди своих врагов. Да и походка у Кана изменилась. Он шел сейчас быстрее, шаги стали шире, морщины на лице разгладились. Я подумал, что так он, наверное, выглядел во Франции.

— Нет, Гирш будет дома!

— Со своим поверенным, чтобы привлечь и нас за шантаж.

— Не думаю,— сказал Кан и вдруг остановился.— Стервятник живет здесь. Недурно, не правда ли?

Это был дом на Пятьдесят четвертой улице. Красные ковровые дорожки, по стенам гравюры на металле, лифтер в причудливой ливрее. Наконец, сам лифт, обшитый деревянными панелями, с зеркалом. Благосостояние средней руки.

— На пятнадцатый этаж! — сказал Кан.— К Гиршу!

Мы взлетели наверх.

— Не думаю, что он позвал адвоката,— произнес Кан.— Я пригрозил ему, сказав, что располагаю новыми материалами. И поскольку Гирш жулик, он захочет увидеть их без свидетелей. А поскольку он еще не стал американским гражданином, в нем сидит старый добрый страх. Так что он предпочтет узнать сперва, в чем дело, и только потом доверится адвокату.

Кан позвонил. Дверь открыла горничная и провела нас в комнату, обставленную позолоченной мебелью под Людовика XV.

— Господин Гирш сейчас придет.

Гирш был круглый, среднего роста господин, лет пятидесяти. Вместе с ним в этот позолоченный рай вбежала немецкая овчарка. Увидев овчарку, Кан осклабился.

— Последний раз я видел эту породу в гестапо, господин Гирш,— сказал он.— Там их держат для охоты на людей.

— Спокойно, Гарро! — Гирш потрепал собаку по спине.— Вы хотели поговорить со мной. Но не предупредили, что явитесь не один. У меня очень мало времени.

— Познакомьтесь с господином Россом. Я вас не задержу, господин Гирш. Мы пришли к вам по делу доктора Грефенгейма, он болен, у него нет денег, и ему придется прекратить свои занятия в университете. Вы с ним знакомы, не правда ли?

Гирш не ответил, он продолжал похлопывать по спине собаку, которая тихонько рычала.

— Значит, вы с ним знакомы,— сказал Кан.— Не знаю только, знакомы ли вы со мной. Кан — распространенная фамилия, точно так же как и Гирш. Я — Кан по прозвищу Кан-Гестапо. Возможно, вы обо мне уже слышали. Во Франции я довольно долго дурачил гестапо. В этой игре далеко не все приемы были благородными. Разумеется, с обеих сторон. Я не очень церемонился с ними. Этим я хочу сказать, что немецкая овчарка в качестве стража рассмешила бы меня. Она меня и сейчас смешит. Прежде чем ваш пес дотронется до меня, господин Гирш, он издохнет. Не исключено, что и вы последуете за ним, что, впрочем, не входит в мои расчеты. Цель нашего визита — сбор денег в пользу доктора Грефенгейма. Полагаю, вы мне поможете в этом деле? Сколько денег вы дадите для доктора Грефенгейма?

Гирш не сводил глаз с Кана.

— А почему я должен давать деньги?

— На это есть много причин. Одна из них — сострадание.

Довольно долгое время Гирш, казалось, что-то жевал. При этом он по-прежнему не сводил глаз с Кана. Наконец он вытащил из кармана пиджака коричневый бумажник крокодиловой кожи, открыл его и, помуслив палец, достал из бокового отделения две бумажки.

— Вот вам двадцать долларов. Больше дать не могу. Ко мне приходит слишком много народа по тому же поводу. Если все эмигранты пожертвуют вам столько же, вы без труда соберете плату за учение доктора Грефенгейма.

Я думал, Кан швырнет эти деньги в Гирша. Но он взял бумажки и сунул их в карман.

— Прекрасно, господин Гирш,— сказал он,— с вас причитается еще девятьсот восемьдесят долларов. При самой скромной жизни, отказавшись от курева и питья, Грефенгейм не обойдется меньшей суммой.

— Вы изволите шутить. У меня нет времени, чтобы...

— У вас есть время, чтобы выслушать меня, господин Гирш. И не рассказывайте, пожалуйста, что в соседней комнате у вас сидит адвокат. Он там не сидит. А теперь я хочу рассказать одну историю, которая вас наверняка заинтересует. Вы еще пока не американский гражданин, но надеетесь стать им в будущем году. Поэтому для вас нежелательны всякого рода неприятные пересуды. Соединенные Штаты на этот счет довольно-таки щепетильны. И вот я и мой друг Росс — известный журналист — решили предостеречь вас от ложного шага.

— Вы не возражаете, если я извещу полицию? — спросил Гирш, который, по всей видимости, принял решение.

— Ни в малейшей степени. Заодно мы передадим им свои материалы.

— Материалы! Шантаж в Америке карается довольно строго. Убирайтесь.

Кан уселся на один из позолоченных стульев.

— Вы думаете, Гирш,— сказал он совсем другим тоном,— что вы поступили очень умно. Но это не так. Вам следовало вернуть деньги Грефенгейму. У меня в кармане лежит заявление на имя иммиграционных властей с просьбой не давать вам американского гражданства. Подписанное сотней эмигрантов. Есть у меня и другое заявление и также с просьбой не давать вам подданства из-за ваших махинаций с гестапо в Германии. Это заявление подписано шестью эмигрантами и содержит

подробное объяснение того, почему вы сумели вывезти из Германии больше денег, чем другие, названа также фамилия нациста, который переправил вас в Швейцарию. Кроме того, у меня есть вырезка из лионской газеты, где рассказывается о еврее Гирше, который на допросе в гестапо выдал местопребывание двух беженцев, в результате чего они были расстреляны. Не стоит возражать, господин Гирш. Возможно, это были не вы, но я все равно буду утверждать, что это вы.

— Что?

— Да. Я засвидетельствую, что это были вы. Здесь знают о моей борьбе во Франции. И мне поверят скорее, чем вам.

Гирш как загипнотизированный смотрел на Кана.

— Вы хотите дать ложные показания?

— Ложные только в примитивном толковании права! Я придерживаюсь другого принципа: око за око, зуб за зуб. Библейского принципа, Гирш. Вы загубили Грефенгейма, мы загубим вас. И тут уж неважно, что ложь и что правда. Я ведь вам уже сказал, что, живя под властью нацистов, кое-чему научился.

— Полиция в Америке...

— Про полицию в Америке мы тоже проходили,— прервал его Кан,— и знаем неплохо. Нам она не нужна. Чтобы разделаться с вами, хватит тех бумаг, которые лежат у меня в кармане. Тюрьма вовсе не обязательна. Достаточно, если мы отправим вас в лагерь для интернированных.

Гирш поднял руку.

— Ну это уже не в вашей компетенции, господин Кан. Тут нужны другие доказательства, более веские, чем ваши бумажки.

— Вы уверены? — спросил Кан.— В военное-то время? Для человека, родившегося в Германии и к тому же эмигранта? Ничего страшного ведь не случится, вас посадят всего-навсего в лагерь для интернированных. А это весьма гуманное заведение. Чтобы туда попасть, особых причин не требуется. Представим себе даже, что вам удастся избежать лагеря... Что же будет с вашим подданством? Любые сомнения, любые сплетни могут сыграть здесь решающую роль.

Гирш вцепился в собачий ошейник.

— Ну, а что будет с вами? — спросил он тихо.— Что будет с вами, если все обнаружится? Что станет с вами? Шантаж, лжесвидетельство...

— Я знаю точно, что за это следует,— сказал Кан.— Но мне это безразлично. Мне на это наплевать. Наплевать на все то, что так важно вам, жуликам, которые мечтают устроить свое будущее. Мне все едино. Впрочем, это выше вашего разумения. Вы ведь жалкий червь. Я уже во Франции на всем поставил крест. Иначе я бы не мог делать то, что делал. Потому что мне чуждо абстрактное человеколюбие. Просто мне все безразлично. И если вы что-нибудь предпримете против меня, я не побегу к судье, Гирш. Я сам вас прикончу. Мне это не впервой. Вам не понять, до чего доводит человека отчаяние, истинное отчаяние. И как дешева человеческая жизнь в наши дни.— Лицо Кана исказила гримаса отвращения.— Не знаю, зачем все это нужно. Я не собираюсь вас разорять. Вы заплатите всего лишь малую толику того, что присвоили. Вот и все.

Мне снова показалось, что Гирш беззвучно жует что-то.

— Я не держу дома денег,— выдавил он из себя наконец.

— Тогда дайте чек.

Внезапно Гирш отпустил овчарку.

— Гарро, куш! — крикнул он, открывая дверь.

Собака убежала. Гирш закрыл за ней дверь.

— Наконец-то! — сказал Кан.

— Я не дам вам чека,— заявил Гирш.— Вы ведь понимаете почему.

Я смотрел на него с интересом. Сначала я не думал, что он так быстро уступит. Наверное, Кан был прав. Всепоглощающий страх в сочетании с конкретным чувством вины лишил Гирша уверенности в себе. Кроме того, он быстро соображал и так же быстро действовал. Если только не собирался выкинуть какой-нибудь фортель.

— Завтра я приду к вам опять,— сказал Кан.

— А как же бумаги?

— Уничтожу их завтра на ваших глазах.

— Я дам деньги только в обмен на бумаги.

Кан покачал головой.

— Чтобы вы узнали имена тех, кто готов свидетельствовать против вас? Исключено!

— Какая у меня гарантия, что вы уничтожите именно те бумаги?

— Я даю слово,— сказал Кан.— Моего слова достаточно.

Гирш снова беззвучно пожевал что-то.

— Хорошо,— сказал он вполголоса.

— Завтра в то же самое время! — Кан поднялся с позолоченного стула.

Гирш кивнул. И вдруг весь покрылся потом.

— У меня болен сын,— прошептал он,— единственный сын! А вы... Как не стыдно! — сказал он внезапно.— Я в отчаянии. А вы!..

— Надеюсь, ваш сын поправится,— ответил Кан спокойно.— Доктор Грефенгейм наверняка назовет вам лучшего здешнего врача.

Гирш не ответил. Лицо его одновременно выражало и злобу и боль. Злоба застыла у него в глазах, и он горбился сейчас сильнее, чем вначале. Но я уже не раз убеждался, что боль из-за утраты денег бывает не менее сильной, чем любая другая боль. Не исключено также, что Гирш видел таинственную связь между страданиями сына и его, Гирша, подлостью в отношении Грефенгейма. Не потому ли он так быстро уступил? И не возросла ли его злость из-за невозможности сопротивляться? Как ни странно, мне было его почти жаль.

— Я совсем не уверен, что сын его действительно болен.

— Думаю все же, что это так.

Кан взглянул на меня с усмешкой.

— Не уверен даже, что у него вообще есть сын,— сказал он.

Мы вышли на улицу: было жарко и влажно, как в парильне.

— Вы считаете, что с Гиршем завтра будет немного возни?

— Думаю, нет. Он боится, что не получит американского гражданства.

— Зачем вы, собственно, взяли меня? Я ведь вам скорее мешал. При свидетелях Гиршу приходилось держаться осторожнее. Без меня вам, наверное, было бы легче.

Кан засмеялся.

— Но не намного. Зато мне очень помогла ваша внешность.

— Почему?

— Да потому, что вы выглядите так, как представляют себе арийцев колченогие и чернявые фюреры в Германии. Евреи типа Гирша не принимают своего брата всерьёз. Но ежели ты явился с эдакой «белокурой бестией», они ведут себя совсем иначе. Полагаю, вы здорово напугали Гирша.

Я вспомнил, что не так давно мне волей-неволей пришлось защищать Германию от Фрезера. Теперь меня использовали как средство устрашения, как нациста... Я не такой уж мастер находить во

всем смешную сторону и в данном случае ничего смешного не увидел. Я чувствовал себя так, словно меня облили помоями.

Но Кан ничего не замечал. Пружинящей походкой он шел сквозь неподвижный зной этого невыносимо душного дня; шел, подобно охотнику, который обнаружил дичь.

— Наконец хоть какой-то просвет в этой скуке. Надоело все до чертиков! Я не привык быть в безопасности. В этом смысле я человек безнадежно испорченный.

— Почему вы не запишетесь добровольцем? — спросил я сухо.

— Записался. Но вы ведь знаете, что нас не берут на войну, мы — «нежелательные иностранцы». Прочтите, что написано в вашем удостоверении.

— У меня его нет. Я еще на ступеньку ниже вас. И все же вы — другое дело. Уверен, что в Вашингтоне известно о вашей деятельности во Франции.

— Известно. И потому мне еще меньше доверяют, опасаются двойной игры. Тот, кто совершал такие дерзкие поступки, мог обладать особого рода связями. Такова логика официальных учреждений. Я не удивлюсь, если меня посадят за решетку. Наша эпоха — эпоха кривых зеркал, где все выглядит нелепым.— Кан засмеялся.— К сожалению, это интересно только писателям, но не нам, простым смертным.

— Вы действительно собрали подписи эмигрантов против Гирша?

— Конечно нет. Поэтому я и запросил всего тысячу долларов, а не всю сумму. Пускай Гирш считает, что он еще легко отделался.

— По-вашему, он считает, что совершил выгодный бизнес?

— Да, бедный мой Росс,— сказал Кан сочувственно,— так устроен мир.

— Мне хочется поехать в какое-нибудь тихое местечко,— сказал я Наташе.— За город или к озеру, где не будешь обливаться потом.

— У меня нет машины. Позвонить Фрезеру?

— Ни в коем случае.

— Совсем не обязательно брать его с собой. Мы просто одолжим у него машину.

— Все равно не надо. Лучше поедем в метро или на автобусе.

— Куда?

— Вот именно, куда? В этом городе летом, по-моему, вдвое больше жителей, чем обычно.

— И повсюду — жара невыносимая. Бедный мой Росс!

С досады я обернулся. Сегодня меня уже во второй раз назвали «бедным Россом».

— Нельзя ли поехать в «Клойстерс», где выставлены ковры с единорогами? Я их никогда в жизни не видел. А ты?

— И я не видела. Но музеи по вечерам закрыты. Для эмигрантов тоже.

— Иногда мне все же надоедает быть эмигрантом,— сказал я, еще более раздосадованный.— Сегодня я, к примеру, весь день был эмигрантом. Сперва с Сильверсом, потом с Каном. Как ты относишься к тому, чтобы побыть просто людьми?

— Когда человеку не надо заботиться ни о своем пропитании, ни о крове, он перестает быть просто человеком, дорогой мой Руссо и Торо. Даже любовь ведет к катастрофам.

— В том случае, если ее воспринимают иначе, чем мы.

— А как мы ее воспринимаем?

— В общем плане. А не в частном.

— Боже правый! — сказала Наташа.

— Воспринимаем, как море. В целом. А не как отдельную волну. Ведь ты сама так думаешь? Или нет?

— Я? — В голосе Наташи слышалось удивление.

— Да, ты. Со всеми твоими многочисленными друзьями.

Наступила краткая пауза. Потом она сказала:

— Как по-твоему, рюмка водки меня не убьет?

— Не убьет. Даже в этой душной дыре.

Злясь без причины, я попросил у Меликова — сегодня дежурил он — бутылку водки и две рюмки.

— Водку? В такую жару? — удивился Меликов.— Будет гроза. Парит ужасно. Хоть бы у нас установили какое-то подобие кондиционера. Эти проклятые вентиляторы только месят воздух.

Я вернулся к Наташе.

— Прежде чем мы начнем с тобой ссориться, Наташа,— сказал я,— подумаем, куда нам пойти. Ссориться лучше в прохладе, а не в такой духоте. Я отказываюсь от загородной прогулки и от озера. И на сей раз я при деньгах. Силверс вручил мне комиссионные.

— Сколько?

— Двести пятьдесят долларов.

— Вот скряга. Пятьсот было бы в самый раз.

— Ерунда! Он объяснил, что, в сущности, ничего мне не должен. Он уже якобы давно знаком с миссис Уимпер. Вот что меня разозлило. А не сумма. Сумма показалась мне вполне приемлемой. Но я ненавижу, когда мне делают подарки.

Наташа поставила рюмку.

— Ты всегда это ненавидел? — спросила она.

— Не знаю,— сказал я с удивлением.— Наверное, нет. Почему ты спрашиваешь?

Она внимательно взглянула на меня.

— Мне показалось, что несколько недель назад это было тебе безразлично.

— Думаешь? Может быть. У меня нет чувства юмора. Наверняка все дело в этом.

— Чувства юмора у тебя хватает с избытком. Впрочем, сегодня оно тебе, возможно, изменило.

— Кто в силах сохранить чувство юмора при такой жарище?

— Фрезер,— тут же ответила Наташа.— В любую погоду юмор бьет в нем ключом, даже в зной.

Множество мыслей разом пронеслось у меня в голове, но я не сказал того, что хотел сказать. Вместо этого я спокойно заметил:

— Он мне очень понравился. Да, ты права, юмор бьет в нем ключом. В тот вечер он был очень занимательным собеседником.

— Дай мне еще полрюмки,— сказала Наташа, смеясь и поглядывая на меня.

Я молча налил ей полрюмки.

Она встала, погладила меня и спросила:

— Куда же ты предлагаешь идти?

— Я не могу затащить тебя к себе в номер, здесь слишком много народа.

— Затащи меня в какой-нибудь прохладный ресторан.

— Хорошо. Но не к рыбам в «Морском царе». В маленький французский ресторанчик на Третьей авеню. В бистро.

— Там дорого?

— Не для человека, у которого в кармане двести пятьдесят дол-

ларов. Каким бы путем они ему ни достались — в подарок или не в подарок.

Глаза у Наташи стали ласковые.

— Правильно, darling,— сказала она.— К черту мораль!

Я кивнул. У меня было такое чувство, словно я едва избежал множества разных опасностей.

Когда мы выходили из ресторана, уже сверкали молнии. Порывы ветра вздымали пыль и клочки бумаги.

— Началось! — сказал я.— Надо поскорее поймать такси!

— Зачем? В такси воняет потом. Давай лучше пойдем пешком.

— Хлынет дождь. А ты без плаща и без зонтика. Будет ливень.

— Тем лучше. Сегодня вечером я как раз собиралась мыть голову.

— Ты промокнешь до нитки, Наташа.

— На мне нейлоновое платье. Его и гладить не придется. В ресторане было даже чересчур прохладно. Пойдем! А в случае чего спрячемся в каком-нибудь подъезде. Ну и ветер! Прямо сбивает с ног. И будоражит кровь!

Мы жались поближе к стенам домов. Молнии сверкали теперь над небоскребами беспрерывно: казалось, они возникают в густой сети труб и кабелей под землей. А потом полил дождь: большие темные капли падали на асфальт: сперва мы увидели дождь, а уже потом ощутили его.

Наташа подставила лицо под дождь. Рот у нее был приоткрыт, глаза зажмурены.

— Держи меня крепко! — крикнула она.

Ветер усилился, за секунду улица опустела. Только в подъездах жались люди, да время от времени кто-нибудь, согнувшись, быстро пробегал вдоль домов, влажно заблестевших под серебристой пеленой дождя. Дождь барабанил по асфальту, и улица превратилась в темную, бурлящую неглубокую реку, в которую градом сыпались прозрачные копья и стрелы.

— О боже! — воскликнула вдруг Наташа.— Ты же в новом костюме.

— Поздно заметила,— сказал я.

— Я думала только о себе. А на мне ничего такого нет.— Наташа подняла платье почти до бедер, мелькнули короткие белые трусики. Чулок на ней не было, а в ее белые лаковые босоножки на высоких каблуках ручьями лилась вода.— Ты — совсем другое дело. Что будет с твоим костюмом? Ведь за него даже не все деньги внесены.

— Слишком поздно,— повторил я.— Кроме того, я его высушу и выглажу. Кстати, деньги за него уже все внесены. И мы можем и впредь неумеренно восторгаться разбушевавшимися стихиями! К черту костюм! Давай выкупаемся в фонтане перед отелем «Плаза».

Наташа засмеялась и втолкнула меня в подъезд.

— Спасем хотя бы подкладку и конский волос. Их ведь не выгладишь. Да и ливень не такая уж невидаль, не то что новый костюм. А восторгаться можно также под крышей в парадном. Смотри, как сверкает! Стало совсем холодно. Какой ветер!

«Наташа умеет быть практичной и в то же время легкомысленной»,— думал я, целуя ее теплое маленькое личико. Мы оказались между витринами двух магазинов: в одном были выставлены корсеты для пожилых полных дам, другая была витриной зоомагазина. На полках от самого низа до верха стояли подсвеченные аквариумы с зеленоватой, как бы шелковистой водой, в которой плавали яркие рыбки. Когда-то я сам разводил рыбок и узнал теперь некоторые породы. Удивительное

чувство: как будто передо мной в мерцающем свете возникло собственное детство; казалось, оно беззвучно появилось из какого-то другого нездешнего и все же знакомого мне мира, окруженное зигзагами молний, но не доступное им; там все осталось таким, как было; словно добрый волшебник не дал вещам ни состариться, ни разрушиться, ни запачкаться в крови.

Я держал Наташу в объятиях, ощущал теплоту ее тела, и в то же время какая-то часть моего «я» была далеко-далеко; там, в этом далеке, «я» склонилось над заброшенным фонтаном, который уже давно не бил, и слушало о прошлом, очень далеком и потому особенно пленительном. Дни у ручья в лесу, у маленького озера, над которым повисли трепещущие стрекозы, вечера в садах, густо заросших сиренью,— все это стремительно и беззвучно проносилось перед моим взором, будто в немом кино.

— Что ты скажешь, если у меня будет такой зад? — спросила Наташа.

Я обернулся. Она разглядывала витрину с корсетами. На черный манекен, каким обычно пользуются портнихи, был напялен панцирь, который был бы впору даже Валькирии.

— У тебя прелестный зад,— сказал я.— И тебе никогда не придется надевать корсет. Хотя ты и не такая тощая жирафа, как большинство нынешних девиц.

— Ну и хорошо. Дождь почти перестал. Еле-еле капает. Пошли.

Я подумал, что нет ничего более удручающего, чем возвращаться в прошлое, и бросил прощальный взгляд на аквариумы.

— Смотри-ка, обезьяны! — воскликнула вдруг Наташа, глядя в ту же витрину, где на заднем плане стояла большая клетка с обрубком дерева. В клетке кувыркались две длиннохвостые беспокойные обезьяны.— Настоящие эмигранты! В клетке! До этого вас еще не довели!

— Разве? — спросил я.

Наташа взглянула на меня.

— Я же ничего о тебе не знаю,— сказала она.— И не хочу ничего знать. У каждого свои проблемы, своя история, и посвящать в них другого, по-моему, просто скучно. Скучно до одури.— Она еще раз посмотрела на корсет для Брунгильды.— Как быстро летит время! Скоро эта броня будет мне впору. И я запишусь в какой-нибудь дамский клуб! Иногда я просыпаюсь в холодном поту. А ты?

— Я тоже.

— Правда? По тебе этого не видно.

— И по тебе не видно, Наташа.

— Давай же возьмем от жизни как можно больше!

— Мы так и делаем.

— Недостаточно! — Она крепко прижалась ко мне, и я ощутил ее всю с головы до ног. Платье у нее стало как купальный костюм. Волосы свисали мокрыми прядями, лицо побледнело.

— Через несколько дней у меня будет другая квартира,— пробормотала она.— Тогда ты сможешь приходить ко мне, и нам не придется околачиваться в гостиницах и ресторанах.— Наташа засмеялась.— И в квартире будет кондиционер.

— Ты переезжаешь на новую квартиру?

— Нет. Это — квартира моих друзей.

— Фрезера? — спросил я, и тысячи неприятных догадок пронеслись у меня в мозгу.

— Нет, не Фрезера.— Наташа опять засмеялась.— Никогда не стану больше делать из тебя сутенера. Если это не будет необходимо для нашего благополучия.

— Я и так уже стал сутенером,— сказал я.— Мне приходится пля-

сать на канате морали в свинцовых сапогах. Немудрено, что я часто падаю. Быть порядочным эмигрантом — трудное занятие.

— Будь в таком случае непорядочным,— сказала Наташа и пошла впереди меня.

Похолодало. Между облаками кое-где уже проглядывали звезды. От света фар на мокром асфальте загорались блики, и казалось, машины мчатся по черному льду.

— У тебя очень причудливый вид,— сказал я Наташе.— Идя с тобою, можно вообразить себя человеком будущего, который возвращается с пляжа с марсианкой. Почему модельеры не придумали до сих пор такие облегающие платья?

— Они их уже придумали,— сказала Наташа.— Ты их только не видел. Подожди, может, попадешь на бал в залах «Сосайете».

— Я в них как раз нахожусь,— сказал я, втолкнув Наташу в темное парадное. От нее пахло дождем, вином и чесноком.

Когда мы дошли до ее дома, дождь совсем перестал. Весь обратный путь я проделал пешком. Около меня то и дело останавливались такси, предлагая подвезти. А еще час назад не было ни одной машины. Я упивался прохладным воздухом, как вином, и вспоминал минувший день. Я чувствовал, что где-то притаилась опасность. Она не угрожала мне со стороны, она была во мне. Я боялся, что ненароком переступил какую-то таинственную грань и очутился на чужой территории, которой управляли силы, неподвластные мне. Особых причин для тревоги пока не было. И все же я по собственной воле попал в запутанный мир, где существовали совсем иные ценности, неведомые мне. Многое, что еще недавно казалось мне безразличным, приобрело вдруг цену. Раньше я считал себя чужаком, а теперь был им только отчасти. «Что со мной случилось?— спрашивал я себя.— Ведь я не влюблен». Впрочем, я знал, что и чужак может влюбиться и даже не в очень подходящий объект, влюбиться только потому, что ему необходимо любить, и не так уж важно, на кого излить свои чувства. Но знал я также, что на этом пути меня подстерегают опасности: внезапно я мог оказаться в ловушке и потерять ориентировку.

XIX

— На завтра Бетти назначили операцию,— сказал мне Кан по телефону.— Она очень боится. Не зайдете ли вы к ней?

— Обязательно. Что у нее?

— Точно не известно. Ее смотрели Грефенгейм и Равик. Только операция покажет, какая у Бетти опухоль: доброкачественная или нет.

— Боже мой! — сказал я.

— Равик будет за ней наблюдать. Он теперь ассистент в больнице Маунт-синай.

— Он будет ее оперировать?

— Нет. Только присутствовать при операции. Не знаю, разрешено ли ему уже оперировать самостоятельно. Когда вы пойдете к Бетти?

— В шесть. Освобожусь и пойду. Что нового с Гиршем?

— Я у него был. Все в порядке. Грефенгейм уже получил деньги. Всучить ему эти деньги было труднее, чем выцарапать их у Гирша. Иметь дело с честными людьми — наказание божье. С жуликами ты по крайней мере знаешь, как себя вести.

— Вы тоже пойдете к Бетти?

— Я только что оттуда. До этого я целый час сражался с Грефенгеймом. Думаю, он вернул бы Гиршу деньги, если бы я не пригрозил, что пошлю их в Берлин в организацию «Сила через радость». Он, видите ли, не желал брать собственные деньги из рук подлеца! И при этом он

голодает. Пойдите к Бетти. Я не могу пойти к ней опять. Она и так напугана. И ей покажется подозрительным, если я навещу ее во второй раз. Она еще пуще испугается. Пойдите к Бетти, поболтайте с ней по-немецки. Она утверждает, что, когда человек болен, ему уже незачем говорить по-английски.

Я отправился к Бетти. День выдался теплый и пасмурный, и небо было светло-пепельным. Бетти лежала в постели в ярко-розовом халате; очевидно, фабрикант из Бруклина считал, что в его халатах будут щеголять мандарины.

— Вы пришли в самый раз, на мою прощальную трапезу,— закричала Бетти,— завтра меня отправят под нож.

— Что ты говоришь, Бетти,— возмутился Грефенгейм.— Завтра тебя обследуют в больнице. Обычная процедура. И совершают ее из чистой предосторожности.

— Нож это нож! — возразила Бетти с наигранной, слишком нарочитой веселостью.— Неважно, что тебе отрежут — ногти или голову.

Я огляделся вокруг. У Бетти было человек десять гостей. Большинство — знакомые. Равик тоже пришел. Он сидел у окна и не отрываясь глядел на улицу. В комнате было очень душно, тем не менее окна были закрыты. Бетти боялась, что при открытых окнах будет еще жарче. На этажерке жужжал вентилятор, похожий на большую усталую муху. Дверь в соседнюю комнату стояла открытой. Сестры-близнецы Коллер внесли кофе и яблочный пирог; в первую минуту я их не узнал. Они стали блондинками. Их щебетанье разом заполнило комнату; сестры напоминали ласточек. Двигались они проворно, как белки. Двойняшки были в коротких юбках и в бумажных джемперах в косую полоску с короткими рукавами.

— Очень аппетитно. Не правда ли? — спросил Танненбаум.

Я не сразу понял, что он имел в виду, яблочный пирог или девушек. Он имел в виду девушек.

— Очень,— согласился я.— Дух захватывает при мысли о том, что можно завести роман с близнецами, особенно с такими похожими.

— Да. Двойная гарантия,— сказал Танненбаум, разрезая кусок пирога.— Если одна из сестер умрет, можно жениться на второй. Редкий случай.

— Какие у вас мрачные мысли.

Я взглянул на Бетти, но она нас не слышала. По ее просьбе двойняшки принесли в спальню гравюры на меди с изображением Берлина, которые обычно висели в большой комнате; теперь они поставили гравюры на тумбочки по обе стороны кровати.

— Я вовсе не думал, что на близнецах можно дважды жениться,— сказал я.— И не подумал так уж сразу о смерти.

Танненбаум покачал головой; его окруженная черной растительностью лысина смахивала на блестящий зад павиана.

— О чем еще можно думать? Когда ты кого-нибудь любишь, обязательно думаешь: «Кто-то из нас умрет раньше другого, и тот останется один». Если человек так не думает, он не любит по-настоящему. В этих мыслях находит свое выражение великий первобытный страх, правда, в несколько измененном виде. Благодаря любви примитивный страх перед собственной смертью превращается в тревогу за другого. И как раз эта сублимация страха делает любовь еще большей мукой, чем смерть, ибо страх полностью переходит на того, кто пережил партнера.— Танненбаум слизнул с пальцев сахарную пудру.— А поскольку нас преследует страх и тогда, когда мы живем в одиночестве — ибо и одиночество — мука! — самое разумное взять в жены близнецов. Тем более таких красивых, как сестры Коллер.

— Неужели вам все равно, на которой из них жениться? — спро-

сил я.— Вы ведь не можете их отличить. Придется бросить жребий. Не иначе!

Танненбаум метнул на меня взгляд из-под косматых бровей, нависших над пенсне.

— Смейтесь, смейтесь над бедным, больным, лысым евреем. Это в вашем духе, арийское чудовище! Среди нас вы — белая ворона! Когда наши предки уже достигли вершин культуры, древние германцы в звериных шкурах еще сидели на деревьях на берегах Рейна и плевали друг в друга.

— Красочная картинка! — сказал я.— Но давайте вернемся к нашим двойняшкам. Почему бы вам не отбросить комплекс неполноценности и не ринуться в атаку?

Секунду Танненбаум печально взирал на меня.

— Эти девушки предназначены для кинопродюсеров,— сказал он немного погодя.— Голливудский товар.

— Вы, кажется, актер.

— Да. Но я играю нацистов, мелких нацистов. И я отнюдь не Тарзан.

— Что касается меня, то я рассматриваю этот вопрос с иной стороны: с близнецами хорошо жить, а не умирать. Представьте себе, вы разругались с одной сестрой, на этот случай осталась другая. А если одна сестра сбежит, опять-таки в запасе вторая. Безусловно, здесь существуют богатейшие возможности.

Танненбаум посмотрел на меня с отвращением.

— Неужели вы пережили эти последние ужасные десять лет только для того, чтобы говорить пошлости? И неужели вам неизвестно, что сейчас идет величайшая из войн, какие только знал мир? Странные уроки вы извлекли из кровавых событий.

— Танненбаум,— сказал я.— Вы первый начали разговор об аппетитных женских задницах. Вы, а не я.

— Я говорил об этом в чисто метафизическом смысле. Говорил, чтобы забыть о трагических противоречиях этой жизни. А у вас на уме одни гадости. Ведь вы всего-навсего запоздалый цветок на древе под названием мушмула, описанном в вашей Эдде,— произнес Танненбаум с грустью.

Одна из двойняшек подошла к нам, держа поднос с новой порцией яблочного пирога. Танненбаум оживился; он не сводил с меня глаз, и вдруг его будто осенило: он показал на кусок пирога. Девушка положила этот кусок ему на тарелку, и, пока у нее были заняты обе руки, Танненбаум робко шлепнул ее по округлому заду.

— Что вы делаете, господин Танненбаум,— прошептала девушка и захихикала.— Не здесь же! — покачивая бедрами, она скользнула дальше.

— Хорош метафизик! — сказал я.— Запоздалый цветок на иссохшем кактусе талмуда.

— Все из-за вас,— заявил сконфуженный и взволнованный Танненбаум.

— Ну, разумеется. У немецкого щелкунчика виноватый всегда найдется, лишь бы не нести самому ответственность.

— Я хотел сказать, что это благодаря вам! По-моему, она ничуть не обиделась. А как по-вашему?

Танненбаум расцветал на глазах. Вытянул шею и покрылся красно-бурым румянцем; теперь его лицо напоминало железо, долго мокнувшее под дождем.

— Вы совершили ошибку, господин Танненбаум,— сказал я.— Вам следовало пометить ее юбку мелом — провести маленькую незаметную черточку. Тогда бы вы знали, какая из двойняшек приняла

ваши пошлые ухаживания. Допустим, что другой они не по вкусу. Вы повторите свою попытку, а она швырнет вам в голову поднос с яблочным пирогом и кофейник в придачу! Как видите, обе сестрицы вносят в данный момент свежий пирог. Вы помните, кто из них угощал вас только что? Я уже не помню.

— Я... Это была... Нет...— Танненбаум бросил на меня взгляд, исполненный ненависти, и уставился на двойняшек. Казалось, его слепит солнце. Потом он с неимоверным трудом выдавил из себя сладенькую улыбку. Видимо, Танненбаум решил, что та сестра, к которой он приставал, ответит ему улыбкой. Однако обе девушки улыбнулись одновременно. Танненбаум выругался сквозь зубы. Покинув его, я опять подошел к Бетти.

Мне хотелось уйти. Эта смесь слащавой сентиментальности и неподдельного страха была просто невыносима. Меня от нее мутило. Я ненавидел эту неистребимую эмигрантскую тоску, эту фальшивую ностальгию, которая, даже превратившись в ненависть и отвращение, всегда находила себе лазейки и возникала снова. На своем веку я слишком много наслушался разговоров, которые начинались сакраментальной фразой «не все немцы такие» и кончались болтовней на тему о старых добрых временах в Германии до прихода нацистов. Я хорошо понимал Бетти, понимал ее нежное и наивное сердце, любил ее и все же не мог здесь оставаться. Глаза на мокром месте, картинки Берлина, родной язык, за который она цеплялась в страхе перед завтрашним днем,— все это трогало меня до слез. Но мне казалось при этом, что я чую запах покорности и бессильного бунтарства, которое наперед знает, что оно бессильно, и которое, будучи субъективно честным, сводится всего лишь к пустым словам и красивым жестам. Я снова ощутил себя узником, хотя нигде не было колючей проволоки; меня опять окружал этот трупный дух воспоминаний, эта призрачная и беспредметная ненависть.

Я оглянулся. Я был, наверное, дезертиром — ведь я хотел бежать. Хотел бежать несмотря на то, что знал, сколько истинных страданий и невосполнимых утрат пережили эти люди,— у многих из них близкие исчезли навек. Но, на мой взгляд, эти утраты были слишком велики, и никто не имел права поминать их всуе, это только губило душу.

Внезапно я понял, почему мне не терпелось уйти. Я не желал принимать участия в их бессильном и призрачном бунте, не желал впасть затем в смирение, ибо ничем иным этот бунт не мог кончиться. Опасность смирения и так все время маячила передо мной. И если я сдамся, то в один прекрасный день после долгих лет ожидания обнаружу, что из-за бессмысленной «борьбы с тенью» я вовсе перестал быть боксером, превратился в тряпку, в труху... А я ведь решил, что сам добьюсь возмездия, сам отомщу; какой толк в жалобах и протестах; я буду действовать сам. Но для этого мне надо было держаться подальше от стены плача и сетований на реках вавилонских.

Я быстро оглянулся, словно меня застали на месте преступления.

— Росс,— сказала Бетти.— Как хорошо, что вы пришли. Прекрасно иметь столько друзей.

— Вы ведь для всех нас, эмигрантов, как родная мать, Бетти. Без вас мы просто жалкие скитальцы.

— Как у вас дела с вашим новым хозяином?

— Очень хорошо, Бетти. Скоро я смогу отдать часть долга Фрисленде ру.

Бетти подняла с подушки разгоряченное лицо и подмигнула мне.

— Время ждет. Фрисленде р очень богатый человек. Эти деньги ему не нужны. И вы сможете вернуть долг после того, как все кон-

чится.— Бетти засмеялась.— Я рада, что дела у вас идут неплохо, Росс. Очень немногие эмигранты могут этим похвастаться. Мне нельзя долго болеть. Люди во мне нуждаются. Вы согласны?

Я пошел к выходу вместе с Равиком. У дверей стоял Танненбаум. Он нерешительно переводил взгляд с одной сестры Коллер на другую. Лысина у него блестела. Он уже опять ненавидел меня.

— Вы с ним поссорились? — спросил Равик.

— Да нет. Просто глупая перебранка, чтобы немного отвлечься. Не умею я сидеть у постели больного. Выхожу из терпения и злюсь. А потом сам себя казню, но ничего не могу с этим поделать.

— Большинство ведет себя так же. Чувствуешь себя виноватым в том, что ты здоров.

— Я чувствую себя виноватым в том, что другой болен.

Равик остановился на ступеньках.

— Неужели и вы немного тронулись?

— Разве кто-нибудь этого избежал?

Он улыбнулся.

— Это зависит от того, в какой степени вы подавляете ваши эмоции. Сдержанные люди подвергаются в этом смысле наибольшей опасности. Зато те, кто сразу начинает бушевать, почти неуязвимы.

— Приму к сведению,— пообещал я.— Что с Бетти?

— До операции трудно сказать.

— Вы уже сдали свои экзамены?

— Да.

— И будете делать операцию Бетти?

— Да.

— До свидания, Равик.

— Теперь меня зовут Фрезенбург. Это моя настоящая фамилия.

— А меня все еще зовут Росс. Это моя ненастоящая фамилия.

Равик засмеялся и быстро ушел.

— Почему ты все время озираешься? Можно подумать, что я спрятала здесь детский трупик,— сказала Наташа.

— Я всегда озираюсь. Старая привычка. Трудно отделаться от нее так скоро.

— Тебе часто приходилось скрываться?

Я взглянул на Наташу с удивлением. Какой дурацкий вопрос. Все равно, что тебя спросили бы: «Часто ли тебе приходилось дышать?» Но как ни странно, в груди у меня потеплело от радости, и я подумал: «Слава богу, что она ничего не знает».

Наташа стояла у широкого окна в комнате с низким потолком. На свету ее фигура казалась совсем темной. Как хорошо, что ей не надо было ничего объяснять. Наконец-то я перестал чувствовать себя беженцем. Я обнял ее и поцеловал.

— От солнца у тебя совсем горячие плечи,— сказал я.

— Я переехала сюда вчера. Холодильник забит до отказа. Можно весь день не вылезать из дома. Сегодня ведь воскресенье, напоминаю тебе на всякий случай.

— Я и так помню. А выпивка в холодильнике тоже найдется?

— Там две бутылки водки. И еще у нас есть две бутылки молока.

— Ты умеешь готовить?

— Как сказать. Умею поджаривать бифштексы и открывать консервные банки. Кроме того, у нас полно фруктов и есть радиоприемник. Давай начнем жить как добропорядочные обыватели.

Наташа засмеялась. Я держал ее за руки и не смеялся. Ее слова ударяли в меня, словно мягкие стрелы; это были стрелы с резиновы-

ми наконечниками, какими ребята стреляют из духовых ружей. Эти стрелы не причиняли боль, но я их все же чувствовал.

— Такая жизнь не для тебя. Правда? — спросила Наташа.— Очень уж мещанская.

— Наоборот, для меня это самое большое приключение, какое человек может пережить в наши дни,— возразил я, вдыхая аромат ее волос; они пахли кедром.— Нынче самая захватывающая жизнь — у простого бухгалтера, он живет так же, как во время óно жил король Артур. Я согласился бы месяцами слушать радио и пить пиво; мещанский уют я воспринял бы как накинутую на плечи пурпурную мантию.

— Ты когда-нибудь смотрел телевизор?

— Очень редко.

— Я так и думала. Тебе бы он скоро осточертел. А от твоей пурпурной мантии у тебя бы начали зудеть плечи.

— Сейчас меня это не трогает. Знаешь, мы сегодня впервые не шляемся по разным увеселительным заведениям и гостиницам.

Наташа кивнула.

— Я же тебе говорила. Но ты подозревал, что к этой квартире имеет отношение Фрезер.

— Я и сейчас подозреваю. Только мне все равно.

— Ты становишься умнее. Успокойся! У тебя нет оснований подозревать меня.

Я огляделся. Это была скромная квартирка на пятнадцатом этаже: гостиная, спальня, кухня и ванная. Для Фрезера квартира была недостаточно шикарной. Из окон гостиной и спальни открывался великолепный вид на Нью-Йорк от Пятьдесят седьмой улицы до самой Уолл-стрит... Небоскребы... дома пониже...

— Нравится тебе здесь? — спросила Наташа.

— Дай бог такое всем жителям Нью-Йорка. Много света, простор, и город как на ладони. Ты права, сегодня для нас было бы безумием тронуться с места.

— Принеси воскресные газеты. Киоск рядом, на углу. Тогда у нас будет все, что нам требуется. А я за это время попытаюсь сварить кофе.

Я направился к лифту.

На углу я купил воскресные выпуски «Нью-Йорк таймс» и «Геральд трибюн», в каждом из которых было несколько сотен страниц. И подумал, не было ли человечество во времена Гете счастливей, хотя в ту пору только богатые и образованные люди читали газеты? Я пришел к такому выводу: отсутствие того, что человеку неизвестно, не может сделать его несчастным. Довольно-таки скромный итог размышлений.

Любуясь ясным небом, в котором кружил самолет, я пытался выбросить из головы все неприятные мысли, словно это были блохи. Потом я прошелся по Второй авеню. Слева была мясная какого-то баварца, рядом с ней гастрономический магазин, принадлежавший трем братьям Штерн.

Я снова свернул на Пятьдесят седьмую улицу и поднялся на пятнадцатый этаж в одном лифте с гомосексуалистом, назвавшим себя Яспером. Это был рыжий молодой человек в клетчатом спортивном пиджаке, с белым пуделем по кличке Рене. Яспер пригласил меня позавтракать с ним. Ускользнув от него, я пришел в хорошее настроение и позвонил. Наташа открыла мне дверь полуголая — на голове у нее был тюрбан, вокруг бедер обвязано купальное полотенце.

— Блеск! — сказал я, швырнув газеты на стул в передней.— Твой наряд вполне подходит к характеристике этого этажа.

— Какой характеристике?

— Той, которую дал мне Ник, продавец газет на углу. Он утверждает, что раньше здесь помещался бордель.

— Я приняла ванну,— сказала Наташа,— и притом уже во второй раз. Холодную. А ты все не появлялся. Покупал газеты на Таймс-сквер?

— Нет, соприкоснулся с незнакомым мне миром, миром гомосексуалистов. Ты знаешь, что здесь их полным-полно?

Наташа кивнула и бросила на пол купальное полотенце.

— Знаю. Эта квартира тоже принадлежит парню из их породы. Надеюсь, теперь ты, наконец, успокоишься?

— Поэтому ты и встретила меня в таком наряде?

— Я не подумала, что мой вид тебя так взволнует. Впрочем, по-моему, тебе это не повредит.

Мы лежали на кровати. После кофе мы выпили пива. Стол заказов в магазине братьев Штерн, работавший и по воскресеньям, прислал нам на дом копченое мясо, салями, масло, сыр и хлеб. В Штатах достаточно позвонить по телефону, чтобы приобрести все что угодно. Даже по воскресеньям. И притом продукты приносят на дом — тебе остается только приоткрыть дверь и забрать заказ. Прелестная страна для тех, кому по карману эта благодать.

— Я обожаю тебя, Наташа,— сказал я. В ту минуту у меня была одна забота — не надеть пижаму с чужого плеча, которую она мне кинула.— Я боготворю тебя. И это так же верно, как то, что я существую. Но чужую пижаму я все равно не надену.

— Послушай, Роберт! Она ведь выстирана и выглажена. Да и Джерри чрезвычайно чистоплотный человек.

— Кто?

— Джерри. Спишь же ты в своей гостинице на простынях, на которых черт знает кто валялся до тебя.

— Правильно. Но думать об этом мне неприятно. Но это все же другое. Я понятия не имею, кто на них спал. Люди эти мне незнакомы.

— Джерри тоже незнакомый.

— Я знаю его через тебя. Вот в чем разница. Одно дело есть курицу, которую ты никогда не видел, другое дело — курицу, которую ты сам вырастил и выпестовал.

— Жаль! Я с удовольствием поглядела бы на тебя в красной пижаме. Но меня клонит ко сну. Ты не возражаешь, если я посплю часок? От салями, пива и любви я совсем разомлела. А ты пока почитай газеты.

— И не подумаю. Я буду лежать с тобой рядом.

— По-твоему, мы так сможем заснуть? По-моему, это трудно.

— Давай попробуем. Я тоже постараюсь заснуть.

Через несколько минут Наташа крепко заснула. Довольно долго я смотрел на нее, но мысли мои были далеко. Кондиционер почти неслышно гудел, и снизу доносились приглушенные звуки рояля. Кто-то играл упражнения, видимо, начинающий пианист; он играл очень плохо, но как раз поэтому я вспомнил детство и жаркие летние дни, когда нерешительные и медленные звуки рояля просачивались в квартиру с другого этажа, а за окном лениво шелестели каштаны, колеблемые ветром.

Внезапно я очнулся. Оказывается, я тоже спал. Я осторожно слез с кровати и пошел в соседнюю комнату, чтобы одеться. Мои вещи были разбросаны повсюду. Я собрал их, а потом подошел к окну и

начал смотреть на этот чужой город, лишенный воспоминаний и традиций. Никаких воспоминаний! Город был новый, весь устремленный в будущее. Я долго стоял и думал о всякой всячине. Кто-то снова начал терзать рояль, на этот раз играли не этюды Черни, а сонату Клементи. А потом заиграли медленный блюз.

Я встал на середину комнаты, чтобы видеть Наташу. Она лежала поверх одеяла, обнаженная, закинув руку за голову, лицом к стене. Я очень любил ее. Любил за то, что она не знала сомнений. И еще она умела стать тебе необходимой и в то же время никогда не быть в тягость; ты не успевал оглянуться, а ее уже и след простыл. Я опять подошел к окну и начал разглядывать эту белую каменную пустыню, напоминавшую Восток. Нечто среднее между Алжиром и лунным ландшафтом.

Я прислушивался к незатихающему уличному шуму и следил за длинным рядом светофоров на Второй авеню, свет в которых автоматически переключался с зеленого на красный, а потом снова на зеленый. В регулярности этого переключения было что-то успокаивающее и вместе с тем бесчеловечное; казалось, этим городом управляют роботы. Впрочем, мысль о роботах меня не пугала.

Я снова встал на середину комнаты; теперь я сделал открытие: когда я оборачивался, то видел Наташу в зеркале, висевшем напротив нее. Я видел ее в зеркале и без зеркала. Странное ощущение! Мне скоро стало не по себе, словно мы оба утратили свою реальность, и я повис в башне между двумя зеркалами, которые перебрасывались возникавшими в них изображениями, пока не исчезали в бесконечности.

Наташа зашевелилась. Вздохнув, она повернулась на живот. Я раздумывал — не вынести ли мне на кухню поднос с жестянками из-под пива, бумажными салфетками, салями и хлебом. Но потом решил, что не стоит. Я ведь вовсе не собирался потрясать ее своими хозяйственными способностями. Я даже не поставил водку в холодильник; правда, я знал, что у нас есть еще вторая бутылка, в холодильнике. И тут я подумал, что меня до странности трогает вся эта обстановка, в сущности, очень обыденная: ты пришел домой, где тебя ждет другой человек, который доверчиво спит теперь в соседней комнате и ничего не боится. Очень давно я пережил нечто подобное, но тогда покой оказался призрачным. И я не хотел вспоминать о тех временах, пока не вернусь назад. Я знал, что воспоминания чрезвычайно опасны; если ты вступишь на путь воспоминаний, то окажешься на узких мостках без перил, по обе стороны которых — пропасть; пробираясь по этим мосткам, нельзя ни иронизировать, ни размышлять, можно только идти вперед не раздумывая. Конечно, я мог избрать эту дорогу; но при любом неверном шаге мне грозила опасность, какая грозит акробату под куполом цирка.

Я снова взглянул на Наташу. Я очень любил ее, но в моем чувстве к ней не было ни малейшей сентиментальности. И до тех пор, пока сентиментальность не появится, я был в безопасности. Я мог порвать с ней сравнительно безболезненно. Я любовался ее красивыми плечами, ее прелестными руками, бесшумно шевеля пальцами, делая пассы и шепча заклинания: «Останься со мной, существо из другого мира! Не покидай меня раньше, чем я покину тебя! Да будет благословенна твоя сущность — воплощение необузданности и покоя!»

— Что ты делаешь? — спросила Наташа.

Я опустил руки.

— Разве ты меня видишь? — удивился я.— Ведь ты лежишь на животе!

Она показала рукой на маленькое зеркальце, стоявшее на ночном столике рядом с радиоприемником.

— Хочешь меня заколдовать? — спросила она.— Или уже успел пресытиться радостями домашнего очага?

— Ни то, ни другое. Мы не тронемся с места, не выйдем из этой крепости; правда, из нее уже почти выветрился запах борделя, но зато здесь попахивает гомосексуализмом. Самое большее, на что я готов решиться — это пройтись после обеда по Пятой авеню, как все приличные американские граждане, потомки тех, кто прибыл на «Мейфлауерс» [1]. Но мы тут же вернемся к своему радио, бифштексам, электрической плите и любви.

Мы не вышли на улицу даже после обеда. Вместо этого мы открыли на час окна, и в комнату хлынул горячий воздух. А потом мы включили на полную мощность кондиционер, чтобы не вспотеть.

В конце этого дня у меня появилось странное чувство: мне казалось, что мы прожили почти год в безвоздушном пространстве, в состоянии покоя и невесомости.

(Окончание следует)

[1] Имеется в виду корабль, на котором прибыли первые поселенцы в Америку.

КУЛВАНТ СИНГХ ВИРК

Рассказы

Перевод с пенджаби Н. ТОЛСТОЙ

Очень близко, очень далеко

Тара родился в семье поденщика. Отец его батрачил в поле, мать собирала навоз, а сын только успевал помогать им. Работы хватало, отец трудился изо всех сил, и от усталости у него не было времени думать ни о домашних делах, ни даже о том, сколько зерна он заработал. Одна мысль стучала в голове: только б ноги держали да руки не отказывали.

Нравом Тара был весь в отца — смирный да тихий, никакой дерзости или шалости от него не видели; в драки он не ввязывался. Бывало, мальчишки вечером затеют игры, передерутся, а Тара всегда среди тех, кому больше достанется.

Когда Тара подрос, его отдали в пастухи. Родителям теперь он уже не помогал. Но новые обязанности не вызвали в его характере никакой перемены. По-прежнему для него было легче рассмеяться, чем ответить словами, и он никогда не напрягал ум, не затруднял себя, что бы такое сказать, когда спрашивают. А если и приходилось все-таки говорить, так он не мог связно произнести ни одной фразы. В его словаре было не более пятидесяти-шестидесяти слов. Однажды, когда его сестра выходила замуж, он пошел с родными в деревенскую лавчонку — те хотели заказать для невесты белья да рубашек. На другой день, когда в поле среди поденщиков зашла речь об этом, Тара сказал:

— Мы все носим домотканые рубахи, а дядюшка, гляди-ка, заказал из материала!

Под материалом он разумел кхаддар [1].

Потом был еще такой случай. Поехал Тара за сестрой — чтоб погостила в родительском доме. И случилось так, что на полустанке, где брат с сестрой ждали поезда, оказались англичане — муж с женою. Тара глаз не сводил с этих удивительных созданий природы, и кто знает, какие мысли шевелились в его голове — ведь он никогда прежде не видел англичан. Назавтра он рассказал своему напарнику обо всем, что видел, и спросил:

— Послушай-ка, Картар Сингх, а что, у них все прочее такое же, как у нас?

Под прочим надо было понимать скрытые от чужих глаз части

[1] Кхаддар — грубый холст.

человеческого тела. Ведь хотя на вид англичане — те же люди, но Тара никак не мог признать, что и «во всем прочем» они не отличаются ни от него, ни от других деревенских.

Тара женился. Его смуглая, почти темнокожая жена просидела дней пять без дела в своих дешевеньких бусах из раковин, с руками, окрашенными хной, а потом стала делать лепешки из навоза. Прежде она лепила их в родительском доме, а теперь — в мужнем, вот и вся разница.

После женитьбы Тара ничуть не переменился: ум его работал так же медленно, сознания нисколько не прибавилось, и женщин он не стал понимать лучше, чем прежде.

Но вскоре случилось вот что: шурин справлял свою свадьбу. Тара с женой поехали к нему в гости, а возвращался Тара один — жена осталась погостить на несколько дней у своих. Поезд был ночной. Тара сидел на краешке длинной полки. На маленькой станции поезд остановился, в вагон быстро вошла хорошо одетая молодая девушка, видно, из образованных. Мужчина, провожавший ее, подал ей портфель. Она прошла по вагону, озираясь в поисках удобного места.

Девушка показалась Таре такой ослепительной красавицей, что он подумал, какое же право имеет он ехать в одном вагоне с нею. Он был так напуган сознанием своей вины, что забился в самый угол. Что же другое ему, этакой деревенщине, оставалось! Идти-то ведь было некуда. А девушка меж тем села на соседнюю полку. Тара весь так и обмер. То, что обычному человеку кажется удачным стечением обстоятельств, ему представилось чудом. Когда Тара из-под опущенных век взглянул на лицо девушки, все внутри у него сжалось, будто это уже был не он, Тара, могущий взвалить себе на спину сноп проса, который под силу нести трем мужикам, и не тот Тара, что лопатой бросал на высокий берег огромные пласты земли, когда копали канал, и уж вовсе не тот Тара, кто, идя за плугом, частенько натыкался на кобр и убивал их. Вся сила его куда-то подевалась, померкла в ослепительном блеске молодости и красоты его спутницы. Подумать только: эта райская красавица не побрезговала, села возле него, неотесанного поденщика!

Конечно, что у женщин красота бывает разная — это Тара понимал. Ведь взять быка к примеру: один медленно бредет, другой бегает — не поймаешь. Вот у них в деревне дочки золотых дел мастера — все красавицы, как на подбор, да только как ни старайся бык, не догнать ему поезд, так и красавицам тем деревенским нечего тягаться с этой, что села напротив.

Поезд тронулся. Вагон, в котором ехал Тара, уже не был прежним, обыкновенным вагоном. Присутствие этой девушки чудесным образом преобразило его. Поезд был уже теперь не поезд, а сказочный ковер-самолет... Однако простодушие Тары, его робость взяли верх над мечтаниями, вернули на землю.

Девушка прилегла на своей полке. До того, как она еще появилась, Тара обмахивался бумажным веером — в вагоне было жарко. Теперь он снова стал медленно помахивать веером. Жара с каждой минутой усиливалась.

Рука у Тары была шершавая, заскорузлая. Трудно было такой руке, привыкшей к плугу да к лопате, вращать легкий веер. Но он не оставлял этого занятия. И вдруг заметил, что прядь волос на лбу у девушки тихо колышется! Значит, это от движения его руки колышутся ее волосы? Ах, это, значит, он, Тара, обмахивает незнакомую девушку веером! От этой мысли Тара вздрогнул. Рука, державшая веер, как молния мелькнула вниз — он прижал ее к колену. Ах! Кто позволил ему так себя вести? Ведь это разрешено только кому-то из ее близких.

Девушка меж тем не спала. Она то чуть приоткрывала глаза, то закрывала их. Она вовсе и не думала сердиться на своего соседа. Может быть, она даже не подозревала, откуда долетает до нее легкий ветерок.

Через несколько минут Тара вновь принялся крутить веер — не мог удержаться. От этого что-то сладко замирало в груди. Движения его руки стали теперь более уверенными и сильными, ветерок уже обвевал все тело девушки. Раньше Тара старался не смотреть на нее, боялся, что его обвинят в дерзком поведении, а теперь осмелел. Кто может к нему придраться: он себя от жары защищает, а если ветер доходит до его соседки, так он тут ни при чем, и, стало быть, опасаться ему нечего!

Девушка больше не открывала глаз, черты ее лица расслабились, она заснула. Так! Веер теперь мог двигаться с большей силой и свободой! Только не надо было озираться вокруг, чтобы не вызвать подозрений. Спящая девушка дышала ровно и глубоко. Тара сидел напротив и обмахивал ее веером. Расстояние между ними было очень небольшое, рука Тары с веером находилась совсем близко от девушки, но тем не менее Тара чувствовал, что он и девушка дальше друг от друга, чем два любых существа или предмета на свете. И то, что он сидел так близко от нее, не имело ровно никакого значения! Расстояние между ними не измеришь никакой мерой, и этого расстояния никак ему не преодолеть. Девушка могла заметить его, но Тара и не мечтал об этом: ведь если и заметит, то что подумает? От этой мысли он вздрогнул. Зачем он сидит так близко? Какой в этом толк? Но он не мог отрешиться, не мог забыть, что это он, Тара, тайком от всех обмахивает ее веером и веер приносит ей прохладу. Близко — далеко, эти два слова, как два жернова, стискивали его душу. Никогда еще его душа — это невозделанное поле — не была так переполнена чувством. Спящая девушка не была для него столь чужой, чтобы он мог ее забыть, но и не стала столь близкой, чтоб он отважился заговорить с ней. Она была для него существом из другого мира, и он не мог представить себе, что она поймет хоть слово, которое прошепчут его губы.

Постепенно Тару, терзаемого этими мыслями, охватил сон, и он вытянулся на своей полке. Смятение в его душе не улеглось, сон только немного приглушил его. Его растревоженный мозг был лишь затянут пеленой забытья. А такой сон неглубок!

Вдруг до спящего Тары донесся чей-то стон, постепенно перешедший в плач, похожий на плач маленького ребенка. Он проник в сознание Тары, и, подобно тому, как от порохового взрыва в одном месте взрывается сам по себе порох по соседству, Тара, полусонный, пронзительно закричал и сел на своей полке. В вагоне поднялась суматоха, несколько человек подбежали к нему. Тара сам испугался своего крика. Сейчас он медленно приходил в себя.

— Что с тобою, не заболел ли? — спросил один из пассажиров, кладя руку на его широкое, могучее плечо.

Тара, встревоженный, растерянный, ничего не отвечая, только стер ладонью пот со лба. Да, уж никогда в жизни с ним такого не случалось! Что ему говорить-то?

— Здесь как будто ребеночек плакал? — что-то вспомнив, произнес он наконец.

— Да, плакал, ну и что?

Тара молчал. Какую связь мог уловить он между своим криком и детским плачем?

— Бедняга! Верно, сон ему дурной привиделся,— сказал пожилой пассажир, и все отошли от Тары.

А он, расстроенный, понурый, уголком глаза взглянул налево от себя. Девушка тоже проснулась и теперь смотрела на лампочки, висящие у вагонного потолка, не подозревая — да и Тара этого не знал: откуда же? — что это она плакала во сне.

Бремя земли

Деревня Татхи-Кхара лежит у самого Амритсарского шоссе, да и от города рукой подать, а у Ман Сингха было к тому же такое радостное, приподнятое настроение, что и более далекий путь показался бы ему близким. Его ничуть не беспокоило, что близится вечер и усталая лошадь, везущая повозку, в которой он сидит, еле-еле переставляет ноги.

Ман Сингх — солдат, приехавший на побывку к родным. Татхи-Кхара — родная деревня его друга Карам Сингха,— известно, что только в армии и нигде больше завязывается крепкая дружба. Они познакомились еще в Индии, когда формировался их полк, а теперь служили вместе в одном батальоне на бирманском фронте[1]. Карам Сингха призвали раньше, и он был сейчас сержантом, а Ман Сингх только что получил ефрейтора.

Чего у Карам Сингха не отнимешь, так это умения рассказывать разные истории из военной жизни. Многие парни из его деревни служили в армии, а приедут они домой, так от них кроме «здравствуйте» ничего не добьешься — такие на язык не бойкие. А вот уж когда приезжал на побывку Карам Сингх, прохода ему не было от сельчан: куда ни пойдет, толпой за ним так и ходят. Особенно любили деревенские усесться зимним вечером у большой печи, где поджаривалось зерно, да слушать его рассказы. В полку Карам Сингх пользовался славой меткого стрелка. Бывало, во время стрелковых соревнований его пуля поражала мишень в самое яблочко. Теперь, на бирманском фронте, пули его так же точно поражали хорошо замаскированных в древесной листве японцев. В такие минуты он думал лишь о том, чтобы забрать у убитого японского стрелка автомат, чтобы бить врага его же оружием,— хоть этим отомстить за погибших товарищей! И часто пуля его делала свое дело там, где бессильны были пулеметные очереди. Карам Сингх отличался могучим сложением, хотя фигура его уже утратила юношескую подвижность; гимнастикой и на спортивных снарядах он занимался с каким-то остервенением, отдавая тренировкам все свободное время.

Здесь, на фронте, обстановка была серьезная, дисциплину спрашивали строго. Никаких тебе там парадов, когда подтянул мундирчик и маршируй себе в такт музыке, никаких увольнительных, как бывало в Индии,— когда нет-нет да и погуляешь несколько часов вольным человеком. А уж встретить односельчанина да побалагурить с ним — просто и подавно надо забыть! Вот потому и затосковал так Карам Сингх, когда Ман Сингх получил отпуск. Жалость какая, что не обоим вместе дали отпуска, а то вдвоем бы уехали, вдвоем и воротились. Деревни-то их рядом, Чухаркана, откуда родом Ман Сингх, тоже недалеко от Амритсара, двухсот километров не будет, правда, считается, что она — в области Бар, а Татхи-Кхара — в Маджхе. Но отпуска давались сейчас так скупо — редко-редко кому это счастье выпадало, все равно как медаль за воинскую храбрость.

[1] Речь идет о второй мировой войне, когда Индия, входившая в состав Британской империи, сражалась против Японии.

Когда Ман Сингх садился в грузовик, Карам Сингх сказал ему:

— Друг, прошу, заверни к нашим, передай от меня привет. Вернешься, привезешь от них вести, расскажешь об их житье-бытье, так я вроде бы с ними и повидаюсь. Кстати, бывал ты когда-нибудь в наших краях?

— Нет. Амритсар-то мне видеть случалось, а дальше я нигде не был.

— Вот и хорошо! От нас близко разные святые места — Таран-Таран, Гоиндвал, Кхадур-Сахиб. Вообще в нашей области много исторических мест. Ну, поезжай, желаю удачи, а своим я о тебе напишу.

Вот почему сегодня, когда его отпуск уже подходил к концу, Ман Сингх ехал в деревню, откуда был родом его друг.

— Здравствуйте, я — Ман Сингх из Чухарканы! — звонко отчеканил он, останавливаясь перед стариком, сидевшим у порога дома.

— Здравствуй, здравствуй, входи! — ответил старик.

Ман Сингх вошел в дом и сел на лавку. Ему показалось, что его приход чем-то смутил старика: двигался он как-то боком, отводил глаза, потом тоже сел и уставился в пол. Ман Сингх отнюдь не был человеком стеснительным, но такого приема он никак не ожидал и удивился. Впрочем, может быть, старик держится так со всяким чужим человеком?

— Так вы, значит, отец Карам Сингха? — спросил он, прерывая тягостное молчание.

— Да, это его дом.

— А писал он, что я собираюсь к вам?

— Да, писал,— отрывисто ответил старик, после чего поднялся с места и вышел во двор. Ман Сингх видел, как он отвязал молодую буйволицу от одного колышка, подвел к другому, вновь привязал, погладил по спине, дал ей полизать свою руку. Потом громко велел кому-то приготовить для гостя чай. И словно боясь оставаться наедине с Ман Сингхом, остановился на дворе возле лошади. Медленно поворошил солому, лежавшую перед нею в яслях, прибавил еще одну охапку и только после этого вернулся в дом. Сейчас он казался еще более угрюмым, еще более озабоченным, хотя искоса и поглядывал на гостя.

— А где Джасвант? — Ман Сингх знал, как зовут младшего брата Карам Сингха.

— Скоро придет, корма привезет.

Опять помолчали. Через несколько минут в комнату вошла мать Карам Сингха, принесла чай.

— Здравствуйте, матушка! — почтительно и радостно приветствовал ее Ман Сингх.

Губы старухи чуть зашевелились, будто хотели что-то сказать, но так ни одного слова Ман Сингх от нее и не услышал. Он принял из ее рук чайник и металлическую чашку, и старуха ушла.

«Ну и чудные люди живут в Маджхе! — подумал Ман Сингх.— Что я тут буду с ними делать!»

Но сразу же попрощаться и уехать ему было неловко. «Ладно, ночь переночую, а завтра двинусь!» — решил он.

Поздно вечером приехал Джасвант, и разговор немного оживился.

— Что пуля у Карам Сингха меткая — это всему нашему фронту известно,— рассказывал Ман Сингх.— Не успеешь глазом моргнуть, как от такой пули япошка летит вниз с дерева. И как это у Карам Сингха выходит, никто не понимает!

На этом месте Ман Сингх остановился, ожидая, что сейчас-то и начнутся расспросы о военных действиях, его просто распирало жела-

ние поведать им разные фронтовые истории. Но никто, казалось, его не слушал.

— Когда твоя очередь везти воду? — спросил старик у Джасванта.

— Послезавтра поеду, в три утра.

После слов «в три утра» Ман Сингх снова сделал попытку завязать разговор:

— А вот ваш Карам Сингх, тот не любит рано вставать, лень на него находит, всех позже поднимается.

Но и на эти слова никто не откликнулся.

Потом стали ужинать. Ужин был вкусный, видно, специально для гостя варили. Ман Сингх ел, а Джасвант сидел рядом и обмахивал его веером. Остальные, казалось, не обращали на гостя никакого внимания, и это было ему очень обидно.

Во время ужина к Ман Сингху подбежал маленький сын Карам Сингха. Ну что ж, может, хоть с мальчуганом ему удастся поговорить о своем боевом друге? Ман Сингх усадил мальчика к себе на колени.

— Хочешь увидеть папу? Тогда поехали со мной! Знаешь, там идет такой сильный дождь, что нам придется ехать по воде!

Эти слова словно ужалили старика.

— Оставь ребенка! Коль сидишь за столом, так и ешь спокойно,— раздраженно сказал он, а жена его немедленно унесла малыша в другую комнату.

Теперь Ман Сингху стало совсем невмоготу. Скорей бы осмотреть эти святые места, да сразу и домой!

— Далеко ли отсюда Таран-Таран? — спросил он.

— Километров шестнадцать.

— А можно будет утром нанять повозку?

— Да что ты! Зачем тебе повозка? Я пошлю с тобой Джасванта. Братья всегда ходили туда вместе.

Это предложение обрадовало Ман Сингха. Джасвант казался ему не таким угрюмым и замкнутым, как старики. Но утром, идя рядом с Ман Сингхом, юноша держался довольно угрюмо. Ман Сингх заметил, что он здоровается с прохожими издали и тут же устремляется вперед, как бы избегая встречи с ними. Вот досада-то! Ведь Ман Сингх горел желанием поговорить с деревенскими о войне. Разве военный человек — такой частый гость у них?

— Твой брат знаешь какой известный у нас на фронте человек? А ты почему не в армии? — спросил он.

Джасвант вздрогнул, будто его поймали с поличным, но тут же спокойно сказал:

— Молод я еще для армии. А в ваших краях сеют тростник или просо? — спросил он, когда они шли просяным полем.

— И то и другое,— нехотя отвечал Ман Сингх. Сердце у него не лежало к такому разговору. То ли дело — рассказывать о Карам Сингхе!

Они вернулись домой, и Ман Сингх стал собираться в обратный путь. Если успеть на ночной амритсарский поезд, можно еще один денек провести у себя в деревне. Жаль, что поездка в Татхи-Кхару оказалась малоприятной, хотя родные Карам Сингха и старались принять гостя как полагается. Вот и сейчас для него приготовили свежий чай, а он все стоит на пороге, не входит в дом.

В переулке показался почтальон с сумкой на плече. Сначала он прошел было мимо, но вдруг остановился около дома Карам Сингха.

— Есть почта? — спросил Ман Сингх.

— Да вот пенсию принес за Карам Сингха.

— Что?! Пенсию за Карам Сингха? Разве он погиб?!

— О господи! Вся округа в себя прийти не может от горя! Как же это вы, живя у них в доме, не знаете о гибели Карам Сингха? Две недели тому назад я принес похоронную.

Ман Сингх остолбенело глядел на почтальона. Ему нечем стало дышать, голову сжало, словно стальным обручем. Потом слезы потекли по его обветренному лицу, и он стал утирать их ладонью.

Старик, увидя подходившего к их дому почтальона, понял, что секрет их сейчас будет раскрыт. Когда Ман Сингх вошел в комнату, старик подошел к нему и они обнялись. Слезы текли из их глаз, и они не стыдились этого. Несколько минут длилось молчание, потом Ман Сингх спросил:

— Почему вы мне сразу не сказали?

— Ах, сынок, мы решили так: зачем портить тебе отпуск? Вернешься в полк, сам все узнаешь. Солдату-то отпуск как дорог! Мы по нашему сыну это знаем. Жаль, что не смогли до конца продержаться, прости, что так худо вышло!

Утром Ман Сингх выехал в обратный путь. Проезжая мимо многочисленных крепостей, построенных для защиты от вражеских набегов, мимо гробниц и могильных холмов — этих немых свидетелей минувшего, он невольно вспомнил слова своего друга о том, что область Маджх имеет славную историю. Вот откуда у старого отца Карам Сингха такое мужество и выдержка! Чтобы облегчить бремя другого человека, он готов взвалить его на себя — совсем как тот бык, что, по преданию, один держит на своих рогах всю нашу землю!

Поражение

«Экономьте деньги!» — таков был лозунг свободной Индии. Для Манохара Лала этот лозунг имел особую притягательность. «Отдай сэкономленные деньги взаймы государству, а государство вернет их тебе с процентами в тот срок, какой ты сам назначишь. Что в этом худого? — рассуждал он.— А вообще-то, эти проценты — для тех, чьи сердца очерствели до такой степени, что в них ничего, кроме алчности, не осталось. Если говорить по совести, так людям, в которых есть хоть капля патриотического чувства, нужно всем, как один, отдать свои сбережения без всяких процентов! Куда пойдут наши деньги? — спросят меня. Отвечу: на них будут прорыты каналы, построены водохранилища. фабрики, машиностроительные заводы, электричество придет в наши дома. Правительство обращает особое внимание на повышение жизненного уровня народа, на его образование, медицинское обслуживание. Для быстрейшего осуществления всех этих планов и нужны средства».

«Сэкономь деньги и отдай взаймы государству!» — этот лозунг, возможно, оттого так привлекал Манохара Лала, что как бы укреплял его связь с остальными соотечественниками. Ему казалось, что он сам принимает личное участие в деле общественного прогресса. Правда, налоги, которые взимаются с населения, также идут на общее благо, но налоги — обязательны для всех. А когда сам накопишь и отдашь государству — это совсем другое дело!

Когда Манохар Лал лицом к лицу сталкивался с нищетой, это действовало на него, как удар хлыста, и он всей душой жаждал помочь страждущим.

Однажды ранним утром он вышел проводить своего родственни-

ка, приехавшего к нему в гости на машине. У обочины дороги какой-то человек собирал кожуру от манго и огурцов, а потом облизывал ее. Манохар Лал лишь раз взглянул на него и отвернулся — посмотреть вторично не хватило духу. «Верно, сумасшедший какой-нибудь! — постарался утешить он себя.— А вдруг это просто голодный человек?» Он так и не решил тогда, кто это был — сумасшедший или голодающий.

В другой раз ехал Манохар Лал на велосипеде. И вдруг заметил, что перед ним идет женщина со связкой травы на голове. Одна нога у нее ниже колена была порезана. Шла она, прихрамывая, опираясь обеими руками на палку. А траву-то тоже надо было поддерживать — ведь несла она свою ношу на голове. Женщина изо всех сил старалась ее удержать, но это ей плохо удавалось. Вид этой женщины очень расстроил Манохара Лала, он долго не мог ее забыть.

Или вот еще такой случай: по улице в самый полдень бродила нищенка с грудным ребенком, завернутым в тряпки. У одного дома она остановилась и стала разворачивать ребенка. Манохар Лал увидел его — ребенок был как скелет, такой худущий, а тряпки — грязные, вонючие, наверно, он маялся животом. Мать, казалось, ничуть не была встревожена этим, она только вытерла его и снова завернула в те же тряпки. Ребенок был очень слаб, и Манохар Лал подумал, что он сейчас умрет, и так захотелось ему отправить этого малыша в больницу, где его вымыли бы, одели в чистое, накормили досыта и вылечили.

Итак, Манохар Лал лелеял в душе мечты о новой жизни, полной благоденствия, хотя нигде такой жизни он не видал. Его можно было сравнить с молодой девушкой, которая грезит о радостном, счастливом супружестве, не зная, в сущности, что это такое.

Жена Манохара Лала разделяла его убеждения. Частенько они сидели вдвоем и рассуждали: «Страна нищает оттого, что приходится ввозить товары из-за границы. Подумать только, ведь если вложить капитал в строительство какой-нибудь новой фабрики, то уже через два года доход от нее покроет первоначальные вложения! А то, что она будет производить, превратится в чистую прибыль! Как это выгодно для государства! Конечно, всему населению надо временно уменьшить свои личные расходы. Но зато какая перспектива! Все пойдет хорошо, если мы, индийцы, отдадим свои сбережения на строительство плотин, электростанций, заводов. А если сейчас не поторопимся, поздно будет, потом нам уже никогда не подняться — чем дольше человек находится в бурлящем потоке, тем меньше у него сил, чтобы спастись».

Чтобы слова его звучали еще более убедительно, Манохар Лал брал жену за руку и добавлял:

— Пойми, в твоей руке — ключ от народного счастья. Экономь каждый месяц тридцать-сорок рупий!

И жена делала так, как велел муж. Ей это доставляло удовольствие. Когда удавалось сэкономить сорок рупий, у нее было такое чувство, будто она совершила поистине благое дело или участвовала в каком-то тяжелом, но благородном труде — например, носила корзины с землей на строительстве искусственного озера.

Мысль о том, что надо экономить, не покидала ее ни на минуту — она считала, что делает это для народного блага. Она, например, перестала покупать овощи у зеленщика-разносчика, потому что он продавал их на два пайса дороже, чем на рынке. Конечно, идти в жару на базар, торговаться там из-за пайса было куда тяжелее, чем сидеть дома, в прохладе, а когда придет зеленщик, купить у него, но ведь экономить-то было необходимо!

Муж ее перестал покупать новую одежду для себя, и случалось, что где-нибудь в гостях он вынужден был прятать обтрепанные обшлага своего пиджака и вести разговор, не вынимая рук из-под стола.

Но оба они — и Манохар Лал и его жена — были очень привержены своему долгу и радовались всякий раз, как им удавалось скопить несколько рупий. Им казалось, будто они разрезают путы народной нищеты огромными ножницами и каждая сэкономленная рупия олицетворяет собою взмах этих ножниц!

Особенно трудно было экономить на детских вещах. Как-то жена Манохара Лала купила платьице для дочери — ученицы третьего класса. Платье было из простой грубой ткани с желтым аляповатым орнаментом. Девочке оно не понравилось, но она промолчала. На другой день утром, умывшись, она надела старое платье.

— Почему ты не хочешь надеть новое, доченька? Это же грязное, сними его!

— Что ты, мамочка, оно еще совсем чистое!

— Сейчас же переоденься! — Жена Манохара Лала сняла с дочери старое платье и надела на нее новое.

Девочка неподвижно стояла перед нею в новом платье.

— Ты что же это стоишь как истукан? А ну ступай! — И она шлепнула девочку. Та заплакала.

Мать сорвала на дочери раздражение, но в душе понимала, что та права, что в таком платье неловко идти в школу. Устыдившись своей резкости, она ласково привлекла дочь к себе и проводила почти до самой школы.

На обратном пути она заглянула на минутку к своей приятельнице и увидела у нее газету, которая ее очень заинтересовала. Она попросила разрешение взять газету с собой, чтобы показать мужу. В газете были опубликованы данные о займах, которые государство получило от населения, и напечатана чья-то фотография. Она позвала мужа. На фотографии был изображен какой-то махараджа, протягивающий государственному служащему из министерства финансов чек на двадцать пять тысяч рупий. Двадцать пять тысяч! Жена Манохара Лала была потрясена, она никак не предполагала, что существует на свете такой человек, который в состоянии дать взаймы государству такую огромную сумму — двадцать пять тысяч!

— Послушай, как интересно! Этот человек вложил двадцать пять тысяч! — сказала она, намереваясь порадовать мужа.

— О, это ему ничего не стоит! — с горечью сказал Манохар Лал.— Он же — махараджа, государство дает ему ежегодно миллион восемьсот тысяч рупий. Посчитай-ка, выходит пять тысяч в день.

— Пять тысяч в день? — удивлению жены не было границ.

— Да, конечно, а потом, у него ведь есть еще и другие доходы,— объяснил муж.— Он дал двадцать пять тысяч, это предел, бо́льшую сумму вносить не разрешается.

— Теперь понимаю...— медленно сказала жена Манохара Лала.

Сэкономленные ею с таким трудом деньги вдруг показались ей жалкими грошами. Она подумала о своей дочери, которая выглядела так безобразно в своем новом платье. Господи, до какой мелочности она дошла! К чему все эти ничтожно малые накопления, когда другие могут швырять деньги пригоршнями! И усилия нескольких последних месяцев, которые доставляли ей такую радость, показались теперь совершенно никчемными. Так спортсмен-прыгун, тренирующийся ежедневно по многу часов, вдруг замечает, что результаты у него почти такие же, какие были до тренировки, и что кому-то другому с помощью хитроумных уловок удалось обогнать его.

Матери ~ дочери

Двенадцать лет я живу в этом городе, в этом квартале. Правда, теперь я переехал в другой дом, просторный и новый — раньше я не мог позволить себе такую роскошь. Прислуга, которая приходит к нам делать уборку, дочь той женщины, что приходила убирать старый дом. Она была молода и хороша собой, помню, как она входила к нам в стареньком платье, выпрошенном у соседки, в наброшенной на голову шали, которую дал ей кто-то из женщин ее касты. В ее ушах покачивались большие серьги. Вид молодой чужой женщины всегда меня волновал. Помню, мне ужасно хотелось заговорить с нашей прислугой, но все не было предлога. Однажды такой случай представился: жены не было дома, а я сидел в саду. Женщина, кончив уборку, шла на кухню за едой, которую слуга обычно давал ей. Но слуги не было на месте. Женщина вышла и в нерешительности остановилась возле дерева. На меня она не смотрела и, словно разговаривая сама с собой, сказала:

— Не знаю, куда это он подевался...

— А зачем он тебе? — спросил я ее.

Она обернулась ко мне:

— Я хотела взять лепешки, господин.

— Так я их тебе дам.— Я встал и направился в кухню.

Слуга оставил для нее две лепешки. Я протянул их ей.

— А приправа? — Она, казалось, не спешила уйти.

Я поискал приправу, но не нашел ее.

— Может, вы дадите мне немного патоки?

Я не скупясь положил на лепешки патоку.

Она благодарно улыбнулась — застенчивой, стыдливой улыбкой молоденькой женщины. Тот, кто всю жизнь живет подаянием, хорошо знает, какой ценой оно достается: патока не входила в положенную ей плату.

Через несколько дней моя жена опять куда-то ушла. Прислуге это было известно, но она предпочла сделать вид, что она ничего не знает.

— Где же госпожа? — спросила она меня с напускным равнодушием.

— Да куда-то ушла,— ответил я — словно зажег зеленый свет на уличном перекрестке.

Она отступила на два шага, будто собиралась уйти: она соблюдала приличия.

— Ты что-то хотела сказать? — поторопился спросить я, опасаясь, что она сейчас уйдет, а этого мне вовсе не хотелось.

— Видите ли, я хотела занять немного денег... У нас кончилась мука...

— Сколько же?

— Две рупии.

— Я дам тебе.— И, правда, с некоторой заминкой, я вынул из кармана две бумажки по рупии.

Она несмело взяла деньги.

— Спасибо, я вам обязательно верну, только не говорите госпоже.

Она думала, что эти деньги для меня большая сумма, что мне трудно было их дать, а потому поспешила заверить, что отдаст их. Она не подозревала, что я рассчитывал с помощью этих денег снискать ее расположение, проникнуть в ее душу.

Но расчеты мои оправдались лишь частично. Правда, телом своим

она не дорожила, зато в душу к себе меня не пускала. Наверно, считала, что мне там делать нечего.

Однажды я сказал:

— Почему ты сегодня так спешишь?

— Да родственник в гости к нам приехал, мой зять.

— А я тебе не родственник?

— Ой, что вы спрашиваете? Вы же мой господин!

Мне так хотелось знать о ней побольше, сблизиться с ней, но напрасно, она, очевидно, считала, что я не достоин ее доверия. Стоило мне заговорить о чем-то, касающемся ее жизни, как она уклонялась от ответа и обычно просила:

— Дайте мне, пожалуйста, рупию — я задолжала хозяину.

— Нету у меня рупии,— отвечал я сердито.

— Тогда дайте ану, я куплю дочери печенья.

Ее шестилетняя дочь часто приходила к нам вместе с матерью.

— Нет у меня ничего!

А потом она стала приносить с собою двухмесячного сынишку. По утрам бывало холодно. На голове она держала корзину, а на груди — запеленатого малыша. Она разворачивала его, оставляла на пеленке и принималась за работу. Посиневший от холода ребенок плакал, а она, не обращая внимания, мела двор. Что можно было тут поделать? Только отвернуться, чтобы не видеть этого!

Прошло двенадцать лет. Теперь я живу в другом доме, более просторном, удобном, чем старый. Я стал очень богат. Да разве я один? Все мои коллеги, владельцы кирпичных заводов, тоже разбогатели. Кирпичи продаются теперь по гораздо более высоким ценам, а производство их обходится во столько же.

Да разве мы одни — вся Индия богатеет! Дня не проходит, чтобы не начинал строиться какой-нибудь большой завод. Проектируются несколько таких огромных комбинатов, которые будут давать больше продукции, чем все заводы Индии, вместе взятые. Построенные электростанции дают много энергии, но ее требуется еще больше. Ежегодно растет производство автомашин — спрос на них увеличился, и пока еще желающих купить машину больше, чем их выпускают. Поэтому составляются длинные списки желающих, устанавливаются очереди. Правда, железа производится все больше и больше, машины будут дешеветь и мотороллеры тоже. Худо ли — отвезти детей в школу или колледж на мотороллере?

Говорили, что после ухода англичан из Индии горные курорты опустеют, что в них некому будет жить. Однако с каждым годом больше людей, желающих купить дом в горной местности. Значит, денег у людей стало больше.

А чем я хуже других? Много трудов положил, чтобы переоборудовать весь дом. Вместо деревянных шкафов завел железные, вместо старых подушек, набитых ватой, у меня теперь поролоновые, а вместо простых стульев — кресла, обитые кожей. Детям я не позволяю до них дотрагиваться. В ванной комнате на месте латунного умывальника — цементная ванна, с горячей водой, а прежде воду мы кипятили в ведре. Раньше я очень удивлялся, когда видел, сколько денег тратят торговые фирмы на рекламу — ведь рекламу эту никто не читает, так я думал. Зато теперь я внимательно читаю все объявления в газетах. Поистине, там публикуют очень важные сведения, прочтешь — и сразу же узнаешь, какие товары сделают ваш быт более элегантным и дорогим. Эти объявления указывают путь к передовому, прогрессивному образу жизни.

В условиях все возрастающего богатства и процветания Индии я чувствую себя маленьким винтиком огромного механизма. По мере

того как вращается этот механизм, вращаются и его винтики. Моя душа радуется, когда я слышу об успехах в той или иной области — ведь, поистине, это и мой успех!

Входя в магазин, я говорю: «Дайте мне самое дорогое, самое лучшее!» На цену и не смотрю. В дешевых лавках я ничего не покупаю.

Я уже говорил, что теперь живу в большом доме и что его убирает дочь нашей бывшей прислуги. Если бы я этого не знал, то никогда бы не догадался: та маленькая чумазая девчушка стала молодой, очень красивой девушкой — факт неожиданный для меня да, я думаю, и для ее домашних. Она любит поболтать, может по часу разговаривать с соседкой, стоя у стены с корзиной мусора на голове. Правда, со мной она никогда не заговаривает.

Однажды жены моей не было дома. Теперь я стал более щедр, чем в прежние времена. Когда девушка пришла, я положил сласти в кулечек и протянул ей со словами:

— Вот возьми, здесь сладкое.

— Кому это? — Она как будто была не очень удивлена.

— Это тебе,— ответил я.

Она вопросительно посмотрела на меня, я ответил ей взглядом, и она поняла меня, правда, не сразу. В ней словно зажегся огонек, и она стала совсем другая. И мне не надо было ничего предпринимать. Я сел в кресло, стал читать газету. Закончив работу, она подошла и остановилась возле меня.

— А где госпожа?

— Да куда-то ушла. Ты что-то хотела сказать?

— Видите ли, я хотела занять немного денег... у нас кончилась мука...

— Сколько же?

— Две рупии.

— Я дам тебе.— И я не колеблясь вынул две рупии и протянул ей.

Она несмело взяла деньги.

— Спасибо, я вам обязательно верну, только не говорите госпоже.

Критика

В. ДНЕПРОВ

ДОСТОЕВСКИЙ КАК ПИСАТЕЛЬ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

К 150-летию со дня рождения

Достоевский принадлежит к светилам, которые высоко поднялись над художественным горизонтом человечества и видны отовсюду. Отсветы его открытий легко заметить у таких непохожих художников, как Томас Манн и Генрих Манн, Джойс и Кафка, Моравиа и Грин, Камю и Сартр, Леонов и Федин, Шервуд Андерсон и Фолкнер, Бёль и Паризе, Пикассо и Шостакович, Кобо Абэ и Куросава и т. д. и т. д. Но гораздо важнее, что некоторые общие тенденции современного искусства соприкасаются с той или иной гранью художественного опыта Достоевского. В нашу эпоху жгучую остроту приобрел в литературе вопрос о сознательности человека и тем самым — об отношении между сознательным и бессознательным в его душе. Именно по этому вопросу Достоевский высказал много глубокого, имеющего непреходящий смысл. Для современного искусства характерен процесс своеобразной «идеологизации», но, как известно, русская критика давно и справедливо именует роман Достоевского романом «идеологическим». Внимание многих современных художников сосредоточено на внутреннем формировании идейного человека, и как раз пути и перепутья «человека идеи» Достоевский представил с замечательным разнообразием и полнотой. Западная литература увлечена ныне многосторонним исследованием «отчуждения», Достоевский же не только ставил эту проблему, а также шел в ее художественном анализе за пределы экономической сферы — к отдаленнейшим формам психологического и духовного отчуждения человека от человека. Он изобразил буржуазную «идею» в ее крайней, предельной, фантастически завершенной форме. Удивительно ли, что его произведения сохранили жгуче-живое значение для художников, изображающих гибнущее общество, в котором буржуазная «идея» в ее крайней, предельной, фантастически завершенной форме стала явью; Достоевский доводил реальное до степени неправдоподобного, в современном капитализме неправдоподобное сделалось реальным. Он, как никто другой, умел пропускать действительность через субъект, и в этом за ним следуют многие писатели нашего времени. Нетрудно увидеть близость напряженной экспрессивности, составляющей атмосферу романов Достоевского, и современной тенденции к повышенной экспрессии в изображении жизни. И разве не обращаются современные художники к удивительному мастерству, с которым Достоевский сближает, сплетает, даже сливает злободневнейшее с «вечночеловеческим»? Одним словом, многие явления мирового искусства нельзя постигнуть, минуя живую роль, которую сыграла в их формировании и развитии поэтики Достоевского.

Достоевский едва ли не величайший драматург после Шекспира. Шекспир через драму дал почувствовать эпическую ширь и разносоставность бытия; Достоевский через широту и многообразие романа дал почувствовать конфликтность и драматическую напряженность во всех элементах

жизни и во всем ее целом. Достоевский творил в эпоху, когда всеобъемлющий характер драматизма и его необычайную сложность легче было вместить в свободно раздвигающиеся границы воображения, чем в рамки театральной сцены. Инсценировщику произведений Достоевского нет нужды драматизировать их содержание—оно и так драматично в высшей степени,— но зато ему приходится сократить драму до размеров одного спектакля и, что еще труднее, выбрать из громадного числа внутренне необходимых аспектов действия лишь немногие. Впечатление от сочинений Достоевского, говоря словами одного из его героев, «пронзает сердце, а потом навеки остается рана»; читая романы Достоевского, мы проходим через поэтическое бытие такой стремительности, сгущенности и интенсивности, что на некоторое время весь горизонт нашей действительной жизни освещается заревом огромного художественного переживания и что-то ощутимо меняется в самом нашем чувстве реальности.

Достоевский создал драматический жанр романа, подготовлявшийся в течение XIX века и получивший у великого русского художника завершенную форму. Он стремился художественно доказать, что любой момент жизни поддается драматизации: если довести изображаемое явление до высокой степени интенсивности, из него выступит противоборство как бы самостоятельных начал, или сил. Умению «драматизировать» то, что для обычного взгляда кажется единым, училась у Достоевского литература XX столетия.

Роман Достоевского определяли по-разному, и в каждом из определений есть своя правда. Роман-исповедь. Роман-трагедия. Идеологический роман. Роман диалогический. Философско-публицистический роман. Особый вид романа приключений. Роман-доказательство. Социальный роман.

Каждое из определений можно подтвердить убедительными фактами, и это лучше всего свидетельствует о небывало сложной синтетической структуре произведений Достоевского. Однако в синтезе есть поэтическая доминанта — она в драматическом строении романа. Драматизм как бы пересекает поперек весь остальной ряд определений.

Роман-исповедь. Однако исповедь сознания двуполюсного, двуцентрового, двойнического, лирика, разорванная противоречиями — тем самым естественно развертывающаяся в драму. Лирика Достоевского обладает, так сказать, драматической выдержкой — терпением пройти через стадию драматической объективации.

Роман идеологический. Однако идеи у Достоевского не только вросли в личность, они составляют также необходимое измерение индивидуальных и социальных характеров. Притом роман Достоевского вовсе не ограничен состоянием неразрешимого спора. Казалось бы безысходный, спор разрешается нравственной драмой. Этот мощный сдвиг из плоскости логически философской в плоскость нравственную составляет важнейший момент в сюжетостроении Достоевского.

Роман философский. Однако философские принципы оказываются у Достоевского внутренними и долгодействующими стимулами человеческого поведения. Если бога нет, то все позволено. И Смердяков — ублюдок этой идеи — совершает убийство. Мораль, связанная с идеей пользы, в своем практическом осуществлении, в своем предельном нравственном значении ведет, по мысли Достоевского, к преступлению. И добрый, благородный, чистосердечный Раскольников поднимает топор на старуху-процентщицу. Философская логика претворяется в логику поведения, а роман Достоевского становится философской драмой в небывало точном, буквальном смысле этого слова.

Роман-доказательство. Однако чаще всего — доказательство от противного, через доведение до крайности отрицательно-моральных последствий данной точки зрения, через саморазрушение идеи при последовательной ее реализаци. Конфликт между интеллектуальным потенциалом идеи и ее жизненным потенциалом — конфликт, проходящий через центр человеческой души,— является существенным аспектом драматизма в романах Достоевского.

Роман приключений. Однако главным образом по способу разложения событий на действия. Справедливым будет утверждение: читая Достоевского, мы видим потому, что участвуем. У Толстого слово обладает еще небывалой в романе изобразительной мощью, у Достоевского же — еще небывалой в романе слитностью с действием. Л. Гроссман совершенно прав, когда говорит о «драматизме описаний» Достоевского. Даже описаний! Когда мы читаем рассказ об убийстве старухи Раскольниковым, эффект участия достигает степени, не часто встречающейся даже в театре. И если условно разделить наше существование в художественном произведении на «эффект присутствия» и «эффект участия», то в создании первого не имеет в романе соперников Толстой, а в создании второго — Достоевский.

Социальный роман. Однако в большей мере основанный на учете субъективного момента истории, чем на учете ее объективных условий, больше сосредоточившийся на значении личностей, чем на движении масс. Достоевскому как художнику разрешение исторических коллизий гораздо интереснее, чем их формирование; его роман движется не столько из прошлого в настоящее, сколько из настоящего в будущее, он не столько объясняет, сколько предвосхищает, личность берется в нем не столько в зависимости от обстоятельств, как определяемое, сколько в ее виновности и ответственности, в ее действительной или кажущейся самостоятельности и инициативе, как опре-

деляющее. Будучи продолжателем социального романа XIX века, Достоевский одновременно находится в сознательной оппозиции к нему. С присущим стремлением в глубину вопроса Достоевский замечает внутреннюю связь социального романа с философией материалистического просвещения— и хочет освободить его от этой связи. Он отвергает мысль о всесилии социального воспитания, возражает против объяснения человека «средой», отбрасывает представление о лишенной зла изначальной натуре человека.

В «Тезисах о Фейербахе» Маркс писал: «Материалистическое учение о том, что люди суть продукты обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди суть продукты иных обстоятельств и измененного воспитания,— это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан» [1]. Если сопоставить приведенное рассуждение Маркса со взглядом Достоевского на человеческую историю, можно сказать, что его взгляд был направлен главным образом на то, что упускали домарксистские материалистические теории общества, и пренебрегал тем, что в теориях этих было истинным и необходимым. Как не раз бывало в истории мысли, достижение сопровождалось потерей. Односторонность Достоевского содержала в себе не только философское заблуждение, она заключала в себе важный для искусства прогресс: смело подчеркивала недостаток представителей социально-реалистического искусства XIX века — недостаточно активное отношение к жизни, нехватку субъективности, исторической инициативы, действенного устремления к исторической развязке.

Драматизм соединяет поэтику Достоевского с его философией. Наш великий романист существенно близок к Шекспиру в том, что как для первого, так и для второго жизнь представляется гигантской драмой, в самой реальности эпический элемент видится подчиненным элементу драматическому. Ни тому, ни другому не удается провести этот взгляд до конца. У Шекспира человеческие действия — и добрые, и злые — разбиваются о стену неподдающейся осмыслению судьбы. Его трагизм воплотил кризис идеи: человек все может. Да, может все, кроме главного: поставить ход жизни под свой нравственный контроль. Трагизм принят в замысел, трагическая граница предположена заранее.

А у Достоевского трагизм не заложен с самого начала, роман не строится из трагической концепции жизни — мера драматизации у него в этом смысле еще большая, чем у Шекспира. Достоевский в своей картине современности не принимает во внимание судьбу, историческую неизбежность или закономерность, господствующую над человеческой волей и образующую объективный порядок вещей. Он, напротив, в своих романах (особенно часто в записных книжках к романам) определяет русскую современность как «беспорядок» и, осуждая этот беспорядок, признает его вместе с тем реальным состоянием русской действительности — а потому и основой, базисом художественного изображения. Брожение, неустойчивость, внутреннее напряжение, как бы приблизившее действительность к температуре плавления, ускоренный бег исторического времени, громадная роль личного элемента и случайности, расшатанность уклада и традиции, сдвинутость социальных положений, решающая важность идей, ситуация кануна, предразвязки, нетерпения, положение, когда история сорвалась с накатанной колеи и будущее не решено, а только решается,— таковы некоторые составляющие его мировосприятия, его специфического чувства реальности, той представшей его духовному взору формы действительности, с которой внутренне связаны формы его искусства.

Достоевский признал огромную жизненную важность идей, нравственных идеалов и программ, оставаясь в этом отношении близким к русскому революционному просвещению, которое в других отношениях он страстно отвергает. Перевес экономической стороны, подчиненность исторического развития Западной Европы экономическим интересам — это не всеобщий закон, а результат ошибок, нравственной дезориентации, утраты идеала, результат победы зла, одним словом,— равнодействующая человеческих действий. В России, несмотря на то, что капитализм растет и лезет из всех щелей, равнодействующая, надеется Достоевский, пока не установилась, итога еще нет — все зависит от нравственного самоопределения личности, от ее выбора и идеи, от направления ее деятельности, от характера ее целей. Капитализм страшен и в России, поскольку буржуазная «идея» опирается на темные, подлые силы, присущие человеческой натуре, но в основах души живут также светоносные добрые силы — они-то должны определить «нового человека», «христианское», а не капиталистическое будущее России — христианское в том смутном, нравственно утопическом значении, которое приписал ему Достоевский. Вопреки тем просветителям, которые говорили: человек по природе своей ни добр, ни зол, Достоевский говорит: человек по природе своей и добр, и зол, ближайший его противник заключен в нем самом, свою высокую идею он раньше всего должен защитить от самого себя, первую духовную и нравственную борьбу провести с самим собой. И борьба эта — не субъективистская буря в стакане воды, в ней поставлены на кон всеобщие идеи, проверяются большие жизненные истины. Нравственное развитие личности и его результат, идейное столкновение личностей и его результат имеют историческое значение — они в самом сжатом очерке представляют ход и исход развития целой действительности; судьба идеи в личности предсказывает ее судьбу в истории. Крах индивидуализма в душе и нравственном опыте Раскольникова не только обосновывает, но и предвещает будущий крах индивидуализма в масштабе всего человечества; теоретическая

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2, т. 3, стр. 2.

философия Ивана Карамазова опровергается его личной практикой — и это опровержение имеет надличное, всемирное будущее.

Достоевский пропускает реальность через субъект, и это ставит перед его искусством трудности, часто непреодолимые. Сколь ни гениален Достоевский, ему не удается художественно подтвердить господство личного элемента над объективно-историческим. Социальные границы и определенности личности, рамки несправедливого устройства жизни дают себя знать на каждом шагу, и Достоевский не был бы великим писателем, если бы не чувствовал сковывающей, давящей мощи этих границ и рамок. Однако специфический трагизм Достоевского состоит еще более в том, что внутри самого себя человек сталкивается с трагическими препятствиями, что самосознание и действия героев, связанные со свободным мышлением и нравственным чувством, жестоко корректируются вошедшей в личность объективной силой, истолкованной Достоевским как «природа человека».

Трагическое положение человека в мире, трагическое положение духовной свободы и доброты в человеческой личности — Достоевский объединил оба эти вида трагизма, показывая их один через другой. В этом объединении и движении двух видов трагизма один через другой он оказался необычайно близким многим писателям современного капиталистического мира.

Коренные, роковые вопросы жизни Достоевский придвинул вплотную к субъекту и поставил в нем на решение. Духовно личное, активное начало оказалось в центре изображаемого мира. В этом обнаружилась не только философская точка зрения автора, но также глубокая связь его искусства с предреволюционным характером русской действительности. Эпически массовые силы угнетенных классов еще не пришли в движение, но гул будущего уже улавливается настороженным ухом, в кругу людей, которых сам Достоевский именовал «новыми», растет внутреннее напряжение и мучительное состояние неразрешенной активности, готовятся идеологические и нравственные предпосылки революции, определяются характеры, годные для ее совершения. Тот самый Достоевский, который боролся с революционной идеей, обладал поразительным чутьем к отдаленным симптомам революции и поразительным умением эти симптомы художественно зафиксировать. Люди у него думают и спорят не о частных, а о конечных или, как назвал их Достоевский в «Братьях Карамазовых», «последних вопросах»; они подняты над бытом и выключены из обычного жизненного цикла, их характеры определяются в первую голову по идейным направлениям, в отношениях сопоставляются и испытываются программы будущего; в их нравственное чувство, помыслы, самосознание проникли тоска и боль угнетенной массы, отношение к чаяниям и высшим стремлениям масс так или иначе участвует во всем их поведении; самым строем личности они отражают предреволюционную пору выбора и размежевания, когда для самоопределения «нового человека» актуальны не только внешние, но и внутренние препятствия и в собственной душе нужно одолеть силы, враждебные избранной цели.

Достоевский находит вполне определенные способы, чтобы совместить художественное выражение предреволюционной (имея в виду целую эпоху) действительности с отрицанием революции. Например, способ, который можно было бы условно назвать «приемом амальгамы».

В личности Раскольникова Достоевский создал как бы амальгаму буржуазной идеи в ее завершеннейшей и предельной форме с живыми чертами нового поколения России. Идея Раскольникова страшна, но вместе с тем Раскольников способен на аскетическую преданность идее, полон готовности к самопожертвованию и решимости перейти, чего бы это ни стоило, от мысли к действию, он с мукой откликается на все обиды человеку, и каждая встреча с буржуазной подлостью ранит ему сердце. Одним словом, в Раскольникове уловлены некоторые черты передового человека России как человеческого характера, но в центр его сознания поставлена агрессивно-буржуазная идея, искажающая этот характер.

За этой внешне полемической амальгамой скрывается более глубокая мысль автора. Достоевский уверен, что идея личного интереса, заложенная французскими и русскими революционными просветителями в основу нравственного учения, на деле ведет к аморализму, а не к добру. Он усматривает неразрешимое противоречие между личным интересом как нерассуждающей стихийной силой и его истолкованием в духе отвлеченного разума. В мире, который писатель хорошо знает, личный интерес в практическом и естественном развитии ведет лишь к безудержности корысти и самолюбия, к раскрепощению преступления и насилия — короче, к буржуазному обществу со всеми его зловещими последствиями.

Достоевский обвинял русских социалистов в непоследовательности, в несогласованности между основанием личной пользы и высоким нравственным идеалом социализма. Несогласованность эта разрешима двояко. Или социализм устраняет принцип личной пользы из основы своего морального учения. Или этот принцип, развиваясь дальше, обнаруживает свою опасную для всего человеческого буржуазную сущность, окончательно дичает в своем практическом осуществлении и ведет революционера к перерождению, отказу от социализма и внутренней гибели. Первую возможность Достоевский либо полностью игнорирует, либо полностью исключает, вторую — реализует в некоторых главных своих героях. Достоевский хочет опровергнуть социализм — такой, каким он себе его представляет,— опровергая буржуазную идею в социализме; из возможного перерождения социалиста он

В. ДНЕПРОВ

ДОСТОЕВСКИЙ КАК ПИСАТЕЛЬ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

выводит неосуществимость действительного социализма. Отождествив материалистическую этику с принципом личной пользы, он дал Раскольникову и Ивану Карамазову развернуть до конца логику этого принципа — до безграничного индивидуализма и неотделимого от него презрения к людям, до цели личного господства и власти, до перспективы общества рабов, в котором душа, свобода и достоинство человека покупаются за покой и сытость.

История основательнейшим образом проверила отосланные в будущее концепции Достоевского. Читая сейчас книги Достоевского, мы не можем не сопоставлять его нравственно-исторические концепции с тем, что происходило и происходит в бурном нашем столетии,— в этом, в частности, обнаруживается необычайная актуальность его сочинений и их глубокая причастность к жизни современного искусства. Раскольников и Иван Карамазов довели идею эгоизма (различие между обычным эгоизмом и «разумным эгоизмом» Достоевский, глубоко заблуждаясь, считает мнимым) до завершенной системы зла. В данном случае художественная логика в какой-то мере предвосхитила логику историческую: гибнущее и бешено сопротивляющееся гибели буржуазное общество реализовало все худшее в замыслах Раскольникова и Ивана Карамазова — и реализовало еще ужаснее, чем мог себе представить раздраженный ум героев Достоевского. Фашистская система наглого и открытого зла, увенчанная принципом «фюрера», новейшая буржуазная теория и практика элиты, техника манипулирования потребностями и мыслями людей, намеренное их развращение и погружение в грязь, неслыханные размеры подкупа, массовый обмен человеческого первородства на чечевичную похлебку — все это много хуже, чем могли себе вообразить Раскольников или Иван Карамазов. История нашего столетия изменила и установила функцию образов Достоевского: в их содержании писатель угадал черты реального буржуазного общества, каким оно стало как раз в последней борьбе с уже возникшим социализмом. (В исторической философии Достоевского рядом с перспективой лучшего, светлого будущего всегда имелась в виду также и возможность будущего худшего, мрачного, черного; его историческая философия условно оптимистична и одновременно — условно пессимистична.)

Не менее основательно проверил нравственно-исторические концепции Достоевского опыт социалистического мира. Буржуазные идеи, навыки, страсти, буржуазное честолюбие и эгоизм оказались на самом деле очень цепкими, упорными, живучими, трудноискоренимыми. Однако роль их совсем не та, какую им назначил в социализме Достоевский: они тормозят, мешают, наносят уроны — иногда тяжелые — социалистическому развитию. Без победы над ними, без духовного подъема и нравственного выпрямления человека, без широчайшего распространения истинно человечных отношений коммунизм невозможен. Пока не выстроен нравственный этаж социалистического здания — здание не достроено. Даже и экономические задачи коммунизма не разрешимы только экономическими способами — без включения нравственного звена, без энтузиазма, без высокой моральной дисциплины и инициативы миллионов трудящихся. Представление о социализме как окончательном господстве экономических и материальных потребностей над жизнью и душой человека (то есть как о некоем сверхбуржуазном порядке) решительно отвергнуто внутренним опытом социалистического развития, всеми уроками его неудач и успехов.

Однако по дороге к неверному выводу Достоевский открывает такую массу живых человеческих истин, что именно в них сосредоточивается громадная важность его творчества для людей нашего времени. История, отменив ложный вывод, сдвигает художественное содержание к заключенной в нем долговременной истине, и от этого произведения Достоевского гораздо больше выигрывают — в глубине и красоте,— чем теряют.

Достоевский изображал предреволюционное состояние русской жизни в тот момент, когда ее сдвиги преломлялись через ломку человеческой личности, ломку души. Русское революционное движение от Герцена и Белинского до революционеров 70-х годов выдвинуло новый мировой тип личности, отличающийся от французских просветителей XVIII века и передовых мыслителей Германии первой трети века XIX; некоторые существенные черты этого нового мирового типа личности Тургенев и Толстой предвосхитили и отразили полнее и вернее, чем Достоевский; зато в других важных отношениях Достоевский ближе подошел к оригинальному человеческому его своеобразию и содержанию, чем упомянутые великие русские писатели. Можно ли не думать о романах Достоевского, читая такие строки из воспоминаний Тургенева о Белинском: «Сомнения его именно мучили его, лишали его сна, пищи, неотступно грызли и жгли его, он не позволял себе забыться и не знал усталости, он денно и нощно бился над разрешением вопросов, которые сам задавал себе. Бывало, как только приду к нему, он, исхудалый, больной, ...тотчас встанет с дивана и едва слышным голосом, беспрерывно кашляя, с пульсом, бившимся сто раз в минуту, с нервным румянцем на щеках, начнет прерванную накануне беседу... «Мы не решили еще вопроса о существовании бога,— сказал он мне однажды с горьким упреком,— а вы хотите есть». Разве не удивительно похоже? Разве не похоже глубочайшей поэтически-человеческой сутью?

У героев Достоевского идея вошла в личность и вызвала ее внутреннюю перестройку, вступила в различные отношения с социально унаследованным укладом индивидуальности, образовала очень противоречивые взаимодействия с бессознательными сферами психики. Этот избыток, потенциал сложности оказался крайне нужным двадцатому веку, герои Достоевского в чем-то

немаловажном ближе к людям нашего, чем прошлого, века.

Достоевский близок нашей эпохе великой ломки тем, что его человек — переходный тип, получивший сегодня огромное распространение. Этот человек способен в одних отношениях рвануться далеко вперед и возвыситься, а в других — оставаться в косном, мертвом и злом прошлом. С единством субъекта у героев Достоевского дело обстоит вовсе не просто: единство это включает в себя разрывы и несоответствия, и в каждой существенной проекции личность выступает по-иному. Достоевский не только видит трудность перехода, но и показывает, в чем именно эта трудность состоит. Переход не сводится к формуле: понял, усвоил — и стал другим; он должен охватить желания и страсти, обнять как сознательную, так и бессознательную жизнь души, он требует, чтобы вся личность построилась по-новому. Достоевский дал гениально проникновенные описания самой механики, так сказать, душевной технологии духовных и нравственных переворотов в личности, и без слов ясно, как важны его анализы для нас, практически строящих нового человека для нового мира. Достоевский учит нас истине, которую мы еще не оценили в полной мере: переделка обстоятельств обязательно включает в себя момент самопеределки, момент нравственного самосознания, самоотчета, внутренней борьбы с собой, воздействия лучших сил нашей личности на ее худшие силы, умение говорить себе правду о самом себе, решимость знать и трезво видеть себя.

Человек, хорошо читавший Достоевского, получает счастливую возможность избавиться от наивной простоватости в отношении к самому себе. И учит художник не бесцельному самокопанию, а такой нравственной к себе требовательности, которая исключает иллюзии, самообманы и дает бесстрашно разглядеть все косное, старое, темное, злое в отдаленных углах своей души. Для нас этот внутренний процесс — лишь звено в ходе социального формирования личности, но звено, упустить которое было бы большим социальным несчастьем. То, что небрежному взгляду кажется у Достоевского взвинченным, болезненным, перенапряженным, чаще всего оказывается противоречием обычного сознания, но укрупненным художественной фантазией и ставшим отчетливо видимым — как через сильный микроскоп. Этим способом: изображать обычное через болезненное и перенапряженное — широко пользовались многие крупные художники нашего столетия. Обостряя противоречия до крайностей, художник делает представление о них не только весьма обобщенным, но и в высшей степени определенным.

Характерный случай — противоречие между сознательным и бессознательным в душевном мире личности. Всегда, когда Раскольников действует безотчетно, неожиданно для самого себя, импульсивно или, как любит говорить Достоевский, «вдруг»,— его поступки выдают натуру добрую, деликатно-гордую, великодушную. А вот сознательная мысль его холодна, зла, враждебна людям, опасна; мысль разжигает и питает эгоизм, рассудочно подкрепляет буржуазное в его личности. Бессознательное находится в гармонии со всем лучшим в нем, а мысль вступает в связь со всем худшим.

По-иному и более сложно устроен в этом отношении Иван Карамазов. В его голове живут мысли, отменяющие всякую нравственность и обещающие человечеству печальное будущее. Однако сознательно он не может и не хочет сделать личные выводы из своих рассуждений — они ведь являются результатом философской последовательности, а отнюдь не руководством для собственного поведения. И тут на помощь злу приходит бессознательное. Злое, коварное, искусно прячущееся бессознательное. С дьявольской хитростью оно ведет Ивана к убийству отца — убийству тем худшему, что осуществляется оно чужими руками. В разговорах Ивана со Смердяковым Достоевский гениально определяет место бессознательного в душевной динамике Ивана Карамазова. Смердяков потрясен и уничтожен открытием: Иван не имел все же сознательного намерения и плана толкнуть его к убийству. Иван на самом деле не знал, что убил он, Смердяков, и ужасное изумление Ивана — не притворство. Смердяков, потеряв сообщника, не выносит одиночества — он способен быть орудием чужой воли и идеи, но решительно не способен взять ответственность на одного себя; убийство всей тяжестью упало на его слабые плечи и раздавило его. Но Иван — говорил ли Смердякову правду или обманывал? Ответ Достоевского весьма замечателен и укладывается в формулу, не раз встречающуюся в романах Достоевского: не знал и вместе с тем знал. Поступая бессознательно, вместе с тем — отчего-то — называл себя подлецом вслед за бессознательным деянием. Бессознательное существовало в какой-то глухой, отдаленной, смутно угадываемой связи с его намерениями; бессознательное пряталось от него, но и он прятался от своего бессознательного; он в одно и то же время был невиновным и опасно преступным; даже в бессознательном своем он оставался нравственно вменяемым; на самом деле был больным, но также морально отвечал за болезнь, спасшую его от своего и людского суда. Достойно внимания, что формулу Достоевского унаследовала литература нашего столетия, и Томас Манн повторил ее в «Избраннике» другими словами: «бессознательно и вместе с тем сознательно».

В постижении бессознательного Достоевский намного перегнал науку своего времени, и лишь современное знание научилось заглядывать в противоречия человеческой души, которые с удивительной точностью анализировал русский художник. Его бессознательное представляет не только без-

---

В. ДНЕПРОВ
ДОСТОЕВСКИЙ КАК ПИСАТЕЛЬ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

личные инстинкты, оно — «свое» бессознательное, имеющее индивидуальную структуру, продолжающее личность и социально определенное. Особый интерес Достоевского к бессознательной сфере без всяких сомнений объясняется тем, что он имел дело с человеком в момент внутреннего переворота, внутренней перестройки, внутреннего перехода. В эпоху великого перехода от классового к бесклассовому обществу мы практически и в массовом масштабе стоим перед проблемой бессознательного, перед необходимостью растворить, претворить, устранить уплотнившиеся в бессознательном пережитки старого мира; Ленин постоянно говорил о них как о привычках, навыках, то есть как о чем-то внедрившемся в бессознательные области нашей психики.

В противоречии сознательного и бессознательного отражен весь Иван Карамазов, и другому писателю одного этого противоречия хватило бы на большой роман. Однако у Достоевского — это лишь один из аспектов сложнейшей, сотканной из противоречий личности Ивана. Вот еще аспект: ужасающее несоответствие между всемирными просторами, над которыми реет мысль Ивана, и узостью его личных целей. Или еще один: ужасающее несоответствие между высоким негодованием, заставившим Ивана отвергнуть существующий миропорядок из-за слез одного замученного ребенка, и представлением о жвачном, рабски благополучном бытии, о котором рассказано в главе «Великий Инквизитор». И эмоционально он соткан из как бы несовместимых начал: ему доступны светлая открытость, интеллектуальная дружба, полная человечность и внутренняя свобода общения — все, что с такой прелестью раскрывается в минуты его душевной близости с Алешей; но вместе с тем ему свойствен глубочайший эгоизм эмоций, обращенность к себе, переходящая в душевную недоступность и неуловимость, постоянное ощущение непреодолимой чуждости, отделяющей его от других людей,— чуждости, почти граничащей с враждебностью. Логика говорит ему, что все позволено, что он, Иван, стал выше морали (и эта логика безупречна, если идее бога противопоставить не человечество, а изолированную личность), но в нем самом живут препятствия, мешающие подчиняться такой, казалось бы безупречной, логике. Доброта, любовь Алеши вдохновляют Ивана приоткрыть изумительные богатства и красоты своей души, но в другие времена его сознание представляет мир «отчуждения» с такой завершенностью, которая открылась литературе буржуазного мира лишь в двадцатом столетии. Однако в отличие от писателей современного капиталистического мира, которые часто ограничиваются изображением всестороннего отчуждения личности от всех других людей, Достоевский наряду с отчуждением сделал важнейшей темой также раскрытое, полное, человечное общение — счастливый момент душевной близости, вспышку единства и взаимопонимания двух разных индивидуальностей, захватывающий интерес к чужому внутреннему миру и способ жить не только в своем, но и в чужом внутреннем мире.

Достоевский буквально строит личность из противоречий и вообще большей частью кладет противоречия в душевную основу своих героев. Это очевидно, когда речь идет об Иване Карамазове, Раскольникове, Версилове, Ставрогине. Но это в какой-то мере справедливо даже и тогда, когда речь о князе Мышкине — о нем Достоевский в записных книжках к «Идиоту» многократно пишет: «Князь — Христос». Разумеется, противоречия его личности совсем другие, чем у Версилова или Ивана Карамазова,— они естественно укладываются в нравственную гармонию его внутреннего мира. Но все же его разрывают две любви — к Настасье Филипповне и Аглае, обе подлинные и глубоко различные; все же в нем соединяется органическая наивность, крайняя идеальность, неприспособленность с удивительной духовной зоркостью, удивительной проницательностью в угадывании сложнейших мотивов чужих поступков и уже совсем неожиданной трезвостью и жизненностью многих суждений.

Сближенность поэтики с философией в изображении жизни и людей рождает особую двойственность в восприятии сочинений Достоевского — восприятии жгуче страстном и вместе с тем необыкновенно интеллектуальном. Душа горит, и ум горит. Чувства возбуждены до предела и целиком вовлечены в действие, но одновременно в уме неутомимо формируется научное представление о душевном устройстве человека, философское представление о возможностях человека. Эта способность Достоевского идти по границе поэзии и науки, давно отмеченная русской критикой, естественно, оказалась очень важной для интеллектуального романа двадцатого века. Достоевский нашел то отношение между образом и понятием, которое лежит в основе интеллектуального романа,— и в этом смысле создал его прообраз. Он объединил в едином искусстве самое конкретное с самым всеобще-категориальным, погрузил философские идеи так глубоко в развитие действительности и развитие человека, что они стали необходимой частью действительности и необходимой частью человека, связал частно-злободневные явления с противостоящими друг другу социальными идеалами так тесно, что эти частные явления и отдельные поступки, сохраняя все свое непосредственное и самоцельно человеческое значение, стали вместе с тем играть роль фактов-аргументов, подтверждающих или опровергающих те или иные идеалы, то или иное миросозерцание. Одна ветвь новейшего интеллектуального романа — например, Франса и в некоторых случаях Камю — примыкает к иронически-философскому роману XVIII века, другая — например, Томас Манн — примыкает к опыту Достоевского, поставившего интеллектуальный роман на базе романа социального.

Нужно иметь в виду, что Достоевский, умея в некоторых случаях художественно реализовать свой философский взгляд со

строжайшей последовательностью, в других важных случаях — подобно многим великим писателям (и притом к счастью) — умел не подчиняться своей собственной философской логике. Он часто повторял, что человеческая натура неизменна. Но вместе с тем снабдил эту натуру такими движущими и требующими разрешения противоречиями, таким громадным ресурсом изменчивости, такими возможностями господства идеального «я» над «я» низменно страстным, что для миллионов и миллионов его нынешних читателей романы Достоевского стали художественным подтверждением существенной мысли: человек возможный так же действителен, как человек существующий, он способен неограниченно меняться в сторону душевной красоты и добра, но способен идти к немыслимым ступеням зла — и натура человеческая, именно из-за противоречивости, сама по себе не является препятствием ни для того, ни для другого. И ум сам по себе не является гарантом того или иного нравственного пути — ум нужен и добру и злу. Ум бывает и нравственно безразличным. С некоторым удивлением (в аристотелевском смысле: удивление — мать философии) Достоевский констатирует в записных книжках к «Преступлению и наказанию», что Свидригайлов умеет мыслить широко и свободно. Однако главное состоит все же в том, что идея, по Достоевскому, бывает злой и доброй, разум, по Достоевскому, бывает добрым и злым. Крайне интересно следить, как постепенно Достоевский (в записных книжках к «Идиоту») нащупывает связь между нравственным чувством и разумом князя Мышкина. Князь обладает драгоценными истинами доброго сердца, но Достоевский приходит к тому, что этого недостаточно, что Мышкину требуется еще глубокое и вместе с тем доброе понимание жизни, он делает Мышкина хранителем непосредственного чувства любви к людям, но вместе с тем и психологом добра, дает ему философскую концепцию добра, основанную на том, что доброе лицо всей жизни мозаично составляется лишь из лично нравственных отношений между отдельными людьми.

Наш читатель непременно будет спорить с Достоевским о причинах, определяющих развитие человека в хорошем и дурном направлении. Он не согласится с великим художником в том, что решение моральной альтернативы полностью зависит от внутреннего решения личности,— как примирить с этим массовые и одновременные ухудшения и улучшения людей, убедительно продемонстрированные новейшей историей? Самостоятельное нравственное решение и субъективный выбор необходимо важны, без них моральная жизнь — всего лишь мнимая величина, и в этом Достоевский тысячу раз прав; но столь же очевидно, что если миллионы людей враз принимают сходные нравственные решения, то это зависит не только от внутренней моральной свободы личности — притом обусловленность не снимает с человека ни капли личной нравственной ответственности.

Но как бы ни обстояло дело с объективными основами нравственной свободы, человек Достоевского во много ближе, душевно доступнее, понятнее теперь нам, чем современникам великого русского писателя. Ближе и понятнее движимостью своей сущности, пребыванием в крайностях и среди крайностей, своим замахом на великие решения, своими ослепительными взлетами и мрачными падениями — все это очень соответствует пережитому каждым из нас историческому опыту. Мы теперь слишком хорошо знаем, насколько отличается человек, живущий в установившемся быте, в социальной каждодневности, от человека, живущего в потрясенной действительности, среди роковых обстоятельств, стоящего перед нравственным решением вопроса о жизни и смерти, о свободе и рабстве; мы знаем, как резко поворачивается в таких условиях нравственная ось личности, как поляризуются ее душевные силы, как вырастают и обостряются моральные различия между людьми. На пути этого знания нас далеко сопровождает гений Достоевского. Среди быта он поставил надбытового человека, среди мелко-текущих интересов — человека идеи, среди обыденного воздвиг мир необычайного, среди каждодневного — мир удивительного, в котором на каждом шагу внезапное, на каждом шагу излюбленное «вдруг». Действительность Достоевского напоминает прыгуна, который еще не оторвался от земли, но в изгибе, позе, напряжении — уже весь в прыжке. Будущего — главного будущего! — еще нет, но люди уже отбираются для него, в какой-то мере его определяют, готовятся перенести в него свои направления и споры, тянутся к нему стремлением, фантазией, мыслью в то самое время, когда их существование держит в плену настоящее и прошлое. Над всем висит тайна завтрашнего. Везде сгущена атмосфера ожидания и предчувствия, поддержанная, казалось бы, неоправданной сверхнапряженностью положений, казалось бы, не совсем обоснованным, граничащим с безумием возбуждением героев, поддержанная лихорадкой слова, нагнетающего в атмосферу все новую и новую энергию, поддержанная, наконец, ускоренным дыханием и ритмом времени, а нередко его бешеным бегом. Предреволюционная атмосфера, образующая важнейший элемент поэтического содержания у Достоевского, сохраняет тут свое предреволюционное значение в известной мере поверх суждений, в известной мере независимо от того, что говорят и доказывают персонажи романов. Эту сосредоточенную атмосферу исторического предчувствия, приготовленности мира к неслыханным переменам, внутреннего напряжения перед лицом будущего мы находим в поэзии двадцатого века, в частности — с замечательной глубиной и красотой — у Блока.

В. ДНЕПРОВ
ДОСТОЕВСКИЙ КАК ПИСАТЕЛЬ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

Русской литературе свойственно особое умение рисовать человека в ходе внутренних перемен. С наибольшей силой оно проявилось у Толстого и Достоевского. В романах Достоевского мы находим характерное выражение: лицо опрокинулось. Нередко уместным было бы и выражение: душа опрокинулась, субъект опрокинулся. Громадную роль играет, например, момент реализации идеи и обратный сокрушающий удар, который последствия этой реализации наносят герою. Осуществив идею, убив старуху, Раскольников порвал узы, соединявшие его с человечеством и с каждым из людей,— и оказалось, что он не может, не в силах, не способен жить в состоянии такого разрыва; перед ним возникло абсолютное препятствие, заставившее искать новые основания для своей личности. Вообще Достоевский с необычайной остротой чувствовал различие между идеальностью мысли, движущейся в стройном просторном царстве доводов, и той же мыслью, вошедшей в действительность и бредущей среди всего неприглядного, путаного, мелкоизменного, что в ней есть. Мысль: если бога нет, то все позволено, в качестве философского довода казалась воплощением смелой последовательности и человеческого самоутверждения, но, обернувшись деяниями Смердякова и всеми удручающими обстоятельствами убийства, обернувшись унизительной связью между Иваном и Смердяковым, мысль эта сама представилась грязно-смердящей. После разговоров со Смердяковым и всего, что за этими разговорами последовало, Иван не мог больше оставаться в той нравственной двойственности, которая раньше удерживалась в его личности, и вынужден был — пусть сопротивляясь — идти к окончательному духовному падению. Глубокие сдвиги в основах нравственной личности вызваны здесь (как и в случае с Раскольниковым) все большим ее внедрением в жизненный процесс, а не просветительским озарением под занавес или романтическим самовосстановлением моральной идеи.

Природа индивидуальности у Достоевского богата разнообразными — хорошими и дурными — задатками, и воздействие другой личности способно вызвать в ней благодетельный взрыв. Потенциальные силы выбрасываются этим взрывом на первый план личности, а то, что вчера было в ней определяющим, хотя и не исчезает, но оттесняется или даже уходит в скрытую форму возможности. Светлое влияние князя Мышкина или Алеши Карамазова выманивает из глубины и вводит в действие такие прекрасные и благородные силы в душе окружающих людей, каких они в себе и не подозревали. Любовь князя Мышкина к Настасье Филипповне, проникнутая восхищением, почтением и жалостью, проникнутая человеческим братством, рождает в ней изумительный подъем лучших сил, нравственный восторг, готовность к самопожертвованию и отказу от счастья, истинное женское величие, которое ставит ее над соперницей — Аглаей, еще не узнавшей грязи и тяжелых страданий действительной жизни. Изображая подобные сияющие протуберанцы души, Достоевский особенно заботится о жизненной правде. Он выбирает женскую натуру тревожно-неустойчивую, щедрую, смятенную, израненную, но еще не павшую, униженную, но гордую. И в ее восхождении художник отмечает рывки, метания, капризы, откаты назад, темные следы былых обид и презрение к себе. Настасье Филипповне по всему ее складу требуется лишь толчок, чтобы все внутри переместилось,— и любовь Мышкина как раз и стала этим толчком. Достоевский отлично понимает, что стихийную, окончательно предавшуюся страсти натуру Рогожина доброжелательность, мягкость, бережливая чуткость, участливость, беззлобность князя Мышкина перевернуть не могут. Однако и в этой темностихийной натуре влияние князя порождает смутную и трудную борьбу. Он ревниво ненавидит Мышкина и по-человечески его любит, заносит над ним нож, но душевно к нему тянется. Реакция различных людей на князя Мышкина почти точно измеряет нравственные возможности каждого из них, не говоря уже о том, что они через нее сопоставляются и сравниваются.

Личное влияние — нравственное, идейное, хорошее, дурное, его значение для улучшения и ухудшения людей образует большую поэтическую тему не только в «Идиоте», но и в «Братьях Карамазовых» или «Подростке». Нужно ли говорить, как связана эта большая тема Достоевского с предреволюционным характером русской жизни. В предреволюционные эпохи души особенно подвижны — напоминают почки, готовые разорваться, в них скапливается поступающая из неведомых источников энергия, изнутри давит активность, ищущая выхода; в такие эпохи состояние юности, находящейся перед выбором, становится всеобщим — с юношеской неуравновешенностью, взъерошенностью, строптивостью, готовностью к внутренней перемене и обновлению; в такие эпохи заметно растет нравственная впечатлительность, духовная отзывчивость и вопросы непосредственно личного влияния приобретают небывалую важность.

Разумеется, мы, владеющие опытом революционной переделки мира, поставим непосредственно личное моральное воздействие на другое место, чем поставил его Достоевский. Мы буквально руками ощупали роль гигантских факторов и общественно-политических условий, определяющих нравственный уровень массы, роль нравственной атмосферы, создаваемой массовым героизмом, самопожертвованием и энтузиазмом, значение той высоты, на которую история — с поистине геологической мощью — подняла целые классы и которая стала общей основой, почвой для индивидуально нравственных различий, индивидуально нравственных влияний. Но этот же опыт не только не ослабил, а, напротив, много увеличил абсолютное значение художественно установленной Достоевским истины. Истина в том, что личное нравственное влияние — действительный путь к улучшению людей. Достоевский говорит —

действительный путь, мы теперь скажем — один из действительных путей. Но было бы непростительной, постыдной глупостью, если бы строители нового мира не сумели вполне оценить этот «один из путей», не открыли бы для него широкого простора, не оказали бы ему всяческой поддержки.

Притом, изображая нравственное влияние таких героев, как Мышкин или Алеша Карамазов, Достоевский принимает во внимание не только их органические, принадлежащие натуре моральные достоинства, но в не меньшей степени их нравственные идеалы. Люди не только добры, они еще стоят на позиции добра или позиции зла — отчасти потому дьявол играет в романе Достоевского заметную роль. Достоевский в ином порядке, в иной системе зависимостей, в иной внутренней последовательности хочет решить те вопросы, которые решает коммунизм. Когда христианская идея овладеет душами людей и они станут добрыми — тогда возникнет также и основа для легкого, прямо-таки незаметного, решения социального вопроса. Об этом Достоевский говорит не раз в своей переписке и особенно часто в увлекательно-интересных записных тетрадях к романам. Писатель не согласен с тем, что экономическое и политическое освобождение должно явиться единственным условием для духовного и нравственного освобождения, но вместе с тем не хочет выключить социально-экономическую проблему из своего нравственного идеала. Не хочет оттого, что слишком больно чувствует горечь и тоску бедности и зависимости, калечащее и унижающее действие социального неравенства, не хочет оттого, что мучительно сострадает всякому угнетенному и обиженному человеку, что из глубины его собственной души рвется порыв к иному, лучшему жизненному порядку.

Этот всеобъемлющий характер нравственного идеала отличает, в частности, предреволюционный русский реализм от послереволюционного реализма Западной Европы. Мы встречаемся с ним не только у Достоевского, но — в полной мере — у Толстого и у ряда других русских писателей второй половины XIX века. Нельзя не согласиться, что такие великие писатели, как Бальзак, Диккенс или Флобер, вынося капитализму уничтожающий нравственный приговор, были не в силах — даже идеально — вырваться за пределы его действительности. «Нравственное» и «действительное» оказывались в разных, непересекающихся плоскостях. Это ограничивало сферу моральной идеи, направленной к людям, живущим внутри злого мира, но не ставшей программой для мира в его целом. А у русских писателей-реалистов, творивших в предреволюционную эпоху, ожидание коренной перемены вросло в самые основы художественного мировосприятия, и их моральный идеал выдвигался как норма не только для отдельных людей, не только для частной жизни, но и для всей совокупной действительности. Нравственное продолжается до социального — у Толстого в виде конкретных решений относительно неравенства, земли, собственности и т. д., у Достоевского в более смутном и абстрактно-неопределенном виде, но у того и другого нравственный принцип вырастает до принципа мироустройства, до социальной утопии. Такому широкому, всеохватывающему представлению о жизненной роли нравственного не были, конечно, чужды крупнейшие реалистические художники послереволюционной Европы, но в классической форме, в полном и всестороннем развитии оно выступило у русских писателей. В этом одна из существенных причин того все растущего мирового значения, которое получило творчество Толстого и Достоевского в XX веке — веке переходном и революционном.

Белинский любил говорить, что лучший из критиков — история. Этот «критик» с замечательной глубиной и точностью определил различие функции обоих гигантов нашей литературы для различных периодов, моментов, сторон жизни XX века. Всегда, когда вопрос стоит о процессах, идущих в громадных массах, об изменяющихся отношениях между классами, о положении личности в среде, о внутренних связях личности, ее духовных исканий и нравственных конфликтов, с жизнью народа, о великих эпических движениях и столкновениях эпохи,— на первый план выходит художественный опыт Толстого. Ни у кого ни малейшего сомнения не вызывает особая и громадная важность толстовского искусства для развития всей советской литературы. И дело тут вовсе не в подражательности (с не меньшим успехом можно было бы упрекнуть в подражательности физика, использующего фундаментальные открытия своего предшественника), а в художественной «алгебре» Толстого, позволяющей изобразить историю на различных уровнях и в различных плоскостях таким образом, чтобы эти плоскости и уровни своим пересечением создавали перспективу эпохи, суть здесь в художественной «алгебре», позволяющей двигаться через исторически характерное к глубочайшим внутренним процессам человека и коренным вопросам жизнеустройства. Иными словами, искусство Толстого, объединившее величественные картины массовых действий и сдвигов с основательнейшим анализом индивидуального человека и притом органически связавшее между собой микро- и макромир истории, давало советским писателям изумительно выработанную художественную «механику», необходимую для эпоса массового революционного творчества, для трагического эпоса революционных битв.

Тогда же, когда история проходит через ступеньку, именуемую «субъект», возрастает до максимума значение произведений Достоевского. Их внутренняя связь с предреволюционной эпохой русской жизни обобщилась и расширилась до связи с предреволюционной эпохой на громадной части нашей планеты. Это не трудно понять, если учесть, в каких сложных условиях, в каких

разнообразных прогрессивных движениях, в какой сети препятствий, соблазнов, влияний идет в современном капиталистическом мире формирование идейной личности. А у Достоевского, развивавшего в этом отношении традицию Пушкина, Стендаля, Бальзака, с поистине энциклопедическим богатством художественно представлено отношение между природным, социальным и нравственным характером личности и ее идей. В романах Достоевского идея утверждает себя не в абсолютно прозрачной среде просветительского сознания, не в чистом эфире шиллеровской гуманности, а в живых трудностях и противоречиях личности действительной и страстной. У великого русского писателя мы находим подлинный реализм идеи — и потому, что критерий ее осуществимости для него крайне существен, и потому, что идея врастает в социально унаследованный состав личности, и потому, наконец, что у Достоевского мы находим не один, а множество типов идейной личности, множество оттенков, сдвигов, поворотов, соотношений в подходе к типу идейной личности. Достоевского необыкновенно волнует и интересует сама форма идейной личности, сама ее внутренняя возможность, сама ее захваченность высшими духовными смыслами и целями. Он не раз писал, что воинствующие атеисты стоят ближе всего к людям подлинно верующим страстностью убеждений, решимостью подчинить убеждению свою жизнь, пребыванием в сфере вопросов о боге, об исходных принципах миросозерцания. С другой стороны, он надеялся, что его положительные герои в чем-то существенном похожи на людей типа Добролюбова и Чернышевского. По его словам, Алеша Карамазов «был юноша отчасти уже последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силой души своей... требующей скорого подвига, с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью... Алеша избрал *лишь противоположную всем дорогу, но с той же жаждой скорого подвига*» (курсив мой.— *В. Д.*). Достоевский как бы говорит: мой герой не менее способен к «скорому подвигу», к деятельной борьбе и жертвенной решимости, чем люди, избравшие «противоположную дорогу», чем герои подвига у Тургенева, чем революционные герои у Чернышевского и Добролюбова.

Именно в нашем столетии, в эпоху, когда идеологические и нравственные процессы миллионов складываются в прямой или косвенной зависимости от надвигающейся революции, когда эта зависимость делает неотложным решение «вечных» вопросов человека,— мировое значение и влияние Достоевского достигло размеров, которые трудно вместить даже в большие и емкие слова. Но Достоевского, как и всех других гениальнейших писателей земли, нельзя привязывать лишь к данной, определенной исторической эпохе. Это особенно ясно сейчас, когда два мира живут в одном времени и вместе с тем находятся в различных временах. Строительство нового человека в социалистическом мире делает необычайно актуальным поэтическое содержание романов Достоевского. Достоевский искал гармонии человека в сплочении идеи с нравственным человеком, в единстве идеи со всеми внутренними силами личности, в сближении через идею настоящего с будущим. Князь Мышкин погиб в одиночестве с жестокостью жизни, но как значителен и прекрасен он был, если мог возникнуть самый вопрос о таком одиночестве. Мы ставим гармонию человека на другую основу, но поэтическая мысль Достоевского о возможности и реальности, о форме и полноте этой гармонии нам кровно нужна. И не менее нужны его поэтические мысли о зле — когда дело идет о выкорчевывании истоков зла в человеческой душе, нам много поможет художник, умеющий далеко заглянуть в глубину этих истоков.

Нужно признать, что искусство Достоевского всегда было трудным испытанием для марксистской эстетики. И вместе с тем лишь смелому диалектическому мышлению дано овладеть парадоксальными и удивительными отношениями между истиной и заблуждением в этом искусстве. Достоевский умел открывать сокровенные истины человека, нужные нам всем, даже в заблуждениях своих он умел оставаться гениально глубоким — и спор с ним плодотворен оттого, что ведется на последних глубинах миросозерцания. Но у этого же Достоевского были заблуждения, выражающие отсталое и мертвое даже для его эпохи, не говоря уже об эпохе нашей. Неловко читать о царе как полном выразителе народно-русского и христианского духа, больно читать карикатуры на революционеров, тягостно читать рассуждения почвеннические и шовинистические у великого художника и подлинного человеколюба. Но тот же Достоевский был серьезно озабочен созданием положительного прекрасного героя, преданного идее, готового к подвигу, целеустремленного — он всегда своих положительных героев рисовал с оглядкой на революционеров. Но романы Достоевского всей своей могучей энергией устремлены в будущее, проникнуты исканием преобразующего, жизневозвышающего идеала. Достоевский хотел опровергнуть революцию, но как раз революция освободила его творения от мертвой шелухи и навсегда подтвердила то, что в них истинно, прекрасно, бессмертно. Большинство социалистических читателей потеряли вместе с религией живой отклик на ту «переплетенность» реалистической картины с религиозной концепцией, которая составляла одну из главных слабостей Достоевского; в «обществе атеистов» сочинения Достоевского неизбежно звучат по-новому. Достоевский умел гениально угадывать, но никак не мог угадать, что его романы будут участвовать в строительстве социализма.

Критика

ПРАБХАКАР МАЧВЕ

СОВРЕМЕННОСТЬ И ПОЭЗИЯ ХИНДИ

От чего следует отсчитывать начало современной поэзии хинди? Этот вопрос вызывает бесконечные споры между индийскими критиками. Одни считают, что основоположником современной поэзии следует считать Бхаратенду Харишчандру (1850—1885), поскольку он первым ввел в поэзию гражданские мотивы и стал искать новые формы для их воплощения.

Другие связывают начало современного этапа с именем Сурьяканта Трипатхи Ниралы и с поэтическим направлением «чхаявад», центральной темой которого был Человек во всем многообразии его проявлений.

Третьим кажется, что современность для поэзии хинди — это синтез научного понимания мира и его духовного истолкования, поэтому первый современный поэт — Агьейя; доказательство тому — его стихи «Воздушное путешествие» и «Хиросима».

Молодые критики готовы и Агьейю объявить анахронизмом и начать исчисление поэзии со стихов Гириджи Кумара Матхура или Мадана Ватсайяна, полных ужаса перед механизированным миром и угрозой самоубийства человечества. Им возражают те, для кого современная поэзия — это страстный гуманизм Муктибодха или Раджкамала Чаудари.

К этим именам мы еще вернемся, но дискуссия, по сути дела, ведется не вокруг имен — это вторично, а вокруг концепции современности в приложении к поэзии хинди.

Видимо, чтобы глубже проникнуть в смысл наших сегодняшних споров, необходимо хотя бы бегло рассмотреть те явления жизни и литературы, которые вызвали их.

Прежде всего — «чхаявад», литературное направление, которое иногда называют романтизмом, иногда — вызовом утонченности примитиву, а иногда — борьбой абстракции против конкретности.

Ряд критиков полагает, что «чхаявад» целиком эклектичен и подражателен, что он ничего нового поэзии хинди не дал, что это просто модификация английского романтизма (Вордсворт, Шелли, Китс и Браунинг) в сочетании с тагоровским пантеизмом и расплывчатым либерализмом.

«Чхаявад» — поэзия не внешней реальности, а ее отражения во внутреннем мире человека; это игра теней в душе человека. «Чхаявад» принес в литературу хинди интерес к духовному миру каждого человека, дал новую концепцию личности.

Крупнейший поэт «чхаявада» — Сурьякант Трипатхи Нирала, он один может рассматриваться как целое направление в литературе хинди. Нирала, воспитанный в традициях учения Рамакришны [1], пришел к пониманию единственности и неповторимости каждого человека и первым написал стихи на совсем не «поэтическую» тему: о женщине, которая дробит камень на аллахабадской мостовой. Стихи Ниралы показывают, как он стремился освободиться от классических канонов, как упорно он искал новых тем и новых путей их раскрытия. Вместе с тем Нирала не отказался от классической системы образов, скорее он пытался обновить ее.

Ниралу можно противопоставить в этом аспекте Джаяшанкару Прасаду, чью поэму «Камаяни» часто называют последним блестящим образцом неоклассицизма. Прасад

[1] Рамакришна (1835—1886) — основатель одной из реформаторских сект в индуизме, писатель и философ.

тоже стремился сделать более современной литературу хинди, но полагал, что пути к этому идут через прошлое. Это дало повод многим нашим критикам говорить о том, что Прасад пытается некритически возродить всю систему ценностей прошлого. Поэтому и Муктибодх назвал «Камаяни» последней эпической поэмой буржуазного индивидуализма.

Нужно заметить, что обращение к наследию прошлого продолжает оставаться заметной чертой современной поэзии хинди. Поэты разных направлений и школ используют сюжеты эпических поэм древней Индии «Махабхараты» и «Рамаяны», как это, например, сделал Динкар в своей поэме «Курукшетра» или Дхармавир Бхарати в «Слепом веке». Авангардисты не составляют исключения — Кунвар Нараян пишет о Начикетасе из «Катха-Упанишады», одной из религиозных книг индусов.

Но вернемся к «чхаяваду».

Второй значительный поэт «чхаявада» — Сумитранандан Пант, чья важнейшая заслуга заключается в том, что он ввел в свой стих разговорный хинди, считавшийся до этого грубым и невыразительным, и продемонстрировал его семантические и мелодические возможности.

В повествовательную поэзию Пант включил элементы имажинизма и импрессионизма — они особенно ярко проявились в его автобиографических произведениях. Досадно, что последние стихи Панта грешат дидактичностью. В достаточно зрелом уже возрасте Пант написал большую поэму «Локаятен», которая привлекла внимание читателей не столько своими художественными достоинствами — она бесспорно уступает в этом плане его предыдущим поэмам,— сколько страстной проповедью демократических и социалистических идеалов, либеральным подходом к вопросам религии и пафосом гуманизма.

Махадеви Варма, без которой невозможно представить себе «чхаявад»,— поэтесса туманов, грозовых облаков и вечной печали. Махадеви Варма испытала на себе сильное влияние буддийской философии, из которой ей ближе всего оказалось учение о сострадании. Она блестяще знает санскритскую литературу, но в собственных произведениях, как в стихах, так и в прозе, она избегает санскритских слов, а находит новые измерения в словах широко употребительных. Необходимо отметить, что стихи Махадеви Вармы, стихи романтически-мистические, не находят себе читателя за пределами интеллектуальной элиты. Продолжая в значительной мере традицию классической женской поэзии, Махадеви Варма меньше касается социальной тематики, чем Нирала или Пант. Стихи ее современны тем, что их лиризм — это требование свободы чувства для женщины, освобождающейся от вековых запретов.

Хотя «чхаявад» был, безусловно, самым значительным явлением поэзии хинди первых десятилетий XX века, он не был единственным. Параллельно «чхаяваду» развивалось направление «патриотической поэзии». Приближенно говоря, если сутью «чхаявада» были поиски роли личности в мироздании, то смысл «патриотической поэзии» заключался в разъяснении массам роли Индии в истории и современности. В своей склонности к реализму поэты этого направления следовали братьям Майтхилишарану и Сиярамшарану Гуптам. Братья Гупта — как и их последователи — остро осознавали необходимость гармонической связи между двумя религиозными традициями Индии: индуизмом и исламом. Оба брата были страстными пропагандистами учения Ганди, оба использовали в своих стихах и индусскую, и мусульманскую символику. Сиярамшаран Гупта написал стихи, ставшие хрестоматийными — «Жертва», в которых рассказал о мученической смерти Ганеша Шанкара Видьяртхи, погибшего в индо-мусульманской резне в Канпуре.

«Патриотическая поэзия» отличалась простотой языка и прямолинейностью мысли, что делало ее подчас безликой. Ее философия была философией мира и ненасилия.

Ярчайшим представителем «патриотической поэзии» был Макханлал Чатурведи, стихи которого сочетают патриотический пафос и романтическую приподнятость. Как многие наши поэты до него — и после него,— Макханлал Чатурведи часто обращался к популярным в народе, почти бродячим сюжетам классики, но в отличие от других поэтов этого направления он писал стихи глубоко личные, большие социальные проблемы в его стихах всегда освещены личностью самого поэта. Макханлал Чатурведи не уходил от интимной тематики — его можно назвать продолжателем традиции Прасада и Махадеви Вармы,— но его любовь к женщине неотделима от любви к родине, и эта слитность чувств дала ему систему сложных, но всегда очень понятных образов. Можно провести параллель между Макханлалом Чатурведи, писавшим на хинди, и таким превосходным поэтом урду, как Фаиз Ахмад Фаиз.

Субхадра Кумари Чаухан — единственная женщина в этой группе поэтов. Она прославилась поэмой о Лакшми-баи, княгине Джанси, героине сипайского восстания. Поэма написана размерами и ритмами народных баллад. И Субхадру Кумари Чаухан, и Балкришну Шарма Навина можно считать прямыми последователями Макханлала Чатурведи, но следовали они двум тенденциям, которые у самого Чатурведи слиты воедино: Субхадра Кумари Чаухан в своих стихах непосредственна и доступна, а Балкришна Шарма Навин, постоянно заявлявший, что его стихи предназначены для массового читателя, что поэзия существует только в народе, писал очень сложно. Тем не менее Навина понимали, и доказательство этому — огромная популярность антифашистских стихов, написанных им во время войны.

Антиколониальное движение вызвало к жизни направление, получившее название «прогрессивной поэзии», которое объединило под своими знаменами поэтов очень разных

по манере письма, таких как Кедарнатх Аграваль, Нагарджун, Муктибодх, Рам Билас Шарма, Гириджа Кумар Матхур и др. Их сплотила приверженность идеалам марксизма и стремление поставить литературу на службу народу. «Прогрессивная поэзия» призывала к борьбе против религиозного обскурантизма, за рациональность мышления, за тесную связь литературы с жизнью во всех ее проявлениях. Своим творческим методом «прогрессивная поэзия» провозглашала метод социалистического реализма.

Кедарнатх Аграваль пишет немногословно, но добивается в стихах глубокой проникновенности; Нагарджун — тонкий мастер пейзажной лирики, поэт настроений, бывает примитивен в своих сатирах; Гириджа Кумар Матхур — отличный поэт, в произведениях которого дух эпохи передан через его личные ощущения. При всех различиях, этих поэтов можно отнести к одному направлению.

Даже из этого, по необходимости сжатого, обзора видно, что поэзия хинди представляет собою спектр, цвета которого плавно переходят один в другой, и порой бывает трудно с уверенностью отнести творчество поэта к одной какой-то школе или направлению. На одном конце спектра — «чхаявад», на другом — прогрессивная поэзия, соединены же они бесконечным разнообразием оттенков.

Для многих наших поэтов характерен поиск синтеза между утонченным индивидуализмом «чхаявада» с его субъективностью и чувственностью, с одной стороны, и объективным отражением общественных процессов и классовых конфликтов — с другой.

Естественно, чем ярче индивидуальность поэта, тем своеобразней и современней тот синтез, к которому приходит он, и тем трудней отнести поэта к какому-то одному направлению.

Возьмем для примера творчество Рамдхари Сингха Динкара — знатока истории и философии, автора откровенно политических стихов. Сначала его стихи были окрашены гандистским патриотизмом, потом он пришел к социализму в том виде, как понимал этот термин Неру, и наконец сейчас Динкар, как и Пант, нашел для себя наиболее подходящей философию Ауробиндо [1], которой он придал глубоко личный оттенок.

Хариваншрай Баччан — поэт, никогда не увлекавшийся политическими лозунгами, хоть он и называет себя гандистом. Популярность ему создали лирические стихи, без которых нельзя представить себе поэзию хинди сегодня. И элегии Баччана, и стихи, проникнутые хайямовским гедонизмом — Баччан рассматривает его как способ освобождения личности,— отличаются поразительной простотой языка и почти фольклорной мелодичностью.

Гаджанан Мадхав Муктибодх, умерший в 1964 году в трагической нищете совсем еще молодым, начал свой творческий путь с романтизма. Он отдал дань увлечения футуризму, навсегда сохранив любовь к его броским образам. Муктибодх был первым, кто, взяв в европейской поэзии внутренний монолог, успешно ввел его в поэзию хинди. Муктибодх многое почерпнул у лучших советских поэтов, которых он хорошо знал и любил. Известное влияние оказали на него также Уитмен и Рильке.

С большей определенностью можно говорить о школе «экспериментальной поэзии», возникшей в шестидесятые годы из все того же синтеза «чхаявада» и прогрессивной поэзии, но подвергшейся сильному влиянию современной поэзии Запада.

Становление этой школы связано с именами Шамшера Бахадура Сингха и Трилочана Шастри — поэтов, взращенных Ассоциацией прогрессивных писателей Индии, впервые публиковавшихся в знаменитых журналах «Лебедь» и «Новая литература». Они много переводили: Шамшер Бахадур Сингх — Луи Арагона и Лорку, Рангейя Рангхав — Маяковского, Трилочан Шастри первым познакомил читающих на хинди с тамильским поэтом-революционером Субраманьей Бхарати.

Важным было то, что вся эта группа поэтов, пусть медленно и на ощупь, но все же упорно и настойчиво искала точек соприкосновения Востока с Западом и создавала новую обстановку для развития поэзии хинди.

Особое место принадлежит Саччидананде Хирананде Ватсайяну, который пишет стихи под псевдонимом Агьейя. Ватсайян принимал активнейшее участие в террористических акциях против англичан, сидел в тюрьме. Его литературная деятельность широка и многообразна — поэт, критик, прозаик, драматург, переводчик и издатель, он сыграл огромную роль в формировании молодого поколения писателей хинди: три антологии, которые он издал, имели, без преувеличения, историческое значение.

Отчасти можно соотнести с экспериментализмом и школу, называемую иногда На-Ке-На, по первой и последней буквам имени ее основателя — Налина Вилочана Шармы из Бихара. Шарма выступал за предельный формализм, за расщепление слова, за поэзию словесной игры. Можно было бы и не упоминать об этой школе, но дело в том, что в последнее время самые смелые из ее формальных ходов возродились в так называемой «конкретной поэзии».

С течением времени в среде поэтической молодежи начали раздаваться голоса недовольства, рамки новаторства Ватсайяна казались ей узкими; его упрекали в том, что его поэзия чересчур созерцательна и недостаточно действенна.

Джагдиш Гупта основал в Аллахабаде

[1] Ауробиндо Гхоис (1872—1950) — общественный деятель, философ, поэт, пытавшийся создать общеиндийскую идеологию на основе индуизма.

[1] АППИ была организована в 1936 году по инициативе Саджада Захира и Мулка Раджа Ананда. Ее первым председателем был Прем Чанд.

ПРАБХАКАР МАЧВЕ
СОВРЕМЕННОСТЬ И ПОЭЗИЯ ХИНДИ

журнал «Новая поэзия» и во всеуслышание заявил о разрыве с группой Агьейи. Вышло в свет восемь номеров этого ежеквартальника, вокруг которого быстро сплотилась группа молодых поэтов, начавшая называть это направление «новой поэзией». Какими бы путями ни пошла поэзия хинди в будущем, нет сомнения в том, что новая поэзия определила ее облик на семидесятые годы. Необходимо упомянуть и журнал «Поэт», который издавал Вишнучандра Шарма в Бенаресе и за свое недолгое существование во многом способствовал развитию новой поэзии.

Последние десять лет вообще отмечены обилием литературных журналов — они весьма различны по своему уровню, но их объединяет откровенность и горечь той литературы, которую они печатают.

Особую роль в развитии авангардистской поэзии сыграл журнал «Антипоэзия», издававшийся недолгое время тремя поэтами хинди: Джагдишем Чатурведи, Шьям Парамаром и Гангапрасадом Виманом. Они же опубликовали две антологии молодой поэзии: «Начала» и «Ви-Джа-Па» (составное из инициалов трех имен). Аналогичные тенденции возникли и в Бенгалии, где о себе заявили «Голодные поэты», и в Андхре — там появились «Голые», и в Махараштре, где они называют себя АСО, и в Пенджабе, где они зовут себя «Смертниками».

Антипоэзия — горькая и мятущаяся, часто непристойная, нарочито грязная и отталкивающая — почти немедленно вызвала к жизни противоположное направление, представители которого именуют себя неолириками. Неолирики стремятся уложить биение новой жизни в песенный лад, их излюбленный жанр — песня, который медленно умирает, несмотря на все попытки Всеиндийского радио сохранить его и несмотря на долгую традицию, стоящую за ним. Среди неолириков есть даровитые поэты: Нирадж, Рави, Ом Прабхакар и другие, эксперименты которых, несомненно, представляют интерес. Сегодня трудно еще сказать, кто победит в этом противоборстве, но оно, безусловно, свидетельствует о необоснованности разговоров о якобы существующем «застое» в поэзии хинди.

Для современной поэзии хинди характерен все растущий интерес к политической и социальной сатире. Все больше появляется юмористических стихов, отнюдь не типа дешевого версификаторства, их пишут хорошие, настоящие поэты: Деврадж Динеш, Ганга Прасад Вьяс и др.

Но подлинный переворот в стихе хинди произвело вторжение в поэзию свободного стиха и прозаизмов. Метрические формы поэзии хинди все больше напоминают модные платья — короткие и хитро продуманные. Нынче у нас пишут мини-стихи, создают конкретную поэзию, и вообще мы стараемся во всем следовать моде западного образца. Но за ультрасовременной формой, позаимствованной нами у других, скрывается весьма несовременное содержание. Это — еще одно подтверждение того, как трудно поддается индийская поэзия модернизации.

Уйти от традиций и осовременить поэзию особенно тяжело тем, кто пишет на хинди. Объявление хинди государственным языком Индии ударило в голову некоторым ревнителям старины. Цепляясь за каноны прошлого, они иной раз не стесняются использовать в своих целях всевозможные предубеждения и предрассудки, а новаторы всегда и везде бывают в меньшинстве.

Новый язык поэзии и ее новые средства выражения формируются в борьбе против ортодоксально настроенных критиков и пуристов-редакторов, не намеренных пропускать к читателю всю эту «новомодную чепуху». Не меньше противятся новому в литературе и академические круги: если до сих пор в университетские программы не включены произведения Ниралы и Муктибодха, то сколько же еще придется ждать таким, как Шрикант Варма, Кайлаш Ваджпейи или Дхумил!

Предсказывать пути развития литературы, а поэзии в особенности,— занятие крайне неблагодарное.

Современная поэзия хинди еще не высвободилась из паутины вековых предрассудков и иррациональности мышления. Она еще в пути. Но ведь у этого пути нет конца — есть вечное движение.

Серьезнейшая из опасностей для нашей поэзии сейчас — угроза ее превращения в ходовой товар. Стихи становятся привлекательной формой рекламы, поэтов соблазняют предложениями готовить легкие программы для радио и телевидения, писать песенки для фильмов. Массовые средства воздействия формируют массовый вкус.

Но великая мировая литература и великая индийская литература живут и будут жить. Кабир и Тулси Дас, Нирала и Пант продолжают воспламенять сердца. Поэзия ищет истину и разоблачает ложь. Современная поэзия хинди развивается в тесном взаимодействии со всем лучшим, что создается сегодня в мире.

Не пытаясь угадать, что ждет поэзию хинди завтра, и не предсказывая полной победы ни одного из существующих направлений, я могу все же с уверенностью сказать, что рост числа грамотных, развитие народного просвещения будут делать ее все богаче, все прекрасней и сильней, все более нужной народу.

ТОЧКА ОПОРЫ

Болгарские писатели о рабочей теме в литературе

Рабочий класс в литературе — эта проблема постоянно находится в центре внимания болгарских писателей. Вокруг отображения в литературе процесса роста и развития рабочего класса возникают споры, ведутся дискуссии. Об одной из таких дискуссий — «Рабочий: тема — судьба» мы рассказывали на страницах журнала «Иностранная литература» (№ 1, 1969).

Болгарские писатели считают своей первостепенной задачей создавать произведения о том новом, что пришло в жизнь болгарского рабочего с победой социалистической революции. Хотя первые образы рабочих в литературе Болгарии были созданы еще в конце XIX — начале XX в., рабочую тему в болгарской литературе все еще можно считать молодой. Несмотря на быстрый рост и развитие рабочего класса, Болгария долго оставалась страной по преимуществу сельскохозяйственной. И даже нынешнее поколение болгарских рабочих в какой-то части — выходцы из крестьян и мелких ремесленников. Это создает определенную специфику рабочего класса Болгарии, все еще тесно связанного своими корнями с селом

Эти и другие проблемы легли в основу сборника рассказов «Точка опоры», выпущенного Государственным издательством имени Христо Г. Данова в Пловдиве и посвященного, как сказано в предисловии к нему, «жизни современного рабочего, психологическому и эмоциональному содержанию его труда». Каждому из авторов, чьи рассказы вошли в сборник, была предоставлена возможность — уже как публицисту — высказать свою точку зрения на проблемы рабочей темы. Так, параллельно с рассказами, под той же обложкой появился другой сборник — коротких эссе на тему «Рабочий и литература», который мы предлагаем вниманию читателей. По существу перед нами — дискуссия на одну из самых важных и актуальных тем современной литературы.

Составители сборника задумали превратить его со временем в ежегодное издание, надеясь, что оно «сможет стать трибуной для болгарских писателей, которые талантливо и вдохновенно расскажут о классе, взявшем на себя историческую миссию, о классе, явившемся подлинной точкой опоры нашего народа в его движении вперед».

БОГДАН ГЛОГИНСКИЙ

Большая, полноценная национальная художественная литература сегодня уже не может ни существовать, ни по-настоящему волновать, не отражая жизнь, борьбу, труд, черты рабочего класса. Это неоспоримый факт! Но вовсе не потому, что кому-то пришло в голову предъявить отдельным писателям и целым литературам особые требования: садитесь, мол, уважаемые, и пишите о рабочем! Ничего подобного! Даже слепому видно, что главный герой нашей эпохи и нашего развития — не кто иной, как рабочий класс, его славные отряды, его достойные представители.

И поэтому нет ничего удивительного в том, что рабочий и работница господствуют на страницах советской литературы, что они уверенно вторгаются на территорию художественных литератур других социалистических стран. Да разве только там дело обстоит таким образом?

Возьмем литературы с давним авторитетом, с богатыми традициями: английскую, североамериканскую, французскую, западногерманскую, японскую, испанскую, латиноамериканскую и т. д. Вряд ли кто-либо станет отрицать, что они вливают себе живительную кровь именно через проблематику и тематику, продиктованные существованием рабочего класса и деятельностью его партий. Ключевая позиция рабочего класса помогает писателю правильно освещать все сложные явления и «загадки» человека, нации, человечества. Я считаю абсолютно верными слова английского прозаика Алана Силлитоу: «Появление нового героя — рабочего — в мировой литературе может ее только обогатить и изменить до неузнаваемости...»

На Западе пытаются это опровергать. Но тщетно.

Мне хочется сказать об одном грехе болгарской литературной критики, болгарских писателей. Некоторое время тому назад с чьей-то легкой руки был предан анафеме ряд повестей и романов. «Производственные» — такое клеймо поставили на них. Это были повести и романы о рабочем классе в современных условиях. Я не утверждаю, что в них содержались немеркнущие художественные ценности. Возможно, орудия производства и производственные процессы заслонили в этих книгах мысли, чувства и образы героев. Но я знаю рассказы, повести, романы и фильмы, в которых рюмки, бутылки, напитки, бедра и бюсты красавиц затемняют мысли, чувства и образы литературных героев не менее успешно. Однако эти сочинения не были заклеймены ярлыками, как «производственные», хотя в той же мере страдали опасной болезнью односторонности. А стоит ли вспоминать, что некоторые из них сходили даже за новаторские?

Когда француз Пьер Амп создавал термин «производственный роман» и пытался писать такие романы, он имел в виду совсем другое. Приведенные мной примеры из нашей литературы не совпадают с его терминологией и его претензиями. Я хочу лишь отметить, что необходима «реабилитация» не отдельных произведений, а самой постановки вопроса. Прежде всего от легких и необоснованных приговоров надо защитить тему и проблематику и писать о рабочем как можно более вдохновенно, талантливо и ответственно.

ДИМИТР ГУЛЕВ

Я долго откладывал эти строки, никак не мог к ним приступить.

Странно! Чем более сокровенно вынашиваешь в себе идею отразить некий мир, тем труднее приступить к реализации этой идеи.

Я глубоко убежден, что тишина сельских просторов, романтические маленькие городки чаще пробуждают у людей склонность отдаваться литературе, чем большой, столичный город. Здесь все искушает, отвлекает, отнимает возможность остаться наедине с собой, углубиться в свои мысли. Я не пренебрегаю, разумеется, всеми другими, не менее важными причинами, но, может быть, поэтому город все еще отсутствует в нашей литературе или, во всяком случае, все еще далеко не так полно художественно исследован, как болгарское село. Достаточно припомнить классические образцы, чтобы убедиться в этом.

Я говорю «город», потому что по крайней мере для меня он органически связан с мостовой и асфальтом, которые чаще всего начинаются от фабрично-заводских ворот или кончаются ими. Среди людей искусства много и очень настойчиво говорят о связи с жизнью. Но очень редко мы догадываемся о том мире, который каждый из нас до конца жизни носит в своей душе. Запах железа и машинного масла, цвет раскаленной стружки и замасленные бока машин, гул станков, огненное дыхание расплавленного металла и шипение электросварки, раскаленные молнии только что выплавленной стали — до удивления, до боли знакомые, невероятно разнообразные цвета, ароматы, судьбы, целая вселенная, созданная человеком с грубыми руками рабочего.

Не просто рабочими руками, но именно руками Рабочего.

Они сильны, эти рабочие руки цвета ржи, с ржавчиной под ногтями, с благородной грязью, навсегда впитавшейся в поры их широких ладоней и искусных пальцев.

В силу нашего общественно-исторического развития рабочий класс Болгарии непрерывно растет. Многие теперь стали рабочими, и, соответственно, изменился их быт. Но самым главным вопросом, мне кажется, продолжает оставаться вопрос о сознании рабочего. Это сознание неминуемо становится достоянием все большего количества людей. А оно непрерывно меняется. И поэтому, очевидно, так трудноуловимо. Так трудноотделимо от мышления тех, которые очень часто являются рабочими, но не обладают сознанием рабочего, осознанным классовым чувством, чувством принадлежности к сердцевине рабочего класса.

Я часто спрашиваю: что должно быть координатами этого сознания?

Прежде всего — знания, умение. Уверенность. Сила. Определенность и уравновешенность. Устойчивость. Чувство солидарности. Потомственная преемственность. И еще множество вещей, которые у каждого человека, каждого рабочего совершенно естественно преломляются через его характер, через его человеческую судьбу.

ДОНЧО ЦОНЧЕВ

С некоторых пор я не могу писать статьи. Все мои попытки так стремительно терпели крах, что я уже не хочу об этом и думать. И когда мне приходится участвовать в каком-либо интересующем меня разговоре, я предпочитаю пользоваться только репликами.

Это я сказал в свое оправдание. А теперь часть того главного, что я думаю о так называемой «рабочей тематике».

Многие книги у нас вышли главным образом потому, что на их обложках были нарисованы высокие дымящие трубы.

◇

Многие имена авторов существуют в невинном сознании читающих только благодаря тому, что эти авторы написали подобные книги.

◇

Читатель более всего не любит быть обиженным. Кто бы он ни был, он вовсе не наивный человек. (На наивного читателя всерьез ориентироваться нельзя.)

◇

Нелепо думать, что в нескольких строчках можно рассказать о тех, кто вышел из среды рабочих, крестьян, тех «неприметных» людей, которые наполняют понятие н а р о д его истинным святым смыслом.

◇

Врожденная пригодность (или непригодность) к чему-либо вместе с приобретенным воспитанием и с достигнутой степенью научно-технических знаний — это скрытый диспетчер в самих нас, который нас направляет к тому, чтобы мы стали токарями и композиторами, балетмейстерами и министрами, разведчиками нефти и птичниками, или отталкивает от этого. Возможности для воспитания и приобретения знаний при социализме широко открыты — в этом огромная разница между сегодняшним рабочим классом и теми, кто вынес на себе революцию. Странно: до каких пор мы будем их смешивать в наших книгах?

◇

Я вижу скептическую усмешку у некоторых на губах, но я склонен думать, что именно из среды «неприметных» людей снова придут вожди и учителя наших сыновей. Так было на протяжении тысячелетий.

◇

Картина сегодняшнего рабочего класса намного сложнее, чем, скажем, плакат, с которого нам улыбается мужчина в кепке и со здоровыми белыми зубами.

◇

Чистый белый лист, на котором эпоха оставит свои слова и знаки, все еще скрыт в глубинах настоящего времени. Сила человечества, как и всей живой природы,— в росте.

◇

Писания, сотрясающиеся от грохота буровых машин и бульдозеров, обычно не относятся к рабочей тематике.

◇

Религиозные люди веруют, что перед богом мы все равны. Солдаты хорошо понимают, что и перед смертью все мы равны. Одна из самых прекрасных истин,

в которую мне хочется верить, состоит в том, что и перед жизнью мы равны. Мы вступаем в нее одинаково голые, голодные и беспомощные. Мы растем с одинаковым стремлением к тому манящему неизвестному, которое потом превратится в грустные воспоминания. Впоследствии нас разделяет только способ труда. Нас невероятно разделяет различный образ мыслей, к которому мы привыкаем, постепенно умирая.

◇

Что изумило вас больше: египетский папирус или сама Хеопсова пирамида?

◇

Стоит ли жара, метет ли вьюга, прежде чем взять карандаш и белый лист бумаги, не грех молча поклониться безымянным простым людям, своими руками создавшим для тебя убежище от ветра и тень, поливающим помидоры или воздвигающим на пути рек плотины, превращая их в водохранилища. Тем людям, которые заливают дороги асфальтом для твоей машины, и тем, кто трясется на стальных седлах комбайнов и, кроме его грохота, ничего не может услышать.

ЭМИЛ КАЛЫЧЕВ

Из истории литературы и искусства мы знаем, что во все времена объектом наибольшего внимания были представители господствующих классов, которых наделяли самыми достойными и человечными чертами. В этом смысле закономерно и сегодняшнее наше стремление утвердить рабочего как основного героя эпохи.

Независимо от исторической традиции и политической необходимости это явление приходит, чтобы восстановить справедливость, которой всегда пренебрегали. Потому что кто же иной, как не творец материальных благ и вершитель социалистической революции, является носителем величайших нравственных ценностей и высокого духа?

Завоевавший себе политическое первенство и ставший, таким образом, центральной фигурой, рабочий не должен изображаться односторонне и схематично. Но даже и сегодня все еще часты штампы, упрощенное и элементарное отражение и толкование сложных процессов.

Я думаю, что одна из основных проблем, которые литература должна преодолеть,— это сложные взаимоотношения и изменения в положении человека, в структуре нашего трудового общества, создавшиеся в результате ускорения темпов научного прогресса. И если литература удовлетворится только добросовестной регистрацией этих явлений, она не исполнит возложенную на нее миссию. Она должна быть впереди, но не предлагать фантастических вымыслов, а дать реальный образец будущих взаимоотношений. Не следует опасаться, что она пойдет по пути схем и штампов, потому что каждое время сохраняет за собой священное право вносить коррективы в несовершенную общественную структуру. Разумеется, это надо делать со страстью и непоколебимой верой в коммунистический идеал.

Экономические и технические планы и прогнозы — это не только цифры. В этих планах — и мы, и наши дети, и наши внуки...

КОСТА СТРАНДЖЕВ

1. О рабочем классе нельзя писать в угоду моде. И в этом смысле большой и серьезной беды можно ждать, когда стремление быть современным приводит к искажению истины. В конце концов, что может быть более неприятным, чем приписанные, несуществующие добродетели? Это относится и к рабочему классу. В сущности, он меньше всего нуждается в подслащивании его действительных качеств и достоинств. Очень часто, главным образом из-за незнания правды о современном рабочем классе, многое подслащивается, сочиняется. А от подобного сочинительства еще никто не выиграл.

Наш болгарский рабочий класс сегодня пополняет свой основной состав. И совершенно естественно, что это пополнение — не только «вдохновенный марш к сияющим вершинам будущего», у него есть и свои слабые места.

Вспомним начало строительства Батакской гидроэлектростанции. Сюда приезжали крестьяне в кафтанах и штанах из домотканого сукна, многие в крестьянских шароварах, с деревянными мисками в мешках, они приезжали со всей родней, целыми хуторами и селами и ставили деревянные бараки. Некоторые вели за собой коров и овец, вокруг рабочих поселков за одну ночь возникали курят-

ники, сбитые из сосновых бревен и фанеры. Большая часть этих крестьян и слова не хотела слышать о рабочих столовых. Они кооперировались и варили в бараках один день фасоль, другой — картошку. На завтрак они признавали только одно — головку чеснока. Днем они напрягали мышцы в котловане, дремали на профсобраниях, сидели на корточках на производственных совещаниях, а ночью, как они сами признавались, видели во сне гумно и теплое поле под паром, сопревшие овчины и телеги, груженные кукурузными початками. Тогда мы писали: «Строители и шахтеры — славный отряд болгарского рабочего класса...» Иногда мы даже пытались убедить и себя и читателей, что стоит человеку прийти на строительство, получить ватник и поселиться в общежитии, как он сразу станет... идеален. Однако жизнь нас научила, что даже в добросовестном приукрашивании нет ничего общего с правдой. Оказалось, что трудовое и классовое воспитание — сложный и продолжительный процесс, в котором нельзя пренебрегать ни одним звеном. И я думаю, что мы будем иметь большую современную литературу только в том случае, если напишем честные и талантливые книги именно об этом сложном процессе — процессе рождения и утверждения душевного склада современного рабочего.

2. После смерти Джека Лондона один из его последователей написал: «Истинный пролетарский писатель не только должен писать о рабочем классе, он должен быть и читаем им. Любознательные рабочие читают Джека Лондона. Он — единственный автор, которого они прочли полностью». Я вспоминаю это и думаю, что большое и достойное звание «рабочий писатель» ни в коем случае не может быть присуждено решением, постановлением или даже единодушием литературной критики. И я искренне завидую тем авторам, чьи книги встречаю не только в читальнях и народных библиотеках, но и в крупных чистых руках рабочих. Я завидую им, потому что они уже рассекли большой узел: читатель — писатель.

3. Производственный роман и очерк, в которых положительные герои назначаются по штату, не имеют ничего общего с истинным человековедением. Потому что и на заводах, и на строительствах кроме знамен, песен, торжественных рапортов о трудовых победах и технологических процессов всегда было и нечто другое... То, чего не сумел увидеть стерилизованный взгляд «производственной литературы»,— человеческая душа. Однако впоследствии обстоятельства изменились и дали новую догму: не важно, о ком ты пишешь, зачем ты суешься в цеха, зачем ты бродишь по стройкам, сбиваемый с ног ветром. И твоя соседка, и свояченица, и теща — все это герои нашей современности. Таким образом, как-то негласно возникает мода: писать о психопатах и неврастениках, о шпионах и чемпионах, о боярах и баронах. И некоторые авторы шаг за шагом начинают отдаляться от источника любой честной литературы — от трудовой среды, в которой создаются человеческие характеры. А истина категорична — не создав образа рабочего, мы не можем достичь сердцевины главной, основной темы — темы современности. В этом смысле мы должны признать, что рабочая тематика все больше превращается в тему всего нашего общества трудовых людей, становится основой народной литературы.

Судьба трудового человека, нашего современника, который от скрипучей телеги Сали Яшара и бедняцкой нивы Боне Кайненеца пришел к корпусам Кремиковцев и в научные лаборатории,— вот большая, я бы сказал — величайшая тема, которая заслуживает того, чтобы ей были отданы и вдохновение, и любовь, и талант.

ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА

Я часто спрашивала, почему образ рабочего так трудно создать, почему он с таким трудом укладывается в рамки любого литературного жанра и почему даже самая маленькая погрешность против истины при его изображении тут же ярко бросается в глаза. Вероятно, это зависит от двух причин: во-первых, рабочий — это первый и самый характерный человек нашего созидательного времени, и в нем собраны самые важные черты современности, и, во-вторых, это постоянно развивающийся образ, устремленный в будущее, но заключающий в себе и традиции революционного прошлого болгарского пролетариата. Отсюда вытекает и высокая ответственность писателя перед рабочей темой. Писать о рабочем — значит писать об огромных творческих изменениях в нашей действительности, искать их отражения в душе человека, в его мировоззрении.

В моих взрослых учениках из вечернего горного техникума в городе Перник меня не раз поражали следующие три черты: жажда знаний, необычайная верность в дружбе и самосознание. Особенно характерно последнее. Без громких слов и не выставляя себя напоказ, оно таит в себе наследственную пролетарскую гордость отцов, но теперь его освещает и чувство гордости сыновей, своими руками созидающих новую жизнь Болгарии.

ЛЮБЕН ДИЛОВ

Я не принадлежу к тем, кто фетишизирует рабочего как героя и потребителя искусства. Каждый человек несет на своих плечах большие драмы жизни, а следовательно, скрывает в своей душе и большие темы. Каждый человек заслуживает художественного исследования. Отсюда — и писательские предпочтения, и разнообразие литературы. А литература, предназначенная только для читателя-рабочего, для меня не является художественной литературой. Это обида для рабочего. Великие творцы были признаны великими не «вышестоящими» классами — в большинстве случаев те их даже отрицали,— а народом, хотя часто героями книг бывали и принцы, и доктора философии.

И все же, когда бы я ни думал о «человеке с мозолистыми руками», я всегда испытывал чувство острой вины. Я мало его знаю, мало сопереживал вместе с ним его судьбу. А без этого ничего путного не выходит. Приход в гости к рабочему обычно воскрешает социальный сентиментализм, устаревший и чуждый нашей эстетике. К сожалению, большая часть наших произведений имеет как раз такой гастрольный характер, смешанный наполовину с социальным сентиментализмом, наполовину с наивным восторгом перед героем-рабочим в связи с его исторической миссией. В лучшем случае остается восторг перед миссией, но не перед героем. Однако такой коктейль может опьянить только самого его автора.

Не буду кривить душой — и я долго взбалтывал его в своем миксере, чтобы получше смешать составные части. Вот почему я колебался, следует ли мне вообще участвовать в этом сборнике. И я смотрю на свое участие в нем как на обещание, данное самому себе, как на обязательство перед своим ощущением вины и чувством долга.

Некоторое время назад я целый год прожил со строителями одного водохранилища и несколько месяцев — с рабочими металлургического комбината. Я написал много рассказов и очерков, но большой материал все еще во мне и обременяет меня. Я очень надеюсь, что в один прекрасный день из этого материала получится нечто более серьезное, чем то, что я сделал до сих пор.

МЛАДЕН ДЕНЕВ

Я благодарен распределительной комиссии... Когда я окончил Политехнический институт, меня послали в Перник. До этого я жил среди крестьян, среди солдат и офицеров, известное время — в студенческой среде, встречался и с рабочими, но здесь, в старом шахтерском Пернике, я уже десять лет имею возможность быть в самой гуще рабочего класса.

Еще в самом начале на меня произвело впечатление душевное богатство этих людей. Труд их очистил, стер с них разные мелкие стремления, а то, что они ежедневно спускаются под землю или прикасаются к железу, пробудило в их сердцах своеобразную созидательную мудрость.

И сейчас, когда я думаю о рабочей тематике, один из вопросов, который меня волнует,— это цельность и в то же время сложное внутреннее многообразие нового болгарского рабочего. В Пернике большинство составляют потомственные рабочие. Для них шахта или завод — любимые места, потому что там прошла молодость их отцов, там зажглась когда-то первая искра рабочей борьбы. Для них нет ничего более притягательного, чем рудник и завод, где они находят себя, свое призвание.

Вторую большую группу представляют рабочие-крестьяне, которые работают в городе, а вечером на автобусах уезжают в село. Это новые люди, порожденные закономерностями нашего времени. Они приходят сюда, и на них особым образом воздействует притягательная и формирующая сила рабочего класса. Они делят свою любовь между городом и селом. Эта любовь никогда не может быть в полном равновесии, и в зависимости от характеров это раздвоение иногда проявляется в поистине драматических конфликтах.

Таковы, по-моему, два самых типичных образа нашего рабочего. Но к ним социалистическое развитие Болгарии сейчас прибавляет еще один: образ инженера, сына рабочего, или заочника, который сам является рабочим и снова возвращается на свой завод.

Эти три типа, разумеется, объединены многими общими чертами, но они и глубоко различны. В них в наиболее человечных формах отражено развитие нашей современности.

Это многообразие — истинное богатство для писателя, но в то же время и серьезное испытание для каждого, посвятившего себя рабочей теме.

ТОДОР МОНОВ

Нередко в некоторых произведениях о рабочих и в наших высказываниях, которыми мы хотим заявить о необходимости «отражать» жизнь и дела рабочего класса или подтвердить эту необходимость, звучит только одно: «Милые люди... милые люди...» И по смыслу, и в интонации помимо мелодраматического энтузиазма, который не опасен, в этом нашем «милые люди» улавливается и снисходительность, которая опасна. Снисходительность, состоящая в том, что мы соблаговолили или должны соблаговолить уделить в своих творческих планах место и нашему рабочему классу. Тем самым мы фактически отделяем литературу с такой тематикой от полноценной литературы. Это бессмысленно. В нашей социалистической современности величие рабочего класса все возрастает и творческие поиски, поиски большой проблематики становятся для писателя вне темы рабочего класса все менее плодотворными. Для нас все менее «выгодно» ограничиваться только снисходительностью.

Есть и другая точка зрения: после того как я столько-то и столько-то лет прожил среди рабочих и сочинил те или иные книги, вы не имеете никакого права не любить меня, потому что вы не имеете ни малейшего понятия о жизни рабочих, и (здесь он становится агрессивен), если вы их спросите, они вам подтвердят, что все, что я написал, правильно. Таково самосознание цехового автора. Но литература, которая никого не волнует, не взволнует и рабочих. Это — заблуждения бесталанного автора.

В последнее время все более робко упоминают на литературных собраниях или в печати понятие «положительный герой». Мы все реже осмеливаемся его употреблять. Мы боимся, что нас сочтут догматиками, конъюнктурщиками, лакировщиками. Более всего «застрахованными» перед историей мы чувствуем себя, когда занимаемся только «отрицательным героем». Этот страх по меньшей мере несостоятелен, но я не имею возможности это сейчас доказывать. Я думаю только, что и тот автор, в чьих произведениях центр внимания — отрицательный герой (невозможно, чтобы писатель-коммунист, честный, талантливый писатель, не возмущался уродливым в нашей жизни), утверждает свою позицию через существование положительного героя. В данном случае положительным героем является, хотя бы и «за кадром», вне страниц книги, автор, так как он обладает высотой точки зрения и достоинством человека, нетерпимого к уродливому. Почему бы этому человеку не попасть в кадр и на страницы? Чтобы рассказать о своей любви, а не только о ненависти; о мечте, а не только о разочаровании; о ласке, а не только о пощечинах...

Если перечитать произведения нашей прозы и драматургии недавнего времени, можно увидеть, что некоторые положительные герои в них совершенно неожиданно (а может быть, не так уж неожиданно) воспринимаются как отрицательные по различного рода причинам. Вероятно, и сегодня в нашей литературе есть такие «положительные» герои. Несмотря на это меня положительный герой интересует прежде всего. И я думаю, что он интересует не только писателей. А разговор о литературе о рабочем классе неотделим для меня от разговора о герое нашего времени. Литература о рабочем классе — это литература о самых существенных проблемах нашей современности.

Перевод с болгарского С. ПАРХОМОВСКОЙ

Культура и современность

Заметки на полях
зарубежных газет и журналов

«МЕРКНЕТ СОЗНАНИЕ СОБСТВЕННОЙ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ...»

I. Перевал грязных ветров

Со 100-этажной высоты «Эмпайр стейт билдинг» особенно заметно, как мглисто провисает над Нью-Йорком небо. В любую погоду серое марево лижет железобетонные конструкции небоскребов, растекается по улицам-ущельям, тянется до самого горизонта... Трудно подсчитать размеры, которые приняли в США загрязнение и разрушение среды: атмосферы, воды, городов, почвы, флоры... Но еще труднее определить масштабы загрязнения и разрушения духа, культуры, эстетических ценностей.

«Куда ни повернись,— сетует «Уолл-стрит джорнэл»,— всюду можно столкнуться с фактами, свидетельствующими об отходе от разумного. Подумать только: одна из самых высокоразвитых наций в мире воскрешает астрологию и оккультизм, импортирует браминов-обскурантистов из экзотических уголков земли, чтобы выслушивать их советы... То тут, то там появляются всевозможные «утонченные заведения», в которых все внимание фокусируется не на диалоге умов, а на высвобождении и поощрении инстинктов... В культурной сфере процветает так называемое «невозможное искусство»: скульптор К. Олденбург... к примеру, может вырыть в Центральном парке могилу, потом снова забросать яму землей и назвать это искусством. Такое искусство вызывает дикий хаос в художественном мире Америки и Европы... Театр, кажется, все больше занимается обнажением души и тела, что отупляет и оглушает не только ум, но и, в конечном итоге, чувства... В кино и книгах — порнография. В музыке — какофоническое бренчанье, электрический писк и рев... И над всем этим висит наркотический дурман. Миллионы американцев зачастую уходят от реальности, обязанностей и сложностей жизни, принимая наркотики; кажется, мы все больше и больше отдаем предпочтение — по собственной же инициативе — химической поллюции нашей плоти, избегая серьезных попыток усилиями интеллекта разрешить наши сложнейшие социальные проблемы...

Это пренебрежение будущим и пресловутое утверждение, что главное в жизни — текущий момент, этот лихорадочный эмоционализм, гедонизм...— все это стало сегодня отличительной чертой нашего общества».

Вряд ли такое самобичевание, такую редкостную исповедь одной из крупнейших американских газет — «рупора деловых кругов США» — можно назвать лишь громкой

фразой. Это не голословная погоня за сенсацией. Вряд ли преувеличивают и те американские социологи, которые сравнивают нынешнюю Америку с Римской империей периода упадка и морального загнивания.

Такова на самом деле сегодняшняя американская действительность: слишком много в ней «фактов, свидетельствующих об отходе от разумного», которые возникают здесь почти каждый день и с которыми так или иначе сталкивается чуть ли не каждый американец; немало таких фактов выплескивается на экраны кино и телевидения, в радиоэфир, на страницы сотен газет, журналов, книг...

Порнография — излюбленное блюдо пропагандистов «новой морали». В государстве развилась крупнейшая отрасль бизнеса, основанная на эксплуатации секса. Пять лет назад в США было лишь 90 кинотеатров, специализирующихся на «сексовиках». Сегодня число их перевалило за 600, и оно продолжает быстро увеличиваться.

В крупных городах процветают так называемые «книжные магазины для взрослых» — самые «авторитетные» снабженцы порнографической стряпни. С быстротой грибной споры разрастается «секс по почте».

Одна из причин стойкости, жизнеспособности порнографического бизнеса — его редкая прибыльность. По подсчетам экспертов, в закрома американских поставщиков секса ежегодно ссыпается от 500 млн. до 2 млрд. долларов.

Все шире распространяется увлечение колдовством, спиритизмом, магией и идолопоклонством. Миллионы американцев заражены астрологией, цифрологией, ворожбой, мистикой и хиромантией. По свидетельству еженедельника «Ньюсуик», колдовские секты существуют во многих городах США. Весной прошлого года в Лос-Анджелесе под руководством «официальной ведьмы» Луизы Хьюбнер состоялся «фестиваль колдунов», на который съехалось несколько тысяч американцев, чтобы лично присутствовать на небывалых по своему размаху церемониях, организованных с целью «усиления половой активности». Позднее в Нью-Йорке был проведен «первый фестиваль оккультного искусства», на котором колдуны, ведьмы, медиумы, телепаты и пр. выражали свои «потусторонние» эмоции.

О своей стезе «официальная ведьма» Л. Хьюбнер отзывается так:

«Многие люди страдают от одиночества, от того, что они ничего собой не представляют. Колдовство помогает им поверить в себя, в ценность своей личности».

Поверить, что Л. Хьюбнер действительно удается с помощью своих вакханалий вливать в страждущих людей эликсир жизни и счастья, трудно. Зато полное доверие вызывает вывод, к которому приходит «Ньюсуик»:

«Как молодежь, так и пожилые люди — те, кто начинает всерьез относиться к потустороннему и сверхъестественному,— представляют собой, вероятно, не столько отколовшуюся от остальной части общества прослойку, сколько живой сгусток бед этого общества».

Не только порнография и колдовство разъедают нынче изнутри пуританский остов Нового Света. Духовная проказа сегодняшней Америки — это также насилие и наркотики, бессмысленное экспериментаторство в искусстве и «загрязнение» семейных отношений, прагматизм в идеологии и лицемерие в политике.

«...Число убийств лидеров и прогрессивных деятелей — черных и белых — внутри страны множится. Массовые аресты, суды, заточение в тюрьмы призывников, отказывающихся служить в армии, мирных демонстрантов и рабочих — все это стало сегодня частью «американского образа жизни»... Хотя у нас нет фашизма, во многих случаях у нас предпринимаются фашистские действия». (Газета «Дейли уорлд»)

«...Совершенно очевидно, что американская семья находится в «состоянии глубокого разложения... Она перестает быть связующим звеном нашего общества». (Газета «Вашингтон пост»)

«...«Американское общество» подхватывается и уносится все возрастающей волной наркомании... Культура нации насквозь прошприцована наркотиками, и это создает угрозу будущему нашего общества». (Вице-президент Агню)

«...Исполнение этого «произведения» продолжалось 4,5 часа. Оркестр состоял из 52 магнитофонов, 59 усилителей, 59 динамиков и 208 электронно-генерируемых лент; зрительный аккомпанемент обеспечили 64 проектора, показавшие 6400 слайдов, и 8 киноаппаратов, прокрутивших 40 дисков пленки. Автор опуса — Джон Кэйдж, непревзойденный «новатор» на сегодняшней музыкальной сцене Америки. Его метод музыкального сочинительства — записывать наугад на магнитофонную ленту любые дисгармоничные шумы и звуки и оглушать ими слушателя». (Еженедельник «Нью-Йорк ревью оф букс»)

Мозаику подобных фактов и цифр можно бы лепить до бесконечности. И чем больше этих фактов, тем настойчивее напрашивается вопрос: Что в этой земле питает семена ядовитых всходов? Откуда такая пропасть между изобилием средств и нищетой духа?

В опубликованной недавно в США книге Филипа Слэйтера «Преследование одиночества» есть такое рассуждение:

> «Америка заселялась... людьми, которые по своим личным качествам не могли добиться успеха в социальных условиях родной страны и которые бежали от этих условий, надеясь на лучшую жизнь в других местах. Вследствие этого... происходил сложный процесс отбора: Америка заселялась людьми с определенным складом характера. Мы всегда — прямо или косвенно — подчеркивали положительную сторону этого отбора, отмечая, что судьба ниспослала Америке необычайно много энергичных, расторопных, целеустремленных, оптимистически настроенных людей... Однако очень мало внимания обращается на отрицательные аспекты этого отбора. В нашу страну приезжали люди не только энергичные и дерзающие, но и такие — и они составляли львиную долю иммигрантов,— которые нигде не имели пристанища и не брезговали никакими средствами, люди, которые ставят деньги выше человеческих отношений, а самовозвеличивание выше любви и порядочности». И далее: «...наше общество нуждается время от времени в убийцах — оно не нуждается в альтруистах».

Оказывается, сама психологическая основа американского общества, особенности американского национального характера заведомо предопределяют появление всевозможных «темных пятен» в американской действительности. Удобное, но не вполне убедительное объяснение духовного кризиса современного американского общества.

Существует и другое, не менее удобное объяснение: «разрушительное воздействие» научно-технического прогресса.

Однако, думается, гораздо ближе к истине те исследователи, которые считают, что и техника и экономика — весь производственный базис — развиваются в США (как и во всякой капиталистической стране) таким образом, что вся духовная, социальная надстройка оказывается во власти «людей, которые не брезгуют никакими средствами, которые ставят деньги выше человеческих отношений...»

По признанию многих американских социологов, для нынешних институтов США характерна не только «негуманность», но и антигуманность, неспособность решать возникающие проблемы, деградация. Вот что, например, писала «Нью-Йорк таймс» о том, как «борется» с порнографией система американского судопроизводства:

> «Верховный суд за последнее десятилетие, по сути, признал законной большую часть производимой порнографии... В судах введены многочисленные процедуры, по сути дела защищающие поставщиков эротики от полиции».

В этой связи небезынтересны гипотетические утверждения ряда американских критиков о том, что сексуальный бизнес в США поощряется и оплачивается из весьма солидных источников с целью притупления политического и гражданского самосознания американцев.

Американский философ и социолог Дж. М. Камерон полагает, что

> «возведенное в ранг института насилие чаще всего обнаруживается в различных формах действий с применением оружия... Само появление насилия — это признак того, что что-то происходит не так, что совершается... какое-то если не юридическое, то моральное преступление».

Несомненно, многие беды сегодняшней Америки, ее духовные катастрофы и интеллектуальные тупики связаны зримыми и незримыми нитями с самым мощным и страшным, самым античеловеческим институтом этой страны — институтом войны, войны как насилия, возведенного в высшую степень. Вьетнамская война, бесцеремонно развязанная правительством США, стала концентрированным выражением порочности, гнилостности, глубочайшей реакционности всей системы американского общества — ее идеологии, политики, искусства, культуры, морали.

> «История Америки как нации подошла к концу... Мы достигли перевала в нашей истории — средний возраст кончился, теперь начинается закат».

К такому выводу приходит в своей книге «Конец американской эры» профессор Корнельского университета Эндрю Хэккер. И этот вывод может показаться еще более пессимистичным, если учесть, что над «перевалом» свирепствуют сегодня самые темные, дикие, самые грязные ветры человеческого духа.

Н. МОИКИН

2. Что такое «общество вседозволенности»?

Немного понадобилось времени, чтобы после отмены закона о цензуре нравов на Англию двинулся поток грязи и крови. Он ползет с экранов кино и телевизоров, со сцен театров, со страниц книг. Его подхватывает, распространяет, навязывает стоустая, всепроникающая реклама.

> «Общество, уже не реагирующее на ставшие привычными жестокость и несправедливость, общество, настолько одержимое алчностью, что все сведено к жажде материальных благ, общество, занятое погоней за призраками, отравленное лживыми соблазнами рекламы и дурманом развлечений»,—

легко сделалось добычей культа насилия и пресловутой «сексуальной революции».

Мы привели здесь слова из выступления известного английского писателя Джона Уэйна, которое было опубликовано в журнале «Лиснер». В многочисленных высказываниях подобного рода в той или иной форме присутствует мысль о том, что английское общество стало «обществом вседозволенности».

Меткое определение быстро вошло в обиход, отмечая как бы новое качество общественной психологии. Оно стало фактом жизни, его уже нельзя отнести к распущенности молодежи или к вывихам «левого» искусства. И если несколько лет назад одни радовались отмене цензуры, другие были шокированы, третьи просто насмехались над тошнотворными «хэппенингами» и все вместе ворчали на «буйство» студентов, то сегодня уже слышатся протесты, создаются комиссии и многие писатели, критики и педагоги начинают бить тревогу. Что происходит? — спрашивают они. Откуда такая безудержная порнография, призывы убивать и насиловать? Может быть, во всем виноваты реклама и коммерческое искусство — эти продажные слуги «ничем не дорожащего века?» (Джон Уэйн.)

Именно так и ставит вопрос в журнале «Энкаунтер» писательница Памела Хэнсфорд Джонсон. В 1967 году она опубликовала по материалам нашумевшего процесса книгу об угрозе роста преступности. Теперь по следам читательских откликов, ободренная поддержкой 97 процентов авторов писем, она обратилась к общественному мнению с призывом пресечь проповедь убийства и растления:

> «Мы идем слишком быстрыми шагами и зашли чересчур далеко в требованиях полной свободы для средств массовой информации. Обществу настоятельно требуется самозащита... Оно не может предоставлять свободу грабителю, насильнику или убийце».

Статья написана гневно и горячо, но почему-то все свое негодование писательница обрушивает исключительно на средства массовой информации. Ей кажется, что только в них корень всех зол и необходимо только одно:

> «тщательно изучить воздействие, которое оказывает на публику телевидение, кино и (в меньшей степени) книги», затем «твердой рукой остановить его и прекратить оргию насилия и жестокости».

Позиция Памелы Хэнсфорд Джонсон оказалась явно узкой, что и подчеркнул в своем ответе ей издатель Джон Колдер.

> «Средства массовой информации,— пишет Колдер,— отражают наличие насилия в обществе, может быть, даже преувеличивают его место, но не они — его причина... Если жестокость прорывается наружу, то не потому, что книга или телепрограмма вызвали в ней необходимость, хотя книга или телепрограмма могут подсказать жестокому человеку способ проявить жестокость. Наша задача — найти эту причину».

Колдер убежден, что она коренится в условиях жизни современного буржуазного общества:

> «Насилие всегда возникает как результат крушения надежд, будь то отчаяние политического меньшинства или же класса, который понял, что его эксплуатируют, и поднял бунт за свои права; у отдельного человека причиной насилия может послужить безвыходное денежное положение, личная трагедия или невозможность пробиться в жизни. ...Мы живем в обществе, которое развивается путем увеличения потребности в товарах широкого потребления, в удобствах, в развлечениях. Гигантская рекламная промышленность занята тем, чтобы заставить нас желать всего — от зубной щетки до Мэрелин Монро. А поскольку удовлетворить все желания невозможно, появляется отчаяние, которое у многих находит выход в насилии... Нужда особенно страшна, если рядом — богатство, и сегодня именно в богатых странах можно найти наиболее высокий

уровень преступности — там, где в нужде живет основная масса низших классов».

«Общество вседозволенности» давно перешагнуло национальные границы в капиталистическом мире. Альберто Моравиа в статье для испанской газеты «АБЦ», рассматривая корни этого явления, тоже главной причиной считает неравенство и «погоню за жизненными благами»:

«А блага стоят дорого и рекламируются мощным аппаратом массовой информации. В этом свете многим кажется, что преступление — самый удобный способ достижения жизненных благ. Если бы не боязнь тюрьмы, сколько людей пошло бы на преступление ради автомобиля или даже нового велосипеда... По сути дела, мы живем в обстановке войны всех против всех. Многие преступления, совершенные по личным мотивам, на деле вызваны причинами социальными и политическими».

Итальянский писатель отлично знает мир, в котором живет, и отнюдь не преувеличивает бунтарскую, антибуржуазную сторону культа насилия и откровенной эротики, хотя и

«предпочел бы думать», что лавина преступлений — «свидетельство возрождения инициативы личности... оборотная сторона явления положительного: возврат стремления к индивидуальности в противовес всеобщему конформизму».

Моравиа расценивает «вседозволенность» как болезнь века, как признак исторической ломки,

«когда нормы общества еще не устоялись после более чем столетнего периода викторианского и поствикторианского конформизма... Никто больше не верит в викторианскую мораль, даже те, кто еще пытается ее насаждать». По мнению Моравиа, «уничтожение конформизма необходимо, хотя за это и приходится расплачиваться тем, что в цивилизованном мире с ходу получило название «взрыва иррационализма».

Но вот молодой английский писатель Колин Макиннес захотел понять, что же такое «общество вседозволенности», и решил посмотреть, каков этот конформизм в своей основе и так ли уж высоки были моральные принципы времен королевы Виктории. Не переоценивают ли потомки строителей империи нравы и устои капитализма эпохи расцвета?

Свою статью, опубликованную в «Таймс», Макиннес начал с того, что поставил себя на место рядового респектабельного англичанина, который верит, что его отцы и деды жили по законам морали, а сам он вдруг оказался в царстве «вседозволенности», где

«бунтует молодежь, кругом жестокость, наркомания, аборты, распутство — словом, все полетело кувырком!

— Как же случилось, что мы изменили добродетелям наших предков? — в ужасе спрашивает респектабельный англичанин.

— А были ли они, эти добродетели?»—

задает встречный вопрос Макиннес и с фактами в руках доказывает, что, если бы не маска лицемерия и не круговая порука английских буржуазных идеологов, никому и в голову бы не пришло считать викторианцев оплотом добродетели.

Чтобы сравнить год 1970 с годом 1870, писателю пришлось хорошенько порыться в архивах, так как оказалось, что сейчас очень мало известно о подлинных нравах того времени. Очень скоро Макиннес понял, что скудость бытовых материалов вовсе не случайна.

«За последние годы,— пишет он,— в биографиях и социологических исследованиях появилось много материалов, свидетельствующих о том, что буржуазные писатели позднего викторианства не только проявляли поразительную неосведомленность о том, как живут и что думают слои высшие и самые низшие, но, даже описывая жизнь хорошо известной им части английского общества, следовали велению сильнейшей внутренней самоцензуры».

Макиннес не жалеет места и очень педантично сравнивает пороки века нынешнего и века минувшего. Оказывается, там были и свои бунтари типа «хиппи», и ходить по улицам было опасно, и наркотики можно было купить в любой аптеке.

«А проституция носила такие гигантские и вопиющие размеры, что об этом писали все иностранные наблюдатели. Надо еще прибавить массу беззащитных девушек, фабричных работниц. Растление малолетних было обычным явлением. И порнографическую литературу добывали без особого труда».

Разница с серединой XX века заключается, по мысли Макиннеса, не в масштабах, а в том, что тогда это все тщательно скрывалось, «не было известно и никем не признавалось». Но «если копнуть поглубже и заглянуть за вуаль благопристойности», то окажется, что высшие классы Англии всегда «пользовались вседозволенностью, только умело скрывали это от низших».

Любопытно, что та же мысль высказана в цитированной выше статье Дж. Колдера, который пишет, что в 30-е годы XX века в мире, описанном такими «высоколобыми» писателями, как Эвелин Во и Э. Пауэлл,

«многое держали в тайне, под покровом, и вседозволенность считалась в порядке вещей для людей из порядочного общества, но никогда не допускалась для великого множества «неумытых» за его пределами».

Только Колдер использовал эту мысль как прием чисто полемический, а Макиннесу понадобилось обратиться к викторианству, чтобы поставить вопрос об «обществе вседозволенности» по-иному и гораздо острее. Вспомним, что для Хэнсфорд Джонсон нет зверя страшней средств массовой информации. Колдер считает нужным проследить социальные корни «вседозволенности». Макиннес идет дальше: он убедительно показывает, что «вседозволенность» — одна из черт, присущих буржуазному обществу. К тому же он считает, что запугивание «вседозволенностью» — это способ замазать более важные, животрепещущие проблемы, «подмена главных забот второстепенными».

«Всякий ярлык такого рода, как «общество вседозволенности»,— пишет Макиннес,— обычно указывает на то, что члены данного общества отворачиваются от попыток понять и решить реальные проблемы и хватаются за воображаемые, видя в них источник всех зол».

Призыв к соотечественникам обратить внимание на те стороны английской общественной жизни, «которые аморальны в гораздо более глубоком социальном смысле», составляет главную цель его выступления. И важность такой постановки вопроса несомненна. Однако, по нашему мнению, в пылу полемики писатель все же недооценил «вседозволенность» как общественное явление с е г о д н я ш н е й Англии. Утверждение, будто между XIX и XX веком по существу нет никакой разницы, звучит по меньшей мере странно. Сегодня культ насилия и порнографии принял такие размеры, что речь уже идет не о фактах или явлениях, а о целом «обществе вседозволенности», где к о л и ч е с т в о становится новым, устрашающим к а ч е с т в о м буржуазного сознания!

Многие деятели культуры остро ощущают это. И испытывают необходимость бороться за человека. Рой Фуллер, поэт-лауреат, в своем выступлении, опубликованном в журнале «Лиснер», прямо называет требование полной свободы порнографического «искусства» и «литературы» предательством и добавляет, что чем больше защитники такой свободы

«изощряются в аргументах, тем больше это предательство по отношению к искусству и литературе и в конечном счете — по отношению к человечеству».

Старый антифашист, во многом сохранивший верность убеждениям своей юности, Рой Фуллер чужд размышлениям о «вседозволенности» как о преходящей болезни века. Для него, как и для Макиннеса, это явление классовое, выгодное для буржуазии:

«Совершенно очевидно, какое употребление делает наше общество из «свободы» определенного типа... Буржуазия сознательно допускает вседозволенность в искусстве широкого потребления и в области массовой информации, так как сексуальная удовлетворенность приводит к ослаблению недовольства политического...»

Среди тех, кто предостерегает от страшных последствий пропаганды насилия и безудержного наслаждения, особенно громко и решительно прозвучал голос преподавателя Кембриджского университета Дэйвида Холбрука. Он выступил в газете «Таймс», он написал книгу «Секс и обесчеловечивание», он подал в суд на издателей порнографической книги и возглавил движение против демонстрации в школах псевдоучебного сексуального фильма.

Его статья в «Таймс» отличается сочетанием точных фактов с большим эмоциональным накалом. Она обращена прежде всего к педагогам, к тем, кто знает, что такое обучение, воспитание чувств и развитие мышления у молодежи. Почему они не

желают видеть, что пропаганда секса также «воспитывает» и «обучает»? Как они могут терпеть, что под видом пропаганды знаний осуществляется растление, духовное ограбление молодежи?

«Сводя все к чувственности, сексуальная революция на деле лимитирует способность людей наслаждаться всем богатством любви. В нашей культуре слишком много «сексуального просвещения» — от журналов до порнографии на сцене; все это своим лобовым воздействием обедняет наш сексуальный опыт, отделяет его от чувств и высокого смысла, унижает человеческое достоинство...

Совершенно очевидно, что хорошее искусство возвышает человека, плохое — наносит вред. Но хуже всего, когда у людей уничтожается ощущение смысла жизни и меркнет сознание собственной человечности...

Эта гибель духовных ценностей и понятий... представляет собой явление, против которого каждому необходимо поднять свой голос,— пишет в заключение Дэйвид Холбрук.— Почему же молчат педагоги Англии? Их молчание на фоне активной деятельности сил, осуществляющих пагубное «просвещение» молодежи, кажется мне отвратительным кошмаром... В своем ли они уме? Или уже не верят в закон? Или цензура для них страшнее, чем растление молодежи?»

Эти взволнованные вопросы еще ждут своего ответа.
Кто знает, каков он будет...

С. МАЙЗЕЛЬС

Письма из-за рубежа

НГУЕН ВАН БОНГ

ГОЛОС БОРЬБЫ И ПОБЕДЫ

В середине прошлого века, когда французские войска захватили Сайгон и окрестные земли, один слепой вьетнамский поэт покинул эти места и направился к Меконгу, в край наносных земель. Там он учительствовал и слагал стихи, призывавшие народ дать отпор захватчикам. Это был Нгуен Динь Тиеу, или, как мы его зовем, Наставник Тиеу.

В ту пору Нгуен Динь Тиеу уже был знаменит как автор поэмы «Люк Ван Тиен». Поэма рассказывала о юноше, который смог пронести благородные чувства через многие годы испытаний. Этот юноша встретил разбойников, похитивших девушку. Он храбро дрался и освободил красавицу. В ответ на ее благодарность он сказал:

«Памятую правило: иметь возможность свершить справедливое деяние и не свершить его — значит не быть героем».

Литература нашего Юга в своем стремлении к истине и справедливости верна традициям, сложившимся в нашей стране на протяжении более чем четырех тысяч лет ее истории, и, в частности, традициям наших отцов и старших братьев на Юге, таких как Нгуен Динь Тиеу.

Люк Ван Тиен из поэмы Нгуен Динь Тиеу дрался с бандой разбойников, чтоб спасти добродетельную девушку, ставшую потом его женой. Сегодня наши южновьетнамские соотечественники бьют американских разбойников, чтобы спасти Юг, отстоять независимость и свободу всей страны, чтобы выше реяло знамя независимости, свободы и мира во всем мире. Это — справедливое деяние, его должен свершить наш народ, а наши литература и искусство — отдать ему все свои помыслы. Точно ладьи сквозь шторм, проходят наши сердца, полные любви к родине, независимости и свободе, сквозь бури длительной, наижесточайшей войны. Точно самый острый и прочный меч, направлено на врага перо наших литераторов. Так, как об этом говорится в двустишии Нгуен Динь Тиеу:

От груза добродетели не затонет лодка,
Пронзая врагов, не затупится перо.

Наша непреклонная воля подобна той, что звучит в словах другого патриота, нашего соотечественника и современника Нгуен Динь Тиеу. Его казнили французы, перед казнью он сказал: «Только если тэй[1] повыщипают всю траву на Юге, до последней травинки, только тогда не останется южан, убивающих тэй». Сегодня вместо слова «тэй» мы говорим «американские империалисты».

И потому с самых первых и трудных дней, когда в соответствии с Женевскими соглашениями 1954 года наши вооруженные силы были передислоцированы на Север, а на Юге безоружные патриоты остались один на один с вооруженными до зубов американцами и их приспешниками,— с тех самых дней непрестанно звучит голос патриотической литературы Юга, голос ненависти и протеста, голос веры в объединение, независимость и свободу Родины. Почти все наши писатели и поэты, закаленные в революционном горниле и обогащенные опытом девяти лет антиколониального

[1] Тэй — так называли во Вьетнаме французских колонизаторов. *(Прим. перев.)*

Сопротивления, которое завершилось победой под Диенбиенфу в 1954 году, почти все мы тогда же в соответствии с Женевскими соглашениями переехали на Север. Зианг Нам, поэт чрезвычайно популярный у нас на Юге, говорит о тех днях:

Шагали меж штыков и тюрем,
Не знали голоса стихов,
Умели только ненавидеть.

Тот, кто владел литературным мастерством, ушел на Север. На Юге остались единокровные братья, которые «умели только ненавидеть». Но именно на этом умении ненавидеть взошли первые ростки поэзии и прозы. Это стихи, написанные кровью в «тигровых клетках» Пулокондора, известных сегодня всему миру. «Тигровые клетки» — такое название дали им сами американцы и их подручные. Здесь в самых ужасных условиях содержатся заключенные патриоты. Их пытают, мучают, хотят превратить в червей, насекомых, но бессильны сломить. Напуганные такой стойкостью, американцы прозвали патриотов «тиграми». А ведь именно стихи и проза людей, которые раньше «не знали голоса стихов, умели только ненавидеть», учили мирный и беззлобный народ быть настоящим «тигром» по отношению к врагу. Эти стихи и проза стали оружием в освободительном движении наших соотечественников-южан.

Безоружными поднявшись на защиту своих прав почти во всех сельскохозяйственных районах Юга во время всеобщего восстания 1960 года, наши соотечественники создали Национальный Фронт Освобождения Южного Вьетнама. Славное знамя борьбы и побед вело их дальше, к образованию Временного Революционного правительства Республики Южный Вьетнам.

Почти через год после создания НФО в нашей литературной жизни произошло знаменательное событие: в июле 1961 года была основана Освободительная ассоциация литературы и искусства Южного Вьетнама. Это означало, что если до сих пор безымянные авторы выступали со своими стихами и прозой каждый сам по себе, то теперь у нас на Юге началось формирование боевого отряда деятелей литературы и искусства, своим пером, смычком или кистью борющихся за освобождение Юга и объединение страны. В его ряды встали такие поэты, как Зианг Нам и Тхань Хай, чьи стихи зазвучали в самую мрачную пору и уже тогда, несмотря ни на что, были наполнены боевым оптимизмом и неколебимой верой в светлое завтра. Такие писатели, как Ли Ван Шам, который был брошен в тюрьму Биенхоа. Ему вместе с горсткой друзей — среди них был и Зыонг Ты Зианг, талантливый сайгонский журналист — удалось организовать побег из тюрьмы. Зыонг Ты Зианг пал под пулями преследователей, но Ли Ван Шам спасся и перебрался на опорную революционную базу. Он и стал одним из организаторов Освободительной ассоциации литературы и искусства, сплотившей литераторов и деятелей искусства под славным знаменем НФО на борьбу с американцами за спасение нации и создание национального искусства на Юге.

Это такие писатели, удостоенные премии Нгуен Динь Тиеу, присуждаемой за лучшие произведения литературы и искусства, как Ань Дык, автор книги «Письма с мыса Камау», куда вошли очерки и рассказы, написанные непосредственно на Камау, самой отдаленной южной точке нашей страны. Или Чан Хиеу Минь, чей сборник очерков «Бурлят волны Меконга» рассказывает о провинции Бенче, крае наносных земель, где рукава Меконга, словно девять ртов дракона, изрыгают воду в море и где в 1960 году стремительно взметнулась волна всеобщего восстания, нанеся врагу урон, ощутимый и сегодня. Это Нгуен Тхи, издавший книгу очерков «Мать держит винтовку» о героине Ут Тить, грозе врагов, удивительном примере самопожертвования ради друзей по отряду и всех соотечественников, матери шестерых детей, беременной седьмым ребенком, но несмотря на это не выпускающей из рук оружия.

Чан Динь Ван свою книгу «Жить как он» написал по рассказу молодой женщины, на чью долю вместо радостей медового месяца выпало обойти все тюрьмы Сайгона, разыскивая мужа, рабочего электростанции, Нгуен Ван Чоя[1], который покушался на жизнь министра обороны США Макнамары, приехавшего во Вьетнам с целью активизировать истребительную войну. Нгуен Чунг Тхань в своих очерках и рассказах, например в рассказе «Лес сану», говорит о смелых горцах, чья решимость борьбы с американцами столь же высока, как вершины их родных гор Чыонгшон. Фан Ты в книге новелл «Возвращение в деревню» пишет о крестьянах, живущих у подножия этих гор, о тех, кто отстаивал свои поля и деревни, противоборствуя планам, привезенным из Америки — «плану Стенли Тейлора» и подобным ему,— конечной целью которых было усмирить южан с помощью системы лагерей, подобных Саласпилсу или Освенциму и скрываемых в Южном Вьетнаме под названием «стратегических деревень»...

Премии Нгуен Динь Тиеу, присужденные за произведения литературы, изданные в 1960—1965 гг., знаменовали успех нашего Сопротивления на культурном фронте. Сопротивление на Юге после всеобщего восстания в 60-х годах продолжало наносить сильные удары американским империалистам. Одним из таких ударов было крушение сайгонского марионеточного режима. Американский империализм, подобно дикому зверю,— если ему наступишь на хвост, тут же бросится, разъяренный,— решил спасти своих марионеток. Началась варварская, жестокая война. Но даже в этих

[1] Нгуен Ван Чой — национальный герой Вьетнама, был казнен американцами.

условиях не замолкал боевой патриотический голос литературы. В борьбе народа против сильнейшего врага, американского империализма, ряды наших литераторов непрерывно пополняются новыми именами. Первая поэма Тху Бона «Песнь птицы Тёрао», воспевавшая героизм и воссоздававшая лирику лесов и гор Тэйнгуена, была также отмечена премией Нгуен Динь Тиеу. Читая стихи Ле Ань Суана, словно погружаешься в прохладу зеленых кокосовых пальм или пьешь удивительный сладкий сок плодов кокосов, какие растут на родине поэта, в долине Меконга, краю мужественных, замечательных людей.

Южновьетнамские писатели и поэты не выпускают из рук винтовки и пера. Продвигаются с боями и — пишут. Поэтому неудивительно, что всеобщее наступление и удары по Сайгону весной 1968 года принесли богатый литературный урожай. Чан Хиеу Минь написал книгу очерков и рассказов «Вот он, наш Сайгон!». Нгуен Шанг, ранее никому не известный, написал два сборника рассказов — «Гребень из слоновой кости» и «Агатовые сережки». В 1963 году ушел в освобожденные районы сайгонский студент-филолог Ле Ван Тхао, который не мог долее терпеть паболепия перед захватчиками, проникшего даже в систему образования. Он стал участником трехмесячного литературного семинара, организованного Освободительной ассоциацией литературы и искусства, а потом, во время всеобщего наступления 1968 года с ружьем и вещмешком вместе с бойцами армии Освобождения прошел весь путь от труднодоступных горных районов до самого Сайгона. Он написал серию очерков и рассказов, полных горячего дыхания огня сражений, и объединил их в книгу «На фронте».

Успех наших соотечественников в 1968 году вынудил американских империалистов пойти на прекращение эскалации войны на Север и на участие в Парижских переговорах. К этому времени ряды Освободительной ассоциации литературы и искусства стали пополняться не только теми, кто жил в освобожденных районах. В нее пришли многие известные литераторы из оккупированных зон — например, писатель Тхань Нги, ныне заместитель министра культуры Временного Революционного правительства Республики Южный Вьетнам, или молодой и талантливый критик из Сайгона Лы Фыонг.

Естественно, что в обстановке войны, когда американские империалисты посылают к нам стратегические бомбардировщики «Б-52», бомбят, распыляют отравляющие вещества, губящие поля и леса и вызывающие опасные заболевания у людей, в таких условиях нашим южновьетнамским братьям работать очень сложно. Пишут в траншеях. Пишут прямо у входа в убежище, чтобы, когда начнется обстрел, быстро скользнуть вниз, а едва прекратятся над головой взрывы — продолжить работу.

Многие законченные рукописи долгое время оставались в вещмешке за спиной и прошли через все бои, даже через бои на улицах Сайгона. В таких условиях успеваешь, естественно, писать только репортажи, очерки, короткие рассказы. Но все же на Юге, в огне и дыму этой жестокой битвы, за короткий срок появились и романы. Роман Ань Дыка «Хон Дат», написанный еще в 1964 году, рассказывает о борьбе горстки партизан, заставивших отступить батальон американских солдат. Роман Чан Хиеу Миня «Лес Уминь» повествует о ходе всеобщего восстания на мысе Камау, бывшего в конце 50-х годов местом самых ожесточенных боев. «Семья матушки Бай» Фан Ты — также роман о всеобщем восстании, о событиях, развернувшихся у подножия Чыонгшона. Недавно издательство «Освобождение» выпустило первую часть романа Нгуен Чунг Тханя «Земли в Куанге». Мы с нетерпением ожидаем продолжения, ибо это роман о самых горячих днях нашего Юга, том времени, когда американцы начали неистово наращивать численность своих войск.

В 1969 году это же издательство «Освобождение» выпустило большой том, который очень нам дорог — «Рассказы и очерки» Нгуен Тхи, написанные им после повести «Мать держит винтовку». Все вместе они составляют панораму огромного края, поднявшегося на борьбу — долины Меконга, пригородов Сайгона,— который сами американцы зовут «железным треугольником», так зажаты они там освободительными силами. Нам особенно дороги вошедшие в эту книгу неоконченные повести. Одну из них Нгуен Тхи написал до половины, в другой же есть только первые три главы. Повести эти Нгуен Тхи уже никогда не закончит, потому что он пал смертью храбрых от американских пуль. Эти недописанные вещи отмечены печатью большого, расцветающего таланта, отданного служению Родине и народу.

Мы скорбим о таких талантах. Мы не хотим, чтобы они уходили из жизни. Но мы теряем их из-за войны, которую упорно продолжают американские империалисты, и именно поэтому мы знаем, что нужно отдать все свои силы для скорейшей победы над врагом в борьбе за спасение нации, для создания национальной литературы, которая существует и мужает в суровой борьбе нашего народа против американских империалистов.

Сквозь грохот и свист наиновейших американских бомб и снарядов все громче звучит голос веры, голос литературы. Этот голос заглушит бомбы и снаряды, заставит их замолчать на нашем Юге, где не останется ни американских империалистов, ни их сателлитов, вроде клики Тхиеу-Ки-Кхиема, и приведет к Вьетнаму, единому с Севера до Юга.

Перевод с вьетнамского И. ЗИМОНИНОЙ

Публицистика

ЭДУАРДО ЛАБАРКА ГОДДАРД

ЧИЛИ В ОГНЕ СОБЫТИЙ

Репортаж о рождающейся революции

Перевод с испанского и вступление Д. ВЛАДИМИРОВА

Год назад в Чили в итоге президентских выборов было создано правительство Народного единства. Пришли к власти левые, революционные силы страны. На латиноамериканском континенте это событие расценивается как крупнейшее — после победы кубинской революции — поражение реакции и империализма, важнейшее поражение антикоммунизма. Враги чилийского народа пустили в ход все, чтобы добиться своей победы. Однако, несмотря на чрезвычайно сложные условия, победу одержали трудящиеся.

Народное правительство за первый год своей деятельности, вопреки яростному противодействию «национальной» реакции и империалистической агентуры, сумело осуществить ряд первостепенных для жизни страны и народа мероприятий. Прежде всего, отвечая чаяниям рабочего класса, правительство, возглавляемое социалистом д-ром Сальвадором Альенде, национализировало медную промышленность, многие десятки лет назад захваченную монополиями США (Чили занимает первое место в мире по запасам меди),— и газета чилийских коммунистов «Сигло» сообщения об этом историческом решении опубликовала под знаменательным заголовком: «Родина завоевала свое будущее», а горняки одного из главных медных рудников, «Сальвадор», ответили небывалой, удвоенной добычей продукции. Ускоренными темпами проводится аграрная реформа. Установлен контроль над банками. В области внешней политики расширяются и успешно развиваются связи с Советским Союзом и другими социалистическими странами.

О напряженной борьбе народа рассказывает в недавно вышедшей в Сантьяго книге «Чили в огне событий» известный чилийский публицист Эдуардо Лабарка Годдард. Его книга — репортаж, написанный на поле битвы. Это первый большой (в книге почти четыреста страниц) репортаж очевидца и участника событий. О победе народа, конечно, со временем еще напишут поэты и романисты. Но сегодня книга Лабарки Годдарда, несмотря на некоторую сухость, «протокольность» ее изложения, воспринимается как живое и интереснейшее свидетельство «из первых рук» о том, что произошло и происходит в этой далекой латиноамериканской стране, где «блок Народного единства,— как писал недавно член Политической комиссии ЦК Компартии Чили тов. Орландо Мильяс,— действует рука об руку с массами, твердо веря в способность рабочего класса и всего народа преодолеть все трудности и идти вперед в осуществлении благородной цели—построении социализма в Чили» («Правда», 5 сентября 1971 г.).

В этом номере мы печатаем фрагменты книги Эдуардо Лабарки Годдарда.

Чилийцы одержимы намерением совершить революцию и построить социализм, не обагрив кровью своих земель — великолепные кордильеры Анд, селитровую пустыню Севера, плодороднейшую Центральную долину, леса и дождливые острова Юга, пампу вдоль Магелланова пролива, вытянувшуюся полосу побережья.

И, осуществляя это намерение, левые силы Чили, победив на выборах, создали народное правительство — опору нового режима, при котором действительная власть должна окончательно перейти в руки трудящихся и прогрессивных слоев общества.

Издалека может показаться, что в Чили все происходит спокойно, идиллически. Нет ничего более ошибочного. Внешние и внутренние события показывают, что это не так.

С того времени как на родине Фиделя Кастро было поднято знамя социализма, крупнейшим поражением Соединенных Штатов на латиноамериканском континенте было образование в Чили правительства Народного единства во главе с социалистом Сальвадором Альенде.

В соответствии с конституцией 3 ноября 1970 года Альенде взял в свои руки бразды правления государством. Однако он и члены блока Народного единства — наиболее представительного и действенного политического органа в истории Чили — с первого же момента предупредили, что создание нового правительства — лишь первый шаг к последующему, подлинному взятию власти.

Бурная избирательная кампания, свидетельство ожесточенной социальной борьбы широких масс чилийцев, предварила триумф Народного единства на выборах 4 сентября 1970 года.

Ранним утром того дня в Гаване премьер-министр Фидель Кастро ожидал поступления окончательных сведений о результатах выборов в редакции газеты «Гранма», где все сотрудники и рабочие типографии с энтузиазмом приветствовали победу Альенде.

В Вашингтоне президент Ричард Никсон на этот раз был весьма искренен — спустя какие-то часы он заявил:

— Избрание Сальвадора Альенде на пост президента Чили неприятно.

Все отдавали себе отчет в том, что победа на выборах Альенде и Народного единства — следствие важных перемен на карте Латинской Америки.

Между 4 сентября — днем выборов и 3 ноября — датой передачи Сальвадору Альенде президентской власти уходящим с поста Эдуардо Фреем прошло бесконечных шестьдесят суток. Это были шестьдесят суток, в течение которых рушился старый порядок — сверху донизу.

Правые силы Чили и их союзники за границей предприняли все возможное, что было им доступно, чтобы воспрепятствовать приходу к власти нового правительства. Они не остановились даже перед хладнокровно подготовленным политическим преступлением, застрелив в уличной засаде главнокомандующего чилийской армией генерала Рене Шнейдера Черо. Однако Народное единство, Единый профсоюзный центр трудящихся и множество других общественных организаций, традиционно заявлявших о себе на протяжении всей истории Чили и объединяющих миллионы чилийцев, сделали со своей стороны также все возможное. Разумеется, их задача была прямо противоположной — заставить уважать решение большинства избирателей и обеспечить вступление Сальвадора Альенде на пост президента республики.

На американском континенте и во всем мире возникли вопросы:

Сумеют ли левые силы Чили, взяв власть, укрепиться и начать строительство социализма, используя государственный аппарат, учрежденный их противниками? Возможна ли бескровная революция в Чили? Не попытаются ли Соединенные Штаты превратить Чили в новое Санто-Доминго или в новый Вьетнам?

Чили двинулось по заминированному полю.

Министры — четыре социалиста, три коммуниста, три радикала, два социал-демократа, один представитель Движения унитарного народного действия (МАПУ)[1], а также один представитель Независимого народного действия (АПИ) — принесли присягу в качестве членов первого правительства Народного единства. Впервые в истории Чили четверо министров — три коммуниста и один социалист — были простыми рабочими.

12 ноября 1970 года, на девятый день после вступления на пост президента, Сальвадор Альенде восстановил дипломатические, консульские, торговые и культурные отношения с социалистической Кубой. Этим актом национального достоинства Чили перед лицом всего мира восстановило статус действительно суверенного и независимого латиноамериканского государства. Позже были установлены отношения с КНР, с ГДР, с ДРВ и КНДР.

В обстановке напряженной политической и социальной борьбы новый режим свои главные усилия сразу же направил на достижение трех основных целей: национализация медной промышленности[2], передача государству двадцати семи частных банков, контролировавших почти все национальные финансы и кредит, а также принятие срочных мер к решительному и широкому осуществлению аграрной реформы.

Поставив перед собой эти три основные цели, правительство Альенде, придерживаясь законного, конституционного пути для проведения революционных перемен,

во-первых, предложило конгрессу национализацию основного богатства страны — меди, которую до сих пор контролировали «Анаконда», «Кеннекот» и другие северо-

---

[1] Группа левого направления, отколовшаяся в 1969 году от правившей тогда христианско-демократической партии. *(Здесь и далее примечания переводчика.)*

[2] 11 июля 1971 года правительство Народного единства национализировало медную промышленность страны (более 90% производства чилийской меди приходилось на долю принадлежавших монополиям США рудников).

американские консорциумы, а для этого внесло проект поправок в конституцию государства;

во-вторых, приступило к скупке акций частных банков у отдельных лиц в качестве предварительной меры, перед тем как выдвинуть проект конституционной реформы о передаче государству всех банков;

в-третьих, стало полностью претворять в жизнь Закон об аграрной реформе, объявленный предыдущим правительством Эдуардо Фрея, чтобы в качестве первоначальной меры экспроприировать 1000 латифундий в течение 1971 года[1].

«Первые сорок мероприятий Народного правительства», провозглашенные в ходе избирательной кампании, включали, например, обязательство ежедневно предоставлять бесплатно по пол-литра молока каждому чилийскому ребенку, и новый режим начал это осуществлять 4 января 1971 года — через два месяца после прихода к власти. Таким образом было покончено с различием «для богатых» и «для бедных» в хлебе и молоке, установлены единое качество и единая цена для обоих жизненно необходимых продуктов. Равным образом были установлены единые тарифы пользования общественным транспортом.

В этой стране традиционной конституционности и законности правоведы Народного единства обнаружили бесконечное количество забытых положений, давно принятых законов и регламентов, которые позволяли принимать энергичные меры в области экономики, не ожидая бюрократического прохождения и одобрения законопроектов в парламенте, где большинство голосов принадлежало оппозиции. Уже в первые месяцы правительства Народного единства под контроль государства перешли североамериканские фирмы «Нибко» и «Пурина», сталелитейная и угледобывающая промышленности, добыча селитры, производство цемента, а также различные текстильные предприятия. Для этого были применены обнаруженные законоположения, предоставлявшие государству право вмешиваться, реквизировать, экспроприировать или выкупать в рассрочку те или иные частные предприятия в определенных случаях. Правительство Народного единства, Альенде и его министры, установило новые отношения с рабочим классом. Правительство и Единый профцентр трудящихся подписали акты, определявшие увеличение зарплаты и участие трудового народа во всех областях общественной деятельности и в управлении производством.

В первые три месяца 1971 года пятьдесят тысяч юношей и девушек, вступив в бригады добровольного труда, отправились работать на поля. Шахтеры, занятые на добыче селитры, взяли обязательство увеличить на миллион тонн в год свою продукцию; в том же духе высказались рабочие угледобывающей промышленности и других государственных секторов экономики. Так началось сражение за продуктивность труда — в Чили повеяли первые ветры социализма.

Но далеко не все обходилось спокойно и гладко.

Затронув интересы национальных и иностранных капиталистов, пустивших здесь глубокие и могучие корни, новое правительство с первого дня своего существования натолкнулось на упорное и беспощадное сопротивление тех, кто в течение столетий считали себя хозяевами страны.

Саботаж на огромных медных рудниках, сокращение крупными землевладельцами посевов, систематическая организация финансового хаоса — все виды оружия экономической войны, разжигаемой чилийской олигархией и иностранными монополиями сразу же после победы Народного единства, были пущены в ход. Лидеры национальной партии, а также наиболее консервативного крыла христианских демократов и других правых группировок возглавили античилийский крестовый поход.

Если в первые дни после избрания Альенде правые политические силы оказались в состоянии некоего оцепенения, то по истечении недель национальная партия и так называемая радикальная демократия, оправившись, перешли в контрнаступление, развернули агрессивную, провокационную и мятежную деятельность против народного правительства. В ходе борьбы реакционная оппозиция обращалась и к обструкциям в парламенте, и к беспрерывным «конституционным обвинениям» против министров нового режима, и к кампании лжи и клеветы в правой прессе, не говоря уже об экономических диверсиях.

Христианско-демократическая партия, находившаяся у власти, после образования правительства Народного единства заняла правые позиции. И Эдуардо Фрей, покинув президентский дворец, возглавил за ширмой ее правое направление.

Завоевание власти для левых сил Чили было итогом ожесточенной битвы, в которую включились широкие народные массы, однако продвижение к социализму оказалось задачей, в тысячу раз более сложной.

Поскольку были убраны прежние заслоны репрессий, после образования народного правительства вышло из берегов возмущение старыми порядками тех слоев населения, которые из века в век подвергались унижениям, терпели всяческие лишения, находились за бортом общества. Крестьяне — индейцы племени мапуче в разных рай-

[1] Выступая на открытии Латиноамериканской конференции крестьян 24 августа 1971 года, президент Альенде отметил, что со дня прихода к власти правительства Народного единства было экспроприировано 1300 крупных латифундий. На следующий день в Сантьяго было объявлено о решении экспроприировать до конца года еще 112 латифундий.

Из альбома партизанской графики Словении

Пирнат Николай. «Встреча». 1944 г.
(Лист из альбома «Дома-тюрьмы-леса»).

Пирнат Николай. «Герои». 1944 г.
(Лист из альбома «Дома-тюрьмы-леса»).

Видмар Драго. «Заложники». 1944 г.

Герлович Аленка. «Везут раненых». 1945 г.

онах Юга, не дожидаясь осуществления аграрной реформы правительством Народного единства, выступали стихийно против помещиков, чтобы силой забрать принадлежавшие ранее этим индейцам земли. Бездомные в разных городах и селениях самовольно захватывали жилье, о котором столько мечтали. И для правительства оказалось нелегким решать такого рода проблемы в рамках законности, тем более что реакционные силы провокационно подстрекали бедноту на стихийные выступления, рассчитывая создать в стране обстановку хаоса, вызвать взрывы насилия.

Чили во главе с народным правительством придерживается правопорядка и намерено проводить такую линию впредь. Чилийский народ хочет мирной жизни.

Но это зависит не только от них.

Сеть заговора протянулась по всей стране. Правые пытаются сколотить политический блок с христианской демократией, чтобы усилить оппозиционную борьбу. Президент Никсон подтверждает свое недовольство событиями в Чили, и Соединенные Штаты приступают к осуществлению агрессивного стратегического плана, цель которого — подрыв чилийской экономики, что предварило бы свержение правительства Альенде. Через три месяца после перехода власти к правительству Народного единства был раскрыт международный заговор, его организаторы намеревались искусственно спровоцировать снижение цен на медь, которую Чили продает на мировом рынке,— и по времени это совпало с саботажем, организованным американскими администраторами на шахтах «Чукикамата», «Теньенте» и «Сальвадор».

На протяжении первых месяцев пребывания правительства Сальвадора Альенде у власти проамериканская олигархия продолжала контролировать большую часть средств массовой коммуникации — прежде всего прессу, радио и телевидение. Это позволило ей отравлять национальную атмосферу, размахивая знаменем оппозиции, призывать к обструкциям, а то и к государственному перевороту.

Разведывательная служба Соединенных Штатов, а также чилийские ультраправые не отказались от замысла физически покончить с президентом Сальвадором Альенде (что вызвало принятие столь строгих мер его личной охраны, каких никогда ранее не бывало в истории страны). Здесь хотели бы устроить новый Даллас.

Умелая внешнеполитическая линия правительства затрудняет выполнение североамериканских агрессивных планов. Чили входит в международные организации, укрепляет свои связи с другими латиноамериканскими странами.

Став государством третьего мира, Чили сегодня ведет борьбу за независимость и суверенность. Правительство Народного единства заявило о решимости построить новую экономику, основанием которой будет служить преобладающий государственный сектор. И отсюда последует путь к социализму.

Еще трудно освободиться от наследия прошлого. Еще нужно много усилий, чтобы избавиться от него.

Однако Чили пробудилось.

Страна располагает Народным единством, то есть такой политической силой, которая и далее сможет осуществлять революционный процесс. В ее активе — сплоченное профсоюзное движение во главе с Единым профцентром трудящихся. Из девяти миллионов чилийцев два миллиона организованы в объединениях рабочих, крестьян, ремесленников, служащих; пролетариат обладает высоким уровнем политического сознания, верен более чем полувековым боевым традициям.

На муниципальных выборах 4 апреля нынешнего года — спустя ровно пять месяцев после прихода к власти — правительство Альенде смогло выйти победителем из своего первого боевого крещения. Левые партии на этих выборах получили абсолютное большинство — 50,86% голосов. Такого никогда не бывало в политической истории Чили. Завоевав победу на президентских выборах 4 сентября прошлого года, Сальвадор Альенде имел только 36,3% голосов. В блоке Народного единства социалистическая партия Сальвадора Альенде теперь достигла значительного успеха, заняв первое место в коалиции.

Чили идет в ногу с духом времени — с латиноамериканским континентом и со всем миром. Идет по-своему, согласно своим традициям.

■

Хайме Мельгоса Гарай — уголовник со стажем, тунеядец и профессиональный убийца, более известный под кличкой Северино,— проснулся будто от какого-то толчка. Прислушался к шуму дождя, взглянул на светящийся циферблат наручных часов. Шесть часов двадцать пять минут утра.

— Вставай! — воскликнул он и резким рывком сорвал покрывало, под которым спал его спутник. Оба сразу же вскочили.— Опаздываем, у нас всего пять минут, доберемся поздно,— пояснил Северино.

— Пошли!

Северино быстро прицепил пистолет «лаггер» под мышку и кольт 45-го калибра к поясу. В газетный лист завернул автомат «маузер». Его спутник осторожно поднял большой сверток — карабины, две противогазовые маски, гранаты и патроны. Вышли бесшумно — Северино не хотел будить брата. Сверток они положили на заднее сиденье джипа, забрались в машину и быстро поехали по направлению к району вилл.

В этот же час в районе вилл в белом доме № 551 по улице Себастьяна Элькано господствовала полная тишина. На первом этаже два охранника-карабинера спали в креслах. Маргарита, служанка, отдыхала в своей комнате. На заднем внутреннем дворике собака боксер по кличке Чейру — на языке индейцев гуарани это означает «мой друг» — не проявляла никакого беспокойства.

На втором этаже дома генерал и его жена еще спали. Все было спокойно в это раннее утро одного из тревожных дней.

В последние недели домашний телефон генерала Шнейдера звонил непрестанно. Какие-то голоса выкрикивали в трубку ругательства в адрес главнокомандующего и членов его семьи. «Бомбы кончились, сейчас начнутся похищения. И первым будет похищен твой муж — генерал Шнейдер»,— сказал Элисе незнакомый мужской голос, и трубка тотчас же была брошена. На днях в дом пришла какая-то женщина, не скрывавшая своего волнения, и попросила разрешения переговорить с женой генерала. Она умоляла ее предпринять что-либо, чтобы убедить генерала: «Только он может спасти нас от коммунизма!»

Звонили по телефону и заходили на квартиру главнокомандующего старые знакомые. Крупные землевладельцы, прибывшие из зоны Лос Андес и знавшие генерала еще в ту пору, когда он командовал пехотным полком, осмеливались просить его сделать «что-нибудь такое», чтобы воспрепятствовать приходу к власти левых. Из Майами кубинские эмигранты присылали генералу Шнейдеру письма, называя его трусом за то, что он не возглавил мятеж военных, который преградил бы путь в президентский дворец Сальвадору Альенде, победителю на выборах 4 сентября 1970 года.

Мало кто из чилийцев когда-либо подвергался подобному нажиму.

«Я чувствую себя одиноким, совершенно одиноким»,— как-то сказал генерал своей жене и сыновьям.

Президент Фрей 3 ноября должен был передать свои полномочия конституционно избранному новому президенту. Было известно, что открыто готовился заговор с целью воспрепятствовать утверждению пленарной сессией конгресса, которая должна была собраться 24 октября, победы Альенде на выборах — или предотвратить его вступление на пост президента. Об опасности мятежных действий говорилось на совещаниях главнокомандующего армией с президентом Фреем, с министром внутренних дел Патрисио Рохасом, а также с министром обороны Серхио Оссой Претотом. Время шло, а правительство тем не менее не принимало каких-либо энергичных мер, чтобы обеспечить смену президентской власти согласно конституции.

Генерал доверял армии. Он верил своим генералам и офицерам, был удовлетворен деятельностью своих подчиненных. Когда один журналист передал ему слухи о конспиративных совещаниях некоторых офицеров с Хорхе Пратом Эчаурреном, бывшим кандидатом в президенты и видным представителем ультраправых, сторонников государственного переворота, генерал Шнейдер заметил: «Ну что ж, армия имеет также младший командный состав, а эти люди — левые».

Самого себя генерал Шнейдер при этом не причислял к левым. Прежде всего он был солдатом; он считал, что миссия его — главы чилийской армии — в столь тяжелый момент заключалась в укреплении единства армейских рядов для защиты конституции. Однако яростные атаки со стороны правых в течение последнего времени пробудили в нем ненависть к олигархии и ее политическим глашатаям.

Генерал не мог не заметить, что внутри чилийских вооруженных сил проявляется какое-то беспокойство, нарастают какие-то события,— позднее все это выльется в мятеж генерала Роберто Вио Марамбио, который командовал полком «Такна».

24 октября 1969 года, спустя три дня после мятежа в полку «Такна», генерала Шнейдера вызвал президент Фрей и предложил ему занять пост главнокомандующего армией.

Первые признаки мятежа отмечались еще ранее, в апреле—мае 1968 года, когда офицеры различных соединений вооруженных сил страны потребовали повышения жалованья. Тогдашний кризис заставил Фрея сменить главнокомандующего армией и министра обороны, офицерам тогда же было обещано, что их экономическое положение будет улучшено. Шли месяцы, начался 1969 год, однако обещания не выполнялись. Новый министр и новый главнокомандующий, казалось, были более озабочены посещением различных светских приемов и встречами с послами, чем судьбой своих подчиненных. На торжественной мессе в день национального праздника 18 сентября 1969 года воинская часть под командованием майора Маршалла Марчессе и капитана Нираада демонстративно поздно воздала воинские почести президенту республики Эдуардо Фрею. Это была первая вспышка открытого неподчинения. А 21 октября начался мятеж в полку «Такна». Спустя сутки мятежный генерал Роберто Вио покинул полк «Такна» — после того, как правительство взяло на себя обязательство существенно улучшить экономическое положение военнослужащих, а также опять сменить министра обороны и высших военачальников. Этим генерал Вио, естественно, привлек на свою сторону симпатии большинства чилийских военных, получивших выгоду благодаря его мятежному выступлению.

Именно в ту пору из Пунта-Аренаса прибыл генерал Рене Шнейдер, чтобы занять пост главнокомандующего армией. Своим долгом он счел восстановить единство армии, а это от него потребовало в высшей степени эластичных действий. Новый глав-

нокомандующий говорил о настроениях в армии так: «Больной не в тяжелом положении. Его заболевание хроническое. Хочу пояснить, что правительства я не обвиняю. Никакие правительства». По адресу генерала Вио первые высказывания Шнейдера были весьма осторожны: «Он считался превосходным специалистом, но его деятельность я не разделяю»; позднее он добавил: «Он не выполнил своего воинского долга».

Чилийской армией стала руководить группа молодых и энергичных генералов во главе с пятидесятичетырехлетним Шнейдером.

Тем временем Роберто Вио, генерал в отставке, которого привлекли к суду, повел «партизанскую войну», атакуя всевозможными заявлениями и сообщениями и постепенно переходя от «чисто профессиональных» вопросов к открыто политическим. В одном из этих документов генерал Вио даже пытался защищать «законность» поднятого им мятежа, однако его аргументация была энергично отвергнута в особом заявлении нового главнокомандующего.

В те дни уже развернулась решительная борьба за пост президента республики, которая девять месяцев спустя завершится выборами 4 сентября. Начал свою президентскую кампанию кандидат широкого блока левых сил — Народного единства Сальвадор Альенде, которому предстояло состязаться с кандидатом правых, бывшим президентом Хорхе Алессандри, а также с кандидатом тогда находившейся у власти христианско-демократической партии — Радомиро Томичем. И в этих условиях позиция генерала Шнейдера приобретала особое значение.

В начале 1970 года Шнейдер вылетел в аргентинский город Мендосу на протокольную встречу с генералом Алехандро Лануссе, тогда главнокомандующим аргентинской армией и «сильным человеком» военного режима этой страны [1]. На последовавших совещаниях аргентинский главнокомандующий пытался перевести разговор на тему о чилийских выборах, причем не скрывал, что аргентинские вооруженные силы отнеслись бы отрицательно к возможному существованию «марксистского правительства» в Чили. Шнейдер реагировал на это с такой энергией, что его собеседнику пришлось отказаться от намерения затрагивать политическую тему.

7 мая 1970 года в заявлении газете «Меркурио» генерал Шнейдер подтвердил, что вооруженные силы Чили будут поддерживать конституционный режим. Он сказал, что чилийская армия «является гарантией нормальных выборов и что пост президента республики займет тот, кто будет избран народом, абсолютным большинством, либо пленарной сессией конгресса в том случае, если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов». Отвечая на другие вопросы журналиста насчет последней возможности, генерал Шнейдер заявил: «Я настаиваю на том, что наша доктрина и миссия заключаются в поддержке и уважении политической конституции государства. В соответствии с конституцией конгресс — хозяин и суверен в подобном случае, а уж в нашу миссию входит заставить уважать его решение».

Эти заявления генерала Шнейдера вызвали наиболее яростные атаки со стороны правых сил — сторонников Алессандри. В ту пору правые считали свою победу обеспеченной и обвиняли Шнейдера, что такого рода заявлениями он призывает христианских демократов и членов Народного единства объединить свои голоса на пленарной сессии конгресса в поддержку кандидата, занявшего второе место, будь то Альенде или Томич.

Еще в ходе президентской кампании Шнейдер отлично понимал, что утверждение конгрессом итогов выборов приобретает исключительно важное значение для социальной эволюции страны. Генерал понимал, что его родина требует перемен, и задерживать их уже невозможно.

Несколько раз главнокомандующий совещался с генералами и неизменно подтверждал свое решение строго выполнять конституцию.

Оценивая обстановку в стране — незадолго до рокового дождливого утра 22 октября прошлого года, когда он пал жертвой убийц,— главнокомандующий рекомендовал другим генералам в целях безопасности ежедневно изменять маршрут, по которому они следуют в автомашинах на место службы. Однако сам он никогда не изменял собственный маршрут, которым в течение последнего года ежедневно направлялся к своему кабинету в здании министерства обороны.

(Первое покушение на главнокомандующего армией генерала Шнейдера, пишет далее автор книги, сорвалось, несмотря на тщательнейшую подготовку террористического акта, проведенную под руководством главаря заговора генерала Роберто Вио Марамбио. Осуществить эту «операцию» помешала непредвиденная случайность: главнокомандующий проехал мимо засады, в которой на семи автомашинах находились Северино и другие участники конспиративной «Специальной группы», не на своем официальном автомобиле «мерседес-бенц», как ожидалось, а на другом. Через некоторое время сорвалось и второй раз предпринятое покушение, когда для проведения «операции» было брошено уже девять автомашин:

[1] В настоящее время генерал Алехандро Лануссе — президент Аргентины. Летом 1971 года состоялась встреча президентов Чили и Аргентины — Альенде и Лануссе в аргентинском городе Сальта; оба государственных деятеля приняли «Декларацию Сальты», определяющую отношения между их странами.

автомобиль главнокомандующего, шедший на большой скорости, оторвался от преследователей и затерялся в потоке уличного движения. Кстати, генерал Шнейдер, как стало известно, не предполагал, что за ним «охотятся», и даже не отдавал себе отчета, насколько опасна заговорщическая деятельность Роберто Вио Марамбио.— **Д. В.**)

■

Когда на выборах — в пятницу 4 сентября 1970 года — Сальвадор Альенде победил, сотни тысяч людей лавиной хлынули на улицы и площади городов и селений страны. Во всех пролетарских кварталах взвилось чилийское знамя. А в этот же день в элегантных виллах и резиденциях дрожащие руки торопливо снимали портреты и избирательные плакаты кандидата правых Алессандри, потерпевшего поражение. Трудовой люд — даже и те, кто не голосовал за Альенде,— танцевал и провозглашал тосты в ночь с пятницы на субботу, и в субботу, и в воскресенье. А пока народ праздновал победу, по всей стране поспешно проводились конспиративные совещания, на которых высказывалась одна и та же мысль: «Мы не можем допустить, чтобы Альенде занял пост президента».

Уже в воскресенье первые группы молодых аристократов промаршировали по улицам столицы, выкрикивая: «Чилиец, будь начеку: русские на пороге твоего дома!» В понедельник началась финансовая паника. Во вторник перед пунктом противоэпидемических прививок образовались огромные очереди лиц, которые спешили покинуть Чили. В среду пикеты аристократок, одетых в траурные платья, дежурили перед президентским дворцом Ла Монеда. В четверг все группировки оппозиции, а также отдельные консерваторы выступили в едином хоре, призывая членов парламента — христианских демократов отдать свои голоса на пленарной сессии конгресса кандидату правых Хорхе Алессандри, благодаря чему кандидата, занявшего второе место на выборах, можно было бы провозгласить президентом — это случилось бы впервые в истории страны — и таким образом Чили «спасется от коммунизма». Позже в различных пунктах страны раздались первые взрывы бомб.

В лагере оппозиции, охваченной паникой, старое личное соперничество, прежние ссоры и партийные границы, которые когда-то казались непреодолимыми,— все отошло на второй план. «Мы должны объединиться»,— призывала правая чилийская пресса. «Должны объединиться»,— повторяла империалистическая пресса континента и всего мира.

Грандиозная операция с целью преградить путь Народному единству и Сальвадору Альенде осуществлялась в самых различных планах — политическом, экономическом, психологическом — как на международном уровне, так и национальном. Для защитников конституции пробил решающий час.

Настал час также и для грязной работы врагов конституционного порядка.

Пока проходила президентская избирательная кампания, генерал Роберто Вио развивал не прекращавшуюся ни на миг бурную деятельность, создавая конспиративное ядро. Проекты генерала-заговорщика предусматривали два варианта:

1) в случае победы Алессандри подавить революционное выступление, организованное Народным единством,— по мнению генерала, такое выступление будет неизбежным;

2) в случае победы Альенде силой оружия преградить ему приход к власти.

И все, кто были заинтересованы в том, чтобы не позволить Альенде занять пост президента, стали устанавливать контакты с генералом Роберто Вио. Так рождался зловещий заговор.

В бесчисленных беседах и на совещаниях заговорщики пришли к заключению, что без участия военных сил любой план обречен на провал. Учитывая это, они повели лихорадочную подготовку военного переворота, который должен произойти до 24 октября — даты пленарной сессии конгресса, когда утвердят будущего президента Чили.

Заговорщики отдавали себе отчет: любая попытка переворота вызовет энергичный отпор народных масс. Поэтому они хотели организовать вооруженную милицию правых — примерно в тысячу или в полторы тысячи бойцов лишь в Сантьяго; эта милиция должна была действовать совместно с вооруженными силами и с карабинерами, чтобы задушить выступление народа. Иными словами, речь пошла о развязывании в Чили гражданской войны.

Быстро проведенные рекогносцировки показали, что заговорщики сразу же столкнутся с непоколебимой конституционалистской позицией главнокомандующего армией генерала Рене Шнейдера Черо, а также главнокомандующего военно-морским флотом адмирала Порты Ангуло. Правда, ловкая интрига позволила без промедлений удалить со сцены второго, после того как некоторые высшие командиры военно-морского флота встретились с победившим кандидатом Сальвадором Альенде без разрешения министра обороны христианского демократа Серхио Оссы Претота, о чем последнего, как вышестоящего начальника, должен был предварительно запрашивать адмирал. Президент Фрей тотчас же поставил вопрос об отставке адмирала Порты и на его место назначил ультраконсерватора адмирала Уго Тирадо Барраса, причастного к заговору. Теперь оставалось последнее препятствие — генерал Шнейдер.

Обсуждалось предложение убрать главнокомандующего армией также посред-

ством политической интриги: был пущен слух о его якобы тайном свидании с Сальвадором Альенде. Слух подхватила реакционная газета «Сегунда», но ожидаемого эффекта он не произвел, и от подобных вариантов заговорщики отказались.

Позже, давая показания перед военной прокуратурой, участники заговора раскроют подробности, которые позволят восстановить замыслы и действия замешанных в заговоре лиц.

В первые дни после выборов, например, изучалась возможность отставки кабинета президента Фрея и его замены военным правительством — в качестве начального шага, чтобы воспрепятствовать приходу Альенде к власти. Это могло бы стать кульминацией возникшего финансового кризиса, спровоцированного монополиями после триумфа Народного единства. Однако президент Фрей отклонил эту идею. Рассматривались — поочередно — и другие планы, в том числе — совместное выступление гарнизона Вальпараисо и военно-морской эскадры, мятеж полков, дислоцированных на Юге, одновременно с восстанием военно-воздушных и военно-морских сил. Наконец было решено, что генерал Арриагада поднимется во главе подчиненной ему Третьей дивизии в Консепсьоне, а в Сантьяго будут похищены четыре армейских генерала, в том числе генерал Шнейдер.

Проект похищения генерала Шнейдера был назван «Планом Альфа».

Пост главнокомандующего армией, как предполагалось, затем займет сторонник переворота генерал Камило Валенсуэла, начальник столичного гарнизона, который позднее сможет возглавить военную хунту, включавшую в свой состав также командующего военно-морским флотом Уго Тирадо и командующего военно-воздушными силами Чили Карлоса Геррати. Альенде и других лидеров Народного единства отправят в тюрьму или ссылку, а военная хунта будет настойчиво проводить «националистическую» политику. Эдуардо Фрей отправится за границу, но ему разрешат через полгода вернуться, чтобы выступить в качестве кандидата в президенты от всех «демократических» сил. Генерал Роберто Вио, а также начальник корпуса карабинеров генерал Висенте Уэрта Селис так или иначе войдут в новое правительство. Генералы Вио и Валенсуэла несколько раз обсуждали детали переворота.

Значительно позже — в ходе процесса, проведенного военной прокуратурой,— арестованный участник заговора Диэго Давила Бастеррика, известный фашист, подтвердит следующее: «Я могу сказать, что некоторые деятели правительства были осведомлены о готовящемся государственном перевороте, и каждый из них лично был согласен на организацию переворота, поскольку все они считали, что только таковым могло быть решение на том перепутье, на котором очутилась страна». Со своей стороны бывший начальник корпуса карабинеров генерал Уэрта Селис подтвердил перед военным прокурором, что он участвовал в конспиративных совещаниях, однако обо всем происходившем там докладывал своему высшему руководству. А этим высшим руководством был не кто иной, как Патрисио Рохас, министр внутренних дел правительства Фрея.

Осуществление «Плана Альфа» — к этому времени заговорщики отказались от решения похитить кроме Шнейдера других трех генералов, мобилизовав все свои усилия на проведении «операции» лишь против главнокомандующего армией,— потребовало приобретения оружия. Нелегальные поставки оружия производились в течение первого квартала 1970 года, однако начиная с июля стоимость пистолета, карабина или ручного пулемета неизмеримо возросла и стало трудно заполучить хотя бы ящик патронов. А генерал Вио нуждался в значительном количестве оружия. Задачу приобретения его он препоручил группе своих сотрудников, принадлежащих к обеспеченным и аристократическим кругам, в своем большинстве — молодых. Поступающим из-за границы оружием должен был ведать сенатор Рауль Моралес Адриасола, член радикально-демократической партии.

Таким образом, в сферу деятельности генерала Роберто Вио и его ближайшего окружения входили:

1) военные контакты;

2) «Специальная группа», руководимая Луисом Гальярдо;

3) команда террористов во главе с молодым Энрике Арансибиа Клавелем (Эухенио); три участника ее были арестованы, но по непонятным причинам, согласно решению члена апелляционного суда Абраама Меерсона, освобождены. Это позволило двум из них — вожаку радикально-демократической молодежи Энрике Шиллингу и Луису Гонсалесу Гутьерресу — бежать за границу. Ответственность за свои террористические акты эта группа пыталась перелагать на левых, оставляя на месте произведенных покушений листовки с подписью «Рабоче-крестьянская бригада»;

4) группа молодых аристократов, которой было поручено приобретать и перебрасывать оружие, а позднее доставать автомашины для похищения генерала Рене Шнейдера;

5) политические контакты, возложенные на адвоката Гильермо Карея Тагле (связанного личной дружбой, в частности, с президентом Эдуардо Фреем), а также осуществляемые самим генералом Роберто Вио.

В свою очередь вся эта деятельность увязывалась с действиями ультраправых организаций, появившихся в то же время:

1) подпольным движением «Не отдадим Чили» (НЭЧ), возникшим за несколько дней до выборов;

2) движением «Родина и свобода» общественного характера, основанным вскоре после победы Альенде на выборах с целью провести мобилизацию масс, чтобы воспрепятствовать его приходу к власти.

На своих собраниях, как и на позднейших допросах перед органами военной юстиции, заговорщики особенно разглагольствовали насчет необходимости «спасти родину от марксизма и коммунизма». Они, дескать, хотели, согласно их утверждениям, создать «сильное националистическое» правительство. Однако показания участника заговора, крупного скотовода и организатора антикоммунистической группировки «Свободное Чили» Хулио Бучона свидетельствуют о том, что этот «национализм» основывался на предпосылке иностранной интервенции. Чилийско-венесуэльский финансист Олалькиага, обещавший деньги для переворота, был не кем иным, как посредником, избранным разведывательной службой Соединенных Штатов,— последней было удобнее таким образом участвовать в заговоре. Когда адвокат Гильермо Карей Тагле, позднее бежавший в США, говорил об аргентинском или парагвайском оружии, которое якобы должно было поступить через Панаму, никто из участников заговора не сомневался, что столь странным объяснением собирались прикрыть действительное участие Соединенных Штатов в поставках вооружения. Однако наступал решающий момент — и каждый из заговорщиков снова убеждался, насколько велики колебания их зарубежных «друзей», несомненно реалистически оценивавших всю серьезность собственного положения в том случае, если их захватят на месте преступления — при попытке пуститься на такого рода авантюру в Чили.

■

Уверенность в успехе «операции» была таковой, что члены «Специальной группы» перестали придерживаться самых элементарных предосторожностей в своей конспиративной деятельности. На полученных от богатых помещиков и других организаторов заговора автомашинах они разъезжали совершенно открыто.

Журналист Мануэль Мендоса восстанавливает в еженедельнике «Пуро Чиле» ход событий после того, как члены «Специальной группы» покинули помещение, где они размещались до нужного момента:

«Повторили пароли и задачи каждого. Мельгоса, он же Северино, он же «эксперт» в вольной борьбе каратэ, должен был оглушить шофера генерала Шнейдера, как только генеральский автомобиль «мерседес-бенц» столкнется с красным джипом, который ведет помощник Мельгосы — Роберто.

Хуану Луису Бульнесу, братьям Искьердо и Сильве Доносо поручалось похитить генерала. Они захватили молоток, чтобы разбить стекло задних дверок автомашины. Инструмент был взят на тот случай, если дверцы автомашины будут закрыты изнутри, а стекла окажутся пуленепробиваемыми.

Из аэропорта Ло Кастильо был передан приказ выезжать.

Старший из братьев Искьердо сел за руль основной машины — «таунус» кремового цвета. Его брат — рядом. Позади заняли места Хуан Луис Бульнес и Сильва Доносо. С собой у них — молотый перец, баллон парализующего газа и веревка. На пол автомашины положено различное оружие. Хуан Луис Бульнес, кроме того, имел револьвер 38-го калибра, Сильва Доносо — «смит вессон», братья Искьердо — пистолеты «астраль». Дополнительно запаслись еще одним небольшим пистолетом и баллоном со слезоточивым газом, под сиденье засунули пакет с динамитными шашками.

Прибыли на угол улицы Мартина де Саморы и авениды Америго Веспуччи.

В 8.15 послышался крик: «Он там!» За автомашиной генерала Шнейдера следовали еще две машины. Красный джип, в соответствии с планом, налетел на «мерседес-бенц».

■

Когда тем утром генерал, надев мундир, спускался со второго этажа по лестнице своего дома, зазвонил телефон. Трубку взяла служанка Маргарита. Чей-то мужской голос спросил хозяина дома. «Это меня?» — спросил генерал. Трубка тотчас была положена, как только на другом конце провода узнали, что он был еще здесь. Накануне вечером — хозяева дома ужинали в другом месте — также звонил телефон, но в трубке лишь послышались ругательства. Около 23 часов белокурый и высокий молодой мужчина подъехал на серой машине и спросил, где находится генерал. Маргарита, выполняя полученные ею указания, отказалась сообщать что-либо. Позже другой, длинноволосый юноша прохаживался перед домом, а как только карабинеры охраны направились к нему, он исчез...

В 8.15 генерал вышел из своего дома.

На тротуаре перед домом с автоматами дежурили два карабинера охраны из мобильной группы, в 7 часов сменившие ночной наряд. Генерал сел в свою синюю ма-

шину, на заднее место справа, положив рядом с собой портфель, в котором находился маленький пистолет, и стал платком протирать стекла очков.

Машина тронулась. Накрапывал дождь.

Как и каждое утро, повернули направо по улице Мартина де Саморы, на запад, в направлении к авениде Америго Веспуччи. Автомобиль увеличил скорость. Какие-то другие машины шли в том же направлении. Миновали один, другой, третий, четвертый, пятый, шестой кварталы. Приближались к авениде Америго Веспуччи. Вдруг голубой «додж» резко вырвался справа. Шофер главнокомандующего старший капрал Леопольдо Мауна избежал столкновения, повернув налево. Внезапно ему пришлось затормозить: два белых «пежо» преградили путь. Ветви плакучей ивы касались крыши правительственного автомобиля «мерседес-бенц», задержанного на левой стороне улицы, рядом с тротуаром.

«Мерседес-бенц» генерала оказался между другими машинами. Мельгосе было нужно напасть на шофера и перетащить его в соседнюю машину. Андресу Видову, приехавшему из Вальпараисо, издателю ультраправого католического журнала, а также его спутнику и другим пассажирам автомобилей «боргвард» и «таунус» поручено произвести похищение. По меньшей мере таковы были планы, известные всем участникам «операции».

«Мерседес-бенц» попал в западню. Два белых «пежо» и голубой «додж» выстроились впереди непреодолимым барьером. Красный джип медленно выехал из соседней улицы и ударил «мерседес-бенц» сзади. Мельгоса вытащил кольт. Вместе с Марио Монтесом Тагле, также вооруженным пистолетом, он побежал выполнять свое задание. С другой стороны спешил Видов, держа в руке никелированный револьвер, за ним следовал Карлос Сильва Доносо с молотком в руках. Появились Хуан Луис Бульнес, Аллан Купер, братья Искьердо. Раздался звонкий треск стекла, разбитого ударом молотка. Еще удар. Мельгоса успел заметить, что шофер бросился ничком на сиденье. Прозвучали выстрелы.

■

С первого дня шла речь о том, что будет допущен минимум насилия над Шнейдером. У похитителей имелось оружие, однако на совещаниях «Специальной группы» никогда не поднимался вопрос о возможном убийстве генерала. А поскольку упоминались парализующие газы, то считалось, что похищение окажется лишь детской игрой. Одному из налетчиков вменялось в обязанность сесть в автомобиль Шнейдера и увезти генерала на аэродром, откуда Диэго Давила Бастеррика, координатор «операции», должен был перебросить похищенного в безопасное место. Однако шофер Мауна и другие свидетели происшедшего позже единодушно показали: налетчики, напавшие на «мерседес-бенц», хотели убить генерала. Среди этих налетчиков был один наемник — Мельгоса-Северино, на которого с самого начала судебного процесса остальные участники заговора, действовавшие «из идейных убеждений», пытались возложить главную ответственность.

■

Мауна и Шнейдер заметили, как к их машине бежал Мельгоса. Инстинктивно Мауна хотел затормозить. Однако джип налетел на «мерседес-бенц» сзади.

Мауна наклонился, чтобы вытащить пистолет из-под сиденья. Генерал выхватил свое оружие из портфеля.

И в это мгновение раздался удар по стеклу, затем второй. Генерал повернул голову — и тотчас же содрогнулся под пулями.

Он еще попытался нажать пальцем на спусковой крючок, однако свет и звуки уже стали удаляться — сознание генерала погрузилось во мрак.

■

Авторы покушения на генерала Шнейдера хотели создать военную хунту. И действительно, страна с момента покушения оказалась в руках военных. Однако военные выполняли миссию, прямо противоположную той, которая была задумана участниками заговора: они гарантировали проведение пленарной сессии конгресса, подтвердившей избрание Сальвадора Альенде на пост президента, и обеспечили нормальный переход власти к новому гражданскому правительству. По иронии судьбы некоторым видным генералам, сторонникам государственного переворота, находившимся на ключевых постах во главе вооруженных сил и корпуса карабинеров, пришлось выполнять эту миссию. Нет сомнения, что обстоятельства покушения, а затем и смерть генерала Шнейдера в госпитале сбили с толку военных и полицейских начальников, замешанных в заговоре. Если раньше речь шла о похищении, то сейчас был факт убийства.

Так или иначе, переворот могли совершить и в данное время — впрочем, это так и предусматривалось — под предлогом восстановления порядка, предотвращения хаоса.

Чили в те дни превратилось в огромную военную казарму — военные и полицейские силы приведены в боевую готовность, объявлено чрезвычайное положение во всей стране, а также введен строжайший комендантский час в провинции Сантьяго.

Народное единство и все чилийские трудящиеся понимали, что настал час не

только быть бдительными, но и готовыми приступить к активным действиям. Единый профцентр трудящихся объявил двухчасовую национальную забастовку в знак протеста против покушения, против мягкотелости, которую проявило правительство Фрея по отношению к мятежным группам,— и как предупреждение заговорщикам. Народное единство отменило все — несомненно гигантские — демонстрации, которые предполагалось провести в Сантьяго и по всей стране вечером в субботу 24 октября, как только будет известно подтверждение конгрессом избрания Альенде. Высшее командование армии во главе с генералом Карлосом Пратсом Гонсалесом, исполнявшим обязанности главнокомандующего, энергично потребовало от президента Фрея поручить военным расследование покушения. Военачальники выразили недоверие министру внутренних дел, которому формально надлежало провести расследование. Вследствие этого уже в день покушения было объявлено о назначении армейского генерала в отставке Эмилио Чейре генеральным директором по расследованию с широкими полномочиями. Вместе с тем генерал Камило Валенсуэла, фигурировавший в планах заговорщиков как глава будущей военной хунты, стал начальником чрезвычайной зоны в провинции Сантьяго.

Столица ночью казалась оккупированным городом. Очень немногим прохожим и автомашинам то и дело приходилось останавливаться перед военными патрулями, с оружием в руках заставлявшими предъявлять обязательный пропуск. Введение комендантского часа заставило лиц, замешанных в покушении, оставаться по ночам в убежищах. Облавы и быстрые полицейские действия позволили задержать некоторых не успевших сразу же бежать за границу главных преступников — соучастников генерала Валенсуэлы по заговору.

■

Путь к победе 1970 года шел через поражение 1964 года.

Фронт народного действия — ФРАП, сформированный коммунистами, социалистами и другими левыми организациями, выдвинув тогда кандидатом на пост президента Сальвадора Альенде, потерпел поражение, которое оказалось неожиданным для большинства его руководителей, активистов и симпатизирующих.

Победители 1964 года принадлежали новому движению: христианской демократии. Эдуардо Фрей прибыл в президентский дворец Ла Монеда, не скупясь на обещания «все изменить». Для проведения своей президентской кампании он, как известно, получил финансовые субсидии от Соединенных Штатов и от ФРГ, помощь католической церкви, а также политическую поддержку и голоса правых сил. Однако его программа включала аграрную реформу, «чилизацию» — но не национализацию! — медных рудников, установление дипломатических отношений с Советским Союзом и другими социалистическими странами, а также некоторые реформы, которые могли бы служить приманкой для народных масс.

Фрей получил 1.409.012 голосов, тогда как за Альенде, выставлявшего свою кандидатуру в третий раз, было подано лишь 977.902 голоса.

Перед социалистами, коммунистами и членами других партий и независимых групп, входивших в состав Фронта народного действия и поддерживавших кандидатуру Альенде, встали тогда горькие вопросы: целесообразно ли включаться в избирательную борьбу, вести двухлетнюю избирательную кампанию, если в конце концов нас ожидает поражение? Может ли возникнуть в Чили какая-либо перспектива победы на выборах левых сил, если, как каждый раз, правые и Соединенные Штаты опять предпримут новый маневр, бросят миллионы долларов, чтобы разгромить нас? Не предпочтительнее ли искать соглашения с христианской демократией? Либо мы дадим вовлечь себя в бой на той арене, где наши враги всегда будут располагать более благоприятными условиями и сумеют в конце концов снова разгромить нас? Если нас побеждали в 1952, 1958 и ныне — в 1964 году,— сможем ли мы продолжать выжидать, чтобы снова потерпеть поражение в 1970, в 1976, в 1982 годах?

На следующий день после победы Фрей и лидеры христианской демократии попытались привлечь на свою сторону социалистическую партию и разбить ФРАП. Однако социалистическая партия продолжала оставаться в оппозиции к демохристианскому режиму.

Со своей стороны, как только Фрей завоевал победу, руководители Коммунистической партии посчитали необходимым в самый кратчайший срок указать политическую перспективу членам партии и широким массам, голосовавшим за Сальвадора Альенде. Политическая комиссия КПЧ, собравшись на пятый день после выборов, поручила генеральному секретарю КПЧ Луису Корвалану подготовить доклад. Слово Коммунистической партии в этот момент не только имело чрезвычайно важное значение для национальной политической жизни, но и нашло бы отклик за рубежами страны. Коммунистическая партия продолжала придерживаться концепции: существует возможность — говорилось о «возможности», а не об «уверенности»,— что широкое политическое движение левых откроет им в Чили путь к власти без вооруженной борьбы. Во всяком случае, боевой дух коммунистов и после выборов оставался на высоте. Все левые активисты, как и коммунисты, понимали, что победа Фрея была грязной победой. И показательно, что уже в первую ночь поражения на выборах 1964 го-

да из всех уголков страны поступали знаменательные вести: мужчины, женщины, молодежь подавали заявление о вступлении в Компартию или в комсомол.

В те дни Политическая комиссия КПЧ приняла необычное решение — опубликовать основные разделы внутреннего доклада генерального секретаря КПЧ Луиса Корвалана.

«Из результатов выборов,— говорил Корвалан,— нельзя вывести заключение, что большинство чилийцев голосовало за статус-кво, а тем менее — за империализм и олигархию. В 1400 тысячах голосов, поданных за господина Фрея, можно различить три группы: а) реакционеры (консерваторы, либералы, а также часть радикалов и демохристиан), голосовавшие в защиту своих привилегий и против перемен; б) значительная часть демохристиан и беспартийных, голосовавшая за Фрея, полагая, что это — путь прогресса; в) голосовавшие просто из чувства страха».

Луис Корвалан категорически заявил, что линия, которой следовала партия, «не была ошибочной». «Речь идет,— говорил он,— не об изменении основной линии, а об ее обогащении, чтобы действовать в соответствии с новой реальностью». Он предупредил: «Естественно, мы не будем сидеть сложа руки, а будем готовиться к выборам 1970 года», поскольку «наш путь — это прежде всего путь борьбы и массового движения». В заключение Корвалан подчеркнул: «...мы будем действовать в оппозиции, но в оппозиции активной, которая откроет перед народом более широкие пути».

■

Деятельность левых сил, а также невыполненные сбещания христианской демократии, данные в ходе избирательной кампании массам чилийцев, поставили в сложное положение правительство Фрея.

Требования рабочих, крестьян и служащих, требования бездомных либо прозябавших в жалких жилищах, требования молодежи, студенчества и учащихся, беспокойство, охватывавшее большинство чилийцев,— все это натолкнулось вскоре на противодействие правительства, вновь вставшего стеной, сдерживавшей натиск народных масс. Уже 11 марта 1966 года — немногим более года после прихода к власти — первое в истории Чили и Латинской Америки демохристианское правительство обагрилось кровью, когда была устроена бойня на медных рудниках «Сальвадор». Еще никогда, кроме как в период президентства Фрея, Чили не знало столь широко развернувшейся, столь интенсивной и решительной социальной борьбы. Худосочная аграрная реформа христианской демократии затрагивала проблему атавистического существования латифундий, но оказалась недостаточной, чтобы удовлетворить требования крестьян на землю. С новой силой прокатилась волна забастовок в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, среди учителей, служащих государственного аппарата. За шестилетие правления Фрея не было такого университета или лицея, который не захватывали бы однажды или многократно его слушатели, требовавшие решения того или иного вопроса. А как-то воскресным утром богомольцы, пришедшие слушать мессу в кафедральном соборе Сантьяго, увидели такую картину: собор занят группой священников, монашек и светских лиц, поднявших на колокольню транспарант с надписью: «За церковь, выступающую вместе с народом и его борьбой».

Только органы юстиции и вооруженные силы, казалось, стояли в стороне от процесса, потрясавшего всю страну. Однако наступил и их час. В конце ноября 1969 года объявили забастовку сотрудники органов юстиции, за исключением членов Верховного суда, требовавшие увеличения жалованья. А что касается вооруженных сил, то о выступлениях полка «Такна» уже говорилось выше; хотя это выступление и было плодом тайных политических маневров, предпринятых командиром полка, однако для масс солдат и офицеров оно представлялось движением в защиту их прав.

Фрей уже не мог спать спокойно и из-за тех проблем, которые возникали в его собственном тылу, заставляя содрогаться его основную опору — христианско-демократическую партию. Все более и более обострялись противоречия между существовавшими в ее лоне различными течениями, оспаривавшими участие в правительстве.

Профсоюзное, крестьянское, молодежное движение и левые силы оказывали все более усиливающийся нажим на правительство, выступая против каждой его антинародной акции.

Все чаще и чаще стала ощущаться необходимость в создании Народного единства — эта идея мало-помалу привлекла к себе внимание даже в правительственных кругах.

■

Когда в апреле 1933 года в Чили возникла социалистическая партия, одним из ее самых молодых основателей был двадцатичетырехлетний врач из Вальпараисо Сальвадор Альенде Госсенс.

Социалистическая партия была образована, когда в Чили еще сказывались тяжелые последствия мирового экономического кризиса. Эфемерная и утопистская «социалистическая республика», провозглашенная в 1932 году группой чилийских военных и штатских и существовавшая в течение двенадцати дней, пробудила сознание и посеяла семена новой партии. Ее основатели заявили о своем желании построить общество

трудящихся, свободное от нищеты и эксплуатации, и вместе с тем они подчеркивали исключительное значение латиноамериканской солидарности.

Новая партия родилась без первородного социал-демократического греха. Социал-демократический интернационал в ту пору представлял собой активное правое крыло мирового рабочего движения, и лидеры новорожденной социалистической партии Чили не имели намерений вступать в этот интернационал. Вместо этого они со временем стали искать контакты с партией Демократического действия Венесуэлы и АПРА Перу, однако впоследствии порвали с этими организациями, превратившимися в инструмент империалистической экспансии на латиноамериканском континенте.

Участие социалистической партии в Народном фронте 1938 года завоевало ей небывалую популярность. Уже на парламентских выборах 1941 года партия получила 16,69% голосов. Так социалистическая партия превратилась в одну из основных партий чилийских левых, оказывающую значительное влияние на круги интеллигенции, на служащих, на крупнейшие объединения рабочего класса. Одетых в форму милиции членов социалистической партии можно было встретить во всех уголках Чили. В уличных боях сороковых годов против орд креольского фашизма коммунисты и социалисты зачастую сражались плечом к плечу. После нескольких лет междоусобицы, когда вспыхивали столкновения между молодыми социалистами и коммунистами и трудящимися, принадлежавшими к обеим партиям, новое единство социалистов и коммунистов возродилось и стало укрепляться с первым выдвижением на пост президента кандидатуры Сальвадора Альенде в 1952 году. Однако тогдашняя коалиция коммунистов, социалистов и нескольких небольших политических организаций — Фронт народа — завоевала лишь 51.975 голосов против 446.439 голосов, поданных за кандидатуру генерала Карлоса Ибаньеса дель Кампо. Вскоре Фронт народа превратился в Национальный фронт народа, поскольку в его состав вошли «Партия труда» во главе с Бальтасаром Кастро и фракция, отколовшаяся от демократической партии. После того как народно-социалистическая партия, в свое время отделившаяся от социалистической партии и значительно подорвавшая этим ее ряды, порвала с президентом Ибаньесом (в 1955 году) и вышла из состава правительства в результате антинародного характера его политики, картина левых сил существенно изменилась. Спустя год партии, составлявшие Национальный фронт народа, а также народно-социалистическая партия создали Фронт народного действия — ФРАП, чем было положено начало постоянному и с тех пор непрерывающемуся взаимопониманию между социалистами и коммунистами. В 1957 году социалистическая и народно-социалистическая партия слились, и вскоре, в 1958 году, Сальвадор Альенде, снова на этот раз опиравшийся на блок объединенных левых сил, был выдвинут кандидатом на пост президента. Кандидат правых Хорхе Алессандри смог добиться победы, получив 389.909 голосов, тогда как за Альенде и ФРАП голосовало уже 356.493 избирателя.

Шесть лет спустя ФРАП во главе широкого народного движения масс — уже сказывалась победа кубинской революции,— опять выдвинув кандидатуру Альенде, потерпел поражение лишь вследствие того, что кандидатура христианского демократа-реформиста Эдуардо Фрея пользовалась огромной поддержкой правых сил не только в Чили, но и за рубежом.

Наконец, 29 августа 1969 года центральный комитет социалистической партии в четвертый раз выдвинул кандидатуру Сальвадора Альенде на пост президента республики. (Голосование в ЦК дало следующие результаты: 12 — за, 13 — воздержавшихся.)

■

Активисты Коммунистической партии, прибывшие 30 сентября 1969 года к зданию Центрального Комитета КПЧ, еще не знали, что этим вечером будет провозглашена кандидатура поэта Пабло Неруды на пост президента. По мнению руководителей компартии, не было необходимости заранее называть имя нового, пятого[1] кандидата левых сил. И буржуазная пресса и радио уже спекулировали совсем другими именами, пускались на различные выдумки.

За несколько недель до этого Коммунистическая партия объявила о своем намерении выдвинуть собственного кандидата на специальном пленуме Центрального Комитета, намеченном на 30 сентября. Коммунисты считали первостепенным делом усилить деятельность по созданию Народного единства и по выдвижению единого кандидата левых. Однако в связи со всевозможными трудностями и затяжками со стороны других партий дальше ждать было нельзя.

Вечером того дня сенатор Володя Тейтельбойм выступил с балкона второго этажа здания ЦК Компартии на улице Театинос и огласил имя кандидата: Пабло Неруда.

Тотчас же бригады комсомольцев рассеялись по улицам столицы, выписывая на стенах его имя.

Предложение этой кандидатуры было выдвинуто старым шахтером и профсоюзным деятелем Оскаром Астудильо, заместителем генерального секретаря, от име-

[1] От других партий, входящих в Народное единство, кроме Альенде, были выдвинуты кандидатами: от Независимого народного действия (АПИ)—сенатор Рафаэль Таруд; от радикальной партии — сенатор Альберто Бальтра, от МАПУ — Жак Чончоль.

ни Политической комиссии и Комиссии партийного контроля и кадров ЦК КПЧ. И было одобрено Центральным Комитетом.

«В какие-то минуты,— говорил генеральный секретарь КПЧ Луис Корвалан, выступая перед собравшимися у здания ЦК,— мы единогласно решили в качестве кандидата выдвинуть этого борца передовой, которого народ видел в самых опасных местах при любых обстоятельствах, самого знаменитого ныне чилийца, который имя Родины донес до всех уголков земли, поэта и политического деятеля, члена Центрального Комитета нашей партии, товарища Пабло Неруду».

Корвалан далее заявил: «Мы считаем, что лучшим именем кандидата будет имя Пабло Неруды. Являясь испытанным борцом, находящимся в рядах Коммунистической партии, в силу своей верности народу, в силу своей любви к Чили, в силу своей интеллигентности и восприимчивости, что заставляет его в любой момент разделять горести и заботы трудового народа, Пабло Неруда станет великим президентом — лучшим, кого народ мог бы избрать, чтобы возглавить многопартийное правительство.

Мы имеем право выразить пожелание, чтобы наш кандидат был бы кандидатом Народного единства. Коммунистическая партия превратилась по воле народа в первую партию чилийских левых сил. Кроме того, с 1938 года наша партия поддерживала кандидатов радикалов и социалистов, и было бы неплохо, чтобы теперь они поддержали нашего кандидата».

Вместе с тем Корвалан пояснил: «Мы не говорим: Пабло Неруда или никто другой. Мы не говорим: или наш кандидат, или нет единства».

Выступая в свою очередь, Пабло Неруда сказал:

«Несколько лет назад многие думали, что коммунист не может быть кандидатом на пост президента республики. Ныне эта партия является первой партией левых сил, потому что народ стал иметь более ясное сознание, развернул плечи...»

Рассказывая о собственном жизненном пути, Пабло Неруда напомнил, что членом компартии он стал в 1943 году, «однако почувствовал себя коммунистом еще в 1936 году в Испании».

Провозгласив имя Пабло Неруды, руководители компартии имели в виду, что его кандидатура могла быть отклонена в том случае, если попытки найти единого кандидата левых сил приведут к благоприятному решению. Однако в то же время, если эти попытки потерпят поражение, кандидатура Неруды останется до конца и КПЧ примет все меры организационного и политического характера, чтобы завоевать высокий процент голосов (тогда предполагалось, что будет возможным получить полмиллиона голосов), разъясняя чилийцам, что «голосовать за коммунистического кандидата, голосовать за Неруду, это значит голосовать за единство». И если в таком случае единство не будет достигнуто, то это произойдет не из-за недостатка усилий коммунистов.

Действительно, руководители КПЧ с первого момента указывали на нецелесообразность начинать гонку кандидатур внутри левых сил. Однако, в конце концов, они решили выдвинуть Неруду, поскольку каждая из остальных партий левых сил назвала собственного кандидата.

В декабре 1968 года Коммунистическая партия опубликовала «Манифест народу», в котором подчеркивалось: «Чили нуждается в народном, антиимпериалистическом и антиолигархическом правительстве, пользующемся поддержкой национального большинства, составленного из всех партий и течений, программа которых в области революционных преобразований совпадала бы. В этом правительстве должны находиться рабочие, крестьяне, служащие, женщины, молодежь, мелкие и средние предприниматели — и действовать не только через партии, выражающие их волю, но также посредством представителей своих массовых организаций в соответствующих учреждениях государственной администрации. Таким образом, мы высказываемся за народное, многопартийное правительство широкого состава, сильное, революционное, которое обеспечит стране демократическую стабильность и ускоренный политический, экономический и социальный прогресс, предоставит народу полную свободу».

Коммунистическая партия неоднократно предупреждала руководителей других левых групп и организаций о том, что если возникнут задержки в попытках достичь соглашения вокруг программы и других предварительных политических пунктов, то компартия в конце концов будет вынуждена провозгласить своего кандидата и начать свою кампанию.

Так это и произошло — и вечером 30 сентября 1969 года была выдвинута кандидатура коммуниста на пост президента.

Провозглашение кандидатом в президенты для Пабло Неруды было высочайшей наградой и оценкой его деятельности. В тот же самый год, когда некая академия[1] еще раз забыла, что следовало бы наградить его премией, и не наградила ввиду прежде всего политических причин, а не каких-либо иных — на своей родине Пабло Неруда получил, хотя этого и не искал, не стремился к этому и не ждал, наивысшее выражение доверия со стороны своих товарищей по партии.

В возрасте 65 лет, страдающий постоянным недомоганием, Пабло Неруда, став

[1] Имеется в виду шведская Королевская академия, перед которой многие чилийские, другие латиноамериканские и западноевропейские деятели культуры ходатайствовали о присуждении Пабло Неруде Нобелевской премии по литературе.

кандидатом в президенты, опять пустился в длительную поездку по родной стране. Свою кампанию он начал на Севере — в том районе, где двадцать лет назад его избрали сенатором, пока Верховный суд не лишил его прав и не начал против него преследования из-за того, что поэт обнародовал свое знаменитое «Я обвиняю» против президента-предателя Габриэля Гонсалеса Виделы.

Случай привел кандидата в президенты Пабло Неруду в город Антофагасту накануне тех дней, когда генерал по имени Роберто Вио Марамбио начал мятеж.

■

Создание блока Народного единства и позднейшее провозглашение Сальвадора Альенде единым кандидатом левых сил было результатом поистине ювелирной работы группы политических деятелей, которые в удачной и подходящей форме сумели выразить чаяния народных масс страны.

Бесспорно, провозглашение пятерых кандидатов от левых сил представляло собою фактор разъединения. Однако обстоятельство, в силу которого будущее каждой из кандидатур зависело от возможности достичь единодушной поддержки ее левыми силами, помогло скорее претворить в жизнь идею «круглого стола». Заседавшим вместе лидерам левых сил удалось обменяться мнениями насчет выдвижения единого кандидата.

(Для этого 9 октября 1969 года был создан координационный комитет Народного единства. Уже на первом заседании комитета образовали особую комиссию, которой было поручено выработать программу правительства Народного единства. — **Д. В.**).

17 декабря 1969 года различные партии и движения, входящие в Народное единство, достигли соглашения. Координационный комитет единогласно одобрил «Основную программу», определяющую деятельность будущего правительства Чили.

«Основная программа Народного единства» указывала, что «единственная и действительно народная, важная задача, которую правительство народа имеет перед собой, заключается в том, чтобы покончить с господством империалистов, монополий, землевладельческой олигархией и начать строительство социализма в Чили».

Как только была одобрена «Основная программа Народного единства», перед участниками «круглого стола» значительные трудности возникли в связи с назначением единого кандидата левых сил. И хотя сенатор Сальвадор Альенде с самого начала, по-видимому, из всех претендентов обладал наибольшими возможностями, по правде говоря, еще никто из пятерых не мог рассчитывать на победу. Даже трудно было гарантировать, что блок Народного единства выживет.

Многочисленные совещания лидеров Народного единства участились перед рождеством — и после него — 1969 года, и стала более ясной мозаика позиций:

Социалистическая партия настаивала на кандидатуре Альенде, хотя не отказывалась окончательно от возможности заменить его сенатором Анисето Родригесом [1].

Коммунистическая партия придерживалась позиции: «Неруда или другой». Ее руководители сообщили, что КПЧ поддержит того кандидата, который будет располагать поддержкой остальных четырех партий и, следовательно,— плюс позиция коммунистов — будет кандидатом всех пяти партий.

(Другие организации, входившие в Народное единство, настаивали на кандидатурах Чончоля, Бальтры и Таруда.—**Д. В.**).

Наконец 22 января 1970 года после длительной и напряженной борьбы, многочисленных вариантов, консультаций и согласований в качестве единого кандидата был выдвинут Сальвадор Альенде [2].

В сопровождении руководителей других партий сенатор Альенде отправился пешком на митинг, созванный Коммунистической партией, на котором генеральный секретарь КПЧ Луис Корвалан начал свою речь, объявив:

— Уже есть единый кандидат. Это — Сальвадор Альенде!

■

Многие ожидали, что прошлогодняя избирательная борьба будет наиболее длительной по сравнению с предыдущими годами, а оказалась она самой короткой. Но это была острая, напряженная и суровая борьба. Кампания Альенде в 1964 году началась за два года до выборов. Кампания 1970 года началась в феврале и завершилась 4 сентября: всего семь месяцев.

Традиционно президентская кампания в Чили заключалась в речах, ответных выступлениях и репликах, в полемиках кандидатов. Массы участвовали, но в общем лишь поддерживая выдвинутого кандидата. Последняя избирательная кампания в основном проходила в плане социальной борьбы. Кандидаты перемещались по стране, как по шахматной доске, на которой передвигались также многие другие фигуры. Их слова

[1] Генеральный секретарь социалистической партии Чили в то время.

[2] Другие кандидаты, в том числе Пабло Неруда, еще ранее сняли свои кандидатуры; последним это сделал Тарud.

и действия имели свое значение. Однако на этот раз выступления кандидатов представляли собой какую-то часть неизмеримо более широкого процесса. Партии, входившие во ФРАП, признали своей главной ошибкой в 1965 году оборонительные действия в конце кампании. А в 1970 году, наоборот, левые перешли в наступление с первого этапа избирательной борьбы и наступательный темп смогли поддерживать почти беспрерывно до выборов.

Не проходило дня без того, чтобы не вспыхнула какая-нибудь забастовка, без того, чтобы не захватывали земли те, кто на них работал. В разгар предвыборной кампании была объявлена первая в истории страны всеобщая крестьянская забастовка, а почти за два месяца до выборов с успехом прошла национальная забастовка по призыву Единого профцентра трудящихся.

19 марта угольные районы страны встретили в штыки кандидата правых Хорхе Алессандри. Альенде тотчас же решил посетить этот район — и 27 марта шахтеры устроили ему триумфальную встречу. Кандидат демохристианской партии Радомиро Томич, со своей стороны, пытался завоевать симпатии среди рабочих селитровой промышленности, объявивших забастовку, и с этой целью направил им чек на 1000 эскудо. Однако шахтеры вернули ему этот чек вместе с написанным в энергичном тоне письмом, в котором указывалось, что они не нуждаются в помощи представителя правительства, несущего ответственность за забастовку. Спустя неделю Альенде вылетел на Север страны, и рабочие селитровой промышленности его встретили с энтузиазмом.

На протяжении прошлого года — до дня выборов — все более обострялась и так напряженная обстановка. Землевладельцы вооружались, организовывали отряды белой гвардии. Правительство послало карабинеров и бригаду специальной следственной службы на зверское подавление недовольных. Генерал Роберто Вио Марамбио и члены его главного штаба ездили по стране, повторяя весьма неприкрытые призывы к военному перевороту. В этой сложной обстановке росло число преступлений, немало было жертв.

Хотя крупные землевладельцы проявили себя наиболее неистовой частью правых сил, к насилию прибегали не только они. В Сантьяго и других городах сторонники Алессандри создавали ударные группы, которые вели пропаганду своего кандидата, применяя оружие. Было зарегистрировано более полусотни нападений на помещения Народного единства и здания левых партий в различных пунктах страны. Пускалось в ход все, начиная с града камней, обрушивавшегося на окна, или бутылок с краской, разбитых о фасады зданий, и до огнестрельного оружия или бомб. Политические деятели левых сил и журналисты — сторонники Народного единства получали анонимные записки с угрозами смерти, подписанные «ГРАКО» — «Группа антикоммунистов». В те дни зажигательная бомба взорвалась в принадлежащей КПЧ типографии «Орисонтэ», в которой печатаются газеты «Сигло», «Нотисиас де ультима ора», а также боевой еженедельник «Пуро Чиле», созданный в разгар кампании Народного единства. Что касается насильственных актов, то и правительство Эдуардо Фрея не оставалось позади. Подвергались пыткам молодые коммунисты, занимавшиеся пропагандистской деятельностью в поддержку кандидатуры Альенде.

Был и иной источник насилия. Р-р-революционно настроенная молодежь пыталась повернуть события по другому пути. Юнцы, принадлежавшие к так называемым «ультралевым», считали, что для Чили пробил час вооруженной борьбы. И то, о чем вначале провозглашалось на университетских собраниях, они позже намеревались провести в жизнь с пистолетами, гранатами и ручными пулеметами в руках. Эти «ультралевые» входили в «Левореволюционное движение» (МИР), возникшее после поражения левых на выборах в 1964 году и взраставшее на почве этого поражения. «Ультралевые» получали во второй половине 1966 года значительную поддержку со стороны редакции журнала «Пунто финаль». Редактор этого журнала адвокат Хайме Файвович утверждал, что «в Чили, как и в остальных странах Латинской Америки, вооруженная борьба неизбежна». На счету «ультралевых» — «экспроприации» банков, захват оружия, попытки угона самолетов и тому подобное.

Коммунистическая партия выступала резко против МИР и других «ультралевых». Еще в прошлом Коммунистическая партия вела непоколебимую борьбу с анархизмом, затем с троцкизмом и наконец против тенденций, проявившихся у некоторых левых после 1960 года под влиянием «идей» Мао Цзэ-дуна. В новых условиях политическая борьба коммунистов против платформы МИР представляла собой продолжение прежних идеологических битв. КПЧ с самого начала отвергла какие бы то ни было соглашения или политический союз с МИР. В университетах студенты-коммунисты никогда не соглашались выступать вместе с МИР или подобными, более мелкими группировками. Коммунисты всегда считали, что для чилийских левых сил было бы самоубийством принять позиции «ультралевых». Заявления лидеров МИР о безусловном вооруженном восстании, а затем «экспроприации» банковских учреждений разоблачались коммунистами как акции, объективно благоприятствовавшие врагам народного движения. Во всяком случае по мере развития кампании Народного единства «ультралевые» стали быстро терять свои позиции. И наконец МИР было вынуж-

дено, после июля 1970 года, отказаться от вооруженных нападений и банковских «экспроприаций».

Решение МИР прекратить «экспроприации» выбило из рук правых один из важнейших аргументов их пропагандистской «кампании террора» против Народного единства. Эта массированная кампания представляла собой грязный поток лживых деклараций, листовок, провокационных фотомонтажей, радиопропаганды, нагнетавших страх. Плакаты, брошюры, красочные журналы, листовки и другие самые разнообразнейшие пропагандистские материалы наводнили улицы, покрыли стены, проникали в дома чилийцев, пугая «ужасами коммунизма».

Во время предыдущей избирательной кампании на папертях определенных церквей распространяли образ девы дель Кармен, напечатанный во многих тысячах экземпляров со следующей надписью: «Святая дева дель Кармен, царица и покровительница Чили, избавь нас от безбожного коммунизма». Во время последней кампании образ девы дель Кармен, а также «чудотворной святой Хемиты» с подобной же надписью были напечатаны уже в сотнях тысяч листовок, которые разбрасывались по улицам городов и селений всей страны.

В 1964 году активно распространялись слухи, что победа левых вовлечет Чили в международные конфликты. В 1970 году подобные инсинуации, но только написанные более открытым античилийским языком, содержались в массовом издании — брошюрке «Роковые последствия», в частности, угрожавшей «неизбежным конфликтом с соседними странами».

«Кампания террора» 1970 была прекрасно подготовлена. Ее организаторы, казалось, предусмотрели все. Пропаганда «ужасов» преследовала каждого чилийца, никто не мог избежать ее. Даже можно было себе представить, что такая кампания не потерпит поражения. Однако она обанкротилась. Нельзя дважды выигрывать одной и той же меченой картой. И как только в прошлом году началась новая «кампания террора», левые силы немедленно дали ответ, разоблачив и показав стране, в чем заключается новый трюк, где — западня. Был проведен общественный процесс над «кампанией террора». И в конце концов даже Хорхе Алессандри, в пользу которого она проводилась, был вынужден публично выразить свое несогласие с ней.

«Кампанию террора» могли проводить, естественно, только благодаря крупной финансовой помощи. В течение одного месяца — июня — расходы на ее проведение достигли астрономической цифры: 2.204 тысяч эскудо. Производил впечатление список финансировавших «кампанию террора». Американская монополия «Анаконда» под своим собственным именем внесла два вклада — один на 23.458 эскудо и второй — на 35.596 эскудо. В этом списке также фигурируют два североамериканских банка с их филиалами в Чили: «Бэнк оф Америка» и «Фёрст нэйшенел сити бэнк». Издательство реакционной газеты «Меркурио» вносило по 8000 эскудо в месяц, не считая более мелких сумм. Также по 8000 эскудо ежемесячно вносили свои вклады другие крупные чилийские фирмы и компании, в частности, принадлежащие крупному монополистическому объединению, известному под названием «Клан Эдвардсов». Следственная комиссия палаты депутатов подтвердила, что организаторы «кампании террора» неоднократно нарушали законы и регламенты, существующие в стране. Работа этой комиссии позволила чилийцам узнать, что «кампания террора» была проведена по решению группы крупных чилийских и североамериканских монополий, полных решимости любой ценой воспрепятствовать победе кандидата, который включил в свою программу национализацию империалистических компаний, банков и монополий. Однако уже было поздно.

■

Руководители кампании в пользу Алессандри и члены демохристианского правительства, банкиры и крупные землевладельцы, иностранные предприниматели и североамериканские стратеги в один прекрасный день — в июне прошлого года — пробудились от своих иллюзий и поняли, что выиграть может Альенде. Тогда родилась идея сплотить свои силы, войти в общий сговор, который впоследствии привел к убийству генерала Шнейдера. Правым силам стало ясно, что уже ничего не сделаешь простой пропагандой в печати и по радио, и они решили — надо пускать кровь. В бой был пущен даже новый отряд — армия уголовных преступников, нанятых для поддержки кандидатуры Алессандри. Но и это не помогло.

■

Выступая перед группой журналистов, преподавателей университета и руководителей левых сил Чили, прибывших в Гавану на празднование 26 июля 1970 года, Фидель Кастро заявил: «Я считаю, что в настоящий конкретный момент в Чили возможно прийти к социализму путем осуществления избирательного права, то есть путем победы на выборах. Чили — это одна из немногих латиноамериканских стран, где политическая борьба развивается в установленных конституционных рамках и где единственное преимущество правых состоит в том, что они располагают большими экономическими средствами. Борьба развивается в конституционных рамках; и поэтому я

повторяю: в данном конкретном случае — в Чили 1970 года — социализм может выиграть победу на выборах».

Никсон и члены его правительства отказались занять благоразумную тактическую позицию по отношению к процессам, происходившим в Чили. Просчеты Вашингтона приумножились еще после того, как к власти пришел Эдуардо Фрей, и тогдашний посол США в Сантьяго Ральф Антони Данген превратился в энтузиаста чилийского «демохристианского эксперимента». По убеждению посла, новые правители Чили откроют двери в страну перед североамериканскими и западногерманскими монополиями. Новый посол США Эдвард Корри, отказавшись от односторонней связи своего предшественника с христианской демократией, все усилия направил на попытки воспрепятствовать взаимопониманию демохристианской и радикальной партий с левыми силами.

Позднейшие события заставили североамериканских стратегов считать, что для преграждения пути левым в Чили необходимо возвращение к власти правых во главе с Хорхе Алессандри. Эта идея была весьма открыто сформулирована Эдвардом Корри в частной беседе с Виктором Хадресичем, послом Фрея в Польше. Корри указал, что демохристианская партия «должна уступить место Хорхе Алессандри на выборах 1970 года». По мнению североамериканского посла, Алессандри, ввиду резкой реакции, которую несомненно вызовет его политика, не протянет более двух лет у власти и, таким образом, по истечении этого срока для христианской демократии возникнет возможность вернуться к власти, снова выдвинув кандидатом в президенты Эдуардо Фрея. Параллельно с поисками хотя бы временного решения вопроса об Алессандри, правительственные круги США мечтали об установлении военного режима в Чили, однако им так и не удалось претворить в жизнь свои мечты.

Известный доклад Рокфеллера еще в августе 1969 года рекомендовал Латинской Америке создание правительств, хотя бы националистического толка, в качестве средства против «ужасного коммунизма». Конфиденциальные документы о положении на континенте, врученные Никсону послом Эдвардом Корри в начале 1970 года, настоятельно требовали принятия решения о создании в Чили военного режима. Однако Соединенные Штаты, вследствие все более явного усиления позиций Народного единства в ходе избирательной кампании, почувствовали себя в западне. Североамериканские медедобывающие компании, а также разведывательная служба США содействовали своими фондами и участием своих агентов проведению «кампании террора» в поддержку кандидатуры Хорхе Алессандри, а также деятельности террористов и мятежников, участвовавших в подготовке государственного переворота. Однако война во Вьетнаме, положение на Ближнем Востоке и внутренние проблемы Соединенных Штатов не позволили правительству Никсона предупредить развитие событий в Чили.

Утро 4 сентября в Сантьяго было облачным, однако небо постепенно очищалось. В Арике, Антофагасте, Икике и других городах Севера солнце с раннего утра предвещало жаркий день. В провинциях Мальеко и Каутин шел дождь. Над Чилоэ бушевал ливень. На базах чилийской Антарктики все было спокойно, а на острове Пасхи островитяне и гости с материка шли голосовать под лучами сверкающего солнца.

3.539.747 чилийцам обоего пола старше двадцати одного года, умевшим читать и писать, надлежало решить судьбу Чили (впервые голосовали также слепые посредством особых бюллетеней, отпечатанных по системе Брайля).

День прошел нормально. А после десяти часов вечера на улицах Сантьяго появились танки. Пугающе грохоча, они расположились вокруг президентского дворца Ла Монеда.

Ожидание было драматичным. Первые цифры, полученные руководством Народного единства, определяли победу более чем тридцатью тысячами голосов, однако задержка официального сообщения заставляла думать о возможной попытке противников не признавать эту победу. Присутствие танков могло стать прелюдией вспышки мятежа.

Без пяти минут двенадцать ночи начальник гарнизона генерал Камило Валенсуэла лично сообщил Сальвадору Альенде: согласно официальному подсчету бюллетеней, большинство голосовало за Альенде (Альенде получил 1.070.334 голоса; Алессандри — 1.031.159; Томич — 821.801). Десять минут спустя министр внутренних дел правительства Фрея Патрисио Рохас мрачно подтвердил это сообщение военачальника.

Сообщение о победе Народного единства было обнародовано по всем радио- и телевизионным станциям страны.

Изменялась история Чили.

До этого часа Сантьяго и вся страна были спокойны. Однако сейчас произошел взрыв. Чили загорелось факелом. Сотни, сотни и сотни тысяч чилийцев, ожидавших этой вести в своих домах, в помещениях профсоюзов и в помещениях Народного единства, бросились на улицы. Человеческое море заполнило все улицы и площади. Город заговорил: автомобильные гудки, крики, ракеты, барабаны и трубы, гитары. Впервые за последние двадцать лет страна праздновала традиционный праздник весны, который был как будто окончательно забыт.

В здании штаба Народного единства раздался телефонный звонок из Гаваны. От имени Фиделя Кастро и кубинской революции министр Селия Санчес — из аппарата президента — поздравляла Альенде с победой.

■

Народное единство выиграло победу на выборах. Однако еще многого не хватало, чтобы было признано его право возглавить правительство страны, поскольку на пути — среди многих других — был барьер пленарной сессии Национального конгресса. На этот раз речь не шла об обычном оформлении результатов выборов. Победила обширная революционная коалиция, в которую входили марксистские организации,— и члены этих организаций дали обязательство радикально изменить экономическую и социальную жизнь страны.

Победа Альенде изменяла карту Латинской Америки.

Старая олигархия, вполне понятно, не могла уступить власть без сопротивления — посредством финансового хаоса она намеревалась вызвать экономическую разруху в стране, что, кстати, сразу же получило поддержку со стороны правительства Фрея. Владельцы крупных предприятий увольняли рабочих, прекращали закупки, задерживали производство, парализовали добычу сырья, прекратили продажу в рассрочку, а в контролируемых ими банках прервали предоставление кредитов. Их политические и журналистские глашатаи пытались разжечь новую «кампанию террора», предвещая нищету и голод. Эта кампания имела целью объединить против Альенде и Народного единства всех «демократов» — особенно правых и демохристиан — во имя спасения Чили от «коммунистической тирании».

Спустя какие-то дни последовали взрывы бомб; волна терроризма достигла кульминационной точки в день убийства генерала Шнейдера. Профашистское движение «Родина и свобода» проводило публичные демонстрации и парады; произносились поджигательские речи.

Правые силы рассчитывали выиграть битву на пленарной сессии конгресса. Согласно их планам, христианские демократы должны были проголосовать на этой сессии за Алессандри, а последний, став президентом, немедля подал бы в отставку; это, в свою очередь, позволило бы провести новые выборы, на которых единым кандидатом был бы выдвинут Эдуардо Фрей при поддержке правых и демохристиан. И... все проблемы были бы разрешены.

Однако Народное единство сказало: «Баста!»

Комитеты Народного единства, профсоюзы, студенческие федерации, Единый профцентр трудящихся организовали тысячи и тысячи собраний, на которых были приняты резолюции в поддержку Альенде. Было решено — защищать победу любой ценой.

Как только маневры реакции были сорваны, Хорхе Алессандри призвал своих сторонников не голосовать за него на пленарной сессии, а на следующий день демохристианская партия дала указание своим 75 парламентариям голосовать за Альенде.

Уже, казалось, были преодолены все политические и юридические затруднения и препятствия на пути Сальвадора Альенде к посту президента республики, когда руки убийц произвели мерзкое нападение на главнокомандующего чилийской армией.

Пока генерал Шнейдер находился между жизнью и смертью, в субботу 24 октября 1970 года началась пленарная сессия Национального конгресса, которая должна была утвердить избрание нового президента республики. Голосование привело к следующим результатам: 153 бюллетеня подано за Альенде, 35 — за Алессандри, 7 — пустых.

Из всех уголков земного шара прибыли делегации на церемонию передачи президентской власти в Чили, чем и должен был начаться «чилийский эксперимент».

Прибыли представители всех тех стран, с которыми Чили поддерживает дипломатические отношения. Присутствовали делегаты от народных организаций, деятели искусств и культуры. Куба, КНР, ГДР и КНДР — страны, с которыми Чили тогда не имело официальных отношений,— были представлены делегациями на правительственном уровне, прибывшими по особому приглашению избранного президента.

Ричард Никсон «забыл» направить Сальвадору Альенде традиционное поздравление, однако послал в качестве представителя своей страны заместителя государственного секретаря по латиноамериканским делам Чарльза Мейера.

Во вторник 3 ноября Сальвадор Альенде принес присягу в качестве президента республики и в Салоне почета Национального конгресса надел трехцветную президентскую ленту. Его предшественник Эдуардо Фрей прибыл на передачу власти во фраке и в карете, Альенде приехал в обычном костюме и на автомашине.

Празднества продолжались несколько дней. На массовом митинге на Национальном стадионе Альенде произнес свою первую в качестве главы государства речь. Был проведен военный парад.

Напряженность предыдущих дней спала в этот день, 3 ноября. Многие сотни тысяч чилийцев участвовали в гигантских народных празднествах.

Той ночью мы танцевали на улицах до рассвета.

Сантьяго де Чили, апрель 1971 г.

Публицистика

Ю. ЛЕВАДА

СТРАННЫЙ МИР МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Обличение вульгарности современной массовой культуры давно стало общим местом в публицистической и научной литературе на Западе. Убежденные консерваторы и молодые радикалы, ревнители классического искусства и ниспровергатели его канонов, социологи и критики единодушны в презрительном отрицании стандартизованной и тиражированной пошлости, которая почему-то занимает место высокой культуры. Собственно говоря, именно в этой возмущенной критике и получил хождение сам термин «массовая культура», тем самым как бы заведомо связанный с отрицательной оценкой соответствующего явления (показательно, кстати, что немногочисленные сторонники массовой культуры предпочитают говорить о культуре «популярной», «общедоступной» и т. п.). Возникающий вследствие этого — несколько непривычный для нашего уха — оттенок прилагательного «массовый» приходится учитывать при рассмотрении обозначаемого им социального явления. Расплывчатость самих «заглавных» терминов в западных работах о массовой культуре (в каком смысле здесь речь может идти о *массах* и в каком — о *культуре?*) отчасти связана с многомерностью обозначаемых ими явлений. При попытках оценивать их по какой-либо «линейной» шкале—скажем, отмечая низкий художественный уровень или дешевизну соответствующей продукции,—смазывается как раз та сложность явлений, которая придает миру массовой культуры его широту и «странность» Не столь трудно усмотреть эстетические или экономические различия между массовой и «подлинной», «высокой» культурой; гораздо труднее — и важнее — объяснить, почему в современном высокоразвитом капиталистическом обществе эти грани постоянно размываются Пока мы ограничиваемся рассмотрением самих по себе литературных текстов, «высокая» культура отличается от массифицированной пошлости, как Шекспир от какой-нибудь рекламной «мыльной оперы»; способ распространения текста (тираж, сцена, экран) здесь ничего не изменяет. Но ведь литературный текст обретает жизнь лишь в определенной системе человеческих интересов, вкусов, привычек, способов восприятия и понимания языка искусства. Культура не существует и не действует в обществе вне системы ее усвоения и распространения. И именно в этом, социальном контексте современной буржуазной культуры обнаруживается парадоксальное размывание граней «высокого» и «низкого», которое захватывает как сферу *потребления* культуры (аудитория), так и сферу ее *распространения* (массовая коммуникация) и саму сферу культурного *производства* (творчество, хотя от употребления данного термина лучше было бы воздержаться, заменив его «тиражированием»).

Не вызывает сомнений, что существуют какие-то границы, перегородки между массовой и иной, «немассовой» культурой в современном капиталистическом обществе. Но в какой мере они определяются *содержанием* культуры, *средствами* ее распространения, ее *аудиторией?* Насколько — и в каком направлении — *проницаемы* эти перегородки?

«Люди читают больше, но понимают меньше. Больше людей читают, но пропорционально меньше усваивают то, что они читают»,— свидетельствуют американские социологи П. Лазарсфельд и Р. Мертон. По их мнению, дело в резком изменении соотношения между элитой и массой в аудитории: «Средний уровень эстетических стандартов и вкусов аудитории упал, хотя вкусы некоторых слоев населения несомненно выросли и общее число людей, которым доступно содержание коммуникации, чрезвы-

чайно расширилось». Но Д. Макдональд — один из самых резких и пессимистических критиков культуры современного капиталистического общества — отмечает, что массовая культура не существует параллельно «высокой» культуре, но вытесняет и, хуже того, разлагает ее (для обозначения продуктов массовой культуры в западной литературе часто используют словечко «Kitsch», означающее приблизительно «пошлость», «халтура»; Макдональд применяет и другой, не менее яркий термин Kulturkatzenjammer, который можно перевести как «культур-похмелье»). «Если бы существовали ясные границы культурной элиты,— заявляет он,— тогда массы имели бы свой китч, а элита свою высокую культуру, и все были бы счастливы». На деле же воздействие массовой культуры оказывается универсальным.

Будучи вынужденными ориентироваться на массовые стандарты, номинальные представители «высокой» культуры шаг за шагом сползают на позиции некой культуры «среднего сорта», уступающей массовому давлению. «Средняя» же культура, «мидкульт» по Макдональду, ведет не столько к культурному подъему масс, сколько к разложению культурной элиты и самой «высокой» культуры.

Параллельно происходит постоянное разложение творческого авангарда, который в конечном счете действует в той же атмосфере массовой культуры и неизбежно заражается ее стандартами, приемами воздействия на аудиторию и т. д.,—отчасти с этим связаны, кстати, непрестанные попытки воинствующих «авангардистов» отгородиться от массового вкуса. Лихорадочные поиски дразнящих и экстравагантных «барьеров» в данном случае свидетельствуют о том, что в мире массовой культуры обычные грани между специфическими интересами, вкусами, стремлениями отдельных, непохожих друг на друга людей и групп как бы стираются или по крайней мере отступают на задний план перед неким универсально навязчивым стандартом. Эта тенденция к *универсальному однообразию* составляет одну из наиболее характерных черт всего странного мира массовой культуры.

История человечества знает культуры кастовые, узкосословные, элитарные, в которых знания, опыт, ценности выступали в качестве тщательно хранимого, доступного немногим избранным, окруженного тайной сокровища. В мире массовой культуры как будто нет тайн и запретов, нет святилищ и таинств: все предельно доступно, открыто, дешево. Но доступно в одном качестве — как предмет *массового потребления.* Эту ситуацию нередко и не без оснований сравнивают с потребительским рынком. Правда, это не «свободный» рынок классического капитализма, а рынок монополистической эпохи.

Потребители культуры как будто имеют возможность выбрать в обширном ее хранилище «товар» по своему вкусу, но не делают и не хотят делать такой выбор, следуя некоему общему потоку, который постоянно размывает специфические вкусы, заменяя их все тем же стандартом. Вот как рисовал эту картину американский социолог Ч. Райт Миллс: «Общество выступает как механическая совокупность индивидуумов, отданная на произвол массовых средств общения», произошла «экспроприация прежней массы мелких производителей и потребителей общественного мнения, действовавших в условиях свободного и уравновешенного рынка». Конечно, «свободный рынок» общественного мнения — типичная либеральная иллюзия, опрокинутая в прошлое. Законы движения рынка с неизбежностью ведут к преобладанию дешевой и стандартной продукции над продукцией «кустарной». «Видимо, существует правило Грешэма и в культурном обороте, подобно тому как оно существует в денежном обороте: плохой материал вытесняет хороший, поскольку плохое легче понять и ему легче радоваться». Действие подобных закономерностей на рынке культуры отмечал еще более ста лет назад А. Токвиль, один из первых и весьма проницательных критиков буржуазного образа жизни.

■

По известному замечанию Маркса, эпохи различаются прежде всего не тем, *что* производится, а тем, *как* производится. Для современной массовой культуры способ ее воспроизводства, распространения, навязывания (можно сказать короче — способ ее существования) — это *система массовой коммуникации.* С известным правом массовую культуру можно характеризовать как культуру, действующую через систему массовой коммуникации. Речь идет именно о *системе,* а не о простой совокупности средств — технических или организационных,— потому что средства и функции здесь тесно связаны друг с другом.

Дискуссии о том, является ли, скажем, телевидение благом или злом, средством распространения культуры или также и средством ее дискредитации, хорошо известны читателям. Нас сейчас интересует повторяющийся в них мотив: «Только техника или... не только техника?»

Довольно просто и даже утешительно представить дело так, что перед обществом в данном случае всего лишь могущественная техника универсальной связи, нейтральная сама по себе, поскольку реальное содержание передач целиком определяется ориентациями и вкусами тех, кто ею владеет.

Прежде всего эта система предполагает *крупную монополию на источники и средства распространения* (а значит, и на способы *истолкования) информации* в обществе. Такая монополия может быть государственной (ОРТФ, Би-би-си) или частной (газеты, американские телекомпании), но она непременно должна быть крупной. Статистика подтверждает, что мелкий и средний бизнес в сфере коммуникации имеет меньше шансов на выживание, чем в любой отрасли производства или обслуживания. Количе-

ство крупных газет и массовых журналов из года в год уменьшается как будто в обратной пропорции к росту их тиражей. Небольшие радиотелевизионные компании имеют чисто местное значение. Финансовая сторона дела (утверждают, что основание новой газеты в США требует не менее 100 миллионов долларов), в данном случае вполне точно отражает тенденцию к концентрации и монополизации средств массового общения. Тем самым, естественно, создаются невиданные и невозможные ранее условия для централизованного, систематического, повседневного воздействия на чувства, вкусы, умы людей.

Аудитория массовой коммуникации (а это и есть сфера потребления массовой культуры) универсальна. Примерно 80—90% семей в развитых капиталистических странах имеют телевизоры, 70—80% посещают достаточно регулярно кино, 60—70% выписывают и читают газеты. Это значит, что средства массовой коммуникации способны сегодня в кратчайший срок донести сообщение до каждого жителя страны, что они могут ежедневно часами удерживать внимание и интересы практически всего населения. Подсчитано, например, что жители США в среднем проводят у телевизионного экрана больше времени, чем на работе (такое соотношение получается, конечно, с учетом незанятого населения). В прошлом, в «домассовые» времена развития культуры каждое средство общения — книги определенного рода, театр и т. д. — ориентировалось на определенный и даже замкнутый круг потребителей, на «свою» публику, причем, как правило, этот круг был скреплен непосредственными личными контактами, коллективным восприятием (скажем, театрального действия). Массовая же коммуникация обращена ко всему сразу и ни к кому в отдельности, к бесчисленному множеству ничем не связанных, не знающих друг друга людей («толпе одиноких», по известному выражению Д. Рисмена). Особые вкусы и интересы отдельных лиц здесь принципиально не могут учитываться, и сама присущая массовой коммуникации установка на «среднего» потребителя ведет к тому, что этот, на первых порах как будто чисто «статистический» персонаж шаг за шагом материализуется, поскольку систематическое воздействие направлено на нивелировку, усреднение запросов — и это воздействие оказывается небезуспешным.

Один из источников влияния массовой коммуникации состоит в том, что она приносит «на дом», дает «в собственные руки» рядовому читателю, слушателю, зрителю обширный мир событий и знаний. Многочисленные исследования, проводившиеся в разных странах, обнаружили любопытную закономерность: из всех видов коммуникации наибольшим доверием у аудитории пользуется телевидение (то есть зрители чаще согласны с точкой зрения авторов передачи). Такое предпочтение объясняется довольно просто — именно телевидение скорее всего способно создать эффект «присутствия», «наглядности», даже «соучастия» по отношению к событиям, о которых на самом деле зритель крайне мало осведомлен и в которых не в состоянии компетентно разбираться. Но это лишь эффект. Отношение аудитории к источнику коммуникации — и вообще потребителя к массовой культуре — неизбежно оказывается *пассивным,* чисто *потребительским:* здесь не только нет непосредственного обратного воздействия на коммуникатора, но отсутствуют или сильно снижены барьеры интерпретации (иллюзия непосредственной доступности), критичности, специфических интересов; короче говоря, здесь предельно низка *избирательность* восприятия. «Главный эффект телевидения — это пассивность и зависимость во множестве их форм и обличий», — констатирует американский психиатр Э. Глинн, изучавший воздействие массовой коммуникации на зрителя.

Когда-то Юлиан Тувим шутил: «Радио — замечательное изобретение; повернул ручку — и ничего нет». Разумеется, *отдельный* сознательно действующий слушатель всегда может «повернуть ручку» или с недоверием отнестись к сообщению. *Массовый* же слушатель (реально, а не статистически усредненный системой массового воздействия), как правило, просто *не хочет* этого сделать. Позиция массового потребителя в современном капиталистическом обществе по отношению к массовой коммуникации на деле — это добровольное (точнее, привычное) подчинение.

Конечно, через систему массовой коммуникации проходят и тексты весьма серьезного и самого «высокого» плана — художественные или информационные, политические или научные и др. Приводится, например, такой факт, что после хорошей передачи о М. Прусте по французскому телевидению за одну неделю было распродано 40 тысяч экземпляров произведений этого автора. Постановка «Саги о Форсайтах» британским телевидением заметно повысила интерес широкой публики к Голсуорси. К сожалению, отсутствуют сведения о том, в какой мере угол восприятия книги был «задан» передачей, а это, видимо, самое интересное в таких случаях.

Специфика массовой коммуникации видна не только в том, как она преобразует (и в процессе обработки и, главным образом, в процессе восприятия аудиторией) художественные, научные, политические тексты, но и в том, какие специфические формы текстов отбирает, закрепляет, создает.

Серийный детектив, фотороман, пресловутые — но уже выходящие из моды — комиксы и пр. обладают некоторыми общими чертами. Весьма ограниченный набор сюжетных схем и персонажей, резкая, «массовая» типизация героев — все это парадоксально сближает массовую литературную продукцию с фольклором и мифом (на деле имитируются не только формы, но и—отчасти — функции). При этом стандарты давно

стали принадлежностью ожиданий, то есть свойством самой аудитории.

Вот случай из практики Би-би-си, который приводит польский социолог К. Жигульский: «Попытка нарушить схему, вырвать произведение из серии приводит порой к острой реакции потребителей. Ее можно вызвать даже искусственно. Это недавно сделала английская Би-би-си, передававшая по телевидению серию детективных рассказов, в которых, как это обычно бывает, героиня, милая молодая женщина, не терялась в самых трудных ситуациях. В одной из передач преднамеренно изменили развязку. Героиня, покинутая спутниками на середине глубокого озера, оказалась за бортом лодки, долго и трагически боролась за жизнь и в конце концов утонула... По окончании передачи посыпались шумные и многочисленные протесты, звонки, полные возмущения письма. Английская публика горько упрекала телевидение в том, что ее обманули, ограбили, лишили полагающегося удовлетворения».

Многообразие сюжетов, источников информации, страстей и событий, которые входят в поток массовой культуры, кажутся поистине безграничными. Но свойственные этому потоку стандарты универсального *однообразия* неумолимо делают свое дело по меньшей мере двумя путями: через способ подачи материала и через способ его восприятия. Материал, поставляемый потребителю (и, по-видимому, заказываемый им),— это продукт некоторого «перемешивания» событий и отношений разного порядка и разной значимости. Массовый журнал типа «Лайфа» или телепрограмма равняют сообщения о крупных войнах и мелких скандалах, стихийных бедствиях и последних модах. В результате, как пишет один из американских критиков, для потребителя «все это имеет одинаково мимолетное значение или надоедливо малозначительно». События и страсти, приближенные к глазу массового потребителя до плоскости телеэкрана или глянцевой журнальной обложки, остаются в равной мере *далекими* от его практических интересов.

Производство, распространение и потребление массовой культурной продукции в буржуазном обществе подчинено тем же законам, что и всякое массовое производство вообще; серийный, стандартный, конвейерный выпуск максимально дешевого и универсально доступного продукта, растущая монополизация производства и сбыта, а вместе с ней — растущая и *изменяющаяся* роль рекламы. В домонополистическом хозяйстве реклама призвана главным образом расталкивать конкурентов на уже существующем рынке, то есть создавать преимущественное положение для данного товара при наличном и неудовлетворенном спросе. Сейчас положение меняется: сам рынок должен вновь и вновь создаваться заново, как бы искусственно; требуется сформировать спрос на новые товары и новые качества товаров, которого раньше просто не могло быть. Соответственно реклама из предпочтительной все более превращается в принудительную, активно навязывающую покупателям не отдельный вид товара, а саму *потребность* в товаре. В. Паккард приводит заявление некоего парфюмерного фабриканта: «Мы не продаем помаду, мы покупаем потребителей». Сатирическое изображение этой ситуации принудительного насаждения потребительского спроса мы находим в недавно переведенном у нас романе Веркора и Коронеля[1]. Идеал «сторонников изобилия» (или «плеторианцев», как это звучит в оригинале) состоит в том, чтобы заставить население возможно больше покупать как будто заведомо ненужные товары, поскольку от этого в фантастически американизированной Тагуальпе зависят и прибыли капиталиста, и всеобщее «надуманное, неестественное благополучие».

Авторы, однако, не совсем правы, сосредоточивая внимание лишь на индивидуальных механизмах обработки умов покупателей; не учитывают они и того, что совершенно неестественные с точки зрения обычного здравого смысла запросы и вкусы становятся *необходимыми* — приобретают статус необходимых — в рамках определенной системы массового поведения. Ведь сама потребность в товарах определенного типа и стиля всегда формируется господствующей культурой. Именно эта ситуация на рынке высокоразвитого, «плеторианского» капиталистического общества больше всего влияет на культурный рынок.

■

Очевидная особенность «культурного» производства по сравнению со всяким иным состоит в том, что его конечный продукт — это сам *человек* как определенным образом воспитанный и обученный член общества. Поэтому массовое производство культуры — это в конечном счете массовое производство определенных человеческих способностей, желаний, умений, вкусов. В мире массовой культуры, по словам одного из ее критиков (И. Хоува), «человек становится потребителем, массово воспроизводящим себя подобно товарам, развлечениям и ценностям, которые он потребляет». Сказанное выше позволяет сделать одну поправку в этой довольно меткой характеристике: речь здесь должна идти не о потреблении вообще, а об относительно избыточном, «плеторианском» потреблении. Реальные, социально значимые грани здесь довольно подвижны, но их все же можно проводить с учетом явного разграничения двух функций (как бы двух ипостасей) современного человека — «человека деятельного» (Homo faber) и «человека досужего» (Homo ludens). Потребление, ориентированное на воспроизводство «человека деятельного» (по Марксу, это прежде всего воспроизводство рабочей силы или капитала),—старо, как сам социальный мир вообще, и «потребительством», очевидно, не является. Что же касается «потребительского» буржуазного общества, то здесь ориентация на максимальное потребление — это расширенное производство «человека досужего».

[1] Веркор и Коронель. Квота, или Сторонники изобилия. М., «Прогресс», 1970.

Вот уже не новая, но весьма яркая картина «потребительской» ситуации, которая дана Э. Фроммом: «Человек сегодня околдован возможностью покупать больше вещей, вещи лучшего качества и в особенности новые вещи. Он потребительски голоден. Акт покупки и потребления стал принудительной, иррациональной целью, это цель сама по себе, она мало связана с использованием купленной вещи. Если бы современный человек решился выразить свое понимание царствия небесного, он нарисовал бы картину, напоминающую самый большой в мире универмаг, переполненный новыми товарами, а сам он имел бы обилие денег, чтобы их приобретать. Он ходил бы с разинутым ртом по этому царству новейших выдумок и ширпотреба, озабоченный лишь тем, чтобы покупать все новые и новые вещи, и еще, может быть, тем, чтобы его соседи находились в несколько менее привилегированном положении, чем он сам». Отметим две особенности в этом описании потребительского поведения: 1) потребление ради самого потребления, 2) ориентация на поведение «всех остальных» как наиболее важный стимул. Массовый потребитель, согласно такой схеме (несколько утрирующей ситуацию), приобретает не потому, что нуждается (в смысле «естественных» нужд), не потому, что получает какое-то непосредственное наслаждение от пользования данным новейшим товаром — скажем, новейшей модной одеждой или маркой автомобиля,— а потому, что «все», «другие» именно так поступают или стремятся поступать. Он привык ориентироваться на некую обобщенную фигуру «другого», более того — к необходимости нуждаться в ней как образце.

Этот обобщенный образец повседневно и с огромной силой навязывается человеку системой массовой коммуникации. Относится же он преимущественно к типу «человека досужего».

Промышленная дисциплина капитализма впервые отграничила рабочее время, подчиненное жесткой фабричной регламентации, от всего остального, но лишь с недавних пор, по мере сокращения рабочей недели, это «остальное» превратилось в особое социальное явление и очень острую социальную проблему. По современным данным, каждый человек в развитых капиталистических странах как будто располагает 3—4 часами досуга в день (за этими средними могут скрываться довольно резкие различия, в особенности в положении мужчин и женщин). Но нас сейчас занимает другой вопрос: в какой мере «человек досужий» действительно *располагает* своим временем? Ведь половину или даже большую его часть захватывает система массовой коммуникации, прежде всего телевидение, где свобода действий зрителя сводится лишь к выбору программы. Это поглощает примерно в двадцать раз больше времени, чем, например, самообразование (да и последнее нередко служит как бы продолжением профессионального обучения, которое необходимо, чтобы просто сохранить работу в условиях возрастающих требований). Создается впечатление, будто человек, получив возможность хотя бы на несколько часов в день быть свободным, изо всех сил ищет новых форм несвободы. «В конечном счете, проблема свободы — это проблема *жизнерадостного робота,* и она возникает сегодня, ибо сегодня стало очевидно для нас, что *все* люди *не хотят* быть естественно свободными, что все люди не хотят или, в отдельных случаях, не могут достичь такого развития разума, которого требует свобода»,— сетовал упоминавшийся выше Ч. Райт Миллс. «Борьба за свободу, досуг, народное образование и социальное обеспечение,— пишут П. Лазарсфельд и Р. Мертон,— велась в надежде, что, освободившись от оков, люди усвоят главные культурные продукты нашего общества — Шекспира и Бетховена, может быть, Канта. Вместо этого они обращаются к таким идолам бульварной литературы и музыкальной пошлости, как Фейт Болдуин, Джонни Мерсер или Эдгар Гест». Неверно, однако, винить во всем этом «бегстве от свободы» (нашумевшее выражение Э. Фромма) *человека:* он никогда не был и не может быть «естественным», а его общественные запросы и устремления прямо или косвенно заданы его обществом и его культурой. Общество заставляет человека «плеторианской» эпохи «убивать» свое время, чтобы это время не убило его самого. Орудием совершения этого «убийства» служит массовая культура.

Стало очевидным, что в современном позднекапиталистическом обществе произошло определенное разграничение двух функций культуры. С одной стороны, это накопление и передача *специальных* знаний, умений, норм деятельности, как технических, так и административных, правовых и пр. Для этого требуется довольно серьезное и длительное образование, которое делает человека компетентным в какой-то сравнительно *узкой* (и все более сужающейся) области. Компетентность здесь, конечно, в основном исполнительская, а не творческая. Высокая художественная культура тоже имеет тенденцию превратиться в разновидность узкоспециализированной профессиональной деятельности. «Сцециализированная» культура формирует человека как грамотного работника одной определенной сферы общественной деятельности, ее продукт — это уже упомянутый Homo faber, который сегодня не может занять (хотя бы по причине ограниченности рабочего времени) всего пространства человеческого существования. Его двойник и напарник, его необходимое дополнение и подкрепление — Homo ludens — продукт «досужей» массовой культуры. Если в начале века наиболее популярными героями американской публики были бизнесмены и «политики из народа», то в последнее время их место в системе «ориентации» занимают киноактеры и т. п. Как выражается один из исследователей этого явления (Л. Левенталь), «идолы работы» замещаются «идолами досуга».

«Человек досужий» не замкнут ни в какой особой области, он очень широко, пожалуй, даже универсально, информирован: радио, телевидение, газеты постоянно держат его в курсе самых разнообразных событий, происходящих во всех уголках земного шара и во всех областях современной жизни — от политических конфликтов до последних мод. Но *информированность* в данном случае не означает действительного *знания* — это всего лишь досужее, неглубокое «знание понаслышке».

Машина массовой информации не столько расширяет кругозор человека, сколько позволяет ему разложить все богатство видимого и слышимого — на экране, разумеется,— мира по готовым полочкам, упаковать в стандартные, удобные для пользования обертки с заранее напечатанными ярлыками (и не столько даже позволяет, сколько *заставляет* его это делать). Как утверждают в один голос авторы многих исследований массовой коммуникации, функция последней состоит в том, чтобы «усилить стабильность и снизить новизну», подкрепив уже сложившиеся стандарты (стереотипы) массового восприятия социальной информации. Одновременно массовая культура, в особенности ее «художественная часть», решает еще и такую важную для сегодняшнего капиталистического мира задачу, как облегчение, снятие психической напряженности, создаваемой высоким темпом жизни, атмосферой постоянно действующего социального, психологического и личностного кризиса. Отсюда столь большое место «чистой» развлекательности в массовой культуре. Если психологическое воздействие высокого искусства с античных времен именуется *катарсисом* — возвышенным очищением души,— то психологическая функция массового искусства — *релаксация:* облегчение, снижение напряженности. Аналогичную нагрузку несут и иные компоненты массовой культуры, например, столь распространенные «хобби».

Итак, «странный» мир массовой культуры, мир искусственно создаваемых, «досужих» интересов, сведений и развлечений, оказывается необходимым восполнением столь же «странного» (если судить по добрым старым меркам здравого смысла) мира профессионально узкой, «специализированной» культуры. И потому нет никакого противоречия между интенсивным развитием научно-технической культуры в современном капиталистическом обществе и снижением массовых стандартов знания и вкуса. Сами условия, в которых происходит развитие научного знания в этом обществе, порождают такой суррогат знания, как массовая «информированность». Более того, существует сильнейшая тенденция подчинения «высокой» и специализированной культуры стандартам массового порядка: это и восприятие шедевров искусства через призму соответствующих стандартов (просится выражение: через экранизацию...), и «мидкульт», о котором писал Макдональд. Аналогичное явление наблюдается даже по отношению к сугубо специальным, научным и т. п. областям деятельности. «Массовые» представления о научных истинах не могут, конечно, влиять на саму логику научного исследования, но зато они нередко влияют на логику и политику финансирования и использования научных разработок (предпочтение «популярных» и престижных направлений).

Правомерно ли, однако, ставить на какую-то одну доску такие как будто совершенно разнородные явления, как отношение к искусству и «массовое» восприятие науки? Если бы речь шла о процессах *творчества,* то всякие аналогии здесь (хотя и они возможны) были бы весьма рискованными. Но в мире массовой культуры происходит не творчество, а лишь потребление — притом сугубо пассивное, неспециализированное, «досужее». В *этом* смысле массовая аудитория одинаково относится к информации научного, политического, эстетического происхождения.

Потому мы видим в массовой культуре не просто совокупность неких произведений «низкого» стиля, не просто дурной вкус какой-то, хотя бы и значительной, части населения в буржуазном обществе, а нечто более существенное. Универсальная *доступность,* универсальная *пассивность,* универсальное *однообразие* — это общий знаменатель культурного *«климата»* этого общества, который сегодня накладывает свой отпечаток на все его сферы и самые разнообразные области культурной жизни. Климат этот создается множеством факторов, формирующих потребительскую *аудиторию* массовой культуры, социальные и технические *средства* ее организации и всю довольно многочисленную армию ее *обслуживания* — глашатаев, проводников, переводчиков и др. (говорить о «творцах» тут явно не приходится).

■

В зарубежной литературе нередко можно обнаружить попытки «привязать» появление и распространение массовой культуры к определенным социальным группам буржуазного общества. Некоторые его идеологи связывали появление массовой культуры с «вторжением» некультурных масс в чуждую для них область духовного производства. Существуют и мнения, будто специфическая среда массовой культуры — это городские средние слои (или, как выражается Э. Морэн, «новый средний класс»). Несколько иной оттенок эта идея приобретает в распространенных среди американских публицистов суждениях о «культуре среднелобых» (мерой ее противопоставления «высоколобой» и «низколобой» культурам оказывается «интеллектуальный коэффициент» — IQ). Очевидно, что подобные представления не имеют ничего общего с анализом классового содержания массовой культуры. Она — продукт и достояние *всей системы* современного, высокоразвитого технически капиталистического общества, а не какой-либо ее части или группы. Носителем этой культуры выступает не какая-то особая группа общества, а его недифференцированная потребительская масса.

Перед нами некий парадокс: как может сложное, разгороженное множеством социальных «перегородок» (классовых, профессиональных, образовательных, этнических, локальных и др.), раздираемое острейшими противоречиями общество оказаться чем-то однородным? Как может столь «организованное» общество (профессиональные, политические, культурные союзы, клубы, группы и т. д. — в США более половины населения состоит в различных организациях, многие в двух-трех и более) действовать как нечто аморфное, бесструктурное? Известно ведь, что подобного рода организованность населения в современных условиях все более возрастает, в то же время возрастают и «перегородки» (в особенности в связи с растущей специализацией производства). Увеличивается влияние государственно-политической организации капитализма и всякого рода принудительных и добровольных объединений. На производстве, на службе, в политике, даже в бытовых отношениях человек выступает все в большей мере как «организованный человек» или как «человек организации». Но именно на этом фоне — а точнее, на этой *основе* — и создается такое положение, при котором человек за пределами «своей» узкой сферы деятельности и организации, за пределами своего профессионально занятого времени выступает в роли неорганизованного и некомпетентного потребителя, отдающего себя во власть массовой рекламы и ориентирующегося на созданный той же рекламой образ «другого». Чем более узка первая сфера (а она с необходимостью становится все более узкой), тем шире вторая. Границы потребительской массы (по отношению к культуре она же выступает в качестве массовой аудитории) не совпадают поэтому с рамками социально-экономических классов или с различиями в уровне доходов, образования и пр.

Правда, социологические исследования показывают, как правило, что более высокому образовательному цензу соответствуют сравнительно большая критичность по отношению к системе массовой коммуникации, более специфические культурные запросы и т. д. Но средние показатели в данном случае сгруппированы так, что не позволяют видеть соотношение «специальных» и «общих» интересов в одной и той же культурной группе. А именно это соотношение, которое все же можно определенным образом оценить, показывает, как часто самый активный и квалифицированный в своей области специалист становится самым заурядным и пассивным «массовым» обывателем в сферах далеких от него эстетических или политических отношений. Потребительская масса не существовала в «готовом виде», не таилась в ожидании своего часа до появления «потребительского общества»: она только им и могла быть *порождена*. И сама экспансия низких («среднелобых») вкусов не могла бы быть ни широкой, ни длительной, если бы не существовало «цивилизации досуга» с ее массовой коммуникацией, принудительной рекламой и т. д.

Неверно поэтому рассуждать — как делают сегодня иные поверхностные «радикалы»,— является ли массовая культура или какое-либо средство ее распространения благом или злом. Никакая серьезная оценка этого явления не укладывается в столь простую ось. Представлять его сложность важно для того, чтобы лучше видеть те условия, в которых происходит борьба за души людей в современном мире.

■

Нельзя ставить вопрос о том, выше или ниже «в целом» культура капитализма последней трети XX века по сравнению с его культурой, скажем, середины XX века (нас в данном случае интересует не сопоставление выдающихся талантов, а характер социального воздействия культуры). Изменился сам *способ социального существования* культуры, он не стал «хуже» или «лучше», он просто стал иным. Один из признаков этого — «относительное культурное обнищание», происходящее при количественном росте общей массы культурных благ, приходящихся на человеческую единицу. Более грамотный и образованный, несравненно более начитанный (и еще больше «наслышанный» — в смысле радио и т. д.), чем его предшественники сотню лет назад, сегодняшний человек относительно *менее компетентен,* потому что в значительно большей мере возросла общая сумма и, главное, специализация культурного богатства. С огромным, бурно растущим потоком информации разного рода современное буржуазное общество не может справиться иначе, как разбивая его (при помощи сложной системы «плотин» и «каналов», к которым можно отнести и систему разветвленного специализированного знания, и систему массовой коммуникации) на два русла — специальное, сразу же распадающееся на сотни или тысячи отдельных струй, и массовое. Каждое из них выполняет свои функции, взаимно дополняя друг друга. Одно обеспечивает общество практически необходимыми и работающими знаниями, опытом, ориентациями, другое как бы мобилизует и держит в определенном напряжении предпочтения, настроения, мнения масс.

Такое раздвоение некогда единого культурного потока чрезвычайно болезненно сказывается на той общественной группе буржуазного общества, которая ранее выступала в качестве созидателя и хранителя его культурных богатств — речь идет об интеллигенции. Ее «культурная монополия» в свое время питала и поддерживала идеи о специфической, просветительской и нравственной, миссии интеллигенции в обществе. Реальный ход буржуазного прогресса возложил обязанности хранителя и ретранслятора «культурной» информации на безликую систему, «машину» образования, воспитания, рекламы; вчерашних же распорядителей знаний и ценностей превратил в специальный обслуживающий персонал этой систе-

мы (иногда, правда, оставляя ему, по совместительству, право на ворчливую или даже шумную социальную критику). С этим связан уже рассматривавшийся в нашей литературе *антиинтеллектуализм* современного капиталистического общества (особенно американского), которое столь хорошо умеет эксплуатировать интеллект своих специалистов[1]. «Одна из странностей американской культурной сцены,— пишет Д. Макдональд,— в том, как много там «мозговых работников» и как мало интеллектуалов, если относить к первым специалистов, чье мышление в основном занято своими, ограниченными участками, а ко вторым — лиц, чьей областью является вся культура. Интеллектуалов не только мало, но они и не связаны вместе, у них очень мало esprit de corps, очень мало чувства принадлежности к какому-либо сообществу; они столь изолированы, что даже не решаются ссориться друг с другом...» Это положение — один из продуктов расщепления культуры в современном «массовом» буржуазном обществе, где само понятие «вся культура» является такой же примерно фикцией, как «вся наука» или «вся правда».

■

Чтобы выявить существенные черты механизма массовой культуры, нам приходилось рассматривать это явление в его общем виде, не касаясь того, как оно действует в условиях разных стран и ситуаций. Вне поля зрения пока остались многие явления, свидетельствующие о том, с какими социальными издержками, с какими перебоями функционирует система массовой культуры в кризисной атмосфере позднекапиталистического общества. Особого анализа заслуживают, в частности, проблемы сегодняшних «бунтов» в этой области, судьбы элитарных, авангардистских, молодежных движений, которые теперь развертываются в условиях массовой культуры и по-разному воздействуют на нее.

[1] См. об этом статью И. С. Кона в «Новом мире» № 1, 1968.

Публицистика

МАЙЯ ЭКЕЛЁФ

ЗАПИСКИ УБОРЩИЦЫ

Отрывки из книги

Перевод со шведского Д. ЕРШОВА

Книга Майи Экелёф «Записки уборщицы» имела в Швеции сенсационный успех. 53-летняя женщина, всю жизнь проработавшая уборщицей и получившая весьма скромное образование, завоевала первое место на конкурсе книги на политическую тему. «Это — самое примечательное и наиболее значительное произведение, какое когда-либо удавалось выявить во время шведских конкурсов на лучший роман»,—констатировала одна из газет. Книга Экелёф, писал один из критиков, представляет собой «самую яркую и самую бесспорную из всех когда-либо нарисованных картин будней человека 60-х годов, принадлежащего к низкооплачиваемой категории».

Хотя утверждения эти грешат, на наш взгляд, явными преувеличениями, книга Майи Экелёф заслуживает внимания читателей, позволяет документально познакомиться с судьбой «маленького человека» в так называемом «обществе благоденствия». Изнанка шведского благополучия предстает здесь не в ее эксцессах, а в трудных буднях человека, для которого проблемы безработицы, низкой оплаты труда, изъянов социального обеспечения, дороговизны и пр. стоят со всей остротой.

Читатель легко обнаружит наивность, прямолинейность в иных суждениях Майи Экелёф, политические высказывания ее порой незрелы и эклектичны. Однако сочетание этих бесхитростных записей пожилой женщины — одновременно незаурядной и банальной, рассудочной и сентиментальной, рефлектирующей и категоричной — рождает ощущение подлинности психологического портрета, точности документа времени, оставляющего свою нестираемую печать на помыслах и устремлениях человека наших дней.

Устами Майи Экелёф говорит рядовой труженик, своим умом доходящий до некоторых важных истин и выстрадавший всей своей нелегкой жизнью идеи социального и политического равенства.

Корейский кризис, 1953 г.

В детском отделе муниципалитета мне сказали, чтобы я составила список одежды, в которой нуждаются мои дети. Когда все ушли домой, я села за письменный стол. (Вечерами я убираю помещения нескольких контор муниципалитета.)

По дороге на работу я твердо знала, что всем моим пятерым детям нужна зимняя одежда. А теперь вот сижу с карандашом в руках и ничего не могу написать... Корея не выходит из головы. Интересно, сколько курток понадобится там через некоторое время?

В конце концов торопливо пишу: «Одна пара брюк и одна куртка».

Корея не выходит из головы.

Не умею я хозяйничать. Каждый месяц даю себе слово составить бюджет.

В день зарплаты я должна разделить деньги на столько частей, сколько дней в месяце.

Все расходы надо планировать заранее.

Что я хотела бы изменить

(Из неопубликованного письма в газету)

Напускная деловитость у некоторых наших служащих органов социального обеспечения.

...Часто приходится читать, как хорошо все организовано в Швеции для тех, кто попал в тяжелое положение...

Я знаю одну девушку, которая пыталась после смерти родителей получить хоть что-нибудь из всех тех благ, о которых читаешь в газетах... Доктор не может обеспечить ей пособие по болезни, она ведь не так уж больна, сказал он.

На пособие она не должна рассчитывать, заявил чиновник муниципалитета. Ей еще слишком далеко до пенсии. Он посоветовал наняться экономкой к какому-нибудь вдовцу... Не думает же она, что деньги сами падают с неба.

Есть над чем поразмыслить.

Я живу в обществе благоденствия.

Дни текут так же, как и повсюду на нашей земле.

Рассвет, утро, полдень, вечер и ночь.

Об одном я думаю часто... Много ли человеку нужно?

Похоже, что люди легко удовлетворяются тем, что имеют, и никаких особых устремлений у них нет. По крайней мере, так дело обстоит в моем квартале; я никогда не слышу от своих соседей каких-нибудь серьезных жалоб. Они едят, спят, едят, спят и т. д. ...Женщины живут в своих маленьких домиках, как в игрушечном мирке. Каждая из них старается блеснуть самыми красивыми кофейными чашками, самыми белыми простынями и прежде всего отражением супружеского счастья на лице.

Долго ли еще они будут играть в эти игрушки?..

Можно ли сказать, что вот эта работа — достойная, а другая недостойная?

К сожалению, это так. Работа, обеспечивающая хороший заработок, на который легко прожить, достойнее работы, которая так плохо оплачивается, что не может прокормить «своего хозяина».

Разве справедливо, что какая-то часть людей должна просить милостыню, чтобы обеспечить свое существование? Это справедливо согласно тем законам, которые создал сам человек.

Тот, у кого изворотливый ум и острые локти, заберется выше всех по лестнице зарплаты.

Тому же, чей ум не так боек и локти не так остры, не полагается большой зарплаты. Ему остается просить милостыню. Таков закон. «Гуманный» закон. Слова «призрение бедных» заменены в нем словами «социальное обеспечение». Громкое название, но для того, кто в этом обеспечении нуждается, оно звучит так же отвратительно, как и «призрение бедных». Мир не может стать другим, если не переменятся люди. Но люди так преисполнены жажды власти, что огромная разница между одними и другими сохранится навсегда.

Понедельник, 16/8-65 г.

Восемь часов утра. Только что пришла с уборки. Небо совершенно голубое, и солнце светит так чудесно. Ян на праздники приезжал домой. Через две недели кончается срок его военной службы. Не знаю, как мы соберем деньги на все, что ему понадобится, когда он поедет в Упсалу. Надеюсь на какой-то крупный выигрыш или наследство. Хотя и знаю, что ждать наследства мне не от кого.

12/9-65 г.

У меня мрачное настроение. Так мало приятного случается в жизни. Кроме того, я не умею экономно расходовать деньги. Не могу так рассчитать, чтобы хватило до получки. Пока что-то звенит в кошельке, о деньгах не думаешь. Зато потом... Стиг ждет выплаты по страховому полису. В понедельник вечером — контрольная письменная работа. Когда я об этом вспоминаю, в голове становится пусто... Только что прочитала отрывок из книги «Выход» Харри Мартинсона. В ней он рассказывает о страхе, главным образом о страхе, который испытывают бедняки. Как мне это знакомо.

Иногда мне хочется поговорить с ним или Фридегором[1]. Но как я стала бы с ними говорить? Я ни с кем не умею разговаривать. Мне удивительно трудно выразить то, что хочется сказать. Мысленно я беседую и спорю со многими людьми, и это получается очень легко. Но когда нужно говорить с живым человеком, голова словно отказывает. Ах, как было бы хорошо научиться вести беседу.

18/9-65 г.

Вчера в семь часов вечера происходила перекличка учащихся перед началом осеннего семестра в вечерней школе. Ректор Юхансон произнес приветственную речь. Затем мы прослушали выступление хоровой группы. Артур Грель, представитель дирекции, показал нам чертежи и план нового здания школы в черте города. Он говорил о том, как много будет затрачено денег. Ужасные суммы. Бедные рабочие. Ведь это им приходится за все расплачиваться... Каждый из нас составил список предметов, какие он хотел бы изучать. Я перечислила те же самые, что и в прошлом году. До английского никак дело не доходит. Как только кончили пить кофе, я улизнула. Ведь мне нужно было идти убирать.

1/10-65 г.

Днем в понедельник зашли Стиг и Гун. Стиг сказал, что он пришел затем только, чтобы прочитать мое письмо в редакцию с «рационализаторскими» предложениями. Когда читал, смеялся вовсю. Выплата за страхование жизни принесла нам глубокое разочарование. И мне, и Стигу. Когда в течение 23 лет платишь деньги и получаешь

[1] Харри Мартинсон, Ян Фридегор — современные шведские писатели. *(Здесь и далее примечания переводчика.)*

обратно только 300 крон, невольно чувствуешь себя одураченным. «Помните, вы обеспечили жизнь двух человек»,— сказал страховой агент. Вот так у нас, бедняков, всегда и получается... Хорошо, что Стиг встретил Гун. Они так хорошо подходят друг другу.

10/12-65 г.

Вчера вечером состоялось последнее занятие в вечерней школе. После уроков нас пригласили на кофе. Мне поставили чересчур высокие оценки.

12/12-65 г.

В газете «Карлскуга тиднинг» за вчерашний день помещено сообщение об окончании нами учебного года. Помещены также фотографии. Но их перепутали с фотографиями из другого сообщения. Я превратилась в подрядчика с заводов «Буфорса»[1]. Недурно.

8/2-66 г.

Мысли и раздумья за неделю до выборов 1966 года.

И какая это неделя. Голова кругом идет. Я не принадлежу ни к одной партии. В прежние годы я знала, за кого буду голосовать, а теперь не знаю.

Я слушала предвыборные дебаты, читала брошюры разных партий. Внутренне я — коммунистка, и мое лучшее «я» шепчет мне: «Голосуй, как всегда». Как я поступлю в это воскресенье? Может, окажусь в числе членов «Партии отдыхающих на диване»[2]? Нет. Ведь когда все кончится, я так буду злиться на себя! Или же в последнюю минуту я кинусь и проголосую наобум... Если тебе предоставлено право участвовать в выборах, надо им пользоваться.

...Сегодня вечером я приняла решение. Буду читать, сколько позволят силы. О том, как создавались политические партии. Чего они добились и т. д. Я вызубрю курс национальной экономики, как бы это ни было трудно. Проштудирую как можно больше материалов о торговом балансе Швеции, обменном балансе и экономике. Наверно, к следующим выборам я буду подготовлена лучше...

Только как все это успеть? Я продолжаю вести дневник. Не потому, что вообразила себя писательницей, а потому, что как-то легче становится, когда выложишь хоть вот таким способом то, что накопилось в сердце. Сегодня вечером длинных записей не будет. Посмотрю телевизор, а потом пораньше лягу спать. Завтра с утра надо идти у «кого-нибудь» занимать денег. Занимать!.. У кого? НЕ У КОГО.

Осенний семестр — 66 г.

В понедельник вечером — накануне нового семестра — состоялось собрание с перекличкой учащихся. Все лето я мучительно раздумывала: стоит мне продолжать учебу и начинать новый семестр или нет. И, конечно, я решила учиться...

Я буду продолжать изучать шведский язык и историю. Английский подождет еще немного. Во всяком случае, теперь я знаю, чем я буду занята зимой, и мне так приятно, что придется думать не только об уборке и приготовлении обеда.

Я продолжаю писать дневник. Не воображаю, что моя жизнь может показаться кому-нибудь интересной, но все равно становится легче, когда время от времени изольешь душу.

Эти строки я пишу тебе, Харри Мартинсон, потому что мне не с кем больше поговорить. Я никогда не отправлю это письмо, но все равно приятнее обращаться к кому-то живому, а не писать только для того, чтобы выбросить потом в корзину.

Настали мрачные дни. Как в смысле погоды, так и работы. За тебя-то мне нет нужды беспокоиться, и это хорошо. Можно сказать, что ты на верном пути. А не так еще давно ты бегал босиком в это время года. Ты ненавидел огромные безобразные деревянные башмаки — пусть лучше ноги мерзнут, думал ты. То время ушло. Быстро... Впрочем, тому уже сорок лет. Я начинаю стареть, а что я сделала стоящего в своей жизни? Ужасное ощущение.

В одном отношении время принесло мне пользу — я успеваю теперь делать то, чего раньше никогда не успевала. Например, ткать. Вчера я разрезала на кусочки свое тканье. Соседка шьет из них половики для новой квартиры своей дочери. Половики получаются превосходные. Ночью я сидела и пришивала к ним бахрому. Затем ранним субботним утром поехала на работу, чтобы успеть к 11 часам на лекцию по истории. Сидела внизу в школе и ждала. Но ни товарищи по учебе, ни преподаватели не приходили. Я ошиблась днем. Может, я стала стара для учения? Было так досадно возвращаться домой несолоно хлебавши, ведь лекции по истории для меня прямо бальзам. Забываешь о своих собственных заботах.

В последнее время в Карлскуге происходят печальные события. Несправедливость, царящая в мире, ужасна даже тогда, когда она проявляется в мелких масштабах. Видишь ли, в последние годы «Буфорс» переманил к себе многих финнов. Не хватало рабочих рук. Финны получили работу и жилье. Теперь положение изменилось. «Буфорсу» стало трудно отстаивать свои интересы на международном рынке. Теперь не нужно так много рабочих. Для части из них работу ограничили лишь четырьмя днями в неделю.

На этой неделе несправедливо уволили одного молодого финна. Начальство использует малейшую оплошность как предлог

---

[1] Заводы «Буфорса» в Карлскуге по производству вооружения и боеприпасов.

[2] «Отдыхающие на диване» — те, кто отказывается принимать участие в голосовании.

МАЙЯ ЭКЕЛЁФ
ЗАПИСКИ УБОРЩИЦЫ

для увольнения. А ведь они могли бы поговорить с рабочими по-человечески и объяснить, какая сложилась конъюнктура. Финн, которого уволили, очень порядочный парень. Теперь он вынужден вернуться назад в Финляндию. А он так радовался, что имел работу и помогал своей семье, посылая деньги на родину. Из-за этого случая я целую неделю прямо больная была.

15/12-66 г.

Хоть бы мои дети прилично устроились в жизни.

У меня такие хорошие дети. Правда хорошие. Но было бы лучше, если бы я не была такой клушей. Твоя мать, Харри, бросила тебя, когда тебе было семь лет. После этого ты называл мамою Инес, но она умерла молодой, и тогда ты остался совершенно один... Не знаю, стал бы ты тем, что ты есть сейчас, если бы твоя мать осталась с тобой и охраняла тебя? Не думаю. Мать может испортить своих детей.

Ведь многие великие люди рано теряли свою мать, и у них было тяжелое детство (часто бедность и голод).

Но я беспокоюсь не о том, будут мои дети великими или нет. Главное, чтобы они жили, не причиняя другим зла.

Я считаю, что самая трудная роль и самая трудная профессия, какая только есть,— это быть матерью. На нее налагается огромная ответственность, и каждый день приходится ощущать свое бессилие. И не успеваешь испытать материнское счастье. Может быть, на одну какую-то минуту, один какой-то раз.

22/12-66 г.

Тьфу... Я никогда не любила рождества. Смертельно уставшие люди бегают высунув язык, стараясь нахватать побольше продуктов и разного барахла. Нет чтобы провести рождество в тишине. Без елки... Без окорока... Пойду поднимусь наверх к Бритте. Она испекла рождественский пирог.

Ура! Ура! В этом году мне удалось избежать елки. Ребята не купили. Ура! Ура!

Завтра канун Нового года... Погода ужасная и вчера, и сегодня. Снег такой противный, с дождем, температура — один градус тепла. Вчера вечером я чуть не задохнулась, пока добралась до работы. Мокрый снег так и валил. Вся зима очень тяжелая для уборки. Лестницы и полы как мраморные от соли, которую приносят на ногах с улицы. Пока я убирала, пришел Эрланд, новый ректор вечерней школы. Сидит вон там и пишет, ученый труд, наверно. Мы перебросились несколькими словами, но я не хочу ему мешать. У него так много дел.

По мере того как стареешь, жить определенно становится труднее. Я стала так много думать. Раньше у меня на это не хватало времени. «Какова, собственно говоря, моя роль в этом маскараде?» Трудно решить, и я, конечно, никогда этого не узнаю, потому что я трусливо ухожу в сторону, в свой маленький мирок. Это очень удобно. Пусть дни спокойно идут мимо. Тупые, тяжелые, нудные дни. А сама я такая всегда усталая. Если бы дети были лучше приспособлены к борьбе за существование, я бы спокойно ушла в дом призрения. Я говорю это серьезно. Это было бы здорово.

20/5-67 г.

Быть матерью подростков — сложная задача. Надо постоянно присутствовать, и в то же время так, чтобы тебя не видели и не слышали. Мне кажется, что я неправильно воспитывала своих детей. Воспитывала — это, пожалуй, сказано чересчур громко, потому что я их вообще ни капельки не воспитывала. Все, что в них есть хорошего, они получили от кого-то другого.

Мне не надо было иметь детей. Я — по натуре холодный человек, и в то же время я большой материалист, потому что хочу, чтобы мои дети устроились на таких местах, где они хорошо бы зарабатывали.

Сегодня утром почувствовала боль в спине. Мне становится страшно всякий раз, как только начинает болеть спина, ведь она меня кормит. У меня портится настроение, и я начинаю бросаться на людей, когда спина дает себя знать. Сегодня обругала Улу и Яна за то, что они мне плохо помогают. Оба немедленно испарились.

1/6-67 г.

В школе последнее занятие.

Улле Чюльхаммар прочитал вслух одно из моих сочинений. Сказал, что написано хорошо. Подумать только: я проучилась пять лет. А все же чувствую себя как на экзамене в народной школе.

Я нарвала одуванчиков, наломала березовых веток, ветку сирени и одну ветку водосбора. У себя во дворе нашла только водосбор да березовые ветки. Остальное у Рут и Веги. Улле просиял, когда увидел цветы. Мишанек предложил мне выступить, сказать несколько теплых слов. Я по возрасту самая старшая из учеников. Но получилось только: «Посмотри, какие цветы, Улле»... Я совсем не умею красиво говорить. Во время последнего урока Улле исчез. Вернулся с тяжело нагруженным кофейным подносом. Мы сдвинули школьные скамейки в середину комнаты. И вот мы, ученики-переростки, сидим и пьем кофе в последние минуты последней лекции. Этот вечер останется в памяти. А там, на улице возле дома в полном цвету стоят фруктовые деревья. Все-таки немного грустно в последний день в школе, когда тебе уже много лет.

7/6-67 г.

Письмо от Улы. Возможно, он получит работу в прачечной салгренской больницы. С шести часов сидела у телевизора. Израиль захватил два иорданских города. Сначала был занят Старый город Иерусалима, а потом — два ближайших города Иордании. Они заняли также и Эль-Ахмар. Иордания обратилась в ООН с просьбой о прекращении огня. Советский Союз потребовал, что-

бы Израиль отвел свои войска Возможно, перемирие будет установлено уже сегодня вечером...

Я прочитала книгу о Треблинке [1]. В то время я только что вышла замуж. У меня не было ни малейшего понятия о том, что происходило в мире... Интересно, понимал ли мой отец, какая ужасная обстановка была в то время. Он постоянно слушал новости и каждый день читал газеты, и, наверно, он понимал. Но тогда было так же, как и сейчас. Никто не говорил о войне. Мы — отец, мать и дети — не обсуждали международных событий. И сейчас мы не говорим об этом — ни я, ни мои дети. Дома они по большей части слушают музыку. Сейчас буду читать Ремарка «На западном фронте без перемен». До этого я читала только его романы о любви.

2/7-67 г.

Вчера в «Карлскуга тиднинг» было опубликовано мое небольшое письмо. О Швеции — стране благоденствия. О том, каково это — жить в бедности в стране благоденствия, когда к тому же помнишь о всех голодающих в мире. Нет, сегодня не могу писать...

Бритта и Петер едут сегодня в Стокгольм. Петер — по национальности югослав — будет искать там работу. В Карлскуге он ничего не может найти без документа — права на получение работы. Возможно, в Стокгольме ему больше повезет. Ведь все люди должны иметь «право» на работу.

Бритте пришлось выслушать немало от всяких «друзей», когда она встретила Петера. После разрыва с финским парнем, с которым она прожила три года, ей постоянно приходилось слышать: «В другой раз выходи за шведа».

Теперь она встретила югослава.

Но Бритта, к счастью, за словом в карман не лезет. «Я еще не встретила ни одного шведского парня, который бы мне понравился». Коротко и ясно. Надеюсь, что Петер найдет работу и что у них все сложится как надо.

14/7-67 г.

Трудно слушать одновременно и телевидение, и первую программу радио. Много раз я себя ловила на этой глупости! Надо взять себя в руки. У меня и без того нервы разболтаны. В программе «Четверть часа о культуре» передавали интервью с Лу-Юханссоном [2]. Какой-то ученый в Восточной Германии [3] защитил докторскую диссертацию по произведениям Лу-Юханссона. Я этого не понимаю. Неужели нужно тратить пятнадцать лет для чтения книг одного-единственного человека? Может быть, они изучают их буква за буквой? Лу сказал, что он еще не успел ознакомиться с диссертацией. Во второй части этой же программы шел разговор о немке Кете Кольвиц. Она умерла в 1945 году. Теперь в Стокгольме открылась выставка ее картин. Всю свою жизнь она боролась с бедностью, войной и нищетой. Была замужем за одним «бедным доктором» в Германии. Успела перенести обе мировые войны. В первую — погиб ее сын. Вильгельм II не любил ее картин, потому что она изображала бедность и нужду. За «Ткачей» ей была присуждена премия. Вильгельму это не понравилось. Позднее, когда к власти пришли нацисты, ее картины были запрещены. Ее последние слова были о том, что война преследовала ее всю жизнь. Поэтому она только и рисовала бедность и нужду. Ей не пришлось дожить до конца войны, ведь она умерла в апреле 1945 года. Сколько еще людей только и видят в своей жизни что нужду да беды.

Сегодня я пыталась по телефону найти работу для Петера. Я заранее знала ответ. «Швеция — шведам»,— сказал владелец ресторана в отеле «Карлскуга». Ужасно, какими все становятся националистами, как только возникают трудности с работой. Мы писали еще в больницу в Эребру. Они ведь давали объявления о найме обслуживающего персонала. А может, Петеру удастся устроиться в столовой в Хюттосен? Ее директор почти пообещал место судомойки. Питание и двадцать крон ежедневно.

Рай земной для лошади. Я имею в виду эту работу.

26/7-67 г.

Сегодня в одной из радиопрограмм я услышала о старой финской женщине, которая сумела кое-чего достичь в жизни. Я была поражена, когда узнала, каким важным и ценным трудом была наполнена ее жизнь. Работая на земле и будучи в то же время депутатом парламента, она создала в той местности, где жила, кооперативное объединение крестьян. Мне все больше становится стыдно за себя. Я всю жизнь делала только то, что приносило пользу мне и моей семье. Теперь, когда мои дети выросли, я должна была бы принять участие в какой-то политической работе. Но я не предприимчива и не верю, что смогла бы работать в какой-либо общественной организации. Я гожусь только в уборщицы. Что ж, работа хорошая (хоть я постоянно и хнычу). Я довольно самостоятельна, надо мной нет никакого начальства. И никаких контрольных часов.

Ради этого стоит терпеть, хотя зарплата могла бы быть немножко повыше, чтобы можно было более или менее сводить концы с концами...

Столько неоплаченных счетов. Больше так продолжаться не может. Надо найти другую работу с бо́льшим окладом. Обращаться за помощью в бюро социального обеспечения я не хочу. Там я убираю в четыре утра. Лучше убирать помещения это-

[1] Фашистский лагерь смерти.

[2] Ивар Лу-Юханссон (род. в 1901 г.) — известный шведский писатель.

[3] В Германской Демократической Республике.

МАЙЯ ЭКЕЛЁФ
ЗАПИСКИ УБОРЩИЦЫ

го бюро, чем сидеть «на скамье провинившихся» и выпрашивать милостыню.

Быть бедным значит постоянно носить в груди ком. Значит постоянно терзаться угрызениями совести, когда закуриваешь сигарету или как-то иначе тратишь деньги.

4/8-67 г.

Завтра Ларсу исполняется семнадцать лет.

В письме известили, что мне полагается 75 крон за рассказ «Синяя птица». Получила бы больше, если бы он был напечатан на машинке, сообщили мне. Я ошарашена. Не каждый день получаешь гонорары.

P. S. Французская атомная бомба будет в 25 раз больше бомбы, «упавшей» на Хиросиму.

8/8-67 г.

Пришел Петер, и мы вместе убирались. Он работает старательно. Мне было приятно, что мне помогают, а для него это — утешение, все-таки несколько крон заработает. Так было глупо с моей стороны не взять те дополнительные помещения, какие я обычно брала на лето. Я отдала соседке уборку, за которую платят больше всего, потому что у нее тяжелое материальное положение. Теперь, когда Петер, Ян и Ларс без работы, было бы кстати иметь еще и это. Всегда раскаиваешься в добрых поступках. В этом обществе каждому приходится думать только о себе, о своем собственном благе.

Вы ничего не понимаете

С кем бы я ни разговаривала из своих знакомых, соседей, родственников и товарищей по работе, все они, по-моему, как-то остановились в своем развитии. Они не понимают, что мир изменился с того времени, когда они ходили в школу. Они, собственно говоря, ничего не понимают сверх того, что могут увидеть и пощупать: если по телевизору показывают риксдаг, например, и кресла депутатов пусты, то они уверены, что депутаты не работают. А это, может быть, как раз те депутаты, которые работают больше других. Они полагают, что депутаты работают только тогда, когда сидят в креслах.

Моим друзьям не приходит в голову, что народы других стран имеют такое же право жить, как и мы, шведы. «Почему Швеция должна постоянно всем помогать?— говорят они.— Когда нам придется туго, нам никто не поможет». Они говорят это вполне серьезно. Они ничего не понимают. Ни черта.

3/9-67 г.

Этот день войдет в историю. Мы перешли на правостороннее движение. Сейчас девять часов утра. Я встала поздно. Когда сидела за столом на кухне и пила кофе, желтый фургончик проехал мимо окна по правой стороне. Было так странно это видеть, хотя об этом столько уже говорили. Накануне вечером я смотрела по телевидению программу о переходе на правостороннее движение, которую вел Хюланд[1]. Мы увидели, как последний трамвай въехал в парк[2]. Трамваи не будут больше ездить по улицам Стокгольма.

Подули осенние ветры. Хотя сегодня воскресенье, мне надо ехать на работу. Я поеду на своем велосипеде по правой стороне улицы.

Выглянуло солнышко. Теперь оденемся подобающе для первого дня правостороннего движения в Швеции. (Правда, во времена Карла XII движение было правосторонним, но тогда не было меня.)

7/9-67 г.

Сегодня я беру ручку дрожащей рукой (как когда-то, давным-давно). Приятный сюрприз. Петер, вероятно, получит работу. Впрочем, начну сначала... Журнал «Ви»[3] в каждом номере помещает так называемый «Дневник недели». Пишут эти дневники обычно люди определенного сорта. Сплошная знать. Элита общества. Когда я читала эти колонки, в голове мелькала мысль: так редко трудящийся человек имеет возможность выразить свои мысли на страницах газет. Шутки ради я описала события своей жизни за неделю и послала их в «Ви». И представляете мое удивление, когда я получила письмо от редактора «Ви»,— он, мол, охотно опубликует мои записи. И мне даже заплатят за это. По почте пришло 50 крон. А вчера утром получила письмо от одного начальника почтового отделения. Он прочитал мой дневник и попытается устроить работу для Петера. В этот день в нашем доме был праздник. Спасибо этому почтовому работнику, который проявил заботу о людях, не дожидаясь, когда его попросят. Дневник все-таки принес пользу...

Ингегерд Гранлунд выступала по телевидению с воспоминаниями об отпуске, проведенном в Румынии. Однажды она заблудилась, подошла к такси и увидела, что шофер читает книгу. Заинтересовавшись, она спросила, что это за книга. «Шекспир» — ответил шофер. «Если бы шведский шофер читал Шекспира, я бы застрелила его, чтобы сделать из него чучело и выставить в Северном музее»[4],— сказала Ингегерд Гранлунд. Мне кажется, она сказала ерунду. Как она может быть так уверена, что наши шоферы не читают Шекспира? Большинство из нас — низкооплачиваемых — не приучали читать классиков, но

[1] Леннарт Хюланд — популярный спортивный обозреватель, конферансье, автор развлекательных телевизионных программ.

[2] Вместе с переходом на правостороннее движение почти во всех шведских городах было закрыто трамвайное движение.

[3] Очень распространенный журнал, издающийся Союзом шведской кооперации «Консум».

[4] Крупнейший этнографический музей Стокгольма.

ведь многие читают сами по себе. Это я могу засвидетельствовать.

Суббота, 16/9-67 г.

На шею твою повесят мельничный жернов... А у меня он висит всегда. Неслыханной тяжестью... Он так давит, что трудно дышать. Мои вздохи долги и болезненны. Из глаз течет почти чистая вода (может, крокодиловы слезы?). Когда люди стареют, они плачут водянистыми слезами. И слезы уже не те, что в молодости.

Вчера почитала немного «Историю философии» Альфа Альберга. Сегодня не могу ничего читать. И на месте не сидится. Что же это получается: то сидишь и читаешь красивые фразы, а то вдруг голова уже снова склонилась над тазом с грязной посудой (или над ведром для мытья полов)? Действительность — это Тревога, Тревога, Тревога... Тревога за будущее детей... Тревога за завтрашний день...

Какой-то экономист, выступая по радио, заявил, что средний доход шведов в будущем году по расчетам составит 40 000 крон. Может, они не причисляют к категории шведов лиц с низкой зарплатой?

Среда, вечер

Мы кончили убирать четырехкомнатную квартиру... Несколько лет назад я одна справлялась с дополнительной уборкой. Теперь у меня не хватает сил. Мы начали в семь утра и закончили в четыре. Остается только получить либо похвалу, либо упреки. У уборщицы совесть никогда не бывает спокойна. Всегда ведь находятся уголки, про которые можно забыть. Уборку вроде и за работу не считают. А ведь это такой тяжелый труд. Ула так вымотался, что едва дотащился до дома. У одних людей есть деньги, хотя эти люди никогда не работают. У других — нет денег, хотя они все время работают (какая безрассудная система).

Священник, или Семейная консультация

Я иду к священнику. Трудно мне приходится. И вот теперь священник узнает о моих заботах и поможет мне (я надеюсь на это). Я иду как во сне и не знаю, о чем буду говорить, когда приду к нему...

Я чувствую, что от этого визита никакой пользы не будет. Инстинктивно знаю, что лучше не будет, даже если я изолью свои «адовы» горести хоть ста священникам. Никто никому не может помочь. Никто не может сделать так, чтобы мне стало хорошо. Раз уж я сама ничего не могу для себя сделать. Те, у кого крепкие локти, те справляются, а другие — нет. Так-то вот. Выживает сильный — и он живет неплохо.

Я просматривала книжки по педагогике и знаю, что никакого совета мне не получить. Придется самой выпутываться из своих трудностей. Священник будет только слушать меня. Может, и скажет что-нибудь, поможет мне лучше уяснить мои проблемы. Моя собственная воля — вот что имеет решающее значение. Человек, говорят, обладает большой силой воли. Но у меня ее нет. Ах, если бы священник дал мне какой-нибудь совет. Если бы он позвонил и утешил меня. Это единственное, что мне было нужно в этот день. Засел у меня в голове этот звонок, а сама не соберусь с духом позвонить. Это единственное, о чем я его попрошу. Я так устала, но если только священник позвонит, то все сразу станет лучше... Священник красив, как Аполлон, бледен, сосредоточен, но приветлив.

Я думаю о нем, когда возвращаюсь домой. Во всяком случае, он дал мне один совет: «Приходите снова, если станет хуже».

Милый священничек... Еще раз я к тебе не приду. Помощь мне нужна сейчас. Именно сейчас, мне очень трудно. Не приду я больше. Мельничный жернов тяжело давит именно сейчас.

Священник не успел позвонить по телефону. Не успел спросить, как у меня дела, через несколько дней мы столкнулись с ним на лестнице, которую я убирала.

Хочу взять несколько дней отпуска, не использованных раньше. Хотя это отразится на зарплате. Деньги за отпуск, к сожалению, уже израсходованы. Ларс еще два дня работает, а потом в доме будет двое безработных, так как Ула уже снова сидит на бобах. В Карлскуге ничего нет. Впрочем, в других городах дела теперь также плохи. Слышала по радио, что все обувные фабрики в Кумле и Эребру объединяются в одну. Создается более крупное предприятие. Рационализация. Единственный выход — учить язык и ехать на работу за границу. Сегодня ночью температура была ниже нуля. Я еще не слышала о сокращении уборщиц, но зарплата у нас наверняка будет меньше. Те, у кого высокие оклады, получают все больше и больше, а низкооплачиваемые — все меньше и меньше (так что все уравновешивается).

14/I-68 г.

По телевидению то и дело показывают, как закрываются фабрики. Скоро, пожалуй, люди совсем отучатся жалеть ближнего. Но каждый раз становится просто жутко. Всего несколько лет назад на бирже труда ощущался недостаток рабочих рук. Иностранцев принимали с распростертыми объятиями, им обещали златые горы. Теперь все переменилось. Одна из статей в сегодняшней газете рассказывает о положении иностранцев в Оскарсхамне. На джутовой фабрике работают люди многих национальностей (по большей части греки). На улице, где они живут, шведским благоденствием и не пахнет. Теперь эта фабрика объявила об увольнении половины рабочих. Положение отчаянное, потому что

большинство из них не может вернуться домой по политическим причинам... Автор пишет: Швеция обязана им помочь. Мы взяли их, когда они нам были нужны. Мы не можем теперь отмахнуться от них.

13/2-68 г.

Что значит быть уборщицей

«Фу-у-у» — так, пожалуй, реагирует большинство людей, представляя себе профессию уборщицы. Слово-то какое неприятное. Сразу представляешь запах пыли и грязной воды. А также боль в спине и трещины на руках. Низкооплачиваемая профессия. Как и всякий тяжелый труд. Известно, что уборщицей можно стать, не имея образования. Работа, однако, такая тяжелая, что не всякий на нее отважится... Надо иметь хорошее здоровье. Кто заплатит за искалеченную спину, распухшие руки и больные колени?

Не всегда уборка требует большого напряжения. Но когда эта профессия должна обеспечивать средства на жизнь, тогда приходится брать и легкую и тяжелую уборку. Лучше всего работать, не нагибаясь. К сожалению, это не всегда удается. Другой раз хоть на голову становись, чтобы успеть сделать все, что положено. Но как бы ни уставала, я чувствую, что делаю важное дело... Если не поддерживать чистоту, то все приходит в упадок. Представляю себе, как выглядел Нью-Йорк, когда коммунальные рабочие — уборщики улиц — бастовали в течение недели. Если никто не будет убирать мусор, город погибнет...

Возле русского посольства в Вашингтоне взорвалась самодельная бомба. На днях бомбы взорвались в югославском посольстве в Париже. (Жаль, что люди вместо этого не бросают бомбы в президента Джонсона.) Но я постараюсь не думать сейчас о Джонсоне, иначе у меня не хватит сил дожить до дня рождения...

...Ну, а теперь — живо к раковине: надо чистить картошку, чистить и варить рыбу и т. д.

...Весь старый императорский город Хью во Вьетнаме сровняли с землей.

...Партизанские части находятся теперь в ста километрах от Сайгона. Они готовы к большому наступлению. Хорошо бы, они добились успеха. Пусть бы выгнали домой американцев (бедняги солдаты — по обе стороны).

24/2-68 г.

Я праздновала свое пятидесятилетие, а Вьетнам в это время горел...

Наращивание американских сил во Вьетнаме продолжается. Теперь их 525 тысяч. Все идет как обычно. И там тоже...

Сегодня Джонсону пришлось удирать. Во время своей поездки он был в Далласе. А настроение там тяжелое. Джонсон не чувствует себя в безопасности. Вся его охрана ходит за ним по пятам, куда бы он ни направился. Теперь он испытал, что это значит, когда за тобой охотятся. Когда-нибудь его подстрелят. Жаль только, что останется много других ястребов...

Какое несчастье, что я получила в подарок на рождество телефон. Это чересчур дорогая вещь для низкооплачиваемых... Через два дня Джонсон уходит с поста президента. Он произнес отвратительную прощальную речь перед аплодирующими ему сенаторами. Он говорил: «Через сто лет люди скажут, что это мы обеспечили мир». Он жаловался на агрессивность северных вьетнамцев, которые четыре года назад начали вторжение в Южный Вьетнам. В свою собственную страну! Если верить Джонсону, то они не имеют права там находиться, там должны быть генералы США.

28/2-68 г.

...В «Зеркале времени» по телевизору Черстин Анер и еще несколько господ обсуждали одну книгу. Тема книги: должно ли современное индустриальное государство участвовать в войне, чтобы освободиться от избытка «ненужных» людей? Мы-то хорошо знаем, что капиталистическая система, основанная на сверхприбылях, требует войн и, соответственно, военной промышленности.

2 марта

Мы живем на вулкане. В прошлый четверг в Англии вступил в силу закон, запрещающий принимать иммигрантов. Те, кому удалось бежать и добраться до Англии, вынуждены селиться в трущобах

В Риме студенческие беспорядки. В Греции уволены 500 государственных служащих. А мы в Швеции отмечаем первое полугодие перехода на правостороннее движение...

Нахожусь под впечатлением прочитанных книг. Какое счастье, что есть возможность бесплатно брать книги в библиотеке. Вчера сдала заказ на новую партию книг. Пять из десяти были отложены уже вечером (срочный заказ). Три из них — книги Горького. Я считаю, что, пока твои глаза видят и пока есть книги, у тебя всегда есть лекарство от душевных невзгод.

21/3-68 г.

Впервые в жизни была на бирже труда. Мне могут дать возможность приобрести новую специальность. Но... рожденный ползать летать не может. И я останусь уборщицей. У меня нет сил менять свою жизнь.

Подумать только, что я, не голодавшая ни одного дня в своей жизни, так устала от серой бедности. Так нудно, так скучно быть бедной.

2/4-68 г.

И как же, черт побери, все это можно вынести... Я не понимаю... Пока читаю какую-нибудь книгу, все вроде бы хорошо, но потом... потом... Только что закончила «Мои университеты» Горького. Сегодня

мне уже нечего читать... Единственное, что приятно в этой жизни,— это сознание, что есть люди, которым приходят в голову те же мысли, что и тебе, и которые переживали то же, что переживаешь ты. Они пережили тот же самый страх, убедились в бессмысленности страданий и уничтожения. И тогда ты не чувствуешь одиночества. Благодаря литературе — Душе мира...

В то время как в Америке бушуют расовые бунты, мы голосуем, избирая лучший шлягер Европы...

Выиграла Испания — песенкой «Ла-ла-ла». Я же убирала после ремонта помещения бюро социального обеспечения. Устала до смерти...

1 апреля 68 г.

Утреннее сообщение по радио вполне можно было принять за первоапрельскую шутку: Джонсон прекращает бомбардировки и не намерен выставлять свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Сегодня он обратится с речью к народу. Да, недаром, видно, столько людей выступало против его политики.

Апрель — 68 г.

Я только что пришла от Гибсона. Так я по-прежнему называю магазинчик, сколько бы новых владельцев там ни появлялось после Гибсона.

Сегодня — день траура или, вернее сказать, неделя траура. Стиг Янсон, который вел дела в магазине, в течение этой недели распродает все товары. Ах, как жаль.

Мне будет недоставать Стига и его магазина. Он был психолог, а не просто торговец. Каждый раз, когда человек приходил в этот маленький магазинчик, на душе у него становилось веселее. Досадно, что и тут виной всему автомобили (я все больше и больше ненавижу их). Большинство предпочитает ездить за покупками в «Крунхаллен» или еще дальше — в какой-нибудь крупный универсальный магазин. В маленькую лавку обычно заходят купить лишь молоко. Да еще по субботам несколько клиентов покупают мясо. Здесь всегда великолепное мясо. Только что пришел Стиг и принес последний мешок картофеля. Он сам развозил по домам продукты без дополнительной оплаты за доставку. Да, мне будет не хватать этого маленького магазина, где работали Стиг, Берит и Гун.

Страстная пятница — 68 г.

Я никогда не была оптимисткой, но мне всегда казалось, что жить все-таки можно. Больше мне так не кажется. Хоть я и здорова, мне трудно дышать, страх сжимает сердце. Всю ночь перед моими глазами стояло лицо мальчика, искаженное страданием. Оно промелькнуло на экране телевизора в программе «Актуальные события», когда показывали участников демонстрации немецкой молодежи. В этом лице я увидела отражение тревог всего мира. Молодежь видит, что общество прогнило насквозь почти всюду в мире. Но неужели это видит только молодежь?

Я попытаюсь снова жить, попытаюсь, попытаюсь. Но ведь это не значит жить, если ты только ешь, спишь, убираешься; ешь, спишь, убираешься и не имеешь возможности с кем-нибудь поговорить. Никто не заботится ни о чем, кроме как о самом себе и о своей собственности. Так есть и так будет, сколько бы красивых слов ни бросали с церковных кафедр и с трибун риксдага. Человек — самое ужасное создание божие...

Апрель — 68 г.

В школе нам рассказывали одну библейскую историю. Она называлась «Семь тощих и семь жирных лет». Помню, мне было так жалко тощих коров. Как они жили, бедняги, — непонятно. Последние два года я часто вспоминала эту притчу. Ведь мы в Швеции тоже начинали с тощих лет. Да, теперь уже много лет мы купаемся в изобилии. Но нас ждут тяжелые времена.

Сегодня заводы «Буфорса» снова объявили о сокращении производства. Увольняют в первую очередь малоквалифицированных рабочих. Над нами, уборщиками городской коммунальной службы, назначили нового начальника. Цель — навести экономию в городской казне. «И все это действительно нужно?» — спросил он меня, когда я передала ему расписание уборок. Нужно ли это, сказал он. Он считает, что вся тяжелая работа должна производиться в обычные рабочие часы. Воображаю, что из этого получится. Через некоторое время у нас будут земляные полы, как во времена каменного века. Конечно, от некоторых специальностей нынче можно отказаться. Но профессия уборщицы настолько важна, что она должна сохраниться. Не могу понять, почему нам не оставили нашего старого начальника. Он доверял нам, уборщицам. Это самое лучшее и для начальника, и для подчиненных.

2/5-68 г.

Сегодня утром, убирая помещение отдела социального обеспечения, хотела было подождать прихода кого-нибудь из служащих. Думала спросить, не могут ли городские власти выкупить мой дом. Но струсила, как всегда, и ушла домой, никого не дождавшись. У меня просто не хватает духу жаловаться кому-либо на мои трудности. И так заботы одного дня превращаются в мучения другого.

Зарплата за март составила 180 крон.
Зарплата за апрель — 280 крон.

Но ведь в Турции люди зарабатывают в провинции 270 крон в год. Так что мне не на что жаловаться.

Конечно, беднякам в Швеции не так плохо живется. Но тем не менее пропасть ме-

---

МАЙЯ ЭКЕЛЁФ
ЗАПИСКИ УБОРЩИЦЫ

жду высоко- и низкооплачиваемыми велика.

Только что слушала программу «Зеркало семейной жизни». Передавались интервью с женщинами из провинции Эребру. Им платят по 135—200 крон в неделю пособия по безработице[1]. Я чуть не лопнула от зависти. Подумать только, получать деньги и не работать. И не платить с них налогов. Это ведь рай. Сегодня у меня сверхурочная работа. Ух, как тошно. Только бы выдержала спина, да и голова тоже. Мечтаю стать безработной.

Понедельник вечером

Записалась к доктору Виотти. Узнаю у нее, есть ли возможность досрочно уйти на пенсию. Нет никакого смысла работать, пока не свалишься. Ведь мы живем в обществе благоденствия. Значит, можно было бы освободиться от каторжного труда, коль скоро тебе стукнуло пятьдесят.

Вчера по радио в программе «На злобу дня» слушала выступление Пальмшерны[2]. Недолго еще людям жить на нашей планете, если не произойдет никаких изменений. Воздух кончится, потому что в океан сбрасывается очень много ядовитых веществ: яды убивают морские водоросли — хлорофиссы,— которые обеспечивают нас кислородом. Пресной воды также хватит ненадолго. Тонкий слой почвы разрушается из-за вырубки лесов и джунглей. Останутся только горы да камни.

15/5-68 г.

Прочитала в газете, что в вечерней школе закончился учебный год. Я завидую тем, кто имеет силы продолжать учиться. Но проучись я хоть тысячу лет, все равно не смогла бы найти другой работы. Никто не захочет нанять человека с больными, распухшими руками, с помутневшими от постоянного напряжения глазами, одетого в поношенную одежду. Никто — в нашем великолепном обществе. Нет, уборщица есть уборщица — всегда и везде и навеки веков.

28/5-68 г.

Просто ужасно сознавать, что заработок становится все меньше и меньше и сил тоже все меньше по мере того, как стареешь.

За два дня до троицы

Сегодня ждала Яна. В три часа узнала, что он приехал в город, но прямым ходом направился в больницу. Оттуда пришел в семь часов. Спазм сердечных сосудов или что-то в этом роде. В конце семестра у него были трудности с деньгами... «Теперь, мама, тебе придется меня подлечить!» — сказал он. Конечно, я охотно это сделаю, но ведь нелегко ухаживать за больным, если он уходит на улицу и лупит ногами мяч, хотя чувствует боль в сердце. А я сижу и жду. На часах — одиннадцать, а он все еще на улице.

Целый вечер я размышляла над нашим финансовым положением. Сидела у телефона и думала, что надо позвонить кому-нибудь из денежных тузов Карлскуги и попросить денег в долг. Куда там. Разве я смогу вернуть. Подумать только, какой испытываешь трепет перед власть имущими, что даже не решаешься с ними поговорить... Если сейчас Ян как следует отдохнет, то летом он сможет поступить на какую-нибудь работу. А может, я соберусь с духом и поговорю с кем-нибудь насчет денег в долг... На неопределенный срок...

17 июня 68 г.

Пришло время мне подумать о доме, точнее говоря, о продаже дома. Однажды я говорила об этом в бюро социального обеспечения. Там посоветовали мне сохранить свой дом. Это обойдется дешевле, сказали. «Мы вам поможем, если будет трудно...» Возможно, что это так и было бы, но у меня нет мочи молить и клянчить. Нелегко быть владельцем домика и сада, когда нет ни сил, ни денег.

В канун иванова дня

Вечером я быстро разделалась с уборкой. Нельзя же каждый день протирать пол, хотя по правилам так положено. Многолетний стаж работы обеспечил мне хороший опыт по этой части. Я никогда не делаю ни одного лишнего движения. Когда я одна, я умело организую свою работу. Хотя для этого, само собой разумеется, я должна быть в хорошей форме. Наш начальник высчитал, что я зарабатываю 31 крону в день. А на уборку обеих квартир в доме Виотти мне отводится только час двадцать шесть минут. При этом нужно еще перетащить с этажа на этаж все приспособления для уборки. Плата, конечно, ничтожная.

Пятница, 28/6-68 г.

Ох, это проклятое лето.

Что же я за человек, если так поношу самое чудесное время года. Уж не потому ли, что сама жизнь моя клонится к закату? Последние годы меня стало раздражать, что с летом так же противно носятся, как с рождественскими праздниками. До лета я непременно это сделаю, говоришь себе в январе, феврале, марте и т. д. И ничего не получается. Возможно, у других это иначе, но у меня именно так всегда бывает. Лето проходит быстро, я не поспеваю за ним.

Не успеваю посидеть у озера, собрать букет полевых цветов, послушать кукушку, жаворонка, дергача, плеск волн. Не успеваю вдохнуть в себя запах летних водоемов, летнего дождя или сена.

[1] Такие пособия выплачиваются лишь в течение довольно короткого отрезка времени.

[2] Пальмшерна — молодой шведский ученый-популяризатор, выступающий за сохранение природной среды.

27/7-68 г.

Речь о мире Линдона Джонсона

— Каждый вечер, прежде чем я гашу лампу перед сном, я спрашиваю себя: все ли ты сделал, что в твоей власти, чтобы помочь объединению мира, чтобы попытаться принести мир и надежду народам всего мира? Достаточно ли ты сделал?

Через двадцать четыре часа после произнесения такой речи Джонсон приказал начать массированные бомбардировки Северного Вьетнама.

17/9-68 г.

Если бы я могла описать все мои переживания от прочитанных и читаемых сейчас книг... Пожалуй, ни один автор не оставил меня равнодушной. Каждый из них, как и вообще всякий человек, с кем приходится встречаться, всегда что-то тебе дает. Может, это не очень легко объяснить, но дело обстоит именно так. Даже если сразу этого и не почувствуешь, все равно, когда встречаешь нового человека или когда читаешь книгу, то непременно как-то обогащаешь себя. Нет ни одного человека, который был бы совершенно не интересен. Когда я думаю о моих путешествиях-странствиях в мире книг, я понимаю, что мне все же повезло — я начала с книг рабочих писателей. Читать их было легко, в них изображалась среда, к которой принадлежишь ты сам. После них в тебе пробуждается интерес к жизни других групп людей и общества в целом. Начинаешь также понимать, что в исторических свершениях большое значение имеет, как ведут себя простые люди.

Не успею я сдать в библиотеку прочитанные книги, как тут же начинаю скучать по ним. И я так радуюсь, когда они снова появляются в моей комнате. Книги — самое лучшее общество, какое у меня когда-либо было. Признаюсь, писатели мне всегда казались чем-то вроде святых. Я никогда не осмелилась бы написать письмо даже кому-либо из рабочих писателей. Мне казалось, что они поднимут меня на смех. Кроме того, я боялась помешать их работе... С годами я стала храбрее и однажды написала Фридегору и поблагодарила его за серию книг о Ларсе Хорде. Помню, как билось у меня сердце, когда я опускала это письмо. Мне казалось, что я делаю что-то недозволенное.

...Конечно, многие годы своей жизни я была крепко-накрепко привязана к улице Сульварисвеген, но вместе с тем я видела мерцание масляной лампы в Тибете, я слышала, как полощутся на ветру молитвенные флаги в Лхасе. Я взбиралась на горные массивы Кальманчуокаса. Я путешествовала по «Счастливой Аравии». Я жила в Древнем Египте. Я обитала в гротах Китая. Я теснилась в трущобах крупных городов Америки и Азии. Я побывала в Лондоне и в английской деревне. С помощью книг я также путешествовала по Швеции. Бывала в провинции Сёрмланд, в лесах Тиведа и Норрланда.

18/9-68 г.

Сегодня Бойян пригласила нас к себе. По дороге я зашла за Карин. Время пролетело быстро. Мы проговорили три часа. Говорили о выборах президента в Америке, о бунтах молодежи всего мира. Бойян надеется, что ей, возможно, удастся пожить в лучшем мире — без капитализма. Я промолчала, потому что я пессимистка. Не хотела говорить, что я думаю о будущем. Как хорошо иногда посидеть на бюллетене — иначе мы не могли бы встречаться. Карин и я работаем тогда, когда Бойян свободна. Бойян подарила мне значок, который она купила в России. На нем изображен Мавзолей на фоне Кремля. Позже днем я позвонила одной знакомой даме. У нее накопилось много одежды, которую она мне отдаст, когда я приеду к ней. Я поехала, и пока хозяйка готовила кофе, я и еще двое гостей слушали музыку. Это были записи духовой музыки из миссионерской церкви. Мы пили кофе, ели вкусный торт... Итак, утром разговоры о предстоящей мировой революции, после обеда — прослушивание музыки вместе с тремя дамами из миссионерской церкви. Любопытно, что они думают о мировой революции. Рядом со мной на кухонном столе лежит газета «Афтонбладет» [1]. В ней опубликовано мое письмо. Я его прочту еще раз перед тем, как лечь спать...

Вчера ночью лежала и снова думала о себе. Как я сумею сохранить силы, чтобы продолжать работу, пока не достигну пенсионного возраста. Спина, ноги, голова и т. д. У меня едва хватает сил убирать за собой. Если бы мне только отделаться от уборки лестниц. Но деньги за них идут прямым ходом на выплату ссуды за нефтяное отопление. Так что я ДОЛЖНА сохранить за собой эту работу. Как я сумею? Я лежала и все думала, думала... После такой ночи, конечно, встаешь бодрой и полной сил.

22/10-68 г.

День святой Ингрид

Скоро снова начну работать — погуляла и хватит. Как-то пойдут у меня дела? Когда я утром встаю с постели, то иногда довольно долго не могу наступить на ногу из-за боли, вызванной расширением вен. Повторная операция большой пользы не принесла. Но как сделаешь по полу несколько шагов, боль утихает. Хуже дело со спиной. Позвоночник дает о себе знать довольно долго в начале дня.

Вчера вечером пришли Бойян и Карин. Милая Бойян, она решила, что я могу принять участие в конкурсе на лучший политический роман. Судьями будут Альва Мюр-

[1] Одна из крупнейших шведских вечерних газет, орган профсоюзов.

МАЙЯ ЭКЕЛЁФ
ЗАПИСКИ УБОРЩИЦЫ

даль [1], Юлленстен [2] и многие другие известные деятели.

«Напиши о какой-нибудь стране, где происходит много всяких событий,— сказала Бойян.— Я чихнула на эту вырезку три раза».

Спасибо тебе, Бойян, за то, что ты вырезала из газеты объявление об условиях конкурса, и за то, что ты чихнула на вырезку. Прекрасное ощущение, когда тебя считают способным что-то сделать...

P. S. Политический роман будет называться: «Я вымыла достаточно много полов».

17/10-68 г.

Ула позвонил из Гётеборга. Они отпечатали 16 тысяч листовок для демонстрации против участия в Олимпиаде в Мексике. Они работали ночами Завтра я получу по почте несколько экземпляров, а также газету о Мексике, изданную организацией «Кларте» [3]. Молодежь хочет показать несправедливость, существующую в мире. Немногие из людей среднего поколения понимают, о чем идет речь. Они только и твердят: не смешивайте спорт с политикой. Но ведь политика — это все, что происходит в обществе.

...Моя пропагандистская деятельность против участия в Олимпиаде в Мексике проходит плохо. В сумке у меня всегда лежат листовки, но мне никак не удается завязать с кем-нибудь разговор. Все куда-то торопятся, всем страшно некогда, если не идет речь о бинго [4]. Тогда они сразу забывают все свои дела и терпеливо просиживают за игрой час за часом. Когда кого-нибудь спросишь: «Может, дать что-нибудь почитать»,— большинство отвечает: «Я даже газету не успеваю просмотреть». Наверно, мне не везет. Ведь должны же быть и такие люди, которые проявляют интерес и к чему-то еще, а не только к себе лично да к Стену-Ингвару. Это имя мне вспомнилось в связи с недавней сценой в кафе. В течение трех часов здесь обсуждался вопрос: кто лучше поет — Стен-Ингвар или Стен Нильссон. У кого из них более красивый голос. Ах, как это важно...

Первое ноября

Джонсон провозгласил прекращение бомбардировок Северного Вьетнама.

Нам ни жарко, ни холодно от того, что он сказал.

Никто больше не верит ни слову из того, что говорит Джонсон.

Понедельник вечером

...Какое же дать название будущей книге, не знаю. «Будни госпожи Медельсвенссон»? [1] Или: «Записки уборщицы»? Стоит подумать. Всякий раз, когда я думаю о «книге», меня разбирает смех... Безумная затея. Я убираю в библиотеке и вижу, насколько переполнен книжный рынок. Если так пойдет и дальше, то земля не выдержит тяжести книг.

Ночь на субботу

Впервые в жизни я буду участвовать в демонстрации. Она состоится завтра — в поддержку угнетенного южновьетнамского народа и страны Хо Ши Мина.

Пусть все, кто в состоянии ходить, завтра будет вместе с нами!

Приказы Джонсона о прекращении бомбардировок от первого апреля и первого ноября не оказали никакого действия. Одновременно с предложением остановить бомбардировки он направил своим генералам во Вьетнаме распоряжение, согласно которому им давалось право самим решать — производить бомбардировки или нет... В соответствии с распоряжениями Джонсона они имеют также право в любом количестве разбрасывать *напалм*.

Демонстрация, состоявшаяся в прошлую субботу, прошла хорошо. Нас было четырнадцать человек. После всей проделанной работы — распространения листовок и т. д.— кажется немного странным, что в городе с населением почти в 40 000 жителей на демонстрацию вышло так мало граждан. Я несла плакат «США, вон из Вьетнама!». Сейчас это единственное, что важно. Они находятся там слишком долго и разрушили там чересчур много.

...Как обычно, телевидение и радио изрыгают поток новостей. Сегодня во время передачи последних известий я услышала, что в Южной Америке каждую пятую секунду от голода умирает ребенок. За прошлый год там умерло пять с половиной миллионов детей. Один профессор сказал, что те дети, которые выживают, все равно чересчур истощены.

Понедельник, 2/12-68 г.

Только что позвонила доктору Виотти. Попросила ее дать направление к ортопеду для бесплатного получения медицинского корсета. Сразу это не выйдет, сказала Виотти. Сначала надо пройти исследования. Черт побери, билет на автобус в Эребру стоит так дорого, что поехать туда нет возможности.

Понедельник после Дня Люсии [2]

...У меня все как обычно. Настроение совершенно отвратительное. Женщины-сосед-

---

[1] Мюрдаль Альва — министр без портфеля. Известная деятельница шведской социал-демократии.

[2] Ларс Юлленстен — современный шведский писатель.

[3] «Кларте» — левая студенческая организация Швеции.

[4] Бинго — модная сейчас на Западе игра наподобие лото.

[1] Медельсвенссон — шуточная условная фамилия «типичного среднего шведа».

[2] День Люсии — 13 декабря. Ежегодный шведский праздник в самое темное время года в честь солнца и света.

ки спрашивали меня, получила ли я в этом году сколько-нибудь ДЕНЕГ К РОЖДЕСТВУ В ПОДАРОК ОТ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ. Сегодня я смогу им сообщить, что получила 200 крон из фонда памяти короля (проклятые деньги). Не деньги, конечно, я рада их получить. Я имею в виду саму филантропическую систему. Получила также пятнадцать крон от Северного музея, но эти деньги я заработала своим трудом.

Неотправленное письмо в редакцию газеты.

Элизабет, к сожалению, не поняла, чего добиваются активисты из молодежи, которые организуют демонстрации и пикетирование с плакатами в руках.

Молодежь стремится пробудить в людях сознание того, что в мире господствуют насилие и гнет. И если кто-нибудь из них употребляет бранные слова, то это можно извинить. Нелегко сохранять хорошие манеры, когда горит дом, в котором ты живешь. Молодежь хочет заставить «людей» задумываться. Элизабет говорит также, что молодежь должна работать, вместо того чтобы демонстрировать. Я — пожилая женщина, всю свою жизнь занятая тяжелой работой. Однако самым значительным днем своей жизни я считаю день участия в демонстрации, когда я несла плакат «США, вон из Вьетнама!». Если кто-нибудь делает что-то, чтобы предупредить мировую катастрофу, так это именно молодежь, на которую жалуется Элизабет. Мы должны быть ей благодарны за то, что она работает не только ради приобретения красивых вещей, как это делают многие другие. Она работает на благо всех трудящихся.

Мальчики собирали сегодня деньги в честь восьмилетней годовщины НФО. Вечером я слушала по радио программу о поэзии Аллена Гинзберга. Мне особенно понравились строки:

Завеса живой крови
В далеком Вьетнаме...

Можно ли выразить лучше то, что происходит во Вьетнаме? Америка духовно больна, говорит Гинзберг. Массовая истерия и массовое насилие. Скоро они разорвут землю на куски. Правительство сошло с ума, оно толкает молодежь к самоубийству.

Канун Нового года — 68 г.

Мы с Улой не успели вовремя закончить уборку. Поэтому Новый год нам придется начать с завершения уборки.

Вообще же настроение, как обычно, подавленное. Израиль подверг бомбардировке аэродром в Ливане. Уничтожено пятнадцать самолетов. Они говорят, что это в ответ на нападение арабов на израильский самолет. Над миром никогда еще не нависала такая угроза, как теперь. Американцы продолжают щедро сбрасывать бомбы (их все больше и больше). Бомбы весом в сорок тонн... С Новым годом...

...Вчера по телевидению показывали фильм об обществе изобилия. Совершенно как в жизни. Люди выбрасывают еще совсем хорошие вещи. Чтобы купить новые. Герой фильма — рабочий-мусорщик, который видит, сколько добра выбрасывают на помойку. Конечно, нас окружает чересчур много различных вещей, хороших вещей. А выбрасывают потому, что устарела мода, или потому, что владелец увидел у кого-нибудь точно такую же одежду. Фильм заканчивается словами: «Единственное, что нужно в этой стране,— это капитал». И это правда. Питание на редкость дорого. В этом году я заработала 13 000 крон, а после удержания налога у меня осталось восемь тысяч — за труды всего года. Прожить же в капиталистической стране на такую сумму нелегко.

Хотела еще написать Беллие. Но сейчас срочно ложусь спать. Завтра утром рано вставать.

31 января 68 г.

В воздухе кружатся белые хлопья снега. Картина напоминает мне детство. Я сижу в комнате отца в Кларарунде. В железной печке весело потрескивают дрова. В отцовской комнате тепло, и мне хорошо и спокойно. Сейчас сижу в своем собственном доме (весь он заложен в счет оплаты долгов до самого конька на крыше). Нет тепла, нет покоя, и ничего веселого тоже нет.

Вчера вечером ходила в галерею на выставку, посвященную Кубе. Там бесплатно показывали фильм о Кубе. В фильме рассказывалось о сахарном тростнике. Видно было, что земля там плодородная и щедрая. Если бы только кубинцы получили возможность продавать свой сахар по приличной цене. Проклятая торговая блокада!

Четвертый день отпуска

Сегодня немного полежала. Болит голова. Возможно, гонконгский грипп, соседи почти все переболели, а он заразный. Быть совершенно, совершенно свободной — невообразимо прекрасно. Не пускаться на велосипеде в дорогу в холод и снег. Когда я добираюсь до города, то иногда настолько устаю, что сил для уборки уже не остается. Недавно в одном месте, где я убираю, мне сделали замечание, что я небрежно вытерла пыль. Когда старший над нами, уборщицами, сказал мне об этом, я ответила, что жаловаться надо бы мне.

...Вчера позвонила в местное налоговое управление относительно налоговых льгот. Хотела спросить, нужно ли врачебное свидетельство о частичной потере трудоспособности. Разговор до этого пункта не дошел: услышав, что у меня нет детей до 16-лет-

МАЙЯ ЭКЕЛЕФ
ЗАПИСКИ УБОРЩИЦЫ

него возраста, он сказал, что я не могу рассчитывать на льготы. Когда же я намекнула на то, что бланки очень трудно заполнять, он заревел: «Кто-нибудь вынужден будет вам помочь, если вы сами не умеете писать».— «Писать я могу, но в данный момент я бы хотела узнать: сколько надо зарабатывать в год (когда детям больше 16 лет), чтобы иметь право льготы?» — «Пять тысяч четыреста крон»,— сказал он. Итак, я зарабатываю *чересчур* много!

Восьмой день отпуска

Сейчас пойду в бюро оплаты больничных листов и спрошу там начальника, могу ли я хлопотать перед правительством о досрочном уходе на пенсию. Ведь у меня не хватит сил дотянуть до шестидесяти семи[1]. В некоторых странах женщины, родившие пятерых детей, автоматически до наступления пенсионного возраста получают пенсию. В том числе и те, кто выполнял тяжелую работу. У нас же в Швеции лишь вдовы получают пенсию, как бы молоды они ни были, и тяжелобольные. Но не разведенные. Вдовы получают пенсию лишь потому, что пользовались преимуществом: до пенсии находились на иждивении мужа.

В три часа пополудни выглянуло солнышко. Когда я ходила на лыжах, стоял мокрый туман. Солнце едва угадывалось за облаками. Пара лыж — это такое богатство. Я получила их несколько лет назад от коллеги-уборщицы. На мне «бабушкины» ботики. Они достаточно просторны для двух пар носков.

2/3-69 г.

Охота за коммунистами

Индонезия за последние четыре месяца пережила кровавое побоище, немыслимое побоище, равных которому мало в современной истории.

Жертвы — это коммунисты или люди, которых считают таковыми.

На Восточной Яве — десятки трупов обезглавленных людей ежедневно дюжинами плыли вниз по реке.

Остров Бали. Массовые казни и уничтожение одной деревни за другой. Один чиновник консульства в Сурабае оценивает вероятное число убитых в 200 000. Население Бали два миллиона.

Суматра. Число убитых 200 000. Если прибавить цифры убитых на других островах, таких как Борнео и Сулавеси, то общее число может достигнуть 600 000.

Суббота, 8/3-69 г.

...Позавчера отключили телефон. Я не страдаю из-за его отсутствия. Такие вещи предназначены для высокооплачиваемых.

В Южной Африке усиливаются репрессии. Растет число смертных приговоров. В сентябре 1968 года более 45 тысяч африканцев сидело в тюрьме за проступки, которые в других государствах не рассматриваются как нарушение закона. Большинство заключенных, согласно Рикарду Фалку (наблюдатель международной комиссии юристов), подвергается пыткам.

Канун пасхи

...В США многие из членов организации «Черные пантеры» арестованы, и чтобы выйти на свободу до суда, они должны внести огромный денежный залог. Никто не в состоянии достать такие деньги... Завтра я встану пораньше и буду разносить листовки к Неделе Вьетнама. Стиг вчера уехал в Гётеборг.

В программе «Зеркало времени» вчера проходили дебаты на тему: должна ли Швеция участвовать в чемпионате Европы по легкой атлетике в Афинах или нет. Часть из тех, кто хотел бы поехать, заняла позицию, достойную средних веков. «Мы поедем, если правительство скажет, что нам следует там быть». Сами они не хотят высказать свое мнение... Думаю, что правительство решит, что «мы» должны ехать.

Завтра вставать в три утра.

Много раз за свою жизнь я встречала людей, которые жалеют меня. Это такие люди, которых мне самой хотелось бы пожалеть. Я считаю, что моя жизнь намного, намного богаче, чем их, хотя я и беднее, чем они. Они сожалеют о том, о чем не имеют ни малейшего понятия. Они оценивают жизнь иначе, чем я. Что составляет предмет их радости?— рассуждаю я в одиночестве. Конечно, это ОЩУЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. Но испытывали ли они когда-нибудь, спрашиваю я, такие же чудесные переживания, какие испытывала я (нельзя же быть полностью удовлетворенным тем, что владеешь мертвыми вещами).

...Как я постепенно превращаюсь из честного гражданина в нечестного — а может быть, наоборот?

Считайте как хотите. Все в мире относительно.

Вот эту бумагу я украла, ручку тоже. В Швеции завал бумаги (я это вижу во время уборок). На Кубе не могут печатать столько газет, сколько хотят,— у них недостаток бумаги. В большинстве развивающихся стран не хватает бумаги. Но я хотела рассказать о нечестности. Люди воспитываются по поговорке: «Укравший грош украдет и быка». Никто, однако, ни дома, ни в школе, ни где-либо в другом месте не говорит о том, кто же является главным вором. К этому приходишь сам, но через много лет. Пока сам не начнешь зарабатывать себе на жизнь. А прежде думаешь, что все, что написано в законах, все правильно и что правительство всегда право, принимая свои решения и законы. Люди просто не задумываются над этим. Возможно, полагая, что «право собственности» учреждено «богом», и не пытаясь понять, почему они в это верят.

[1] 67 лет — пенсионный возраст в Швеции.

6/6-69 г.

Рукопись «Записок уборщицы» скоро будет готова. Допечатываю последние страницы... Пришлось здорово поработать. Ведь раньше мне никогда не приходилось печатать на машинке... Правда, тайком я пользовалась пишущей машинкой на работе, то одной, то другой — чтобы равномерно стирались ленты. За день мне удавалось отстучать одним пальцем примерно две страницы. Печатала в самые ранние утренние часы. До смерти боялась, что кто-нибудь придет и увидит меня не на том месте, где мне положено быть. Ведь на конторском стуле уборщица сидеть не должна, это я хорошо усвоила... Только один раз за десять лет службы в городском управлении я отважилась позвонить по телефону в другой город. На следующий день у этого самого телефона была повешена табличка с надписью: «Для личных переговоров пользоваться воспрещается».

Никогда нельзя брать вещи, которые тебе не принадлежат,— это правило запечатлелось в моей голове с детства. Однако ныне незыблемая скала покачнулась. Я перестала быть ЧЕСТНЫМ гражданином. Я пользовалась и чужими пишущими машинками, и телефоном.

Теперь одной проблемой стало меньше. Я сижу у своего собственного стола и стучу на пишущей машинке. Одна из моих соседок немножко посвящена в мои «литературные» труды. Она одолжила для меня машинку у своего знакомого. Чудесно. Теперь мне не нужно больше вставать в три утра и замирать от страха перед каждым ударом по клавише. Сижу у своего СОБСТВЕННОГО стола, и мне нечего бояться. Проклятое право собственности!

Разрешите представить моих знакомых:

Один — охотится за мелкими птичками.

Один — читает Сигге Старка [1].

Один говорит, что бюллетени НФО ЮВ — коммунистическая пропаганда.

Один ходит на ревю Кар де Мумма [2], как только приезжает в Стокгольм.

Один читает лишь те строки, где встречается слово «шлюха» (в книгах Муберга [3]).

Двое постоянно бегают за своими мужьями.

Другие моют окна, автомашину, ездят на свои садово-огородные участки или на дачу.

Из всех из них больше всего работать приходится мне.

Разве удивительно после этого, что в мире литературы я лучше себя чувствую, чем в том мире, который называется настоящим.

...Ён Такман [4] пишет в конце своей книги «Напалм»: «Если бы профсоюзы и другие организации всего мира стали протестовать против политики Джонсона, то бомбардировки Вьетнама, пожалуй, прекратились бы».

Если бы все стали протестовать...

...«Все» — это мы, подавленные и запуганные люди. И мы совершенно игнорируем то обстоятельство, что миллионы бомб и горящий напалм сбрасываются на маленькую страну нашего мира.

Швеция, Швеция, Швеция. Сверхорганизованная страна. Почему никто из нас ничего не может сделать?

---

[1] Сигге Старк — псевдоним писательницы Сингме Боернберг, автора развлекательных романов.

[2] Кар де Мумма (род. в 1904 г.) — псевдоним современного писателя-юмориста, автора фельетонов и театральных обозрений.

[3] Вильгельм Муберг — известный современный шведский писатель.

[4] Ён Такман — шведский врач, социолог, депутат риксдага от компартии. Член международной комиссии по расследованию американских преступлений в Индокитае.

Среди книг

Издано в СССР

НОВЫЙ РИЛЬКЕ

Р.-М. Рильке. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. Научный редактор И. Д. Рожанский. Составитель Е. В. Головин. Москва, «Искусство», 1971. 455 стр.

Выход довольно объемистого сборника произведений Райнера Мария Рильке (1875—1927) является, в известной степени, литературным событием. Один из крупнейших лирических поэтов XX века, автор замеченного в свое время романа, ряда эссе, посвященных современникам — мастерам изобразительного искусства, Р.-М. Рильке, уроженец Праги, принадлежит новой немецкой литературе, в которой он занял одно из центральных мест. При этом он был восторженным поклонником русской художественной культуры, русского искусства и вообще России, о которой, правда, имел довольно своеобразное представление.

Но, к сожалению, русский читатель, не владеющий немецким языком, до настоящего времени мало знал Рильке. Двух превосходных переводов Пастернака было недостаточно, чтобы почувствовать немецкого поэта, а остальные переводы были далеки от поэтической силы Рильке.

Рецензируемая книга по своему материалу оказалась не во всем равноценной. Она была бы, может быть, хороша как один из томов собрания сочинений, расширяющий и углубляющий наше представление о Рильке. Но самостоятельный сборник хотелось бы видеть не совсем таким. Недаром редакция сочла необходимым особо предупредить читателя о трудности отбора произведений Рильке.

И действительно. Стихотворный раздел, например, в книге очень краток. Конечно, книгу издало «Искусство», которое по своему профилю вовсе не обязано издавать стихи. Но все-таки славой своей Рильке обязан прежде всего глубокой и оригинальной лирике, то задушевной, то философской, то острософциальной, обязан лексике, обогащающей и расширяющей немецкий поэтический словарь, особым своим интонациям, дотоле небывалым в немецкой поэзии, короче говоря, он прославлен именно как поэт, а не как эссеист. Но сама краткость этого раздела исключала, по-видимому, всякую возможность сделать его репрезентативным в смысле отбора стихов. Быть может, выбор их определился существующим на русском языке материалом — теми стихами, которые удались переводчикам. Это было бы достаточным оправданием, если бы не тот факт, что переводами Рильке занимаются сейчас многие молодые (и немолодые) переводчики, и занимаются весьма успешно. Так или иначе, стихотворный раздел, как это ни жаль, занимает в сборнике весьма скромное место.

А если уж так получилось, будем следовать в композиции нашей статьи той последовательности, в какой показывает нам творчество Рильке разбираемая книга.

Уже в самых ранних своих критических опытах Рильке поражает щедростью ума и сердца. На любое художественное впечатление он реагирует буквально извержением образов, мыслей, чувств, ассоциаций. Это не исследования ученого и даже не размышления критика-публициста. Это прежде всего сердечные излияния и восторги поэта, для которых поводом является часто не истинная ценность картин (а следовательно, и не значение художника в целом), а только те возможности, которые они дают для собственных откровений Рильке.

Но молодой Рильке по художественным вкусам — типичный сын своего времени, апологет господствующей моды, и это за

ставляет его упражнять перо в безудержных похвалах незначительным художникам, таким, как Генрих Фогелер или пусть Отто Рунге. Правда, впоследствии Фогелер полностью отказался от стилизации средневековья, от салонных и символистских сюжетов своей молодости ради реальной действительности и стал одним из лидеров нарождавшегося пролетарского искусства Германии. Но этой его исторической роли Рильке тогда не знал и знать не мог. Тем удивительнее, что он почувствовал будущую перемену, говоря: «Его искусство — прежде всего восторженное, блаженное предсказание этой (то есть предчувствуемой художником.— *В. Л.*) действительности». Но дифирамбы Рильке относятся исключительно к раннему, неоромантическому периоду художников Ворпсведе (так называлась деревушка, по имени которой и названа себя эта группа), и в наше время они, конечно, неубедительны. «Ворпсведе» была в искусстве незначительным эпизодом, отнюдь не заслуживающим каких-либо дифирамбов.

К сожалению, здесь читатель идет за Рильке вслепую. Творчество Рунге и Фогелера ему не известно ни в оригинале, ни по репродукциям, так как монографий об этих художниках у нас нет, и даже наша семитомная «Всеобщая история искусства» о Рунге говорит вскользь, а о Фогелере и вовсе не упоминает. Поэтому и внутренний диалог с критиком становится для читателя невозможным.

Совсем иначе обстоит с Беклином, живописцем, чьи произведения широко печатались в популярных журналах начала нашего века и распространялись в сотнях дешевых репродукций. Беклин был любимцем кратковременной моды, но в исторической перспективе оказался, при всем своем таланте, довольно-таки пошлым «картинщиком». Дойдя до похвал ему, пропетых на одной волне с похвалами Рембрандту, читатель начинает решительно сомневаться в художественном вкусе немецкого поэта.

Однако надо помнить, что лишь немногим критическим умам удается опередить вкусы своей эпохи и предугадать суд истории. Если критическая манера молодого Рильке порою кажется нам наивной, переходящей в патетический словесный орнамент, если мысль его подчас теряется в зыбких метафорах, носящих чисто литературный, не имеющий никакого отношения к живописи характер, то его способность так «вулканически» реагировать на явления искусства уже сама по себе представляет интерес, помогает раскрытию личности Рильке. Примем же эту поэму в прозе, называемую «Ворпсведе», не как страницу из истории искусства, но как еще одно произведение Рильке.

От молодости поэт переходит к творческой зрелости, причем этот переход совершается весьма стремительно. В работе о Родене, публикуемой по-русски уже не впервые, мы находим множество зорких и точных наблюдений. И мы не станем требовать, чтобы Рильке смотрел на Родена нашими глазами, глазами людей другой эпохи. Он еще не мог отличить в Родене то действительно великое, что сохранило и сохранит свою художественную ценность на века, от того, что принадлежит всецело его времени, когда господствовал стиль модерн, наложивший печать на многие произведения великого скульптора.

Замечательны письма о Сезанне. Надо вспомнить, что имя Сезанна звучало в ту пору далеко не так, как теперь. Художник, которого официальная критика и официальные жюри встречали насмешками и свистом, удостоился первой большой выставки лишь после смерти. И в числе восторженных голосов, зазвучавших вокруг этой выставки, одним из самых громких был голос Рильке. Но понять Сезанна с его приматом живописного начала над всеми остальными значило оставить далеко позади того Рильке, который наивно восхищался литературными реминисценциями Фогелера. «Работа,— пишет он о Сезанне,— уже не знавшая никаких пристрастий, никаких причуд, до последней своей частицы взвешенная на весах бесконечно чуткой совести, работа, которая так неумолимо сводила все существующее к его цветовому смыслу, что в царстве красок оно начинало новую жизнь, без всяких воспоминаний о прошлом». И дальше: «Никогда раньше не было раскрыто с такой ясностью, как дело живописи совершается среди красок, как надо их оставлять совсем наедине, чтобы они могли выяснить свои отношения. Их общение друг с другом — в этом вся живопись».

Приблизительно в это же время создаются «Новые стихотворения», в которых Рильке окончательно находит самого себя, свой собственный, ни на кого не похожий поэтический стиль. В письмах к жене он признается, какое огромное значение имеет для него художнический подвиг Сезанна. И надо сказать, что в Сезанне он отметил самое существенное — то, что сделало Сезанна кумиром нескольких поколений художников и ввело его в семью великих артистов колорита и формы. Интересно, что, сам того не сознавая, Рильке сформулировал и то, что в произведениях Сезанна только намечалось, но было подхвачено другими и привело впоследствии многих художников к чисто формалистическим исканиям и далее — к безвыходному тупику.

Продолжая эволюционировать «с веком наравне», Рильке, как видно из писем к Элизабет Таубман, сумел понять и раннего Пикассо, проникнуть в самую сущность футуризма и кубизма и правильно определить их место в истории искусства.

Общеизвестна его любовь к России и русскому искусству, сыгравшая немалую роль и в его биографии, и в его творчестве. Об этом достаточно говорят его письма к Е. М. Ворониной, к Александру Бенуа и, наконец, его статья «Основные тенденции в современном русском искусстве». Кое в чем он обнаруживает глубокое понимание, кое в чем стоит на точке зрения, для нас уже неприемлемой. И здесь мы приходим к рус-

ским стихам Рильке, которые также являются частью его любви к России.

Конечно, тот, кто уже знает и любит Рильке, и в этих стихах, написанных поэтом на русском языке, почувствует обаяние его таланта. Но если Рильке, как можно судить по всему, отлично понимал русский язык, то его активное владение языком оставляло желать многого. Его русские стихи опять-таки годились бы в полном собрании сочинений, но для первого знакомства их можно было бы дать поменьше, а то и вовсе опустить, предпочтя им еще одно-два письма, которые всегда у Рильке являются равноправной формой литературного творчества, или еще несколько переводных стихотворений, или, исходя из мозаичного характера книги, какой-нибудь существенный для понимания эстетики Рильке отрывок из романа «Записки Мальте Лауридса Бригге».

Зато бесспорный интерес представляют его «Письма к молодому поэту», отобранные и переведенные Мариной Цветаевой. Здесь каждое слово выношено, выстрадано и по-профессиональному конкретно. А если эти мысли порою чужды нашим представлениям, нашему интеллектуальному строю, все равно как авторская исповедь они очень значительны и, вероятно, могут служить ключом не только к творчеству Рильке, но, до известной степени, и к творчеству самой Цветаевой.

В заключение необходимо хотя бы коротко поговорить о переводах, и прежде всего о переводах стихов.

Очень редко великий поэт или даже просто большой поэт является на другом языке сразу во всем своем величии. Чаще этому предшествует работа нескольких поколений переводчиков, и тогда устанавливается известная традиция перевода, которую вновь пришедшие могут сколько угодно ломать или варьировать. А иногда на языке переводчика возникает собственная поэтическая школа, близкая переводимому поэту, и это тоже облегчает воссоздание оригинала на чужом языке.

Опыт, накопленный предыдущими переводчиками Рильке, дает нам основания полагать, что у нас настало время осуществить полноценные его переводы. Своеобразие поэтики Рильке ставит иногда перед его переводчиком непреодолимый языковой барьер. Тем выше надо расценивать работу К. Богатырева и В. Микушевича, которая хотя и не всегда передает поэтическую «пронзительность» оригинала, является все же решительным шагом вперед и широко раскрывает двери будущим интерпретаторам поэзии Рильке.

На высоком уровне выполнены, если говорить в целом, и переводы прозы. Очень часто, когда литераторы переводят статьи о живописи, сразу чувствуется, что писал не специалист, не художник. Здесь, ни в письмах о Сезанне (переводчик Г. Ратгауз), ни в других статьях и письмах этот дефект не ощущается.

И наконец несколько слов об аппарате книги. Большим недостатком, как уже говорилось выше, является полное отсутствие репродукций: для книги, выпущенной издательством «Искусство», это вдвойне странно.

Не приходят читателю на помощь и авторы сопроводительных статей. Вступительная статья И. Д. Рожанского дает ясное представление о жизненном и литературном пути Рильке. Но книга-то посвящена не столько Рильке — поэту или прозаику, сколько Рильке — художественному критику. А об эволюции его взглядов на изобразительное искусство, о месте их во всей его эстетической системе нет ни единого слова. Очень интересна для нашего читателя статья К. Азадовского и Л. Черткова «Русские встречи Рильке». Безусловно, украшает книгу и рассказ о встречах с Рильке художника Леонида Пастернака. Нельзя не назвать содержательной и своеобразной статью В. Микушевича «Жалобное небо», в которой рассматриваются отдельные стороны творчества Рильке; жаль только, что свои мысли он иногда постулирует, пренебрегая доказательствами или хотя бы развернутым изложением.

Завершая рецензию, следует все же сказать, что этот сборник, несмотря на известную фрагментарность, чрезвычайно интересен. И теперь читатель с нетерпением ждет еще одной книги — книги стихов, где Рильке предстал бы перед нами во весь свой поэтический рост.

В. ЛЕВИК

ХРУПКОЕ МАЛЕНЬКОЕ СЧАСТЬЕ

Памела Хенсфорд Джонсон. Решающее лето. Перевод с английского Татьяны Шинкарь. Послесловие П. Балашова. Москва, «Прогресс», 1970. 431 стр.

Литературный дебют Памелы Хенсфорд Джонсон, состоявшийся в 1935 году, немало шокировал благопристойных обывателей из «среднего класса». Заимствованное из стихотворения английского поэта XVII века Джона Донна

название ее первого романа звучало и впрямь декларативно: «Постель эта — твое средоточие». Впрочем, не стоило понимать его буквально: речь шла о девушке, испытавшей первое чувство страстной любви и отстаивавшей свое право на счастье.

Дебют молодой романистки увенчался успехом с оттенком сенсации. За первым романом последовали другие. Постепенно П. Хенсфорд Джонсон нащупала свою излюбленную тему: внутренний мир и личные взаимоотношения людей того самого «среднего класса», против которого бунтовала ее первая героиня и из которого вышла сама писательница.

Наше знакомство с творчеством талантливой английской романистки началось с перевода ее романа «Кристина» в 1963 году. Потом один из ее позднейших романов «Ночь... Молчание... Кто там?» был опубликован журналом «Нева» (№№ 6—7, 1968). «Решающее лето» — третий роман писательницы, выходящий на русском языке. Он был написан в 1948 году и явился завершающей частью трилогии (первой и второй частями ее были романы «Слишком дорого для меня» и «Каменная авеню»), рисующей жизнь одной буржуазной семьи на протяжении последней четверти века. Заметим, что каждая из частей трилогии, объединяемых общими персонажами, обладает внутренней завершенностью и, следовательно, может рассматриваться как цельное, самостоятельное произведение.

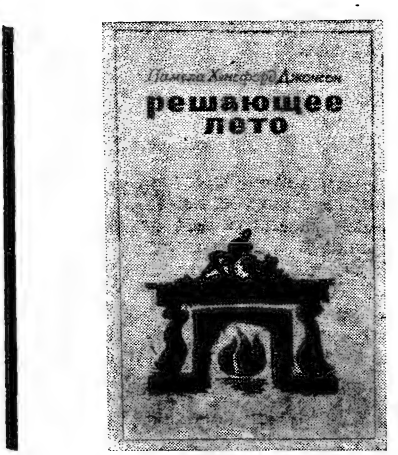
Действие романа «Решающее лето» развертывается в первый послевоенный год Англии, когда руины и пустыри на улицах Лондона еще служат живым напоминанием о недавней войне. Молодость героя-рассказчика (роман написан от первого лица) Клода Пикеринга осталась позади; позади — первая юношеская любовь, унылый, безрадостный брак, дружеская привязанность к Хелене — второй жене отца, женщине сильной воли и большого духовного богатства. В настоящем — необременительная работа в частной картинной галерее и чувство теплой, почти отеческой заботы к сводной сестре Чармиан — дочери Хелены. Когда-то их тесно связало острое ощущение неблагополучия в семье; теперь общность душ помогает переносить выпадающие на их долю удары судьбы.

Не удовлетворен жизнью Клод, человек, по собственному признанию, «некогда что-то делавший, кем-то бывший, но так и не ставший ничем», человек талантливый, тонко чувствующий искусство, написавший пять книг о живописи — и не нашедший подлинного жизненного призвания, однажды глубоко любивший, но не испытавший житейского счастья. Не повезло и Чармиан. Ее муж Эван Шолто, женившийся на ней по расчету, не только открыто изменяет ей, но и не гнушается сомнительными, а то и явно незаконными сделками. Чувство супружеского долга, страх, что их маленькая дочь останется без отца, заставляют Чармиан безропотно выполнять опостылевшие обязанности жены и хозяйки дома. Она готова нести свой крест до конца — даже после того, как Эвана, вместе с его сообщником Джонни Филдом, ловят с поличным при продаже краденых автомашин и осуждают на трехлетнее тюремное заключение.

Параллельно с историей Чармиан перед читателем развивается еще одна жизненная драма: любящая Клода Элен Эштон терзается горьким сознанием вины (она уверена, что в юности послужила невольной причиной гибели своего мужа — военного летчика). Элен так же не уверена в себе, так же боится новой привязанности, как нерешителен и не уверен в себе Клод, считающий, что все лучшее в его жизни осталось позади. И лишь после долгих, мучительных колебаний, сомнений героям удается соединиться узами счастливого супружества.

Такова глубокоинтимная, камерная драма, которая разыгрывается в обстановке послевоенного Лондона. Было бы преувеличением утверждать, что автор полностью изолирует своих героев от больших вопросов и проблем эпохи. Время вторгается в роман в виде случайно брошенных реплик о трудностях с продовольствием, о военной истерии в США, об очередных выборах. У персонажей есть определенные политические симпатии и антипатии; однако их интерес к политике не идет дальше традиционного разговора в кругу друзей. Писательнице нельзя отказать в знании духовного мира персонажей, умении передать сложную диалектику любовного чувства; однако нельзя не видеть и того, что «Решающее лето» — характерный образец столь популярного в послевоенной английской литературе романа «малой темы».

Судить о произведении следует по законам жанра, в котором оно создано; поэтому надо оценить по достоинству искусство романистки в воспроизведении эмоционально-психологической жизни ее героев. Восемь романов, отделяющих «Решающее лето» от раннего литературного дебюта писательни-



цы, стали для нее школой мастерства. Трилогия — одно из высших достижений ее творчества. Почерк автора трилогии — почерк осознавшего себя мастера, критически воспринявшего опыт многих больших европейских писателей.

...Роман подходит к концу. Клоду удается, наконец, преодолеть свою неуверенность, а влюбленной в него Элен — побороть в себе призраки прошлого. На предпоследней странице книги она говорит ему: «Это была маленькая скромная свадьба, правда? Но ведь это наш скромный маленький мир».

Последняя точка над «i» поставлена. Роман утверждает право человека на «скромный маленький мир», скромное маленькое счастье.

Это маленькое, локальное счастье, быть может, и заслужено героями. Но, закрывая книгу, трудно отделаться от мысли о хрупкости этого счастья — особенно если вспомнить о гигантских катаклизмах, сотрясающих в последние десятилетия даже те страны западного мира, которые издавна считались цитаделями его могущества.

НИКОЛАЙ ПАЛЬЦЕВ

Издано за рубежом

ПЕРВЫЙ ПРОЛЕТАРСКИЙ ПОЭТ СЛОВАКИИ

Ján Poničan. Boje a láska. Bratislava, Slovenský spisovatel. 1970.

В Братиславе вышел в свет том избранных поэтических произведений Яна Поничана (род. в 1902 году) — одного из зачинателей словацкой пролетарской литературы. В этом томе, названном «Сраженья и любовь», представлены стихотворения из всех основных сборников Поничана, его поэмы «Странный Янко» и «Восстание», а также некоторые произведения, ранее не публиковавшиеся. Составил том и снабдил его послесловием известный словацкий критик Михал Хорват, библиографический аппарат подготовил Либор Кнезек, чья неутомимая работа в этой области хорошо знакома всем, кто занимается словацкой революционной поэзией.

Пролетарская литература в Словакии возникла в начале 20-х годов, и первой книгой, знаменовавшей ее рождение, был сборник стихов Я. Поничана (1923) с необычно длинным названием-девизом:

«Я существую, думаю, чувствую и вижу, все люблю, лишь тьму ненавижу».

В тогдашних литературных кругах Словакии, отличавшихся известной патриархальностью и консерватизмом, появление этого сборника было воспринято как дерзкий вызов, как своего рода скандал. Многие крупные словацкие поэты воспевали создание чехословацкого буржуазного государства, а юный поэт посягнул на все и вся, он провозгласил «новое божество» — трудящегося человека, превыше всего восславил «свою возлюбленную» — революцию.

Новое направление в литературе Словакии формировалось под непосредственным воздействием чешской революционной литературы. Многие молодые словацкие литераторы, в том числе и Поничан, в то время учились в Праге, были близки с революционным чешским студенчеством. В своем первом сборнике Поничан сознательно стремился выступить поэтическим соратником С. К. Неймана, И. Волькера, Й. Горы. И все же совершенно прав был словацкий критик-марксист Э. Уркс, в противовес официальному мнению приветствовавший дебют Поничана, когда писал: «Опыты пролетарской поэзии в словацкой литературе не являются подражанием или прямым копированием пролетарской поэзии чешской, ибо таких стихов, какие пишет Ян Поничан, в молодой чешской поэзии не найти»[1].

Особенности словацкой действительности, где велика была сила церкви и патриархальных устоев, обусловили то, что главным объектом бунтарских выпадов молодого поэта стали ханжество и религиозный дурман, рабская покорность господам и традициям. Обличительный порыв в первой книге Я. Поничана еще не всегда имел четкое социальное осмысление, но он был направлен против всего косного и застывшего, начиная с церковных обрядов и мещанской морали и кончая традиционными формами стиха, которые он безжалостно разбивал и отбрасывал. Поничан ощущал себя в поэзии посланцем нищей и мягежной словацкой бедноты, он звал бороться за счастье всего трудового люда, утверждая с молодым задором:

Не мечтать хотим мы,
а —
жить.

(«Уничтожьте мечту»)

Вместе с В. Клементистом, Д. Окали, Э. Урксом, Л. Новомеским, П. Илемницким Я. Поничан основал в 1924 году объединение словацких пролетарских писателей «Дав» («Масса»). Революционное крыло словацкой литературы, возглавляемое «Давом», во второй половине 20-х годов превратилось в авторитетную силу национального культурного развития. В области поэзии эту новую стадию словацкой пролетар

[1] Edo Urx. Básnik v zástupe. Bratislava, 1961, str. 77.

ской литературы представил наряду со сборником Л. Новомеского «Воскресенье» (1927) второй сборник стихов Я. Поничана — «Демонтаж» (1929).

По сравнению с раскованной лирической стихией раннего творчества Я. Поничана «Демонтаж» отличают бóльшая четкость социального видения мира, бóльшая строгость формы и в то же время — драматическая напряженность, высокий накал эмоций. С болью и гневом показывает поэт оборотную сторону мнимого процветания буржуазной республики: нещадную эксплуатацию рабочих, локауты, демонтаж промышленности в Словакии. Но и в придавленной тишине рабочих кварталов он слышит нарастание протеста:

Над фабриками
воздух тих.
Дома тихи.
И тихо в них.

Но в мире раздается грозный звук,
словно по миру бьют
тыщи,
мильоны,
мильярды
озлобленных рук.

(Перевод В. Корнилова) [1]

В 1931 году Я. Поничан впервые приехал в Советский Союз. Ему довелось побывать в Сибири, проехать по той самой трассе, по которой в годы гражданской войны пролег печально знаменитый путь чехословацких легионов. В стихах сборника «Ангара» (1934) Я. Поничан рассказал о новой жизни бескрайних сибирских просторов, о первой советской пятилетке, о Кузнецкстрое, об ударниках, об обуздании дикой природы. По контрасту с действительностью страны победившей революции мысль о судьбе его собственной родины, страдающей в тисках кризиса, еще глубже ранила сердце поэта, который боролся за ее изменение и в своих стихах, и в повседневной работе партийного пропагандиста.

Мы листаем сегодня «Сраженья и любовь», перечитываем стихи Я. Поничана — то восторженные, то гневные — и словно бы слышим дыхание трудной и славной эпохи суровых классовых битв, ощущаем и горечь ее потерь, и ее самоотверженное горение, несгибаемую веру в конечное торжество революции.

В поэзии Я. Поничана неизменно присутствовало сильное лирическое начало, особенно полно проявившееся в таких сборниках, как «Вечерние огни» (1932) и «Полюса» (1937), в стихах военных и послевоенных лет. Поэт всегда был чуток к красоте народных песен, мотивы которых он нередко вплетал в свои произведения.

Творческим достижением Я. Поничана, когда как бы слились воедино лирическая, фольклорно-песенная и бунтарско-агитационная тенденция его поэзии, явилась поэма «Странный Янко» (1941). Обратившись к образу замечательного словацкого поэта-романтика Янко Краля, который был глашатаем народного протеста в эпоху революции 1848 года, Я. Поничан создал произведение, взывавшее к борьбе против фашистского господства.

В послевоенном творчестве поэта хотелось бы особо отметить цикл «Город» (1947) и примыкающие к нему стихи, посвященные Братиславе.

Жизненный путь первого пролетарского поэта Словакии был не из легких. Ему пришлось пережить преследования, аресты, тюрьму. Но он дождался осуществления того дела, за которое боролся, дождался претворения в жизнь идеала социалистической Словакии, которому и сегодня он отдает все свои силы.

В мае этого года Коммунистическая партия Чехословакии отметила пятидесятилетие своего существования. В дни, предшествовавшие юбилейным торжествам, Ян Поничан был удостоен самого высокого в республике звания Народного художника. И том «Сраженья и любовь» подтверждает справедливость этого титула.

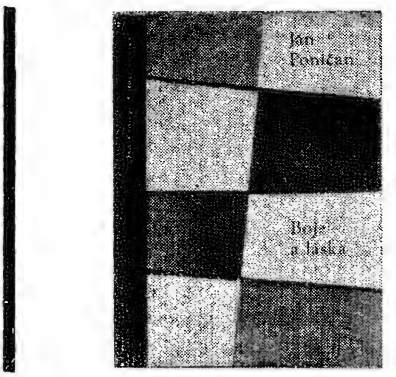
...Ян Поничан ходит по Братиславе широким упругим шагом завзятого спортсмена. Он то и дело отвечает на приветствия. Его знают здесь очень многие. Пожилые рабочие — соратники с давних времен. Молодежь — с ней он встречается на беседах и читательских конференциях. А порой в пестрой уличной толпе поэт, который в 30-е годы представлял КПЧ в городском совете Братиславы, обменивается сдержанным поклоном с кем-нибудь из «бывших».

Я. Поничана живо интересует все: строительство моста через Дунай и благоустройство старой Братиславы, проблемы университетского образования и вопросы теории социалистического реализма, новинки советской литературы (кстати сказать, Поничан перевел на словацкий язык «Анну Снегину» Есенина, «Владимир Ильич Ленин» Маяковского, стихи Л. Мартынова и многое другое) и начинающие словацкие авторы.

Сраженья за лучшее будущее продолжаются и сегодня, а настоящая любовь не имеет конца.

С. ШЕРЛАИМОВА

[1] Из сборника «Словацкая поэзия XIX—XX вв.». Москва, 1964.



МЫСЛИТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ

Carl v. Ossietzky. Rechenschaft. Publizistik aus den Jahren 1913—1933. Herausgegeben von Bruno Frei. Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag. 1970.

Карл Осецкий (1889—1938) делал постоянное дело публициста — писал историю современности, писал ее кровью сердца «решительного и бескомпромиссного борца против возрождения варварства, против фашизма», как назвал Осецкого Иоганнес Бехер. Не случайно некоторые западногерманские литературоведы пытаются сегодня принизить или извратить социальное и эстетическое значение творчества Осецкого. В статьях Х. Вальтер и А. Энзелинга, в монографии Р. Цеплина страстное обличение империализма и фашизма Осецким преподносится как проявление извечного бунтарства индивида против государственной власти вообще. Не приходится удивляться, что деятель партии ХДС Дитрих Рольман, выступая в Гамбургском университете в связи с 25-летием со дня смерти Осецкого, без обиняков заявил: «Антимилитарист не может служить примером для нашей Германии».

Называя Осецкого «осквернителем родного гнезда», подобные деятели до сих пор не могут простить ему того, что в годы яростной антисоветской истерии он видел в нашей стране «классический пример конструктивного преобразования общества».

Недавно вышедший в ГДР однотомник публицистики Осецкого «Отчет» дает почувствовать последовательный антимилитаризм Осецкого, показывает его бесстрашную борьбу с фашизмом, его решительный отпор предателям рабочего класса Германии — правым социал-демократам, раздавшим, по словам Осецкого, «из наследия Бебеля чуть ли не все, до последней рубашки».

Страница за страницей «Отчет» позволяет проследить «процесс переплавки», который претерпел в своем духовном развитии Осецкий. При всей сложности и противоречивости этого процесса отчетливо видна главная линия: от пацифистских иллюзий к твердому убеждению в том, что правда и историческая перспектива на стороне рабочего класса.

«Тот, кто видел впервые этого скромного, вежливого человека, никогда бы не подумал, что за такой внешностью скрывается самый сильный и самый проницательный публицист Германии. Осецкий всецело отдал себя грандиозной борьбе с войной. За рабочим столом этот человек, скромный до робости, превращался в неутомимого, непреклонного борца»,— так отзывался об Осецком близко знавший его Лион Фейхтвангер. Непреклонным борцом Осецкий оставался и в казематах Шпандау, куда его бросили гитлеровцы сразу после поджога рейхстага, и в лагерях смерти Зонненбург и Эстервеген, и во дворце принца Карла — главной резиденции берлинского гестапо, где председатель рейхстага обещал измученному Осецкому свободу, если он поставит свое перо на службу третьему рейху.

Уже в одной из первых статей «Эрфуртский приговор» (1913) Осецкий выступил как достойный продолжатель демократических традиций передовой немецкой публицистики XIX века, традиций, восходящих к Генриху Гейне. Проанализировав судебный процесс в Эрфурте, Карл Осецкий доказал зависимость буржуазной юстиции от наиболее реакционных милитаристских сил. Приговор был жестоким издевательством буржуазного правосудия над «маленьким человеком»: кайзеровские судьи увидели «мятеж» в заурядной потасовке между жандармами и солдатами, выпившими по случаю окончания службы, и приговорили солдат к длительным срокам тюремного заключения.

Осецкий разоблачил классовый характер буржуазной юстиции, «у которой не только завязаны глаза, но и заткнуты уши и сердце одето в броню». Правда, молодой публицист возлагал еще слишком большие надежды на «голос сердца» и не был свободен от иллюзий буржуазного пацифизма, хотя и радикального направления. Первая мировая война, Великий Октябрь, Ноябрьская революция 1918 года в Германии ускорили процесс его освобождения от буржуазно-пацифистских предрассудков и оказали революционизирующее влияние на его творчество.

Однополчане избрали рядового сапера Осецкого, автора антивоенных листовок, в Совет солдатских депутатов.

Возвратившись после войны в родной Гамбург, он всецело предоставил себя в распоряжение Гамбургского совета рабочих, солдат и матросов — сочинял прокламации «Мир — народам», выступал с докладами на политические темы. Документ его пылкой веры — статья «Будущая Германия» (декабрь 1918 года), в которой он,

обращаясь к Германии, призывал: «Пусть несчастья заставят тебя не молиться, а мыслить и действовать».

«Мыслить и действовать» — это навсегда стало девизом Карла Осецкого. Он — против тех, кто, замкнувшись в башне из слоновой кости, старается оградить себя от политических штормов века. Автор статьи «Будущая Германия» взывает к их разуму и воле. Действие осмысливается Осецким философски, как принцип самой жизни. После того как кайзеровский рейх был сметен Ноябрьской революцией 1918 года и была установлена Веймарская буржуазно-демократическая республика, он готов отдать все силы тому, чтобы «Германия прониклась... демократическим духом».

Осецкий понимал, что в Веймарской «республике без республиканцев» генералы и генеральные директоры связаны с монархистами кровными узами классовых интересов. «Новая форма государственного устройства — республика, несомненно, существует, но как? — задумывается Осецкий в статье «Грехи республики» (март 1921 года).— Кайзеровский рейх был основан на милитаризме, который он сам взрастил... на милитаристской идеологии, которую он усердно поддерживал. Решительный разрыв с этим должен стать первым делом республики. Но этого не случилось». Его гнев вызывает то, что «старая формация со своими руководителями, в сущности, осталась». По-прежнему кайзеровские генералы стремились к реваншу, уверенные в том, что «единственный способ заслужить внимание в мире — сделать Германию сильной, вооруженной державой».

В 1927—1933 гг., когда Осецкий был главным редактором и издателем «Вельтбюне», его социальная критика достигает зрелости и остроты. Под влиянием революционных боев немецкого пролетариата ускоряется его идейно-политическая эволюция, начинается его сотрудничество с коммунистами. В 1926 году Осецкий поддержал коммунистов в референдуме за отчуждение княжеского имущества. В 1928-м присоединился к протесту КПГ против воссоздания военно-морского флота Германии и в статье «Народный опрос» (11 декабря 1928 года), к сожалению не вошедшей в сборник «Отчет», писал: «Смысл предложения Пика и коммунистов ясен, и его следует поддержать». В 1929-м он активно сотрудничал с коммунистами в Комитете по расследованию обстоятельств расстрела первомайской рабочей демонстрации. Этому событию посвящены в сборнике статьи «Цергибель виноват» (май 1929), «Исключительный закон против коммунистов?» (май 1929), «Ареопаг» (июнь 1929). Реакционная пресса и социал-демократическая газета «Форвертс» защищали берлинского полицей-президента Цергибеля, по приказу которого были убиты 33 рабочих — участника первомайской демонстрации и множество ранено. В ответ на злобные выпады «Форвертс», называвшей Комитет «коммунистическим ревю», Осецкий отвечал: «Мы нашли в деятелях Коммунистической партии, с которыми не раз в прошлом скрещивали шпаги, спокойных, сознающих свою ответственность людей».

Последовательный антифашизм Осецкого привел его к горячей поддержке кандидатуры Эрнста Тельмана на президентских выборах 1932 года. В статье «Первый тур» (март 1932) он писал: «Мы призываем голосовать за Тельмана, ибо каждому социалисту и искреннему республиканцу альтернатива «Гинденбург или Гитлер» должна казаться чудовищной». Поддержка коммунистов явилась логически необходимым следствием всей предыдущей деятельности Осецкого. Реакция не могла ему простить этого.

10 мая 1932 года Арнольд Цвейг, Леонгард Франк, Лион Фейхтвангер, Эрнст Толлер и другие видные писатели провожали Осецкого в тюрьму Тегель — суд обвинил его в разглашении «государственной тайны» и приговорил к полутора годам тюремного заключения.

В тот же день в «Вельтбюне» была опубликована статья «Отчет», которой суждено было стать политическим завещанием Осецкого. Осецкий признавался, что «его сердце неодолимо следует зову пролетарских масс», «живой плоти и крови рабочего движения», «его людей, их горящих справедливостью душ». Осецкий завещал не ослаблять борьбы против опаснейших врагов мира — германского милитаризма и фашизма.

Осецкий остался верен своим убеждениям до конца.

Товарищ Осецкого по заключению Рихард Фос вспоминал: «Несмотря на физическое истощение, он переносил все без жалоб, героически, никогда не терял своего человеческого достоинства. Он был светлым примером для нас. Люди, терявшие мужество в этом море страданий, глядя на него, вновь распрямлялись».

Идеи и дух Осецкого живут в кирпично-красных тетрадках «Вельтбюне», который с 1946 года издает в Германской Демократической Республике вдова Осецкого вместе с профессором Германом Будзиславским, несколько лет назад сменившим на этом посту Ганса Леонарда.

В числе бессмертных патриотов Германии, погибших от рук фашистских палачей, Вильгельм Пик называл Эрнста Тельмана и его земляка, тоже гамбуржца — Карла Осецкого, профсоюзного лидера коммунистов Хуземана, левого социал-демократа Брейтшейда, католика Клаузнера. «Наш народ построит всем им памятник созданием новой, демократической Германии, памятник, который будет виден издалека». Этот памятник — миролюбивая ГДР, подлинная «дочь свободы и справедливости», республика, о которой мечтал Осецкий. Его наследие — составная часть немеркнущих духовных ценностей немецкого народа.

С. ЛАЙНЕ

СРЕДИ КНИГ

ЭТЮД В КРОВАВЫХ ТОНАХ. ТЕМА И ВАРИАЦИИ

Alain Robbe-Grillet. Projet pour une révolution à New York. Paris, les Editions de Minuit. 1970.

Французский толковый словарь дает два значения слова «révolution». 1. Движение по замкнутой кривой. 2. Переворот, революция. Первым пользуется как термином астрономия, обозначая им периодический возврат небесного тела в определенную точку постоянной орбиты. Во втором смысле это слово вошло во все европейские языки и в переводе не нуждается.

Назвав свой последний роман «К проекту одной революции в Нью-Йорке», Ален Роб-Грийе имеет в виду оба эти взаимоисключающие значения. Впрочем, и само понятие «проект» не лишено игры смысловых оттенков: с одной стороны, проект — это план, разработанный для осуществления некоего замысла, и тем самым этап, момент его реализации; с другой, проект (мы сказали бы по-русски, акцентируя это значение,— «прожект») — как бы оппозиция к реальности, проект — это то, что пока не существует и, вполне возможно, никогда не осуществится.

Так что игра начинается с названия. Оно — камертон. Автор дает настройку на игровой характер прочтения. Абзац, которым роман открывается, подтверждает, что нота нами подхвачена верно: «Первая сцена разворачивается стремительно. Чувствуется, что она многократно отрепетирована: каждый знает свою роль наизусть. Теперь слова и жесты следуют один за другим непринужденно, слитно, без запинки, как необходимые элементы хорошо смазанного механизма. Потом — пробел, пустое пространство, мертвое время неопределенной протяженности, не заполненное ничем, даже ожиданием того, что произойдет дальше».

Сцены повторяются, дублируются, отрицают одна другую, фабула не развивается— перед нами прихотливые вариации на одну тему: крови, огня и насилия. Автор преднамеренно стирает грань между картинкой и действительностью, больным кошмаром и явью.

...На глянцевитой обложке детективного романа, где кричащими красками изображены бронзовокожая женщина со связанными руками и ногами, распростертая на полу и склонившийся над нею со шприцем в руках мужчина в белом халате, внезапно возникает движенье, в дверях вырастает черная фигура в смокинге и маске, врач, производящий свои чудовищные опыты, в панике бросает жертву, крика которой не слышно только потому, что рот ее заткнут кляпом, к телу обреченной красавицы подползает огромный мохнатый паук, выискивает для укуса самое нежное и чувствительное место смуглой кожи, покрытой от напряжения и ужаса капельками пота...

Прекрасная рыжеволосая проститутка ДР, Джоан Робсон или Робинсон, изучающая историю религий, хотя она уже имеет два университетских диплома — по политической философии и эстетике преступления,— корчится в допросе под пыткой, насилуемая одетым в полицейскую форму «исполнителем» Организации, возможно, самим рассказчиком, которому поручено покончить с ней, а потом поджечь дом, поскольку, выдавая себя за пуэрториканку, ДР скрыла, что она ирландка, католичка и служащая нью-йоркской полиции. Но нет, мужчина в полицейском мундире — это агент соперничающей банды, которому поручено выведать у ДР тайны Организации и, возможно, переманить ее для использования на тех же ролях в своем рекете. Но нет, это манекен рыжеволосой красавицы, зеленоглазой и розовокожей, выброшенный на пустырь, где под прикрытием стены рекламных щитов маньяк-садист, возможно, сам рассказчик, вонзает иголки в упругую грудь из пенопласта и поджигает умелую имитацию волос на лобке недвижно распростертой и привязанной к ножкам гладильной доски фигуры, наслаждаясь воплями жертвы...

В пустом вагоне метро-экспресса, пролетающего без остановок мимо станций, хулиганы-подростки, возглавляемые Лорой, тринадцатилетней племянницей миллионера, одетой в расстегнутую черную кожаную куртку прямо на голое тело, издеваются над жалким буржуа Бен-Саидом, нет, над человеком в маске Бен-Саида. Но нет, Лора не возглавляет банду, она пытается ускользнуть от сексуального маньяка по прозвищу Вампир из Метрополитена, который вместе с доктором Морганом (тем самым, который склонился со шприцем в руках... или нет, тот был только в маске доктора Моргана) и мнимым Бен-Саидом охотится на нее и похищает, чтобы изнасиловать, допросить под пыткой и запереть в клетку, где она должна быть съедена крысами, меж тем как автоматические телекамеры зафиксируют ее муки, поскольку этот фильм уже продан некой немецкой фирме, заплатившей немалые деньги за натурную съемку такого рода (фотографии Лоры, тайно сделанные в ее спальне, ванной и уборной были предварительно посланы заказчику и им одобрены)...

Пробел. «И внезапно действие начинается снова, без всякого предупреждения, и снова идет та же сцена, стремительно, как всегда, подобная самой себе»,— это последняя страница романа. Дальше — пауза, мертвое время, и читатель может продолжить, мысленно повторяя, слегка варьируя, сцены допросов под пыткой, жутких преследований, томительного страха.

Кровавая мозаика Роб-Грийе складывается из осколков реального мира. Того мира, где прокуроры и судьи — сообщники гангстеров. Того мира, где полиция покрывает убийц президента, «убирая» возможных свидетелей и уничтожая вещественные доказательства, которые могли бы помочь разоблачению преступников; где братья

президента — и возможные претенденты на этот пост — оказываются один — убитым в разгар предвыборной кампании, другой — втянутым в историю с убийством. Того мира, где зверские убийства — вроде убийства киноактрисы Шарон Тейт — совершаются с ритуальной обстоятельностью, граничащей с безумьем, но почерпнутой из романов «черной серии» и фильмов ужасов. Того мира, где человек дышит страхом, где он утратил ощущение безопасности, где смерть и насилие подстерегают его на людной улице, в метро, в баре, в конторе, в лавочке, под собственной крышей.

Преступление — атмосфера романа. Преступление наглое, изощренное, безнаказанное, убежденное в своем самовластии. Так, Вампир из Метрополитена «отлично известен полиции, которая регулярно пополняет картотеку его преступлений»; причем доклады составляет сам преступник. «Если его еще не арестовали, не судили и не приговорили к смерти на электрическом стуле, то только потому, что он состоит на штатной должности в одной из служб муниципальной разведки, являясь, в частности, шефом осведомителей некой террористической организации, где он руководит кафедрой сексуальной криминалистики на своего рода вечерних революционных курсах».

Тема убийства и слежки занимала Алена Роб-Грийе с первого его романа. Причем и в «Ластиках», и в «Соглядатае», с которыми этот автор вошел в литературу, персонаж, разыскивающий убийцу, по всей вероятности, и есть убийца. Большинство книг Роб-Грийе может быть прочитано как пародия на детективный роман, в котором, однако, загадка преступления не распутывается, но служит как бы инвариантной моделью, отслаивающей множество возможных вариантов совершившегося события, вариантов, отрицающих один другой, но неизменно укладывающихся в эту инвариантную модель. Персонажи его романов всегда перемещаются в некоем замкнутом пространстве, где все пути пересекаются на преступлении, все отношения между людьми могут быть мотивами преступления, все слова и поступки — доказательством и отрицанием преступности убийцы-сыщика. Однако ни в одном из предыдущих произведений Роб-Грийе модель преступления не претендовала на то, чтобы быть моделью мира, моделью общества, моделью универсального сознания,— в романе «К проекту одной революции в Нью-Йорке» она на это посягает.

Признаем, что это свидетельствует о чуткости писателя к нарастанию кризиса в обществе, утратившем нравственные ценности и все более мистифицирующем сознание своих граждан. Но стремится ли Роб-Грийе к демистификации? К прояснению взгляда на социальную действительность? К проникновению в механизм создания мифа и тем самым к рациональному осмыслению общественных процессов, его порождающих? Ничуть не бывало. Он ставит перед собой совершенно иную задачу.

В своем выступлении на заседании международного ПЕН-клуба, которое состоялось в мае 1971 года и было посвящено обсуждению вопроса «Зачем мы пишем?», Ален Роб-Грийе исходит из того, что «божественный порядок, а вслед за ним и порядок рационалистический, потерпели крушение» и что не существует социального устройства, которое может быть противопоставлено обществу насилия. Он делает из этого вывод, что нравственное осуждение дегуманизации, которое содержится в литературе, изображающей это общество критически, не более как «форма бегства» от действительности, и предлагает принять мифы, созданные цивилизацией второй половины XX века, не сопротивляться их модным плоским образам. Что же тогда остается литературе? Игра. Игра этими самыми «плоскими образами», осаждающими человека с ярких фотографий иллюстрированных журналов, с глянцевитых обложек «черной серии», с примитивных рисунков комиксов, с экранов кино и телевизоров, с кричащих панно рекламы. На смену «ископаемой» (термин Роб-Грийе) литературе, ощущающей свою связанность с социальным переустройством жизни, и «гарантированной одной ценностью — правдой», должна прийти, по его мнению, новая литература — свершившая свою «революцию смысла», организующаяся не вокруг человека, не вокруг судьбы индивида или истории общества — это, фи, устарело и буржуазно,— а вокруг «порождающих тем».

И действительно, человек исчезает со страниц романа Роб-Грийе. Исчезает как мерило нравственной ценности. Исчезает как многомерное существо, обладающее индивидуальностью, психологией. Роб-Грийе тасует и выкладывает на стол в причудливом пасьянсе разорванные и намеренно перепутанные карты цветного фильма ужасов, в котором засняты некие биороботы, работающие на сексуальной энергии и выполняющие изощренно-садистскую программу, потому что иной в них не заложено.

И вместе с человеком исчезает время, не только хронологическая преемственность событий, но дление индивидуальной жизни, несущее в себе возможность формирования, созревания, осознания, и дление Истории, заключающее в себе потенцию социальных перемен, возможность революции. В слепящем свете электрической вспышки, в мгновенном пролете луча вращающегося прожектора возникает яркая, красочная, четкая, очерченная, лишенная полутонов, глубины светотени, перспективы, плоская отлакированная картинка. Потом пробел, обрыв, мрак, вспышка, луч — высвечивается новый, но по существу все тот же кадр, поскольку развитие исключается и смена кадров мотивирована не необходимостью сказать правду о жизни, но прихотливой игрой «порождающих тем», которые Роб-Грийе берет, как он сам говорит, из мифов, формирующих обыденное сознание.

СРЕДИ КНИГ

О какой же революции может идти речь в этом статистическом мире, где только ничтожное отклонение отличает один эпизод, один вариант от другого, где все возвращается на круги своя?

На рекламных щитах, установленных вдоль тоннелей метро, «равноудаленно» один от другого, как любит выражаться Роб-Грийе, неравнодушный к геометрическому орнаменту, нескончаемо повторяется одна картинка: на ней изображено распростертое на бобрике пола в луже крови тело обнаженной женщины—разумеется, связанной и погибшей в страшных муках. Надпись гласит: «Вчера это было драмой... Сегодня — щепотка органического растворителя Джонсона, и бобрик — как новый». А ниже кто-то написал фламастером: «А завтра — революция».

В романе, названном «К проекту одной революции в Нью-Йорке», компрометируется сама идея революционных преобразований. Грядущая «революция» сводится ко все тем же картинам массовых пыток, публичных изнасилований, расистских надругательств, только жертвы теперь — белые.

Перед нами все та же игра, пародийная гиперболизация мифа, на этот раз мифа, созданного для устрашения обывателя, для мистификации обыденного сознания, мифа-пугала, мешающего отделить «бесовство» экстремизма от подлинной борьбы за переустройство общества на справедливых началах, и игра отнюдь не невинная.

Роб-Грийе утверждает, что игра «плоскими образами» мифов — единственный способ освобождения от них. «Если эти образы будут показаны в ярком свете как стереотипы, они перестанут быть ловушками, поскольку ими овладеет живая речь, остающаяся единственным пространством, где я свободен,— говорит он.— Теперь я знаю, что это общество, подавляющее меня,— воображаемо; и, отказываясь претерпевать в качестве отчужденного человека все его принуждения, страхи, навязчивые идеи, я, напротив, стремлюсь наполнить их новым смыслом с помощью моего собственного воображения».

Таково «терапевтическое» действие игры, предлагаемой Роб-Грийе на место «ископаемой» гуманистической литературы. Однако не слишком ли упивается автор сценами насилия, чтобы его кроваво-красный юмор действовал очищающе? Роб-Грийе признает, что, «хотя строительство романа— труд одиночки, эта деятельность не невинна, не изолирована от мира». Так каково же влияние на мир этой, попахивающей провокацией, картины, где из человеческих взаимосвязей исключено все, кроме отношения жертва — убийца, страх — насилие, лицо — маска, где воображение заперто в тесные рамки повторяющегося кошмара, где садизм и насилие предстают как архетип бессознательного, как природа человека, как сущность революции? Нет, оно неблаготворно. Эта игра лубочными образами источает тот же духовный яд, что и «плоские образы» средств массового воздействия, которые создает в порядке самозащиты общество, где разнузданное насилие становится бытом, сущностью, законом жизни.

Л. ЗОНИНА

Из месяца в месяц

АЛЖИР

ВСЕАФРИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НА ЭКРАНЕ

В кинотеатрах Алжира демонстрируется цветной фильм «Первый всеафриканский фестиваль» — документальная двухчасовая лента совместного производства киноработников Алжира и нескольких других стран Африки. Фильм рассказывает о десяти июльских днях 1969 года, когда в Алжире проходил смотр африканского искусства.

В фильме не просто показаны отдельные выступления, отмечают рецензенты. Авторы картины подчеркивают, что главная их тема едина — борьба за свободу и независимость. Фильм как бы говорит, что дни колониализма так же сочтены, как дни тяжелых испытаний для тех народов, которые еще продолжают борьбу против многовекового чужеземного угнетения.

Лондонский «Мёрмэйд тиэтр» осуществил постановку трагедии Эсхила «Прикованный Прометей» в переводе известного американского поэта Роберта Лоуэлла. Еженедельник «Таймс литерари сапплмент» высоко оценивает перевод, считая его одним из лучших образцов драматургического поэтического перевода. Спектакль поставлен Джонатаном Миллером.
На снимке: Прометей (Кеннет Хэг) и Ио (Анджела Торн).

(Еженедельник «Таймс литерари сапплмент»)

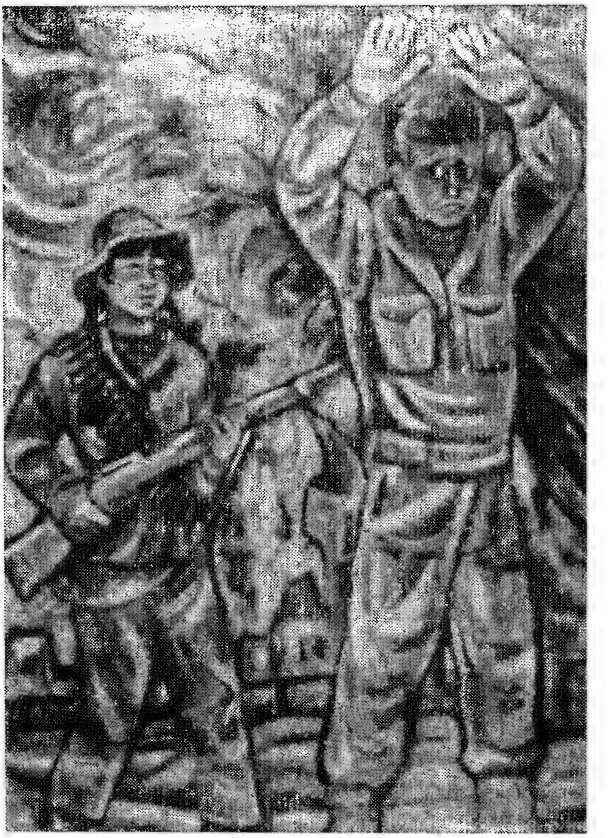
АНГЛИЯ

ШЕКСПИР — В «ТУРИСТСКОМ ВАРИАНТЕ»

«Стратфорд-он-Эйвон всегда был городом скотоводов, и сегодня по его улицам бродят стада, правда, стада особого рода,— так начинается статья английского режиссера Чарльза Маровица, опубликованная в газете «Нью-Йорк таймс».— Это туристы, приезжающие на один день и успевающие по дороге от места рождения Шекспира до его могилы осмотреть еще несколько достопримечательностей, поспеть вечером на спектакль городского театра и утром следующего дня направить свои стопы к другим пунктам маршрута по доброй старой Англии. Туризм для города — такой же источник жизненной силы, как для вампира — кровь жертвы. Театр является самым крупным деловым объединением города и стоит на втором месте, после скотоводства, по получаемым прибылям. Местная городская труппа — венец туристской индустрии, именно она заставляет город кипеть в продолжение всего лета».

Однако, продолжает автор, в жизни этого знаменитого театра бывают разительные взлеты и падения. Шекспировские спектакли в постановке Питера Брука или пьеса Гарольда Пинтера «Давние времена» — это редкие удачи. Летом театральная публика бывает самая непритязательная и неискушенная. И актеры, даже хорошие, в душе презирая этого зрителя, играют плохо. В этих условиях актеры приносят высокие идеалы в жертву двойному сбору. В «Двенадцатой ночи», например, труппа сосредоточила весь спектакль вокруг отношений сэра Тоби и Марии, изобразив ее психически ущербной, а его — пропойцей. На первый план в таких спектаклях всегда выдвигается наиболее традиционное и примитивное толкование Шекспира. Раньше, в случае подобных упреков, театр ссылался на систему звезд, но теперь, когда от 150 актеров в труппе осталось 60 и звезды уступили свои ведущие роли, стало очевидным, что тон всегда задавали второстепенные актеры.

Тем не менее, пишет в заключение Маровиц, все это никак не влияет не только на доходы театра, но и на его популярность. Он всегда остается вне критики, являясь такой же английской достопримечательностью, как смена караула у ворот королевского дворца или перерыв на чай в четыре часа пополудни. «Была бы моя воля, я бы переселил театр на отдаленный остров на севере Англии, куда не ступает нога туриста, и заставил бы членов труппы освежить в памяти свои былые представления о Шекспире»,— замечает режиссер.



Работа Стояна Венева «Индокитай», экспонировавшаяся на общенациональной художественной выставке.

(Еженедельник «Литературен фронт»)

БОЛГАРИЯ

«ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ»

«Господин Никто» — так назывался фильм, поставленный режиссером Методием Андоновым по первой части романа-трилогии известного современного болгарского писателя Богомила Райнова.

Недавно М. Андонов закончил экранизацию второй части книги. В двухсерийном фильме «Что может быть лучше плохой погоды» зрители вновь встречаются с полюбившимся им болгарским разведчиком Эмилем Боевым.

Новый фильм, как отмечают рецензенты, обладает не менее острым, захватывающим сюжетом, чем первый. «Что может быть лучше плохой погоды» — не просто приключенческий фильм. Приключенческий сюжет — лишь повод для того, чтобы раскрыть сложные человеческие характеры, поставить важные общественные и нравственные проблемы, рассказать зрителю о героизме, чувстве долга.

В главной роли разведчика Эмиля Боева вновь занят популярный болгарский актер Георгий Георгиев Гец, удостоенный трех призов национальных кинофестивалей за лучшее исполнение мужской роли. Вместе с ним в фильме снимались известные актеры Елена Райнова, Стефан Данаилов, Коста Цонев.

ВЕНГРИЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ БАРТОКА НА ПЛАСТИНКАХ

Венгерские музыковеды и специалисты грамзаписи поставили перед собой задачу

выпустить полное собрание произведений выдающегося венгерского композитора Белы Бартока. Серия будет состоять из 32 пластинок, если за это время не будут открыты какие-либо новые, неизвестные работы композитора. Выпуск записей произведений Бартока намечено завершить в конце 1972 г.

Произведения композитора разделены на четыре группы: оркестровые, фортепьянные, камерные и вокальные. Все они исполняются лучшими венгерскими музыкантами. К пластинкам прилагаются написанные музыковедами сопроводительные статьи на четырех языках — венгерском, английском, немецком и русском.

От музыкантов, которые исполняют для записи произведения Бартока, требуется прежде всего достоверная трактовка творчества композитора. При этом эталоном служат несколько грамзаписей игры самого Белы Бартока и его ближайших учеников.

ГДР

ГЮНТЕР ГЁРЛИХ: «НА ШАГ БЛИЖЕ К ОБЛАКАМ»

...Семья Герпер переезжает из Потсдама в Берлин. С новыми учителями и с новыми товарищами встречается в школе Клаус, 14-летний мальчик, трудно привыкающий к чужой для него обстановке. Постепенно он находит друзей и глубоко привязывается к классному руководителю — учителю Магнусу. Внезапная смерть учителя потрясает весь класс, особенно Клауса. Когда в класс приходит новая учительница, многие встречают ее недружелюбно — слишком разителен контраст между неопытной, молодой преподавательницей и покойным Магнусом. Среди ребят возникают конфликты. Ученики начинают задумываться над сложностями жизни, и Клаус едва не теряет своего друга Гейнца. Только большие душевные силы Клауса помогают ему и его одноклассникам найти выход из создавшейся ситуации.

Таков в общих чертах сюжет новой книги — «На шаг ближе к облакам» — Гюнтера Гёрлиха, автора книг «Черный Петер», «Самое любимое и смерть», радио- и телевизионных пьес. Последние годы он пишет в основном книги для детей.

«Я много лет сам был педагогом,— рассказал Гёрлих корреспонденту еженедельника «Зоннтаг»,— и меня волнует все, что связано с воспитанием молодого поколения. Мне кажется, что в школьной жизни отражаются главные вопросы нашей повседневности. Ведь проблемы школы, детей — это проблемы будущего...

Мне хотелось рассказать о дружбе ребят, об их колебаниях и волнениях,— сказал далее Гёрлих.— Поэтому я избрал форму повествования от первого лица».

На вопрос, можно ли назвать его книгу «воспитательным романом», писатель ответил: «Воспитательный роман — термин литературоведческий. Я не думал об этом, когда писал книгу. Но, пожалуй, этот термин к ней подходит. Я пытался связать в своем романе мир подростков и мир взрослых. Мне кажется, что без понимания мира, в котором живут и трудятся родители, нельзя понять проблемы воспитания детей».

НА ТЕЛЕЭКРАНЕ — «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ»

Известный режиссер М. Векверт поставил телевизионный фильм по «Оптимистической трагедии» В. Вишневского. К этой пьесе режиссер обращается не впервые: в 1957 году он с успехом поставил ее на сцене «Берлинского ансамбля».

В новом телевизионном фильме роль комиссара исполняет актриса Рената Рихтер. В других ведущих ролях заняты Рольф Людвиг, Хильмар Тате, Стефан Лизовски.

В фильм включены фрагменты советских фильмов, посвященных Октябрьской революции.

«Оптимистическую трагедию» В. Вишневского с ее боевым пафосом, с ее революционной прямотой и порывистой устремленностью я отношу к тем театральным постановкам, которые, благодаря идейному богатству, позволяют по-новому представить себе будни революции, обогащают историю, всегда находят живой отклик у зрителя,— заявил М. Векверт.— Нам хотелось, чтобы этот фильм помог нашему молодому поколению еще яснее представить себе величие Октября, еще глубже почувствовать его значение».

ФРГ

НОВАЯ ПРОГРАММА «ГРУППЫ-61»

Западногерманские писатели Гюнтер Вальраф, Иозеф Рединг, Фридрих Делиус и Эрвин Сильванус разработали новую программу «Группы-61», которая была принята ее членами. «Отмечающая в этом году свое десятилетие,— пишет обозреватель дюссельдорфской газеты «Дойче фольксцайтунг»,— «Группа-61» представила четкую и определенную программу деятельности».

В программе сказано, что «Группа-61» ставит своей целью доводить до общественного сознания истинную сущность эксплуатации, используя все возможные средства информации. Членом группы может стать любой желающий, кто своей деятельностью поддерживает программу группы.

«Группа-61», говорится далее, готова сотрудничать со всеми группировками аналогичных направлений, например, со стокгольмским «Рабочим кружком-70», с бирмингемской группой «Труд и искусство».

Не менее двух раз в год группа собирается для критического обсуждения произведений, проектов, мероприятий, а также для обмена опытом. Не менее одного раза в год группа проводит какое-либо общественное мероприятие.

Программа предусматривает, что группа избирает одного председателя и двух его заместителей на двухлетний срок. Для обеспечения материальной независимости группы все возникающие расходы покрываются коллективно, за счет членских взносов.

ДАНИЯ

КНИГА, НЕ УТРАТИВШАЯ АКТУАЛЬНОСТИ

Датское издательство «Гюльдендаль» готовит к печати полное собрание сочинений Ханса Кирка. Кроме хорошо известных социальных романов писателя «Рыбаки» (1928), «Батраки» (1936) и «Новые времена» (1939), сюда войдет одна из его ранних работ — небольшой роман под названием «Бургомистр уходит в отставку».

Впервые книга была издана в 1941 году — незадолго до того, как немецкие оккупанты заключили ее автора в концентрационный лагерь,— и с тех пор не переиздавалась.

«Бургомистр уходит в отставку» — короткое сатирико-юмористическое произведение, написанное в 20-е годы, когда молодой Кирк только что получил диплом юриста и поступил на службу в один из отделов магистрата. События тех лет были положены в основу произведения, а многие сослуживцы автора стали прототипами героев его будущего романа. Писатель безжалостно высмеивает будничный, бюрократический чиновничий мир. Мир, в котором процветают интриги, лицемерие, всеобщая подозрительность, бездарность и скука.

Заветная мечта каждого обитателя этого мира — выдвинуться по службе, «обойти» коллег, любой ценой подняться хотя бы на ступеньку выше по должностной лестнице.

Иронические, карикатурные характеристики Кирка не потеряли своей остроты и ныне. Разумеется, пишет рецензент газеты «Ланд ог фольк», форма общения конторских служащих и их лексикон несколько изменились со времени написания романа, но суть книги и сегодня не менее актуальна и злободневна, чем в 20-е годы.

ДНЕВНИКИ ХАНСА КРИСТИАНА АНДЕРСЕНА

Датское общество языка и литературы выпустило в свет два тома дневников знаменитого сказочника Ханса Кристиана Андерсена, охватывающих период с 1825 по 1834 и с 1861 по 1863 годы. Издание, рассчитанное на десять томов, предполагается полностью завершить в 1975 году, к 100-летию со дня смерти писателя.

«Написанные сто с лишним лет назад, дневники Андерсена и сегодня не утратили своей свежести и занимательности и читаются потомками с огромным интересом»,— отмечает рецензент «Ланд ог фольк».

АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ

ПЬЕСА В СТИХАХ — «ЛЕЙЛА И МЕДЖНУН»

Древняя арабская легенда о трагической любви поэта-юноши Кайса, прозванного Меджнуном (Одержимым), и бедуинской девушки Лейлы уже многие века вдохновляет поэтов Востока на создание замечательных произведений.

Эта легенда получила отзвук и в современной египетской литературе. В начале тридцатых годов «эмир поэтов» Ахмед Шауки написал по ее мотивам трагедию в стихах «Меджнун», пользовавшуюся успехом.

Совершенно новую и неожиданную интерпретацию образов древней легенды дал египетский поэт Салах Абд ас-Сабур в недавно опубликованной пьесе «Лейла и Меджнун». По мнению критика Набиля Рагиба, опубликовавшего рецензию на пьесу в журнале «Ат-Талиа», «Лейла и Меджнун» Абд ас-Сабура служит как бы антитезой трагедии Шауки.

Действие пьесы Абд ас-Сабура происходит накануне революции 1952 года в Египте. Основной драматический конфликт в ней составляют противоречия между двумя направлениями в египетском национально - освободительном движении той эпохи — между сторонниками «медленной, постепенной борьбы с помощью публикаций в прессе и публичных высказываний» и сторонниками «решительной борьбы с помощью пистолета и действий, направленных на изменение существующей жизни». Вечно колеблющийся мечтатель Саид олицетворяет в пьесе первое направление. Ему противостоит Хвесон — борец, человек действия. Главный женский персонаж пьесы — молодая журналистка Лейла, олицетворяющая, по мнению автора рецензии, «Египет периода становления и поисков путей». Любовь постоянно витающего в облаках романтика Саида — этого современного Меджнуна — к красавице Лейле составляет главную лирическую линию пьесы. Саид терпит неудачу в любви, но ход событий позволяет верить, что Саид найдет силы для борьбы. Грандиозный пожар в Каире в финале пьесы символизирует конец старого мира и надежду на победу новой жизни, новых отношений между людьми.

Критик Набиль Рагиб считает пьесу «Лейла и Меджнун» достижением египетской поэтической драматургии и поворотным пунктом в творчестве Салаха Абд ас-Сабура, отмечая, что в новой пьесе сделана попытка «привязать драматургическую поэзию к современным событиям и поставить ее на службу насущным проблемам человека, его стремлениям к лучшей жизни». По мнению критика, Абд ас-Сабур в своей новой пьесе приближается к Маяковскому и поэтам его направления, которые верили, что несмотря ни на что «светлое будущее придет».

К КОНЧИНЕ АМИНА ГУРАБА

По сообщениям египетской прессы, в Каире скончался известный писатель-новеллист Амин Юсеф Гураб (род. в 1914 г.).

Происходивший из небогатой семьи, А. Ю. Гураб до семнадцатилетнего возраста не умел ни читать, ни писать. Однако талантливый юноша впоследствии быстро наверстал упущенное, обнаружив незаурядный талант новеллиста. Начиная с 1945 года, когда в журнале «Аль-Адиб» был опубликован первый рассказ А. Ю. Гураба «Выгодная сделка», писателем было создано свыше тысячи рассказов. На сценах театров с успехом были показаны пьесы А. Ю. Гураба — «Хозяйка девушек» и «Нефуса». По сценариям писателя были сняты многие фильмы, среди которых наиболее известный — «Юность женщины». В 1964 году Амин Юсуф был удостоен Государственной поощрительной премии.

ПРЕМИЯ ШИВАНАТХУ САТЬЯНАРАЯНУ

Старейшее индийское издательство художественной литературы «Бхаратия гьянпитх» ежегодно присуждает премию за лучшее произведение пятнадцати важнейших национальных литератур страны.

Недавно комитет по премиям под председательством губернатора штата Уттар Прадеш, Гопала Редли, принял решение о присуждении одной из премий старейшему автору литературы телугу, лауреату премии Литературной академии Шиванатху Сатьянараяну. Премия присуждена за поэму «Шри Рамаян калпавриккшам», посвященную мифическому герою Раме. Эта поэма заняла достойное место среди многочисленных рамаян (сказаний о Раме), пользующихся в Индии многовековой популярностью.

Сатьянараян — семидесятишестилетний поэт и прозаик, автор шестидесяти романов, двадцати поэтических сборников, пяти литературоведческих трудов и нескольких пьес.

ИНДИЯ

Калькуттский театр Бохурупи, возглавляемый крупнейшим в Индии актером и режиссером Шамбху Митрой, показал зрителям новый спектакль «Бешеная лошадь» по пьесе известного бенгальского драматурга Бадула Сиркара. Оригинальная режиссура Шамбху Митры и превосходная игра актеров определили успех постановки, пишет корреспондент газеты «Амрита базар патрика».

На снимке: Деватош Гхосе и Снаоли Митра в сцене из спектакля «Бешеная лошадь».

(Газета «Амрита базар патрика»)

ИРАК

«АРАБСКИЕ ГЕОГРАФЫ И РОССИЯ»

По сообщению журнала «Аль-Мактаба», Иракской академией наук издана книга доктора Абд аль-Азиза ад-Дори «Арабские географы и Россия».

В трудах арабских географов и путешественников, пишет иракский ученый, содержатся ценнейшие сведения о славянах и Древней Руси, не сохраненные другими источниками. Самые ранние упоминания арабских писателей о славянах восходят к VIII веку. Особенно много сведений о них приводится в сочинениях арабских ученых и путешественников в эпоху расцвета арабской географической литературы — в X—XII веках. О славянах писали почти все крупные представители арабской географической науки того времени — аль-Масуди, Ибн Хаукаль, аль-Бакри, аль-Идриси.

Научную ценность представляют свидетельства арабских путешественников, побывавших в Восточной Европе и оставивших путевые заметки. Это писатель Ибн Фадлан, совершивший в 921—922 годах с посольством багдадского халифа путешествие в царство волжских булгар, ученый из испанского города Тортосы Ибрахим ибн Йакуб, ездивший во второй половине X века по поручению кордовского халифа в Германию ко двору императора Оттона и посетивший славянские земли, и, наконец, путешественник из Гранады Абу Хамид аль-Гарнати, побывавший в русских землях в 1150—1153 годах.

Наибольший интерес, по мнению Абд аль-Азиза ад-Дори, представляет путешествие Ибн Фадлана, который встретился на Волге со славянскими купцами и подробно описал их нравы и обычаи в своей записке, составленной для халифа. В «Книге Ибн Фадлана» приводятся ценные сведения и о других народах, населявших в древности нынешнюю территорию СССР — хорезмийцах, огузах, печенегах, башкирах, булгарах и хазарах.

«Книга Ибн Фадлана» представляет не только большую познавательную ценность. Она, как отмечал известный русский востоковед И. Ю. Крачковский, «интересна в литературном отношении по непринужденной манере рассказа живым и образным языком, местами с блестками юмора». О художественных и познавательных достоинствах «Книги Ибн Фадлана» высоко отзывался также знаменитый критик В. В. Стасов, назвавший рассказы этого арабского путешественника «бесценными и несравненными».

К настоящему времени большинство свидетельств арабских географов и путешественников о России переведено на русский, основные европейские и некоторые восточные языки. Книга «Арабские географы и Россия» — ценный вклад в научную литературу о ранних русско-арабских связях.

ИТАЛИЯ

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ВИАРЕДЖО»

Состоялось присуждение основной итальянской литературной премии — «Виареджо» — за 1971 год. Ее лауреатом по разделу художественной литературы стал известный прогрессивный художник Уго Аттарди, написавший роман «Наследник-дикарь». Это автобиографическое произведение, в усложненной, в высшей степени своеобразной форме повествующее о творческом и жизненном пути художника. Реальные события переплетаются в этом автобиографическом романе с воображаемыми, анализ окружающей действительности — с лирическими отступлениями и отвлеченными рассуждениями. Художник показывает, как рождался его стиль, творческая манера на конкретном материале своей жизни, своего творчества живописца и скульптора.

Молодость Аттарди проходила на Сицилии в годы фашизма, в жестокой, бесчеловечной среде и атмосфере. Позднее молодой художник вновь столкнулся с несправедливостью и жестокостью буржуазного мира, изощренной и яростной, в больших городах материковой Италии. Важное место в книге занимает фигура отца художника — старого коммуниста, требовательного к себе и другим, передавшего сыну горячее стремление и твердую волю изменить окружающую жизнь. Перед читателем проходит весь творческий путь Аттарди: от примитивного мифа крестьянского и семейного мирка до реалистического осознания жестокости капиталистического города.

Первые картины Аттарди, созданные в Риме в период 1945—1948 годов, носили черты неокубизма, были абстрактно - геометрическими. Формирование Аттарди в послевоенные годы в Риме коснулось не только его художественных взглядов. Участвуя в широкой борьбе трудящихся, художник стал стремиться к достижению гармонии, соответствия между своими новаторскими поисками и политическими задачами итальянского рабочего класса. Он испытал влияние раннего Гуттузо, а затем пришел к социальному, боевому реализму, связанному с борьбой крестьян юга Италии за землю. Нынешние поиски Аттарди порой близки экспрессионизму, но в целом художник остается на позициях прогрессивного, реалистического искусства.

Премии «Виареджо» по разделу поэзии удостоен поэт Либеро Де Либеро за сборник стихов; по разделу публицистики — Нино Валери за книгу о политическом деятеле дофашистского периода Джолитти.

Итальянская общественность придает особое значение присуждению специальной премии памяти покойного критика-коммуниста Джакомо Дебенедетти. Премия Дебенедетти, по словам корреспондента газеты «Унита»,— это признание не только его личных заслуг в науке, но и признание вклада, внесенного всей марксистской итальянской критикой и литературоведением.

Международная премия «Виареджо» присуждена Лоретте Кинг — вдове известного негритянского деятеля Мартина Лютера Кинга, убитого в США. Эта премия по традиции присуждается за деятельность, направленную на укрепление солидарности и мира во всем мире.

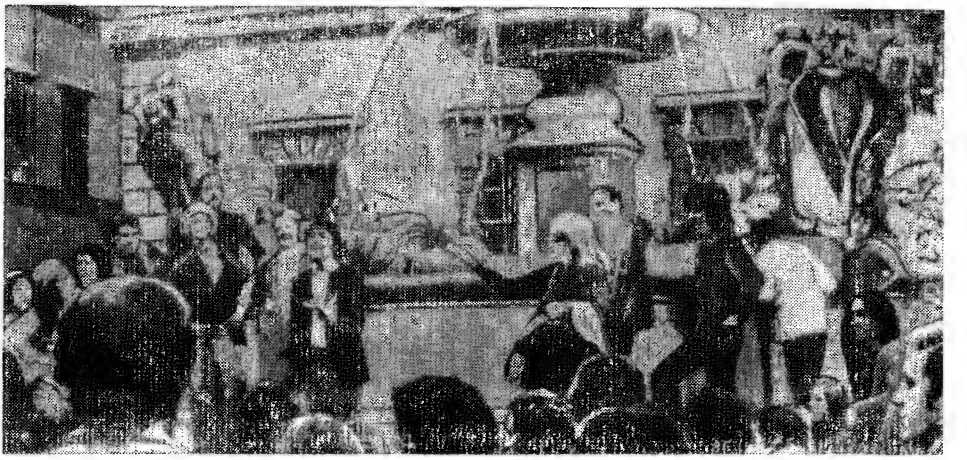
В этом году денежные премии «Виареджо» не вручаются; их заменили полотна известных художников, предоставивших в распоряжение жюри свои последние работы.

ЗА ОБНОВЛЕНИЕ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Национальный профсоюз писателей вслед за другими профсоюзными и массовыми организациями выступает в защиту демократического характера итальянского кино, за его организационное и творческое обновление. Секретариат профсоюза писателей опубликовал в печати заявление, в котором высказался против назначения директором Венецианского кинофестиваля консервативного кинокритика Ронди и антидемократической процедуры этого назначения (вопрос этот вызывает острую полемику среди итальянских кинематографистов и всех деятелей культуры), а также потребовал пересмотра всей структуры венецианских биеннале, с целью ее демократизации.

Профсоюз писателей выражает глубокое беспокойство в связи с кризисом, который переживают в результате правительственной политики государственные органы, ведающие кинематографией (студии кинохроники «Луче», студии «Чинечитта», прокатная компания «Италноледжо»), и объявляет о своем решении примкнуть к Комитету трудящихся кинопромышленности, режиссеров и сценаристов, кинокритиков и зрителей, созданному в Риме на широком и представительном собрании кинематографистов в защиту итальянского кино.

В своем заявлении профсоюз подчеркивает, что в происходящей ныне борьбе непосредственно заинтересованы не только писатели, пишущие для кино, но все, кто участвует в кинематографическом и литературном



Уже три года в итальянской столице живет и работает политический народный театр. Он дает свои спектакли на улицах и площадях, там, где проходят рабочие забастовки, вспыхивают студенческие выступления, в самые острые моменты борьбы трудящихся и молодежи за свои права, против полицейского произвола и эксплуатации. Театр уже дал 32 спектакля — на центральном римском вокзале Термини во время забастовки железнодорожников, на заводе «Аполлон», занятом забастовщиками, в народном квартале Трастевере, где незаконно выселяли жителей, перед зданием парламента в знак протеста против американской агрессии в Индокитае. В последнее время возник еще один уличный театр — оба пользуются поддержкой районных секций Коммунистической партии, их агитационные спектакли приносят немалую пользу в период предвыборной борьбы. В числе организаторов, руководителей и участников спектаклей — популярнейший актер театра и кино Джан-Мария Волонте.

На снимке: выступление уличного театра на одной из площадей Рима.

(Газета «Унита»)

процессе создания фильма — писатели, чьи произведения экранизируются, литературные редакторы, переводчики, все деятели культуры в самом широком смысле этого слова. Профсоюз берет на себя обязательство не только проявлять солидарность, но активно участвовать во всех конкретных выступлениях кинематографистов и их организаций, направленных «к изменению нынешнего положения, представляющего опасность для свободы культуры и будущего итальянского общества».

ПРОТИВ ФАШИЗМА И НЕОФАШИЗМА

Книг об итальянском фашизме, его возникновении, истории и гибели в Италии написано множество. Однако внимание и критики и читателей ныне заслуженно привлекла небольшая книжечка «Оружие фашизма. 1921—1971», написанная одним из видных деятелей антифашистского движения коммунистом Пьетро Секкьей. Ей посвящает большую рецензию в газете «Унита» писатель Франко Антоничелли. Книга написана в ответ на многочисленные просьбы молодежи, которая хочет знать самую суть определенного периода истории своей страны, пагубное наследие которого не ликвидировано и лежит тяжким грузом на плечах нынешнего молодого поколения. Чтобы бороться с пережитками фашизма сегодня, нужно знать, что он представлял собой вчера. Старый антифашист, один из руководителей движения Сопротивления, пишет Антоничелли, достойным образом справился с трудной задачей — образно и сжато рассказать о фашизме так, чтобы это было доступно и понятно современному молодому читателю. В этом автору помог его огромный опыт, знания, контакт с молодежью. Секкья начинает свой рассказ с первой мировой войны, подробно останавливается на установлении фашистской диктатуры Муссолини — «начале той долгой ночи, которая продолжалась 17 лет».

Автор отбирает самое главное — такие факты из истории страны, как деятельность группы «Ордине нуово», возглавлявшейся Грамши и Тольятти, как убийство фашистами социалиста Маттеотти и последовавший за этим взрыв народного негодования. События прошлого автор сопоставляет с фактами неофашистской деятельности в Италии сегодня, напоминает молодым читателям о фашистской угрозе, о которой свидетельствуют многие события итальянской внутриполитической жизни.

БИБЛИОТЕКИ И ЧИТАТЕЛИ

Недостаточное число библиотек во всей стране, плохо налаженное библиотечное обслуживание населения, особенно в провинции и на юге Италии, отсутствие нужных книг в библиотеках — все это уже давно волнует итальянскую общественность. Ныне этот вопрос снова обсуждается на

страницах газет в связи с затянувшимся строительством Национальной библиотеки в итальянской столице, а также в связи с некоторыми статистическими данными, появившимися в печати.

Уже несколько лет в Риме строится новое, ультрасовременное здание для государственной публичной библиотеки, однако до окончания работ еще очень далеко, а книжные фонды — три миллиона томов — продолжают храниться в старом помещении, которое грозит обрушиться, и подвергаются порче. Пользоваться ими ныне стало практически невозможно. Всего в Риме — городе с трехмиллионным населением — восемь государственных библиотек, число читателей в них не превышает полумиллиона. Большинство читателей составляют университетские студенты, которые вынуждены использовать библиотеку всего лишь как читальный зал.

По данным, полученным в результате одного специально проведенного исследования, положение в столице, однако, несравненно лучше, чем на юге страны, резко отстающем в своем культурном развитии, что является извечной проблемой для Италии. Прогрессивная общественность выступает за развитие сети городских, а не крупных государственных библиотек, за расширение и децентрализацию библиотечного обслуживания.

КУБА

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «26 ИЮЛЯ»

В Гаване состоялось вручение премий победителям конкурса «26 июля» в области литературы и искусства, организованного министерством Революционных вооруженных сил Кубы по случаю восемнадцатой годовщины Дня национального восстания — штурма казарм Монкада. На конкурсе премируются лучшие произведения в области литературы (стихотворные и прозаические), драматургии, музыки, а также исторические исследования.

В жюри конкурса входили видные кубинские прозаики, поэты, литературоведы, композиторы и другие деятели литературы и искусства, в том числе президент Союза писателей и деятелей культуры Кубы Николас Гильен, известный кубинский литературовед и историк, член ЦК Компартии Кубы Хуан Маринельо.

На конкурс было представлено в общей сложности 429 работ различных жанров. Первую премию за лучшее поэтическое произведение получил молодой кубинский поэт Роберто Диас за сборник стихов «Батареи молчат». За лучшее эпическое произведение был награжден Адольфо Марти Фуэнтес, создавший поэму «Вокруг времени».

В области прозы первых премий были удостоены рассказ Альфредо Фернандо Суареса «Молчаливое присутствие» и повесть Хорхе Сирулеса «Преследуемые». Лучшим историческим исследованием была признана работа профессора Хосе Табареса под названием «Революция 1959: два ее последних года». Лучшим очерковым материалом была названа работа Хосе Кеведо Переса «Битва при Хиге». Жюри конкурса отметило также лучшие произведения драматургии, симфонической и камерной музыки, народной и эстрадной песни.

СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВА КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

Событием в культурной жизни кубинской столицы явилось создание Общества камерной музыки. Учредители общества — преподаватели Национального симфонического оркестра и оркестра современной музыки — назвали его «Новое время» (так же называлось прогрессивное общество левой интеллигенции и артистов, существовавшее на Кубе в 50-х годах).

В уставе общества сказано, что его члены на добровольной основе дают регулярные концерты, а также содействуют распространению музыкальных знаний среди населения посредством бесед, «круглых столов», показов фильмов, прослушиваний музыкальных записей, а также участвуя в программах радио и телевидения.

Одна из основных целей нового общества — широкая пропаганда и исполнение камерных произведений латиноамериканских композиторов, а также современной народной музыки. Кроме того, кубинские музыканты познакомят слушателей с некоторыми давно не исполнявшимися произведениями XVI века и классиков XVIII века, с современной электронной музыкой.

ОМАН

ОЖИВЛЯЕТСЯ КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

По сообщениям арабской прессы, в султанате Оман и Маскат — одном из последних британских протекторатов на Аравийском полуострове — оживляется культурная жизнь. Впервые за много лет из Омана в столицы некоторых арабских государств была направлена делегация с целью установления культурных связей. Глава этой делегации, оманский министр информации шейх Абдаллах ат-Таи, неоднократно выступал по телевидению, отвечал на вопросы журналистов, знакомя их с положением в своей стране (вопреки опасениям, оманский диалект, на котором говорил министр, оказался вполне понятным).

Как сообщает корреспондент журнала «Аль-Адиб», в Омане начал издаваться еженедельник «Аль-Ватан» («Родина»). Это первое периодическое издание в истории Омана и пока что единственный источник информации о жизни страны. Журнал издается оманским министерством просвещения.

ПОЛЬША

«ФАНТАСТИКА И ФУТУРОЛОГИЯ»

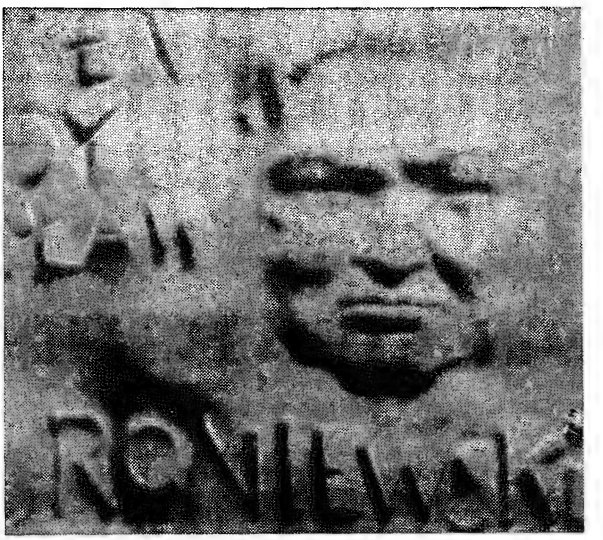
Автор известных научно-фантастических романов Станислав Лем в последние

годы выпустил теоретические эссе «Summa technologiae» и «Философия случая». Несколько месяцев назад «Выдавництво литерацке» в Кракове издало монографию Лема «Фантастика и футурология», в которой автор анализирует достижения мировой научно-фантастической литературы.

Приступая к работе над книгой, Лем руководствовался в первую очередь тем, что футурология — совсем еще молодая научная дисциплина, а также тем, что фантастика, по его мнению,— понятие относительное, зависимое от контекста, от уровня науки и т. д. По первоначальному замыслу автора, произведение должно было состоять из двух частей: с одной стороны — элементы футурологии в научной фантастике, с другой — наоборот — элементы фантастики в нелитературной сфере футурологии. Однако от первоначальных замыслов остался лишь первый. От второго Лем пока отказался, чувствуя себя не в силах справиться с ним. «Фантастика и футурология» — это систематизированный, широкий поток информации, которая порознь содержится в многочисленных, тематически разрозненных энциклопедиях.

В книге «Фантастика и футурология» эти сведения спаяны воедино философскими суждениями Лема о научно-фантастической литературе.

В заключительной главе книги автор выносит научно-фантастической литературе весьма суровый приговор. Такого рода литература, хотя ее и нарекли «фантастической», должна основываться на рациональном предвидении того, что ждет человечество в будущем. Это назначение обусловлено целями, которым призвана служить литература. Она не может ограничиться оценкой прошлого или освещать лишь современные проблемы: такая литература должна также забегать вперед, в будущее. И если для того, чтобы писать о прошлом и настоящем, нужно их глубоко знать, то и в научной фантастике как нигде необходимы глубокие знания.



На общепольской выставке скульптуры в варшавском выставочном зале «Захенце» экспонировалась медаль, созданная в честь выдающегося поэта Владислава Броневского скульптором Станиславом Сикорой.

(Еженедельник «Политика»)

У книги Лема есть еще одно достоинство, причем юмористического свойства. Автор приводит отрывки из научно-фантастических романов либо вкратце излагает их содержание. Все они основаны на абсурдных замыслах, выдуманных из страсти к выдумыванию. Их пустота и нелепость проступают с особой силой, когда Лем начинает анализировать их, руководствуясь здравым смыслом и логикой.

Все это тем более оригинально, что Лем решительно расправляется с жанром литературы, в котором сам работает. Лем не щадит и самого себя, «обрушивая молот на научную фантастику» собственных произведений. Он предупреждает, что после долгих колебаний решился поместить их как далеко не идеальный образец.

В ПЕРЕВОДЕ НА ПОЛЬСКИЙ

В книжной продукции издательств Польши значительное место занимают переводы произведений русских и советских авторов.

Издательство «Чительник» и Государственный издательский институт (ПИВ) выпускают в этом году произведения И. Бунина и М. Цветаевой (проза). ПИВ готовит к печати избранное Н. Заболоцкого и А. Тарковского.

В Люблинском издательстве выходят два сборника русских и советских поэтов в переводах А. Стерна и К. А. Яворского. Готовятся к печати сборники стихов Р. Гамзатова, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной и других.

Издательство «Людова спулдзельня выдавнича» недавно выпустило стихи Б. Окуджавы. Вскоре здесь выйдут произведения литовского поэта Э. Межелайтиса.

Лодзинское издательство готовит к выпуску «Антологию белорусской поэзии».

РЕЖИССЕРЫ ОБ АКТЕРАХ

Под таким заголовком журнал «Кино» поместил интервью с ведущими польскими кинорежиссерами — Ежи Кавалеровичем, Янушем Маевским и Романом Залуским, которые расска-

зали о своих методах работы с актерами.

Кем является киноактер — автором или соавтором создаваемого им образа? Человеком, который «играет», или человеком, который «существует»? Какие соображения являются главными при подборе актеров на роли? — с такими вопросами обратилась к этим режиссерам корреспондент журнала Мария Олексевич.

«При подборе актера я часто руководствуюсь интуицией,— сказал Ежи Кавалерович.— Я всегда работаю с профессиональными актерами и принадлежу к той режиссерской школе, которая отдает предпочтение театральным актерам: такова польская практика. Разумеется, идеалом является такой актер, который сумеет создать, как бы независимо от моих указаний, независимо от режиссера, настолько убедительный образ, что он «сам собой» ложится на экран. Я не люблю разные теоретические термины, но это назвал бы «киногеничностью».

Януш Маевский назвал себя «традиционалистом» и продолжал: «Как традиционалист, я отношусь к актеру с большим уважением. Он для меня — один из важнейших элементов фильма, гарант его успеха. Я ценю интуицию актеров и охотно использую их предложения. И я им многим обязан».

Документалист Роман Залуский, который выпустил в последнее время художественные фильмы «Дом» и «Кардиограмма», рассказал, что добивается главным образом того, чтобы актеры в его фильмах были самими собой. «Искусство современного актера, по-моему, состоит в том, чтобы показывать способ существования, — сказал режиссер.— Если актер, к примеру, знает, что волочит ногу, он старается это скрыть. Прекрасно, пусть он это делает и на экране, но так, чтобы мы знали, что он стыдится своего физического недостатка. Его задача состоит не в том, чтобы играть, а в том, чтобы существовать в определенных обстоятельствах... Это «существование» является для меня самым точным определением существа актерской игры, которая требует от актера огромной собранности, усилий и самоотверженности».

США

ЧИТАТЕЛЬ ВОЗРАЖАЕТ РЕЦЕНЗЕНТУ

Вашингтонский театр «Арена стейдж» осуществил постановку известной советскому читателю пьесы Лорейн Хэнсберри «Плакат в окне Сиднея Брустайна» (опубликована в «ИЛ» № 3, 1968). Рецензент «Нью-Йорк таймс» Дж. Новик пишет в связи с этим, что затрагиваемые в пьесе проблемы — негритянская, социального неравенства, роли художника в обществе, необходимости активного участия в общественной жизни — и сегодня не получили своего разрешения. Пьеса написана в 1964 году, и, к сожалению, говорит Новик, за прошедшие годы все эти проблемы намного усложнились, сегодня многое в этой пьесе кажется несколько наивным и устаревшим. В спектакль включены песни 50—60-х годов, которые мог слышать ее герой, Сидней Брустайн, говоривший: «Вы поймете, кто я, услышав мои песни». Эта пьеса, пишет Новик, законченная писательницей перед ее безвременной кончиной, отразила любовь к жизни, веру в человека, чего американцам так не хватает сегодня.

В следующем номере газета поместила читательское письмо редактору в связи с этой публикацией. «Автор рецензии недооценивает пьесу,— говорится в нем,— называя ее наивной по содержанию и устаревшей по форме. Смысл пьесы — в словах одной из ее героинь: «Люди должны поступать так, как они думают,— чтобы выжить!» По силе воздействия читатель сравнивает пьесу Лорейн Хэнсберри с антивоенными полотнами Гойи. Подчеркивая ее актуальность, он пишет: «Мы слишком часто проституируем наши идеалы, оправдываем наши преступления, особенно мы склонны оправдывать самые серьезные из них — войну, расизм, истребление мирного населения. Разве документы Пентагона, опубликованные в «Нью-Йорк таймс»,— не свидетельство злободневности этой пьесы?»

Режиссер Джон Хирш поставил в «Вивиан Бомонт тиэтр» трагедию Софокла «Антигона», которая получила в его трактовке, по мнению рецензента американского еженедельника «Ньюсуик», поразительно современный резонанс. В самой постановке трагедии подчеркнуто сочетание классики и современности — современные декорации, использование достижений электроники соседствуют в спектакле с греческими туниками и хором, впечатление усиливается и самим амфитеатром зала: спектакль идет в помещении Линкольновского театрального центра.

(Еженедельник «Ньюсуик»)

НЕОБЫЧНАЯ ВЫСТАВКА

В одной из картинных галерей Нью-Йорка недавно состоялась необычная выставка. Неискушенный посетитель мог бы подумать, что перед ним оригинальные произведения Пикассо, Шагала, Миро, Матисса и других знаменитых художников. Однако это были всего лишь отличные копии произведений французских художников XX века. Автор копий — Дэвид Стейн не мог присутствовать на открытии выставки по не зависящим от него причинам: он отсиживается в тюрьме во французском городе Тулузе...

В свое время Стейн «прославился» тем, что мастерски подделывал и продавал по высоким ценам произведения известных современных живописцев. За это в 1968 году он угодил в тюрьму в США и после отбытия срока был выслан во Францию. Там он снова занялся «любимым» ремеслом и опять попал в тюрьму, на этот раз на три года. Стейн признался, что продал 200 поддельных картин, некоторые из них — по 30 тысяч долларов.

Оригинальные картины Стейна, написанные в тюрьме и изображающие тяжелый тюремный быт, не имеют успеха у толстосумов, которые охотятся за картинами известных художников.

Газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала этот рисунок Герстена, снабженный подписью: «Каков общий знаменатель этой лжи?.. Картина — налицо».

РАСПУЩЕНА БАЛЕТНАЯ ТРУППА

По сообщениям печати, распущена одна из лучших балетных трупп США — «Американ беллей компани». Она просуществовала два с половиной года и создала более десяти спектаклей, которые имели большой успех у зрителя. Труппа выступала в помещении Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке, а также в других городах США. В 1969 году «Американ беллей компани» с успехом участвовала в международном фестивале в Италии.

К сожалению, труппа не имела сколько-нибудь существенной финансовой поддержки, и потому непомерное увеличение расходов в связи с ростом инфляции в США привело ее к финансовому банкротству.

«Мы просто не можем свести концы с концами и не в состоянии продолжать любимое дело»,— заявил журналистам художественный руководитель театра, известный хореограф Элиот Фелд.

Руководители Бруклинской музыкальной академии смогли лишь «выразить глубокое сожаление» в связи с роспуском балетной труппы.

ТУРЦИЯ

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ САИДА ФАИКА

Лауреатами ежегодной литературной премии Саида Фаика «За лучший рассказ» стали Бекир Йылдыз и Бильге Карасу, новые сборники которых вышли в 1970 году. Эта премия, учрежденная в 1955 году на средства известного турецкого новеллиста Саида Фаика, присуждается в основном начинающим писателям.

Лауреаты премии «За лучший рассказ» Бекир Йылдыз и Бильге Карасу — писатели разных судеб и разных направлений в литературе.

Бекир Йылдыз, родившийся в 1933 году в г. Урфе и много ездивший со своим отцом по юго-восточным районам, с детства был потрясен картинами безысходной нищеты и темноты этих окраин Турции. Этот мир, где еще властвует феодализм, Йылдыз с горечью и болью описал в сборниках «Решоага» (1968) и «Черный вагон» (1969).

Жизнь подсказала ему еще одну «большую» тему — об эмиграции турецких рабочих на заработки в ФРГ, Францию, Голландию, Австралию и другие капиталистические страны. Бекир Йылдыз сам испытал судьбу эмигранта, проработав четыре года в ФРГ. Вернувшись на родину в 1966 году, он опубликовал роман-репортаж «Турки в Германии», рассказывающий о жестокой эксплуатации иностранных рабочих — этой самой дешевой на Западе рабочей силы.

Удостоенный премии Саида Фаика сборник «Контрабандист Шахан» продолжает тему «больных мест» страны. Самый большой рассказ в сборнике — «Гаффар и Зара» — вводит читателя в мир переживаний бедной крестьянской семьи, отправляющей своего кормильца Гаффара на заработки в неведомую и таинственную Германию, откуда он обязательно вернется с трактором, ибо трактор — это единственное, что спасет их от притеснений помещика Хамдо-аги... Другой рассказ — «Контрабандист Шахан» — раскрывает суровую жизнь контрабандистов без всякой «романтической дымки». Уходя через границу, Шахан наказывает отцу, чтобы в случае его гибели он искал золотые монеты у него либо во рту, либо в желудке. На обратном пути Шахан подрывается на мине. Убитый горем отец не имеет права не только похоронить, но даже опознать своего сына. Таков закон контрабандистов, иначе всю деревню ждут обыски и аресты. Тело неопознанного Шахана оставляют на ночь в полицейском участке, и старик прокрадывается туда, дрожащими руками гладит мертвого сына, не находя в себе сил достать у него изо рта золотые монеты...

Совсем другой жизненный и творческий путь у новеллиста Бильге Карасу. Внук известного политического деятеля, он уже в двадцать лет печатался в литературных журналах, учился в Европе на стипендию Рокфеллера. В 1963 году получил премию Лингвистического общества за переводы из Лоуренса. Тогда же выпустил свой первый сборник рассказов — «В Трое была смерть», затрагивающий проблемы одиночества, замкнутого мира личности, недоступного для других. Премии Саида Фаика удостоен его второй сборник — «Вечер одного длинного дня». В него входят два больших рассказа — «Остров» и «Вершина», посвященные теме религиозных разногласий в Византии в VIII веке.

650-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ЮНУСА ЭМРЕ

Литературная общественность Турции широко отметила 650-летие со дня рождения выдающегося поэта и философа древности Юнуса Эмре. Принадлежность Юнуса Эмре к ордену Бекташей (в XIII—XIV веках) дала основание для некоторых неправильных толкований его творчества только как суфийского, дервишского. Однако новые исследования литературоведов, в частности книга Сабахаттина Эйюбоглу «Приветствие Юнусу Эмре», открыли новые черты, характеризующие его как подлинного народного и реалистического поэта, чье творчество не утратило своей ценности и в наши дни. Чистый поэтический язык, хорошо понятный современному читателю, живой юмор, глубина философских размышлений — все это позволяет отнести сочинения Юнуса Эмре к разряду непреходящих общечеловеческих культурных ценностей. Отмечая юбилей поэта, сегодняшние турецкие писатели отдают должное его высокому гуманизму, его заслугам в создании лучших образцов турецкой классической литературы.

ЮНЕСКО

ПЕРЕВОДЫ ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Недавно в штаб-квартире ЮНЕСКО проходило совещание созданного в 1962 году Комитета экспертов по персидской литературе, который работает под эгидой этой организации.

Как известно, начиная с 1948 года ЮНЕСКО выполняет программу по переводу произведений, принадлежащих к литературам более 60 народов. Задача программы — ознакомить широкие массы с различными культурами путем распространения наиболее характерных для них литературных произведений.

С тех пор переведено более 320 книг, в основном на французский и английский, а также на другие языки. Что касается персидской литературы, то было сделано 19 переводов: семь на французский язык, десять на английский, два на итальянский.

Комитет подготовил план переводов на ближайшие пять лет, решив расширить поле своей деятельности. К произведениям классической персидской литературы, которым посвящено нынешнее собрание, присоединятся литературные произведения, написанные не только на этом языке, но и на других иранских языках, бытовавших до распространения ислама, а также на арабском. Предусматривается перевод сочинений современных авторов, народных песен, сказок, произведений для детей.

Авторы этого номера

ГЕОРГИЙ ДЖАГАРОВ (род. в 1925 г.).

Известный болгарский поэт и драматург, лауреат Димитровской премии, председатель Союза болгарских писателей. Стихи Г. Джагарова составили несколько сборников: «Мои песни» («Моите песни», 1954), «Лирика» (1956), «В минуты молчания» («В минути на мълчание», 1958), «Завтра — день» («Утре е ден», 1963), «Непогубленные чувства» («Непогубени чувства», 1967) и др. Автор пьес «Двери закрываются» («Вратите се затварят», 1959), «Прокурор» («Прокурорът», 1965).

Советские читатели знают Георгия Джагарова по неоднократно публиковавшимся стихам в периодической печати, в том числе в «Иностранной литературе», а также по изданному на русском языке сборнику стихов «На колени не падать!».

Публикуемые в этом номере стихи войдут в сборник, подготавливаемый к выпуску издательством «Прогресс».

■

ГЕОРГОС СЕФЕРИС (1900—1971).

Известный греческий поэт, лауреат Нобелевской премии. Г. Сеферис получил юридическое образование в Афинском и Парижском университетах и посвятил себя дипломатической карьере. Его литературная деятельность началась в 30-е годы. Первая книга стихов Г. Сефериса «Поворот» вышла в 1931 году, за ней последовала поэма «Бассейн». Во втором сборнике стихотворений «Роман» (1935) поэт переходит к свободному стиху. К этому времени относятся его переводы из Элиота.

В годы второй мировой войны, находясь в эмиграции на Среднем Востоке, Г. Сеферис издал три стихотворных сборника — «Тетрадь для упражнений» и два тома «Палубного дневника», в которых выражена солидарность поэта с борющейся Грецией.

В послевоенные годы Сеферис выступает с поэмой «Певчая птица» (1947), а также с серией критических статей о греческой литературе, объединенных в сборнике «Опыты». В 1956 г. выходит в свет третья книга его «Палубного дневника», посвященная борьбе Кипра за независимость. Стихи Г. Сефериса неоднократно переводились на иностранные языки. В нашем журнале (№ 9, 1969) напечатан цикл его стихов «Лик судьбы».

После установления в Греции диктатуры полковников Г. Сеферис одним из первых выступил с открытым заявлением протеста.

■

МАНОЛИС АНАГНОСТАКИС (род. в 1925 г.).

Греческий поэт. Автор поэтических сборников «Времена» (1945), «Времена 2» (1948), «Времена 3» (1951), «Продолжение» (1954), «Стихи. 1941—1956», «Продолжение 3» (1962).

С 1959 по 1961 г. издавал литературно-критический журнал «Критика». Статьи М. Анагностакиса объединены в сборнике «За и против».

■

ТАКИС СИНОПУЛОС (род. в 1917 г.).

Греческий поэт, переводчик, автор сборников стихотворений «Ребро» (1951), «Песни» (1953), «Ребро 2» (1957), «Ночь и просвет-

ление» (1959), поэм «Знакомство с Максом» (1956), «Елена» (1957), «Песня Иоанны и Константина» (1961) и др.

■

КУЛВАНТ СИНГХ ВИРК (род. в 1921 г.).

Известный индийский писатель-новеллист, пишет на языке пенджаби. Герои рассказов Вирка — крестьяне, ремесленники, военнослужащие (писатель долгое время служил в индийской армии). Автор сборников рассказов «Утро» (1950), «Земля и небо» (1951), «Пучок соломы» (1954), «Мы — дети всевышнего» (1956) и др. Широкое отражение в его творчестве нашла тема разделения Индии на два государства (Индию и Пакистан), которое произошло в 1947 году. В то время К. С. Вирк работал в комитетах по устройству беженцев. В своих произведениях писатель остро критикует пережитки прошлого, социальное неравенство, мечтает о лучшем будущем для своих соотечественников.

Мы знакомим читателей с творчеством Кулванта Сингха Вирка, публикуя рассказы из сборника «Новые люди» (1966). Эта книга популярна среди индийских читателей и высоко оценена литературной критикой.

ПРАБХАКАР МАЧВЕ (род. в 1917 г.).

Индийский критик, поэт, романист. Пишет на языках маратхи и хинди. К числу его известных произведений относятся роман «Звезда», сборник сонетов «Мечтательные мелодии», сборник эссе «Заячьи рога» и сборник литературно-критических статей «Образ и характер».

В настоящее время Прабхакар Мачве занимает пост ученого секретаря Литературной академии Индии.

Статья «Современность и поэзия хинди» получена от автора в рукописи.

■

НГУЕН ВАН БОНГ (род. в 1921 г.).

Вьетнамский писатель (ДРВ), уроженец провинции Куангнам (Южный Вьетнам). Начал печататься до августовской революции 1945 года. Снискал популярность романом «Буйвол», получившим литературную премию в 1952 г. Известен также как автор романа «Огонь в очаге» (1955), повести «Старшая сестра» (1959), рассказов и очерков.

Статья «Голос борьбы и победы» получена от автора в рукописи.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (первый зам. главного редактора), **С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН** (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

А 10571. Сдано в производство 7/IX-71 г. Подписано к печати 6/X-71 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2)+1 вкл. Уч.-изд. л. 28,19. Зак. 3023.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394